

Федеральное агентство по образованию  
ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет»

В.А. Черкасов

ДЕРЖАВИН И ЕГО СОВРЕМЕННОСТИ  
ГЛАЗАМИ ХОДАСЕВИЧА

Монография

Белгород 2009

УДК 82.091.161.1  
ББК 83.3(2=Рус)  
Ч-48

Печатается по решению  
редакционно-издательского совета  
Белгородского университета

Рецензенты:  
доктор филологических наук **И.С. Приходько**;  
кандидат филологических наук **Н.В. Бардыкова**

**Черкасов В.А.**  
Ч-48 Державин и его современники глазами Ходасевича / В.А. Черкасов: моногр. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – 336 с.

ISBN 978-5-9571-0356-1

В монографии исследуется концепция личности русских писателей второй половины XVIII-первой половины XIX вв. в историко-биографических произведениях В.Ф. Ходасевича (Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, Н.Г. Чернышевский и др.). В этой концепции обнаруживается система полемически противопоставленных предшественникам В.Ф. Ходасевича приемов создания условного авторского образа, которые нашли свое отражение в его художественно-исторической биографии «Державин» (1931). Показывается принципиально новый подход Ходасевича к трактовке тех эпизодов из жизни Г.Р. Державина, которыми ранее интересовались А.С. Пушкин, Я.К. Грот, Н.Г. Чернышевский и ряд видных историков второй половины XIX-начала XX века. Концепция писательской личности в историко-биографическом творчестве В.Ф. Ходасевича исследуется в контексте методологических исканий в русском литературоведении 1920-1930-х годов.

Для филологов, историков, всех, кто интересуется проблемами истории русской литературы и культуры XVIII-XX веков.

УДК 82.091.161.1  
ББК 83.3(2=Рус)

ISBN 978-5-9571-0356-1

© Черкасов В.А., 2009  
© Белгородский госуниверситет, 2009

## Оглавление

Введение.....	5
Глава 1. Проблема биографической значимости художественных произведений в науке и критике 20-х-30-х годов XX века .....	17
Раздел 1. Кризис биографической методологии в советской науке и критике межвоенного двадцатилетия .....	17
§ 1. «Биографизм» методологии М.О. Гершензона в рецепции критики 1920-х-1930-х гг. ....	17
§ 2. Poleмика Б.М. Эйхенбаума, В.Б. Шкловского и Ю.Н. Тынянова с биографизмом как научным методом .....	21
§ 3. Рецепция радикального антибиографизма ОПОЯЗа в науке и критике 1920-х-1930-х гг. ....	23
§ 4. Проблема изучения личности писателя в социологическом литературоведении 1920-х-1930-х гг. ....	29
Раздел 2. Антибиографическая тенденция в подходе к художественным произведениям в науке и критике Русского За- рубежья .....	31
§ 1. Конфронтация между теоретическими декларациями и конкретными результатами историко-литературных исследований в биографическом дискурсе М.Л. Гофмана .....	31
§ 2. Антибиографическая концепция Ю.И. Айхенвальда и ее реализация в творчестве критика 1920-х гг. ....	34
§ 3. Мифопоэтическая интерпретация биографии А.С. Пушкина в эссе В.В. Набокова «Пушкин, или правда и правдоподобие» (1937) в рамках полемики писателя с пушкинистским дискурсом В.Ф. Ходасевича.....	37
§ 4. Проблема биографии писателя в выступлениях критиков «Возрождения» (В.В. Вейдле, Ю.В. Мандельштам, И.Н. Голенищев-Кутузов, Г.А. Раевский) .....	51
§ 5. Методология Ходасевича в биографии «Державин» в рецепции критики 1920-1930-х гг. ....	54
Глава 2. Концепция личности Г.Р. Державина в историко-биографических произведениях В.Ф. Ходасевича.....	65
Раздел 1. Poleмика В.Ф. Ходасевича с изображением малыковской деятельности Г.Р. Державина в «Истории Пугачева» А.С. Пушкина и в «Жизни Державина» Я.К. Грота.....	65
§ 1. Служебная деятельность Державина в эпоху пугачевщины в представлениях современных ученых .....	65
§ 2. Poleмика Ходасевича с Пушкиным и Гротом в статье «Пушкин о Державине» .....	67
§ 3. Poleмика Ходасевича с Пушкиным и Гротом в биографии «Державин» .....	140

<i>Раздел 2. Полемика Ходасевича с пушкинской концепцией личности Державина в биографии «Державин» (саратовский эпизод)</i> .....	164
§ 1. <i>Обнажение Ходасевичем фикционального статуса саратовского эпизода «Истории Пугачева»</i> .....	164
§ 2. <i>К вопросу о степени знакомства Пушкина с «Записками» Державина</i> .....	170
§ 3. <i>Пушкинская реконструкция действий Державина в Саратове: работа с документами</i> .....	174
§ 4. <i>Антируссоистский дискурс Пушкина</i> .....	179
§ 5. <i>Полемика Ходасевича с пушкинским изображением саратовских действий Державина</i> .....	181
§ 6. <i>Полемика Ходасевича с пушкинским антируссоистским дискурсом</i> .....	188
<i>Раздел 3. Концепция личности Г.Р. Державина в критике 1860-х гг. и полемика с ней в творчестве В.Ф. Ходасевича</i> .....	217
§ 1. <i>Концепция личности Державина в критике 1860-х гг.</i> .....	217
§ 2. <i>Полемика Ходасевича с концепцией личности Державина в критике 1860-х гг.</i> .....	233
<b>Глава 3. Концепция личности Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева в историко-биографических произведениях Ходасевича</b> .....	267
§ 1. <i>Концепция личности писателей-сентименталистов в очерке Ходасевича «Дмитриев»</i> .....	267
§ 2. <i>Соотношение литературной и биографической личности Дмитриева в биографии Ходасевича «Державин»</i> .....	269
§ 3. <i>Соотношение литературной и биографической личности Карамзина в биографии Ходасевича «Державин»</i> .....	279
§ 4. <i>Карамзин-Дмитриев и Державин: отношение к смерти и единство литературной и биографической личности</i> .....	301
<b>Заключение</b> .....	312
<b>Приложение. Владислав Ходасевич. МЕЛОЧИ: Пушкин о Державине</b> .....	318
<b>Библиография</b> .....	320

## ВВЕДЕНИЕ

В новейшем учебном пособии по литературе русского зарубежья ее место и степень изученности в современной отечественной науке определяются следующим образом: «... несмотря на то что в нашей стране в 1990-е гг. изучение „параллельной ветви“ русской словесности выдвинулось в число „магистральных линий“ литературной науки, многие вопросы пока не только не решены, но и не поставлены» (Смирнова, Млечко 2006: 6). Имеются в виду прежде всего такие глобальные проблемы, как «изучение русской литературы XX в. как сложной, противоречивой, эстетически многообразной целостности с учетом взаимодействия двух составляющих ее потоков (литература диаспоры и метрополии)» (Смирнова, Млечко 2006: 7).

По-видимому, в число таких вопросов входит и изучение биографического творчества В.Ф. Ходасевича, который прежде всего имеет репутацию «очень крупного поэта <...> едва ли не лучшего критика и мемуариста русского зарубежья» (Кормилов, Федорова 1999: 330-331).

При этом нельзя сказать, что эта сторона многообразного творческого наследия писателя осталась совершенно вне поля зрения критиков и историков литературы. К настоящему моменту у исследователя, приступающего к осмыслению соответствующих текстов Ходасевича, имеется в запасе ряд ценных работ, могущих простимулировать и направить его мысль в определенное русло. Статьи и рецензии 1920-х-1930-х гг., принадлежащие перу П.М. Бицилли, В.В. Вейдле, М.А. Алданова<sup>1</sup> и др.; работы современных ученых Дж.Э. Мальмстада<sup>2</sup>, А.Л. Зорина<sup>3</sup>, Д.М. Бетеа<sup>4</sup>, Р. Хьюза<sup>5</sup>, И.З. Сурат<sup>6</sup> и др. представляют собой в указанном смысле неоценимый вклад в развитие ходасевичеведения. Однако во всех этих работах рассматриваются отдельные аспекты биографической концепции Ходасевича, не ставится задача целостного анализа его историко-биографической прозы.

Между тем, данный анализ не просто возможен, но и необходим, ибо, как заметил Юсиф-Заде, автор недавней диссертации, защищенной в МГУ им. М.В. Ломоносова, литературно-критические и историко-

---

<sup>1</sup> Бицилли П.М. Державин <Рецензия на биографию Ходасевича «Державин»> // Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Книга, 1988, 314-316. (Статья впервые опубликована: Россия и славянство. Париж. 18.04.1931).; Вейдле В.В. «Современные записки»: Книга XXXIX // Возрождение (Париж). № 1493. 4 июля 1929, С. 3; Вейдле В.В. В.Ф. Ходасевич. О Пушкине. «Петрополис». 1937 <Рецензия> // Современные записки (Париж). 1937. № 64, 467-468; Алданов М.А. В.Ф. Ходасевич. Державин. Издательство «Современные Записки». Париж, 1931 г. <Рецензия> // Современные Записки (Париж). 1931. № 46, 496-497.

<sup>2</sup> Мальмстад Джон Э. Ходасевич и формализм: несогласие поэта // Русская литература XX века: Исследования американских ученых. СПб.: Петро-РИФ, 1993, 284-301; Мальмстад Джон Э. По поводу одного «не-некролога»: Ходасевич о Маяковском // Тыняновские сборники Выпуск 9 Седьмые тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига – Москва, 1995-1996, 189-199; Malmstad John E. The Historical Sense and Ходасевич's Deržavin // Ходасевич В.Ф. Державин. München: Wilhelm Fink Verlag, 1975, V-XVIII

<sup>3</sup> Зорин А.Л. Начало // Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Книга, 1988, 5-28

<sup>4</sup> Bethea D.M. Khodasevich, his life and art. Princeton university press, 1983

<sup>5</sup> Хьюз Роберт. Белый и Ходасевич: к истории отношений // Вестник Русского Христианского Движения. 1987. № 151, 144-165

<sup>6</sup> Сурат И.З. Пушкинист Владислав Ходасевич. М.: Лабиринт, 1994.

биографические произведения Ходасевича составляют единый текст: их объединяет «система устойчивых внутренних тем/мотивов», «универсальные теоретические установки и сходные методологические принципы», в конечном итоге, «общий авторский замысел» (Юсиф-Заде 2001а: 5, 7). В этой связи глубоко обоснованными представляются такие задачи, поставленные диссертантом перед собой, как «выявление концептуального единства литературно-критической/историко-биографической прозы» Ходасевича; «определение инвариантной для литературно-критических и историко-биографических произведений теоретико-литературной базы, системы универсальных методологических установок» (Юсиф-Заде 2001а: 6).

Установка Юсиф-Заде на «вычленение методологических принципов, которыми определяется специфика воссоздания литературной эпохи, культурного контекста, мира творческой личности в историко-биографической прозе В. Ходасевича», является для нас родственной и во многом определяет направление нашего исследования.

Одним из таких универсальных методологических принципов, организующих единый историко-биографический текст, является, как мы полагаем, дифференцированное применение биографического подхода<sup>7</sup> к личности того или иного писателя, героя Ходасевича. Можно сформулировать это положение и по-другому: концепции определенных писательских личностей в историко-биографических произведениях Ходасевича были созданы в значительной мере как результат полемического отталкивания от крайностей биографического метода, и, как таковые, исследуются нами в плане существовавшей в отечественной науке и литературе 1920-х-1930-х гг. антибиографической тенденции<sup>8</sup>.

Хотя методология Ходасевича-биографа традиционно считается генетически родственной психолого-биографическому подходу к литературным произведениям, однако этот взгляд базируется на анализе главным образом его пушкинистских работ. Если же перейти к рассмотрению тех сторон биографического дискурса Ходасевича, которые имеют отношение к личности других русских писателей<sup>9</sup>, то здесь уже в отзывах первых критиков можно увидеть проблемность. Так, В.В. Вейдле и М.А. Алданов на-

---

<sup>7</sup> Ученые, придерживающиеся биографического метода либо родственного ему психолого-биографического подхода к литературным произведениям, исходят в своих исследованиях из презумпции каузальности, якобы существующей между художественными высказываниями писателя и теми или иными внелитературными рядами (собственно говоря, настоящими объектами их исследования), которые прямо или косвенно связаны с биографической личностью того же писателя. Под «биографической личностью» писателя мы понимаем его конкретную, «человеческую», индивидуальность.

<sup>8</sup> Вопрос о существовании в отечественной науке и литературе 1920-х-1930-х гг. антибиографической тенденции рассматривается в Первой главе монографии.

<sup>9</sup> Педалирование Ходасевичем специфичности концепции личности Пушкина в ряду концепций других писательских индивидуальностей чутко уловил, правда, в негативном плане, Айхенвальд в отзыве на программную статью исследователя «О чтении Пушкина (К 125-летию со дня рождения)» (1924): «...слишком невинным и бесспорным оказывается тот вывод нашего биографа, согласно которому и лирика и эпос Пушкина глубоко автобиографичны. О каком поэте этого сказать нельзя? <...> Кто из поэтов, в большей или меньшей степени, не претворяет своей жизни в свое творчество? *Здесь нет специфичности* <курсив наш – В.Ч.>, и не такими соображениями должна бы оправдываться та ценная работа над Пушкиным-человеком и Пушкиным-поэтом, которую мастерски проделывает Ходасевич» (Айхенвальд 23.07.1924).

ходят, что Ходасевич в биографии «Державин» (1931) недостаточно учитывает биографический статус художественных произведений Г.Р. Державина<sup>10</sup>. А.Л. Бем критикует его за подобную методологию в отношении личности Н.С. Гумилева<sup>11</sup>. Современный американский ученый Джон Э. Мальмстад указал в своей статье «Ходасевич и формализм: несогласие поэта» (1985) на возможную связь данной проблемы с неоднозначным отношением Ходасевича к формализму. Его анализ программной в этом смысле статьи критика «Памяти Гоголя» (1934) вплотную подводит нас к одному из основных положений нашего исследования: о релевантности понятия «литературной личности»<sup>12</sup>, впервые введенного в научный оборот формалистами, для ходасевичевской концепции личности писателя.

В данной статье Ходасевич применяет генетически формалистское понятие «эволюции стилей» к личности Гоголя, Пушкина, Жуковского и русских писателей XVIII века<sup>13</sup>. Другими словами, Ходасевич, предварительно оговорив разницу в целевых установках (не изучение приема ради приема), реализует формалистское понятие «литературной личности» для характеристики духовного мировоззрения названных писателей.

Для нашей работы особенно важен следующий тезис Ходасевича о сущностном различии биографической и литературной личности русских писателей XVIII века, прежде всего – Державина. Он, по словам критика, руководствуясь своими эстетическими взглядами на природу соотношения искусства и действительности («метод художественных суждений о мире» (Ходасевич 1996- II: 293), хотел быть «наблюдателем, созерцателем, остающимся в стороне от наблюдаемого, как бы стоящим выше и с высоты своей живописующим должное в противоположение сущему» (Ходасевич 1996- II: 294). Хотя идеальный поэтический образ «какого-то крепкого мужа» (здесь Ходасевич цитирует определение Гоголя) «влият на жизненные поступки Державина, <...> связать свою судьбу с участием этого образа Державин не намеревался, – по крайней мере, сознательно» (Ходасевич 1996- II: 294).

---

<sup>10</sup> См. указанные выше статьи.

<sup>11</sup> См. статью Бема «Еще о Гумилеве» (1931) в издании: Бем 1996. Подробный анализ высказываний Вейдле, Алданова и Бема см. ниже.

<sup>12</sup> Согласно исчерпывающей формулировке Оге А. Ханзен-Лёве, «литературная личность» – это «персонификация имманентной произведению авторской перспективы и реализуемого в воображении „образа поэта“ – иллюзии, позволяющей реальному автору (Автор 1) выступать одновременно и как „лирическому герою“ (персонификация „лирического Я“), и как творцу произведения, в котором фигурирует лирический герой» (Ханзен-Лёве 2001: 404).

<sup>13</sup> Таким образом, выясняется, между прочим, литературоцентричность и жизнотворческих моделей в ходасевичевской концепции писательской личности, в частности, – Пушкина. Как тонко писала по этому поводу современная исследовательница Е.М. Петровская: «Мир культуры был для Ходасевича более осязаемым и, как кажется, более прочным, нежели мир исторической реальности. Его „умственный взор“ совершал движение от уже осмысленных культурой явлений – к их „естественному“ бытованию. Ходасевич распознавал вещи литературного („культурного“) порядка прежде всего, отсюда уже происходило обратное движение к миру реальностей» (Петровская 1998: 152-153). В качестве примера такого хода мысли – от эстетической рецепции живописного портрета к восприятию личности человека, послужившего моделью для этого портрета – Петровская приводит заметку Ходасевича «Памяти баронессы В.И. Искуль фон Гилленбанд».

Мы полагаем, что в данном случае Ходасевич сформулировал структурную модель своей художественной биографии «Державин»<sup>14</sup>, и поэтому руководствуемся ею в нашем исследовании концепции личности главного героя этого произведения.

Критиками 1920-1930-х гг. и, вслед за ними, Мальмстадом была отмечена еще одна методологическая установка Ходасевича, во многом определяющая, в конечном итоге, иерархическую структуру системы персонажей-писателей в его биографических произведениях в целом. Имеется в виду полемичность Ходасевича по отношению к распространенным взглядам на личность Державина как конструктивный фактор ходасевичевской концепции этой личности. Так, П.М. Бицилли и Мальмстад<sup>15</sup> указали на пушкинскую концепцию личности Державина как на один из конкретных адресатов полемики Ходасевича как в биографии «Державин», так и в историко-биографических и литературно-критических статьях и очерках, которые по своей тематике примыкают к этому произведению, то есть являются, так сказать, его «спутниками».

Сам Ходасевич открыто полемизировал с пушкинской концепцией личности Державина как персонажа «Истории Пугачева» в статье «Пушкин о Державине», опубликованной в парижской газете «Возрождение» 7 сентября 1933 года. Эта статья Ходасевича еще не служила предметом специального анализа. Между тем, она не только является ключевой для понимания антипушкинского полемического дискурса Ходасевича в биографии «Державин», но в ней затрагивается целый ряд проблем, актуальных как для пушкиноведения, так и для державиноведения<sup>16</sup>. Мы имеем в виду прежде всего проблему фактической достоверности «Истории Пугачева» в целом и державинского сюжета этого произведения в частности. Решение этой проблемы, в свою очередь, напрямую связано с подобной проблемой в рецепции «Записок» Державина.

Вопрос о фактической достоверности «Истории Пугачева» впервые был серьезно поставлен во второй половине XIX века. В это время соответствие исторического изложения документам было доведено до педантизма и ценилось превыше всяких других достоинств подобного рода исследований. Я.К. Грот в статье «Занятия Пушкина» (1862), специально посвященной работе поэта с источниками «Истории Пугачева», посчитал нужным оправдать допущенные им фактические неточности недоступностью многих документов, а также ограниченным количеством времени и историографической неопытностью<sup>17</sup>. В таком же смысле высказывались

---

<sup>14</sup> До сих пор непревзойденное изложение творческой истории этого ключевого для нашей работы произведения Ходасевича, подаваемой, к тому же, на широком фоне историко-биографических интересов критика, см. в упомянутой работе А.Л. Зорина «Начало» (Зорин 1988), опубликованной в виде приложения к популярному изданию «Державина» (1988).

<sup>15</sup> См.: Бицилли П.М. Указ. соч.; Malmstad John E. The Historical Sense and Xodasevič's Deržavin, P. VII. Подробное обсуждение наблюдений Бицилли и Мальмстада см. ниже.

<sup>16</sup> Ввиду важности данной статьи Ходасевича для нашего исследования, а также ввиду ее труднодоступности, мы посчитали необходимым поместить ее текст в «Приложении» к монографии.

<sup>17</sup> «Недостаток знакомства с самыми важными источниками не мог не отразиться на этом сочинении, и надобно еще удивляться относительному обилию верных и точных сведений, собранных Пуш-



П.М. Щебальский, автор монографии «Начало и характер пугачевщины» (1865), и Н.Н. Фирсов, редактор академического издания «Истории Пугачевского бунта» (1914)<sup>18</sup>. Л. Поливанов в специальном издании сочинений А.С. Пушкина, предназначенном «для семьи и школы», поместил в виде корректирующих сносок к основному тексту «Истории Пугачевского бунта» документально подтвержденные сведения, почерпнутые им из новейшего к тому времени труда Н.Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники» (1884)<sup>19</sup>.

К концу 1920-х гг., когда Ходасевич приступил к написанию биографии «Державин», в которой полемика с пушкинской интерпретацией действий Державина в эпоху пугачевщины играет конструктивную роль, подход к «Истории Пугачева» как к историческому, научному труду стал традиционным и, соответственно, отмечаемые в ней фактические ошибки объяснялись, вслед за Гротом, объективными причинами (недоступность источников, недостаток времени и т. д.)<sup>20</sup>. Так что понадобилась специальная работа Е.А. Ляцкого<sup>21</sup> (разделившего эмигрантскую судьбу Ходасевича), чтобы поднять вопрос о фактической достоверности «Истории Пугачева» на качественно иной уровень, а именно – решать его с учетом художественного задания, которое ставил перед собой автор в этом произведении. Для нас особенно важен следующий вывод исследователя по поводу

---

киным, если вспомним как мало времени он употребил на всю эту работу, и как мало имел навыка в исторических исследованиях» (Грот 1862: 644).

<sup>18</sup> П.М. Щебальский, в частности, писал: «Возбужденное Пугачевское движение принадлежит к числу самых крупных народных движений в XVIII веке; между тем мы имеем о нем лишь одно общее, более или менее полное и удовлетворительное сочинение – Пушкина. Но Пушкин не знал очень многого, что в настоящее время опубликовано в специальных изданиях; он не имел в виду различных явлений чисто-народной, не государственной жизни, соприкасавшихся с Пугачевщиной и ее объясняющих; наконец, по условиям, в которых находилась печать в 30-х гг., Пушкин не мог коснуться некоторых вопросов, более доступных писателю нашего времени. И вот почему его весьма почтенный, впрочем, труд уже не удовлетворяет людей нашего времени» (Щебальский 1865: 6). Фирсов буквально повторил упреки Грота. В сжатом виде его критика представлена в статье «Пушкин как историк (Общая характеристика)», которая была опубликована в 6-том сборнике сочинений А.С. Пушкина под редакцией С.А. Венгерова (1915 г.). См.: Фирсов 1915.

<sup>19</sup> См.: Пушкин А.С. 1888.

<sup>20</sup> Даже В.Я. Брюсов, остроумно высмеявший педантскую критику Фирсова, в общем остался в рамках подхода к «Истории Пугачева» как к научному трактату. Отмеченные им художественные достоинства этого произведения касаются только внешних вопросов стиля. Сравнить: «Мы любим и чтим Пушкина, как великого поэта. Но все же „История Пугачевского бунта“ занимала почетное место в собрании его сочинений, как живое и яркое повествование. Историческая ценность работы ограничивалась тем, что она была исполнена добросовестно и тщательно. Было известно, что Пушкин многого не знал о Пугачеве, уже потому, что следственного дела об нем не было в руках поэта» (Брюсов 1916: 110). Вывод Брюсова: «... Пушкин, как историк, вполне стоял на высоте своей задачи, не только взял на себя трудное дело, но и исполнил его так хорошо, как немногие могли бы его исполнить в то время. <...> Пушкин сделал все, что может сделать в истории человек добросовестный, образованный, умный, не одаренный только особым „историческим гением“, пролагающим в науке новые пути. Но гениальность Пушкина сказалась в другом. Он написал свою „Историю Пугачевского бунта“ тем ясным, сжатым и простым языком, который навсегда должен остаться образцом для такого рода повествований. И, конечно, „Историю“ Пушкина, независимо от ее исторических несовершенств, будут читать и тогда, когда почтенный труд академика Дубровина будет известен лишь самым ярким библиографам, а критика проф. Фирсова – лишь самым ярким пушкинистам, собирающим курьезы, которые имели какое-либо отношение к великому поэту» (Брюсов 1916: 122-123).

<sup>21</sup> Эта работа называется «Пушкин-повествователь в „Истории Пугачевского бунта“» (1929). См.: Ляцкий 1929.

принципа работы Пушкина с документами, продиктованного его поэтическими устремлениями, а не научной целью в ее чистом виде: «... в изложении пугачевщины он имел в виду по преимуществу только Пугачева и в официальных документах искал не внутренней связи событий, но следов эпохи, отражений ее бытового склада, мятежного мировоззрения и языка. С этой точки зрения Пушкин легко мог бы отвести упреки, делаемые позднейшими историками<sup>22</sup>: он интересовался не историей в ее прагматическом построении, но действием своего воображения, возбуждаемого историческими источниками»<sup>23</sup> (Ляцкий 1929: 270).

В настоящее время благодаря главным образом исследованиям А.А. Карпова<sup>24</sup> и В.М. Блюменфельда<sup>25</sup> вопрос о целесообразности подхода к «Истории Пугачева» как прежде всего к произведению с художественным авторским заданием, по-видимому, решается однозначно<sup>26</sup>. В этом

---

<sup>22</sup> По-видимому, Ляцкий имеет в виду упреки Пушкину прежде всего со стороны Я.К. Грота и Д.Г. Анучина в том, что тот не воспользовался в должной мере документами, имеющимися в его распоряжении. В связи с этим ученые едва ли не обвиняли автора «Истории Пугачева» в небрежности и легкомысленном отношении к теме. Грот, указав на незнание Пушкиным многих источников как на одну из главных причин допущенных им фактических ошибок, оговаривается: «Впрочем иногда заметно, что он не вполне пользовался и теми материалами, какие были в руках его, и довольствовался легкими, хотя и мастерскими очерками, когда можно было развить предмет с большею подробностью. Даже некоторые из документов им самим напечатанных остались у него как будто без приложения к делу» (Грот 1862: 644). С аналогичной позиции критиковал пушкинское изображение начальных событий пугачевщины Анучин: «История Пугачевского бунта, написанная Пушкиным, хотя гораздо подробнее говорит о начале мятежа, чем о второй его половине, однако далеко не разъяснила сомнений и не выставила дела в настоящем его виде, чего нельзя, впрочем, отнести к недостаточности документов, по которым Пушкин писал свою историю. Имея в руках все официальные бумаги, находившиеся у Пушкина, мы убедились, что материалы эти совершенно достаточны для подробного и всестороннего изложения начала восстания, и непонятно, почему Пушкин ограничился только ничтожною их частицей, оставив без внимания едва ли не самые существенные данные» (Анучин 1869в: 5).

<sup>23</sup> Между прочим, Ляцкий указал на тот факт, что современники Пушкина (в отличие от последующих историков) заметили «двойственный, другими словами, не чисто исторический характер „Истории Пугачевского бунта“» (Ляцкий 1929: 279). В качестве примера он привел указание В.Б. Броневского «на не вполне научный способ пользования материалами», в частности, ссылки на сомнительные исторические источники (Ляцкий 1929: 281).

<sup>24</sup> См.: Карпов 1978. Для нашей работы особенно ценно установочное утверждение Карпова по поводу проявления художественного начала в «Истории Пугачева» не только на стилистическом (языковом) уровне, но прежде всего в содержательном плане. По словам исследователя: «Художественное начало проявляется и в подходе автора „Истории Пугачева“ к отбору источников, и в методах их исторической критики, и в способах их использования в тексте. Оно обнаруживает себя в широком применении принципов художественной типизации, в символике реалистических деталей. Наконец, интерес Пушкина-поэта к теме народного восстания определяет самую специфику видения событий в их связи с судьбами отдельных участников, проявляется в стремлении соединить изучение исторических фактов с исследованием человеческих характеров, – стремлении, зафиксированном уже в заглавии пушкинского труда» (Карпов 1978: 51).

<sup>25</sup> См.: Блюменфельд 1968.

<sup>26</sup> Этот подход позволяет избежать и тактики замалчивания фактических ошибок Пушкина, применяемой из лучших побуждений. Впрочем, этот подход к «Истории Пугачева» находится в одной плоскости с критикой этих самых фактических ошибок: и в том, и в другом случае оценке подлежит «научность» пушкинского изложения. Мы имеем в виду монографию А.И. Чхеидзе, специально посвященную работе Пушкина-автора «Истории Пугачева» с документами. Рефреном в книге Чхеидзе звучит утверждение: «Он сообщает в „Истории“ лишь те факты, которые в том или ином виде засвидетельствованы находившимися в его руках материалами» (Чхеидзе 1963: 55). Соответственно, исследовательница считает, что изображение событий петровской экспедиции соответствует показаниям ее участников – казаков В.И. Малохова и И.Г. Мелехова (Чхеидзе 1963: 190-191), хотя уже Щебальский, впервые обнаруживший данный рапорт, отметил отсутствие в нем имени Державина как офицера, спасшегося бегством от погони Пугачева (Щебальский 1865: 107).

достижении, безусловно, есть заслуга и Ляцкого, поскольку Карпов в своих изысканиях во многом отталкивался от его наблюдений. При этом имя Ходасевича как одного из авторов современного подхода к «Истории Пугачева» даже не упоминается.

Между тем, Ходасевич поставил вопрос о художественном задании как о единственно адекватном авторскому замыслу в этом произведении, на наш взгляд, даже более остро, чем Ляцкий. Анализ биографии «Державин», а также статей-«спутников» этого произведения («Пушкин о Державине» (1933), «Дмитриев» (1937), «Война и поэзия» (1938) и т. д.) показывает, что Ходасевич видел в фактических «ошибках», допущенных Пушкиным при изложении державинского сюжета «Истории Пугачева», функциональное (художественное) задание, обусловленное его концепцией личности Державина.

Вообще говоря, отсутствие ссылок на Ходасевича в современных научных работах представляется несправедливым по отношению к его дару исследователя русской литературы и истории. Знал ли на самом деле Пушкин «Записки» Державина? в чем смысл иронического изображения фигуры Державина в «Истории Пугачева»? чем же занимался Державин в Малыковке, прав ли он был в саратовских пререканиях и неужели все-таки бежал из-под Петровска и затем из Саратова перед самым нашествием Пугачева? – более специальные вопросы: как соотносятся «Записки» Державина с другими автобиографическими текстами поэта, прежде всего – с «Объяснениями» к стихам? как эти последние соотносятся со стихами? – еще более специальный вопрос: как реципировал Я.К. Грот стихотворное и прозаическое наследие Державина? – все эти проблемы и еще многие другие из числа активно обсуждаемых современными учеными<sup>27</sup> так или иначе решались Ходасевичем; некоторые из вышеперечисленных вопросов, особенно по теме «Пушкин и Державин» и «Действия Державина в эпоху пугачевщины», имеют давнюю традицию изучения<sup>28</sup>, и ответы Ходасевича на эти вопросы объективно являются, таким образом, связующим звеном между «минувшим» и «нынешним» состоянием их изученности. Обращение к историко-литературному наследию Ходасевича, таким образом, весьма стимулировало бы исследовательскую мысль в поисках однозначного решения перечисленных выше проблем.

В связи с указанным игнорированием современными учеными взглядов Ходасевича особенно тревожной представляется ситуация в державиноведении, где, как будет подробно показано ниже, исследователи, допуская, казалось бы, элементарные фактические ошибки, не могут придти к

---

<sup>27</sup> Вопрос о степени знакомства Пушкина с «Записками» Державина рассматривается в работах американских славистов Д. Бетеа и А. Бринтлингер (см.: Бетеа, Бринтлингер 1995; Бетеа 2003). «Более специальные вопросы» поставлены И.Ю. Фоменко (Фоменко 1983) и С.В. Паниным (Панин 2007). «Еще более специальный вопрос» обсуждался В.А. Западным и А.Л. Зориным (Западов В.А. 1980; Зорин 1986).

<sup>28</sup> Краткий, но содержательный обзор основных точек зрения на значение державинского творчества для Пушкина содержится в работе Г.С. Татищевой «Пушкин и Державин» (1965). См.: Татищева 1965: 106-107.

единому мнению по поводу формулировки малыковского задания Державина или того хуже – комментируя действия поэта в Саратове, фактически обвиняют его в трусости и дезертирстве.

Особняком в нашей работе стоят проблемы фактической достоверности «Записок» Державина и руссоистской модели как культурно-исторического образца конфликтного поведения поэта, имеющие фундаментальное значение для ходасевичевской концепции личности Державина.

Первая из обозначенных проблем возникла сразу же после публикации державинских «Записок» в 1858 году. Я.К. Грот и Н.Ф. Дубровин обратили внимание на несоответствие многих сведений, передаваемых мемуаристом, с документами эпохи пугачевщины. Многие рецензенты и критики отмечали субъективные моменты при передаче Державиным в «Записках» собственных действий, а также в характеристике поведения своих врагов. Однако в целом «Записки» Державина были рассматриваемы как полноценный фактологический источник по истории России второй половины XVIII-начала XIX веков. Данное положение сохраняется до сих пор.

Между тем, Ходасевич подошел к проблеме достоверности державинских «Записок» с принципиально новой точки зрения, акцентировав внимание читателя на фикциональной<sup>29</sup> стороне этого произведения. Так, в биографии «Державин» он провел литературные параллели между «Записками» Державина и «Записками о галльской войне» Цезаря, «Мертвыми душами» Гоголя, «Войной и миром» Л.Н. Толстого. Он показал, что организация повествования «Записок» во многих отношениях предвосхищает достижения классиков XIX столетия. На наш взгляд, подход Ходасевича к «Запискам» Державина как прежде всего к произведению с художественным авторским заданием заслуживает самого пристального внимания со стороны современных исследователей, требует своего развития и доведения до логического конца. Как будет показано в нашей работе, такой подход может дать многое и для понимания пушкинского изображения действий Державина в «Истории Пугачева».

Что касается проблемы руссоистской модели как культурно-исторического образца конфликтного поведения Державина, то в нашей работе она рассматривается во многом в гипотетичном плане. Принято считать, что конфликтным, или, другими словами, горячим, неуживчивым Державин был от природы. Культурно-исторических образцов для такого типа поведения не искалось ни в дореволюционной, ни в современной науке. Правда, справедливости ради надо сказать, что все-таки попытка постановки данной проблемы фиксируется в статье В.А. Западова «Державин и Руссо» (1974). Хотя исследователь решает здесь проблему рецепции философского и художественного творчества Жан-Жака Руссо в поэзии Державина, однако попутно высказывает ряд ценных для нашей концепции наблюдений, касающихся возможного влияния взглядов французского фи-

---

<sup>29</sup> От английского слова *fiction* – вымысел, выдумка. Под фикциональными мы понимаем тексты с установкой на вымысел, в отличие от документальных текстов с установкой на корректную передачу информации.

лософа на поведение поэта в быту. Например, по мнению В.А. Западова, руссоистская концепция «естественной религии» напрямую повлияла на решение Державина не вступать в масонскую организацию (Западов В.А. 1974: 59). Кроме того, исследователь обратил внимание читателя на мнение Г.П. Макогоненко<sup>30</sup>, считавшего, что выбор Державиным для перевода так называемой «Ироиды, или Письма Вивлиды к Кавну» был обусловлен влиянием просветительской литературы руссоистского типа и свидетельствует о близости поэту «идеала свободной личности» и идеи противопоставления сердца разуму<sup>31</sup>. В конце статьи В.А. Западов указал на одно из писем Юлии, главной героини романа Руссо «Юлия, или новая Элоиза», как на образец стихотворения Державина «Письмо к супругу в Новый 1780 год», тем самым доказав, что этот «катехизис» руссоизма был поэту отлично известен.

В нашей работе мы исходим из убеждения, что изображение в «Истории Пугачева» саратовских действий Державина целесообразно рассматривать в аспекте критического отношения Пушкина к руссоистской модели поведения и что Ходасевич, в свою очередь, акцентирует в позитивном плане грибоедовский код в поведении главного героя биографии «Державин» в целях полемики с антируссоистским пушкинским дискурсом.

Если до публикации «Записок» Державина реноме Державина как поэта и как человека в общественном мнении стояло на недостижимой, абсолютной высоте, и Пушкин, по выражению Д.Д. Благого, «в своем отношении к Державину <...> один против всех отважно вступил в бой, пошел „против течения“»<sup>32</sup> (Благой 1959: 218), то их обнародование, состоявшееся в 1859 году, произвело эффект разорвавшейся бомбы и, как казалось, навсегда подорвало репутацию поэта. Так что выход в свет в 1864 году первого тома собрания сочинений Державина, подготовленного к печати Я.К. Гротом, только укрепил сложившееся мнение. Критики, печатавшиеся в самых различных изданиях, в один голос заговорили о ничтожности Державина как человека, о его честолюбии, самомнении, необразованности и т.д. Как до сих пор биографическая личность поэта отождествлялась с его лирическим героем<sup>33</sup> и, соответственно, превозносилась до небес, так

---

<sup>30</sup> Данное мнение Макогоненко высказал в 1969 году в книге «От Фонвизина до Пушкина» (с. 370).

<sup>31</sup> Приводим соответствующий фрагмент статьи В.А. Западова полностью: «В 1773 г. в журнале В.Г. Рубана «Старина и новизна» был опубликован державинский перевод «Ироиды, или Письмо Вивлиды к Кавну» (автор немецкого оригинала пока не установлен). По справедливой оценке Г.П. Макогоненко, который впервые обратил внимание на это произведение (не включенное Гротом в собрание сочинений Державина), «выбор „Ироиды“ о Вивлиде для перевода носит принципиальный характер. Он свидетельствует о том, что Державин был отлично знаком с просветительской литературой руссоистского типа, ему близок идеал свободной личности. Пока эта свобода рассматривается лишь с нравственной точки зрения, как свобода чувства. Но уже здесь отчетливо выражен мотив противопоставления сердца разуму. Эта идея будет усвоена Державиным. „Языком сердца“ будет он говорить в пору своей зрелости...» (Западов В.А. 1974: 60).

<sup>32</sup> Цитируется статья Д.Д. Благого «Пушкин и русская литература XVIII века», датированная 1941 годом.

<sup>33</sup> См., например, впечатления П.И. Шаликова, посетившего Державина на Званке летом 1810 года и реципировавшего личность поэта в соответствии с образом героя его «горацианской» лирики: «Никто из посетителей не был обойден приветливостью доброго Вельможи; – блеск и грубость здесь совсем неизвестны; он так же говорит, так же поступает, как пишет, как чувствует, думает. Его желанья – скромно жить, / Не с завистью, с сердечным миром; / А злату не бывать души его кумиром!». (Цит. за-

теперь герой «Записок» был понят как «истинный» Державин. В результате, произошло растождествление биографической и литературной личности Державина, однако не в плане поэтики, а в плане, так сказать, нравственном: идеальная поэзия Державина объявлялась лицемерной; ее возникновение объяснялось карьеристскими видами автора на продвижение по служебной лестнице. Кажется, самое поразительное мнение по этому поводу высказал известный педагог В.И. Водовозов, который провел причинно-следственную связь между созданием серафической оды «Бог» и назначением Державина на должность олонекского губернатора<sup>34</sup>.

В современной науке на тему концепции личности Державина в критике 60-х годов XIX века известны только две обзорные статьи А.В. Западова и Г.Г. Елизаветиной<sup>35</sup>. А.В. Западов рассматривает полемическую позицию некрасовского «Современника» по поводу целесообразности академического издания сочинений Державина и объясняет ее требованиями социально-общественной борьбы, которую вели разночинцы с официозной наукой и критикой. Г.Г. Елизаветина выделяет из общего потока отрицательных отзывов на державинские «Записки» упомянутую рецензию В.И. Водовозова и статью Н.Г. Чернышевского «Прадедовские нравы» (1860) как «спокойные» и «исторически объективные» (Елизаветина 2007: 237) и в концовке статьи утверждает, что «только усилиями собственно историков литературы устанавливалась в эту эпоху некая объективность в отношении к культурному наследию XVIII века» (Елизаветина 2007: 239). Ни тот, ни другой исследователь не сомневаются в объективности сведений, приводимых в державинских «Записках», и мотивируют низкие оценки личности и творчества Державина, зафиксированные в критике 1860-х годов, либо внешними причинами (А.В. Западов), либо субъективностью восприятия (Г.Г. Елизаветина).

Ходасевич подошел к данной проблеме с принципиально других позиций. Прежде всего, он не считал взгляды Грота и других историков второй половины XIX века по поводу личности и творчества Державина до конца объективными и, как таковые, не подлежащими критике. В этой связи напомним хотя бы преамбулу писателя к своей биографии «Державин», где «колоссальная исследовательская работа, совершенная Я.К. Гротом в течение пятидесяти лет» (Ходасевич 1988: 30), обозначается как тот материал, от которого ему предстоит оттолкнуться в попытке «по-новому рассказать о Державине и <...> приблизить к сознанию современного читателя образ великого русского поэта – образ отчасти забытый, отчасти затем-

---

метка «Министр, Поэт, добрый человек, Патриот» (1810) по: Курилов 2007: 35). В думе К.Ф. Рылеева «Державин» (1822) биографическая личность поэта отождествляется, в соответствии с декабристскими идеалами, с лирическим героем обличительных стихотворений «Вельможа» и «Властителям и судиям»: «Таков наш бард Державин был, – / Всю жизнь он вел борьбу с пороком; / Судьям ли правду говорил, / Он так гремел с святым пророком... <далее цитируется «Властителям и судиям»>» и т. д. (Рылеев 1983: 197).

<sup>34</sup> «Поэзия была занятием в свободное время от дел, т. е. во время отставки, – рассуждает В.И. Водовозов, – и служила к тому, чтобы получить новое место. Даже самая ода „Бог“, оконченная в одно время со стихами „Видение Мурзы“, как-то странно совпадает с получением губернаторского места в Петрозаводске» (Водовозов 1860: 24).

<sup>35</sup> См.: Западов А.В. 1964; Елизаветина 2007.

ненный широко распространенными, но неверными представлениями» (Ходасевич 1988: 30).

Не осталась без внимания со стороны Ходасевича и критика 1860-х гг., прежде всего – концепция Н.Г. Чернышевского, представляющая собой, вопреки утверждению Г.Г. Елизаветиной, типичный образец распространенных негативных взглядов как на личность и творчество Державина, так и на эпоху Екатерины Великой в целом. Развенчанию положительных взглядов Н.Г. Чернышевского как главного идеолога шестидесятиничества Ходасевич посвятил статью с символическим названием «Лопух» (1932)<sup>36</sup>. Как мы полагаем, трактовка Ходасевичем в биографии «Державин» некоторых эпизодов в карьере ее главного героя полемически направлена против их интерпретации Чернышевским и другими критиками-шестидесятниками.

Далее. В статье «Пушкин о Державине» Ходасевич указывает на пушкинскую концепцию личности Державина в «Истории Пугачева» как на источник некоторых взглядов Я.К. Грота и других историков. Точно так же у него были все основания считать, что именно антидержавинские выступления Пушкина повлияли на негативную оценку в критике 1860-х гг. личности и творчества Державина, поскольку в ней содержатся частые ссылки на их авторитет. В нашей работе мы рассматриваем концепции этих критиков и исследователей как генетически родственные пушкинской концепции личности Державина.

В творчестве Ходасевича «антибиографична» не только концепция личности Державина. Напомним, что в упомянутой выше программной статье «Памяти Гоголя» Ходасевич заявлял о сущностном различии биографической и литературной личности не только Державина, но и русских писателей XVIII века в целом. Из них Ходасевич особенно выделил Н.М. Карамзина, как писателя, чьи взгляды на «отношение человека к художнику в себе самом» (Ходасевич 1996- II: 294) аналогичны державинским. По словам критика, Карамзин, так же как и Державин, «стремил<ся> остаться сторонним наблюдател<ем> мира» (Ходасевич 1996- II: 294).

В нашей работе мы анализируем концепцию личности Карамзина, представленную Ходасевичем, как один из возможных, в контексте его биографического творчества в целом, вариантов соотношения литературной и биографической личности писателя. В таком же плане устанавливаются системные связи между образами Карамзина и И.И. Дмитриева, Карамзина и А.Н. Радищева.

В качестве материала для анализа берется в первую очередь вершинное произведение писателя, созданное в историко-биографическом жанре: художественная биография «Державин» (1931). Кроме того, рассматриваются очерки, статьи, заметки Ходасевича, тематически связанные с данным произведением.

---

<sup>36</sup> См.: Ходасевич 13.07.1932.

Актуальность работы заключается в том, что в ней предпринимается попытка ввести в широкий научный оборот достижения Ходасевича в области истории русской литературы последней трети XVIII-первой половины XIX веков; заново поставить вопрос об отношении Ходасевича к формализму.

При изучении художественного творчества Ходасевича мы исходили из презумпции метаязыковой функции научных работ писателя. Другими словами, анализируя биографию «Державин», мы руководствовались прежде всего методологическими указаниями его автора, выраженными в предметно-логической форме. Однако при этом приходилось «делать скидку» на возможный фикциональный статус, часто лишь по форме предметно-логических, метакомментариев Ходасевича.

Кроме того, методология исследования основана на сочетании структурного, внутритекстового, анализа текста с «экстровеерсивным» подходом, подразумевающим обращение ко всему контексту творчества Ходасевича, соответственно, – как в интратекстуальном (установка на имманентный «единый текст»), так и в интертекстуальном планах.

Этот труд я хотел бы посвятить памяти моего незабвенного учителя профессора Валентина Ивановича Фатющенко. Возникновению книги я обязан проницательным замечаниям моего научного консультанта профессора Алексея Николаевича Варламова. Духовная поддержка и любовь моей мамы позволили мне в течение трех лет посвятить всего себя собственно исследовательским задачам.



**ПРОБЛЕМА БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
В НАУКЕ И КРИТИКЕ 20-х-30-х ГОДОВ XX ВЕКА**

**Раздел 1. Кризис биографической методологии в советской науке  
и критике межвоенного двадцатилетия**

**§ 1. «Биографизм» методологии М.О. Гершензона  
в рецепции критики 1920-1930-х гг.**

В 20-30-е годы XX века в науке господствовал, условно говоря, «биографический» подход к художественным произведениям<sup>37</sup>.

Наиболее радикальной в этом смысле была исследовательская установка М.О. Гершензона, остро сформулированная в преамбуле к статье «Северная любовь Пушкина», вошедшей в книгу «Мудрость Пушкина» (1919): «Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства, – надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину» (Гершензон 1997: 53).

Парадоксальные утверждения Гершензона по поводу буквального прочтения лирики Пушкина как основного методологического ключа в изучении личности и творчества поэта с удовольствием цитировали оппоненты исследователя, тем самым внедряя его идею в широкое литературное сознание. Так, Б.В. Томашевский, иронически комментируя тезис об «элементарной правдивости» пушкинской поэзии, упоминал в виде курьеза отрицание Гершензоном «самой возможности написания Пушкиным стихотворения о зиме в иное время года»<sup>38</sup> (Томашевский 1990: 66). В.В. Вересаев ссылаясь на следующее устное заявление Гершензона по поводу «правдивости» стихотворения Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...»: «Для меня настолько несомненна глубочайшая автобиографичность Пушкина до самых незначительных мелочей, что когда я, напр., в стихотворении к Гнедичу („С Гомером долго ты...“) читаю:

---

<sup>37</sup> Его определение см. в сноске 7.

<sup>38</sup> Имеется в виду следующее рассуждение Гершензона из эссе «Метель», которое вошло в книгу «Мудрость Пушкина»: «... „Бесы“ написаны в начале сентября, когда нет никаких метелей, ни снега, когда вообще в помине не было той реальной обстановки, которая изображена в этом стихотворении. Пушкин никогда не выдумывал фактов, когда излагал их автобиографически; напротив, в этом отношении он был правдив и даже точен до йоты. Он был бы неспособен в солнечный и теплый день ранней осени, лежа на канаве, выводить пером такие строки: „Мчатся тучи, вьются тучи, / Невидимкою луна / Освещает снег летучий, / Мутно небо, ночь мутна...“ Уже одно это соображение об элементарной честности поэта должно было насторожить критиков и читателей» (Гершензон 2001: 360-361). Этот же пассаж как пример «вульгарного представления о <...> процессе творчества лирического поэта» (Вересаев 2000: 43) дважды полностью приводит В.В. Вересаев в книге «В двух планах» (1929). См. : Вересаев 2000: 44, 60.

„И светел ты сошел с таинственных вершин“, – у меня сейчас же встает вопрос: а в каком этаже Публичной библиотеки помещалась квартира Гнедича?» (Вересаев 2000: 90).

Вероятно, благодаря яркой парадоксальности методологических формулировок, «услужливо» распространяемых враждебной критикой, биографический подход Гершензона стал буквально «притчей во языцех» в науке и критике 1920-1930-х гг. и, пожалуй, служил неким универсальным обозначением исследований психолого-биографического характера (в самом широком значении этого слова). С именем Гершензона и в это время, и позже критики самых разных направлений связывали творчество многих писателей и литературоведов межвоенного двадцатилетия.

Уже упомянутый Б.В. Томашевский, ученый, близкий по своим методологическим установкам к формалистам, в своем аналитическом обзоре биографической пушкинианы, опубликованной до 1925 года<sup>39</sup>, именно к Гершензону возводил существующие в научной литературе представления о безусловном биографическом значении поэтических высказываний Пушкина<sup>40</sup>. В полемическом обзоре пушкинианы за 1923 год, опубликованном в журнале «Жизнь искусства»<sup>41</sup>, он посчитал, что гершензоновский метод «медленного чтения» оказал определяющее влияние на методологические установки И.Д. Ермакова («Этюды по психологии творчества Пушкина»)<sup>42</sup>, П.К. Губера («Дон-Жуанский список Пушкина»)<sup>43</sup> и Л.П. Гроссмана («Этюды о Пушкине»)<sup>44</sup>.

В этот же ряд, между прочим, Томашевский поставил и Ходасевича как автора статьи о пушкинской драме «Русалка», вошедшей в книгу «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924). Во всяком случае, в своей рецензии на эту книгу он вписал концепцию статьи в традицию пушкинистских исследований так называемой проблемы «утаенной любви» поэта<sup>45</sup>, которая в начале XX века приобрела самостоятельное значение благодаря публикации упомянутой выше статьи Гершензона «Северная любовь Пушкина»<sup>46</sup>.

---

<sup>39</sup> См.: Томашевский 1990: 43-53.

<sup>40</sup> См.: Томашевский 1990: 49-53, 65-66.

<sup>41</sup> См.: Томашевский 1924.

<sup>42</sup> Эта работа считается репрезентативной при характеристике психоаналитической школы в советском литературоведении 1920-х гг.

<sup>43</sup> Этих двух авторов причисляет к последователям Гершензона и Левкович (Левкович 1966: 283).

<sup>44</sup> Хотя имя Гершензона не названо, но по цитате легко угадать, о чьем методе идет речь: «Зудит у литератора „идея“ – подбирается – ладно или нет – подходящий стих из Пушкина, тот или иной эпизод из его жизни – и готова новая Пушкиниана. А если нет мыслей – то „медленно“ читаются <выделено нами – В.Ч.> любые стихи Пушкина и тягостно накручиваются любые мысли, приходящие в голову литератора по системе свободных ассоциаций» (Томашевский 1924: 15).

<sup>45</sup> Томашевский писал: «Сейчас определенная мода на любовные приключения Пушкина. Недавно закончилась пора аристократических романов и началась полоса демократическая. В прошлом году в Москве открыли, что „утаенная“ любовь Пушкина имела объектом некоторую татарку Анну Ивановну, компаньонку Раевских. Ныне в книге, посвященной совсем не этому, 45 страниц отводится исследованию крестьянской любви Пушкина, происходившей в начале 1826 года» (цит. по: Ходасевич 1999а: 439). В данной рецензии Томашевский полемизирует с биографическим подходом Ходасевича к тексту пушкинской драмы, доводя его до абсурда.

<sup>46</sup> Ссылаемся на следующее указание Р.В. Иезуитовой: «Об увлечении Пушкина М.А. Голицыной писал еще А.И. Незеленов в своей книге „Пушкин и его поэзия“ (СПб., 1882), но именно Гершензон, отчетливо осознав самостоятельное значение проблемы „утаенной любви“, рассмотрел взаимоотношения

Вообще говоря, в критике 1920-х гг., как в советской, так и в зарубежной, имена Гершензона и Ходасевича как исследователей жизни и творчества Пушкина ставятся рядом. Так, марксистский критик Г. Лелевич, призывая к «самой беспощадной борьбе с так называемым биографическим методом в литературоведении», а именно «*покончить* с совершенно ненаучными попытками рассматривать художественное творчество писателя как сплошное отражение его личной жизни», имел в виду прежде всего «упражнения» «покойного» Гершензона и «духовно-покойного» Ходасевича. По его словам, они должны быть «отметены» (Лелевич 1926: 185).

Известный зарубежный критик-импрессионист Г.В. Адамович, указывая на опасность возникновения нового шаблона в понимании феномена Пушкина, в полемических целях, что называется, «спаривает» имена Гершензона и Ходасевича как ученых, чьи усилия в данном смысле слова ничем не отличаются от деятельности их предшественников – И.Я. Порфирьева и А.И. Незеленова, авторов популярных в XIX веке учебников по истории русской словесности. «Порфирьев и Незеленов, – пишет Адамович, – сделали из Пушкина „икону“, на которую обязательно было молиться, но о которой размышлять не полагалось. Ничем не лучше будет, если Ходасевич с Гершензоном, перетолковав Пушкина по-новому, водрузят новый „стяг“, о коем „своего суждения иметь“ не следует»<sup>47</sup> (Адамович 1994: 214).

Впоследствии генетическая зависимость наукологических штудий Ходасевича от гершензоновской методологии отмечалась Я.Л. Левкович<sup>48</sup> и Р. Хьюзом, которому, по-видимому, и принадлежит последнее по времени указание на этот счет<sup>49</sup>. В принципе данная оценка критиков, поддерживается мнением самого Ходасевича, считавшего Гершензона своим учителем и другом<sup>50</sup>.

В 1930-е гг. отмечалось влияние Гершензона на биографические работы Л.П. Гроссмана. По мнению И. Татарова, одного из участников известной дискуссии по поводу проблем советского исторического романа, которая состоялась на страницах журнала «Октябрь» в 1934 году<sup>51</sup>, Гроссман обратился к жанру биографического романа только потому, что уви-

---

Пушкина и Голицыной в особых сюжетных рамках с широким использованием методики „медленного чтения“ произведений Пушкина» (Иезуитова 1997: 9). Статья «Северная любовь Пушкина» была впервые опубликована в 1908 году.

<sup>47</sup> Ироническая соль «вертикального» сопоставления Адамовичем фигур Ходасевича и Порфирьева, по-видимому, заключается в том, что последний был известен прежде всего как исследователь и публикатор памятников древнерусской литературы догматико-полемического характера, а также произведений религиозно-поэтического творчества (апокрифов, духовных стихов, легенд). По формулировке автора Литературной энциклопедии 1920-1930-х гг.: «Работы Порфирьева выдержаны в духе религиозного и политического консерватизма» (Берков 1929-). Таким образом, этим сопоставлением Адамович саркастически ретушировал религиозно-эстетическую установку критических и биографических работ Ходасевича, и не только, кстати сказать, пушкинологических.

<sup>48</sup> См.: Левкович 1966: 283.

<sup>49</sup> «... в своих литературоведческих работах Ходасевич использовал гершензоновский метод медленного чтения и интуитивного биографического угадывания» (Хьюз 1999: 215).

<sup>50</sup> См.: Ходасевич 1996- IV: 236. Подробнее об отношении Ходасевича к гершензоновскому курсу см. в указанной монографии И.З. Сурат (Сурат 1994: 27-36).

<sup>51</sup> Октябрь. 1934. № 7. О критике Татаровым биографических романов Гроссмана см. также в работе О.П. Лебедушкиной (Лебедушкина 1993: 21).

дел невозможность при существующем господстве по-настоящему «научного» марксистского метода продолжать историко-литературные исследования в привычном для себя «гершензоновском» ключе. «Гроссману деваться некуда, – пишет Татаров, – потому что на почве историко-литературной его забывают, потому что эта почва становится научной, и он уходит в область вымысла, он берет форму биографического романа, который дает ему возможность маскировки» (Татаров 1934: 215). Таким образом, Татаров утверждает влияние Гершензона на биографические романы Гроссмана<sup>52</sup>.

Кроме того, влияние Гершензона находили у одного из последних представителей русской культурно-исторической школы П.Е. Щеголева<sup>53</sup> как автора работы «Пушкин и мужики» (1927)<sup>54</sup> у марксистов Д.Д. Благого и Н.Л. Бродского<sup>55</sup>, у Г.И. Чулкова как автора биографии А.С. Пушкина «Жизнь Пушкина» (1936)<sup>56</sup>, и даже у В.В. Вересаева в его антигершензоновской книге «В двух планах» (1929)<sup>57</sup>. Современный американский ученый Б. Горовиц даже пишет о влиянии Гершензона на Ю.Н. Тынянова как

---

<sup>52</sup> Влияние Гершензона на стиль Гроссмана как автора сборника статей «Цех пера» (1930) отмечал автор рецензии, напечатанной в журнале «Русский язык в советской школе» (1930, № 2): «Труд одного критика может приближаться к построению философской системы; опыты другого являются лишь „краткими рассказами“ (как сказал о своих опытах Корней Чуковский) или даже „критическими романами“, какими по существу должны быть признаны некоторые работы покойного М. Гершензона, оказавшего большое влияние на Л. Гроссмана» (Русский язык 1930(а): 219). Рецензия не подписана. Однако, поскольку ответственным редактором журнала являлся известный критик-марксист П.И. Лебедев-Полянский (псевдоним Валериана Полянского), то мы полагаем его автором данной заметки. По-видимому, сам Гроссман подал повод для подобного сравнения своей речью, произнесенной на вечере памяти Гершензона, состоявшемся в Государственной Академии Художественных Наук 6 марта 1926 года. (Речь затем была опубликована под названием «Гершензон-писатель» в книге Гроссмана «Борьба за стиль: Опыт по критике и поэтике» (1927)). В этой речи, посвященной характеристике стиля Гершензона, слушатель мог заметить метаописание Гроссманом собственного стиля. См.: Гроссман 1927: 298-310. Новейшую републикацию этого выступления Гроссмана см. в издании: Гроссман 2000: 430-439.

<sup>53</sup> Ссылаемся на характеристику метода Щеголева, данную Н.К. Пиксановым в некрологе ученого: «Давая превосходные этюды и экскурсии по отдельным писателям, он ни разу не выступил с обобщенной характеристикой целой литературной эпохи или литературного направления. Он воспитался в школе пыпинской, культурно-исторической, либерально-буржуазной. <...> в области исторической методологии он оказался малоподвижным. На всем протяжении своего писательства Щеголев оставался чужд влияниям марксизма» (Пиксанов 1931: 14).

<sup>54</sup> См.: Вересаев 2000: 138.

<sup>55</sup> См. рецензию И. Сергиевского на «Комментарии к „Евгению Онегину“», составленные Н.Л. Бродским: «Так методологическая система Благого, к которой Н.Л. Бродский испытывает заметное тяготение, целиком базируется, с одной стороны, на Гершензоне, обильно уснащенном марксистской фразеологией, а с другой – на Переверзеве. Наличие гершензоновского влияния в книге Н.Л. Бродского еще раз подтверждает, что до сих пор наша критика проявила недостаточно активности и последовательности в борьбе с этим направлением» (Сергиевский 1933: 154).

<sup>56</sup> См.: Левкович 1966: 293. На самом деле Чулков проводил различие между своим подходом и методом Гершензона в подробной аннотации «Жизни Пушкина»: «... его поэзия автобиографична – не в том смысле, как думал покойный М.О. Гершензон, который искал в каждой строке Пушкина буквальной записи повседневной жизни, а в том смысле, что почти все произведения поэта были прямым следствием его собственного жизненного опыта. В их сюжетах нет надобности, конечно, искать точных житейских аналогий, но поэтические признания Пушкина никогда не были плодом отвлеченных мечтаний. Пушкин был великий реалист» (Чулков 1936: 19). См также замечание Б.В. Томашевского по поводу стремления Чулкова вчитать «некую космическую философию» в творчество Пушкина: «Есть опасность, что на этом пути его постигнет такая же неудача, какая постигла М. Гершензона в его старании расфилософствовать Пушкина...» (Томашевский 1938: 50).

<sup>57</sup> См. неподписанную рецензию на книгу В.В. Вересаева «В двух планах» (1929) в журнале «Русский язык в советской школе»: «Над некоторыми статьями реет „дух“ Гершензона, хотя выводы В. Вересаева о характере поэзии Пушкина во многом противоположны гершензоновским» (Русский язык 1930(б): 218).

автора исследования, посвященного «северной любви» Пушкина, а именно статьи «Безыменная любовь» (1939)<sup>58</sup>.

## **§ 2. Полемика Б.М. Эйхенбаума, В.Б. Шкловского и Ю.Н. Тынянова с биографизмом как научным методом**

Против биографизма как научного метода выступили в начале 1920-х гг. опоязовцы Б.М. Эйхенбаум, В.Б. Шкловский и Ю.Н. Тынянов. Главным объектом их полемики стал биографизм «психологической школы»<sup>59</sup>, то есть стремление ее представителей (последователей А.А. Потебни)<sup>60</sup> изучать психологию биографической личности писателя на основании его художественных произведений.

По мнению Эйхенбаума, Шкловского и Тынянова, в художественных произведениях не следует искать какого-либо биографического значения, так как между литературой и реальностью нет прямой связи<sup>61</sup>.

В исследовании «Молодой Толстой» (1922) Эйхенбаум указывает на неизбежное искажение, которому подвергается душевная жизнь при ее словесном оформлении<sup>62</sup>. Отсюда делается парадоксальный вывод о принципиальной неверифицируемости даже таких высказываний писателя по поводу своей душевной жизни, которые были им сделаны в юношеском дневнике, то есть в тексте, традиционно считающимся документальным. «Исходя из убеждения в том, что словесное выражение не дает действительной картины душевной жизни, — пишет ученый, — мы должны как бы

---

<sup>58</sup> «Годы спустя после того, как Гершензон и Щеголев прекратили полемику, — пишет Горовиц, — в 1939 году Юрий Тынянов продолжил диспут, заявив, что Пушкин на самом деле испытывал сильное чувство, „северную любовь“ к Екатерине Андреевне Карамзиной, жене знаменитого историка Н.М. Карамзина. С одной стороны статья Тынянова показывает, что даже самые скрупулезные ученые становятся иногда жертвами собственной интуиции, с другой она отражает то влияние, которое Гершензон имел на метод Тынянова и на те вопросы, которые ставил последний» (Горовиц 2004: 60).

<sup>59</sup> См.: Ханзен-Лёве 2001: 178.

<sup>60</sup> Например, в Литературной энциклопедии 1920-1930-х гг. в числе последователей Потебни называются имена Горнфельда, Райнова, Лезина, Энгельмейера, Харциева. Сравнить: «Остальные ученики П. <отебни> были по существу лишь эпигонами своего учителя. Горнфельд сосредоточивал главное внимание на проблемах психологии творчества и психологии восприятия („Муки слова“, „Будущее искусство“, „О толковании художественного произведения“), трактуя эти проблемы с субъективно-идеалистических позиций. Райнов популяризировал эстетику Канта. Другие ученики П. <отебни> — Лезин, Энгельмейер, Харциев — развивали учение П. <отебни> в направлении эмпириокритицизма Маха и Авенариуса» (Дроздовская 1929-).

<sup>61</sup> См. также заявление опоязовца О.М. Брика в программной статье «Так называемый формальный метод», опубликованной в первом номере журнала «Лев» (1923): «Если поэтическое произведение может быть понято как „человеческий документ“, как запись из дневника, — оно интересно автору, его жене, родным, знакомым и маньякам типа страстно ищущих ответа на „курил ли Пушкин?“ — никому больше» (цит. по: Сакулин 1925: 223). Об антибиографическом выступлении Р.О. Якобсона в статье «Новейшая русская поэзия» (Прага, 1921) см. ниже сноску 71.

<sup>62</sup> «Всякое оформление своей душевной жизни, выражающееся в слове, есть уже акт духовный, содержание которого сильно отличается от непосредственно-пережитого. Душевная жизнь подводится здесь уже под некоторые общие представления о формах ее проявления, подчиняется некоторому замыслу, часто связанному с традиционными формами, и тем самым неизбежно принимает вид условный, не совпадающий с ее действительным, вне-словесным, непосредственным содержанием. Фиксируются только некоторые ее стороны, выделенные и осознанные в процессе самонаблюдения, в результате чего душевная жизнь неизбежно подвергается некоторому искажению и стилизации» (Эйхенбаум 1987: 36).

*не верить* ни одному слову дневника и не поддаваться соблазнам психологического толкования, на которое не имеем права» (Эйхенбаум 1987: 36).

Шкловский, рассматривавший лирику Ахматовой с аналогичной точки зрения, мотивирует элиминирование биографической личности поэтессы сущностным отличием законов литературы от законов реальности. Это отличие дарует литературе свободу от реальности: «Свобода поэзии, отличность понятий, входящих в нее, от тех же понятий до претворения, – вот разгадка лирики» (Шкловский 1990: 143)<sup>63</sup>. Такие понятия реальности, как «душа» либо «человеческая судьба» в литературном произведении являются «суммой стилистических приемов»<sup>64</sup>.

Как показал Оге А. Ханзен-Лёве, Эйхенбаум и Шкловский сохранили антибиографическую установку в своих работах социологического характера, написанных в период последней методологической фазы формализма (1925-1934 гг.)<sup>65</sup>.

На наш взгляд, позиция Ю.Н. Тынянова по отношению к биографизму как научному методу находится в несколько особом положении по сравнению с позициями его соратников по ОПОЯЗу. Хотя он вместе с ними был соавтором идеи «раздельности дела поэта и его биографии» (Чудакова 1973: 69), однако пошел гораздо дальше Эйхенбаума или Шкловского в разработке этой идеи в применении к проблеме личности поэта. Для него автономность литературного произведения от реальности, на утверждении которой главным образом и сосредоточились его соратники в своих выступлениях, является само собой разумеющимся фактом. Не тут ему видится проблема. Тынянов концентрирует свои усилия на характеристике феномена, остающегося в литературном произведении после элиминирования биографической личности писателя.

Как он это делает? Уже в своем первом теоретическом выступлении в связи с данной проблемой – в эссе «Блок и Гейне» (1921), которое было напечатано в сборнике выступлений по поводу смерти А.А. Блока<sup>66</sup>, – он

---

<sup>63</sup> Цитируется рецензия Шкловского на книгу Ахматовой ANNO DOMINI MCMXXI (1922).

<sup>64</sup> См. рассуждение Шкловского из трактата «Розанов» (1921) по поводу автобиографичности таких книг писателя, как «Уединенное» и «Опавшие листья»: «Конечно, в этих произведениях, интимных до оскорбления, отразилась душа автора. Но я попробую доказать, что душа литературного произведения есть не что иное, как его строй, его форма. Или, употребляя мою формулу: „Содержание (душа сюда же) литературного произведения равно сумме его стилистических приемов“» (Шкловский 1990: 121). См. также афоризм Шкловского, высказанный в упомянутой рецензии на книгу Ахматовой: «Человеческая судьба стала художественным приемом» (Шкловский 1990: 143).

<sup>65</sup> По словам исследователя, формалисты при социологическом анализе использовали «технику „исторического обнажения“ или разоблачения шаблонных, конвенционализированных „образов поэта“» «не для того, чтобы обнаружить „подлинного“ человека – Автора 1 („подлинного“ Пушкина, „не искаженный“ характер Толстого, „правду“ об интимной жизни Гоголя), как это пытаются делать любое „демифологизирующее“ исследование в области истории литературы, ориентированное на биографию и действующее с помощью (глубинной) психологии; цель формалистов была обратной – анализ тех литературных приемов, которые вели к перспективной реализации позиции Автора 1 <= „биографической личности“ реального автора> в системе повествовательной перспективы произведения в виде А 2 <= «литературной личности/образа автора/маски», а также приемов „мифологизации“ Автора 2 и превращения в Автора 3 <= «литературно-бытовую личность»> в рамках „литературного быта“» (Ханзен-Лёве 2001: 403).

<sup>66</sup> Напечатано в сборнике выступлений по поводу смерти А.А. Блока (Об Александре Блоке. – Петербург: «Картонный домик», 1921).

ставит знаменитый вопрос – *По ком печалются?* (Тынянов 1921: 237) и, тем самым, сразу указывает на суть проблемы: люди печалются не о реальном, конкретном умершем человеке, которого мало кто знал, а о его лирическом двойнике, *человеческом лице*, персонифицированном всей поэзией Блока (Тынянов 1921: 240). То есть Тынянов акцентирует внимание современников на парадоксальной ситуации, сложившейся вокруг биографической личности Блока в результате экспансии литературной личности поэта: последняя до такой степени вытеснила в сознании читателя первую, что обрела духовное бессмертие по физическом уничтожении брэнной оболочки. Таким образом, Тынянов впервые ввел в научный оборот понятие «лирического героя»<sup>67</sup>, или «литературной личности»<sup>68</sup>.

### **§ 3. Рецензия радикального антибиографизма ОПОЯЗа в науке и критике 1920-1930-х гг.**

#### **3.1. Полемика В.М. Жирмунского, Б.В. Томашевского с радикальным антибиографизмом ОПОЯЗа**

Радикальный антибиографизм ОПОЯЗа получил значительный резонанс в науке и критике 1920-1930-х гг.

Он оказался неприемлем для ученых, в своей методологии стремившихся совмещать биографический подход (в широком значении этого слова) с исследованиями формалистического характера.

Так, В.М. Жирмунский в программной статье «Задачи поэтики» (1919) утверждал правомочность биографического подхода в рамках изучения поэтики художественного произведения<sup>69</sup>. Ниже, критикуя формалистскую теорию эволюции, он декларировал решающее значение генезиса: «Эволюция стиля как системы художественно-выразительных средств или приемов тесно связана с изменением общего художественного задания, эстетических навыков и вкусов, но также – всего мироощущения эпохи» (Жирмунский 1977: 38). В другой статье вместо «мироощущения эпохи» Жирмунский употребляет такие же «психологизированные» термины – «чувство жизни», «художественный вкус эпохи» (Жирмунский 1977: 92)<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> «Понятие „Лирический герой“ впервые сформулировано в 1921 Ю.Н. Тыняновым применительно к творчеству А.А. Блока» (Роднянская 1987: 185).

<sup>68</sup> Ссылаемся на дефиницию А.П. Чудакова, М.О. Чудаковой и Е.А. Тоддеса, согласно которой, в понимании Тынянова, обсуждаемые термины отличаются друг от друга, так сказать, количеством охватываемого ими текстового материала, а не своими денотативными значениями. Сравнить: «В отличие от „лирического героя“, который мог, по-видимому, связываться и с представлением об одном каком-нибудь тексте, „литературная личность“ – категория более широкая, преимущественно межтекстовая – относящаяся ко многим или ко всем текстам писателя» (цит. по: Тынянов 1977: 512).

<sup>69</sup> «... вопрос об искусстве как о социальном факте или как о продукте душевной деятельности художника, изучение произведения искусства как явления религиозного, морального, познавательного остаются как возможности; задача методологии – указать пути осуществления и необходимые пределы применения подобных приемов изучения» (Жирмунский 1977: 18).

<sup>70</sup> Имеется в виду статья «Мелодика стиха (По поводу книги Б.М. Эйхенбаума „Мелодика стиха“, Пб., 1922)» (1922).

– и напрямую пишет о «художественно-психологическом смысле» той или иной «системы стиля» (Жирмунский 1977: 92)<sup>71</sup>. Таким образом, ученый фактически снимает границу между эстетической реальностью художественного произведения и биографической личностью писателя, взятой в ее культурно-психологическом аспекте<sup>72</sup>, которую стремились провести адресаты его полемики в лице участников ОПОЯЗа.

Против радикального антибиографизма опоязовцев выступил также Б.В. Томашевский.

В статье «Литература и биография» (1923) он указал на существование в современной науке двух крайних точек зрения на проблему биографического значения художественных произведений. С одной стороны, как пишет Томашевский, «многих биографов нельзя заставить осмыслить художественное произведение иначе, чем как факт биографии писателя» (Томашевский 1923: 6). Для представителей же «ОПОЯЗа» и «других ветвей «формализма» – «всякий биографический анализ произведения есть внеучная контрабанда» (Томашевский 1923: 6). Свою концепцию ученый строит, отталкиваясь и от той, и от другой крайности. В этом смысле показателен уже иронический тон в приведенных определениях антагонистических течений («нельзя заставить осмыслить», «внеучная контрабанда»<sup>73</sup>), а также взятое в кавычки обозначение научного направления, к которому обычно приписывают Томашевского, – «формализм». Очевидно, эти кавычки символизируют отстраненное отношение ученого к данному явлению (то есть – так называемый «формализм»).

При этом Томашевский отнюдь не считает занятую им позицию нейтральной. По поводу такого *status quo* он употребляет ироническое сравнение с положением человека, находящегося между двумя стульями<sup>74</sup>.

---

<sup>71</sup> В данном фрагменте статьи Жирмунский полемизировал с радикальным антипсихологизмом Р.О. Якобсона, который в трактате «Новейшая русская поэзия» (Прага, 1921) свел отразившиеся в романтической лирике чувства и мысли автора к функции мотивировки «иррационального поэтического построения» (Якобсон 1987: 277). Как иронизирует Жирмунский: «... Р. Якобсон вполне последовательно рассматривает мистическое чувство в романтической лирике как „мотивировку“ известных приемов словесного искусства» (Жирмунский 1977: 92).

<sup>72</sup> Для взгляда Жирмунского на проблему биографического значения художественных произведений весьма показательны также его лекции, читанные в Ленинградском университете в рамках курса «Введение в литературоведение» (стенограмма датируется 1945/1946 учебным годом (Плавский 1996: 6). Так, в отличие от Якобсона (см. сноску 71), Жирмунский считает, что у романтиков поэтическое произведение является «дневником чувства, исповедью, выражением личной жизни поэта» (Жирмунский 1996: 125). Это утверждение обосновывается общим законом романтической эстетики, согласно которому поэзия рассматривается «прежде всего как выражение личных переживаний поэта» (Жирмунский 1996: 125). Вообще говоря, в этом курсе Жирмунский уделил значительное внимание вопросам биографии писателя.

<sup>73</sup> В советской антиформалистской критике 1920-х гг. термины из Уголовного кодекса обычно применялись для характеристики исследовательской деятельности В.Б. Шкловского. Так, «талантливым налетчиком» назвал его А.Г. Горнфельд (см.: Постоутенко 1995-1996: 232). В письме к Горнфельду Томашевский отредактировал его аттестацию Шкловского: «... формалисты есть хорошие и дурные. Хорошие – это „Нос“ Виноградова, кое-какие талантливые *электики*, но есть и скверные – „налетчики“, „обострители“» (цит. по: Постоутенко 1995-1996: 232). «Осторожным *электиком*» среди формалистов Горнфельд называл Жирмунского. Таким образом, по данному письму Томашевского Горнфельду можно судить, насколько отчетливо сознавал его адресант расклад сил, существующий в формалистических кругах.

<sup>74</sup> «Занять нейтральную позицию в вопросе о том, есть ли стихотворение „Я помню чудное мгновенье“ художественное претворение человеческих отношений Пушкина к Керн, или же это есть свободная лирическая композиция с использованием образа Керн как безразличного, не имеющего отношения к



Томашевский подходит к решению проблемы с исторической точки зрения. Он указывает, что биография писателя может быть литературным фактом, в зависимости от той или иной культурно-исторической ситуации. Имеются в виду эпохи, когда интерес читателя к биографической личности автора столь силен, что тот сознательно вводит искомое, естественно, функционально преобразованное, в свои литературные произведения и параллельно конструирует свою жизнь по эстетическим законам своего творчества. Так, по Томашевскому, появляются так называемые «писатели с биографией», то есть писатели, создавшие вокруг своего имени легендарную биографию. Эта биография, по мнению ученого, выполняет конструктивную функцию в произведениях этих писателей и потому не может быть проигнорирована исследователем.

Но где в данной концепции место реальной биографии писателя? Имеют ли, по Томашевскому, художественные высказывания писателя реальное, а не только литературное значение?

В данной статье ученый касается этой проблемы попутно, в связи с выяснением главного вопроса о значимости биографии писателя для понимания его творчества. Так, он мотивирует конструктивную роль легендарной биографии писателя для понимания его произведений, в том числе и наличием в них намеков на факты жизни автора: «Для историка литературы только она <идеальная биографическая легенда – **В.Ч.**> и важна для воссоздания той психологической среды, которая окружала эти произведения, и она необходима постольку, поскольку *в самом произведении заключены намеки на эти биографические – реальные* или легендарные, безразлично – *факты жизни автора* <курсив наш – **В.Ч.**>» (Томашевский 1923: 8).

В другом месте статьи указывается, что при изучении поэтики Блока необходимо учитывать «элементы интимного признания и биографического намека» (Томашевский 1923: 9). А поскольку, как говорится чуть выше, «читатели <Блока – **В.Ч.**> из третьих рук всегда были осведомлены о главнейших событиях его жизни» (Томашевский 1923: 9) и, следовательно, имели возможность убедиться в аутентичности их представлений о биографической личности Блока, то, таким образом, под упомянутыми «намёками» имеется в виду не только их литературный субстрат (иначе лирика Блока оказалась бы дискредитированной в глазах биографически ориентированного читателя).

Прямой ответ на обсуждаемый в данном параграфе вопрос Томашевский дал в монографии «Пушкин: современные проблемы историко-литературного изучения» (1925).

Прежде всего, он отверг всякий догматизм, в том числе, очевидно, и формалистский, при решении этого вопроса. Негативная позиция мотиви-

---

биографии „значка“, „конструктивного материала“ – быть в этом вопросе нейтральным – не значит ли сесть между двумя стульями?» (Томашевский 1923: 6). Для сравнения: в поздней монографии «Пушкин» (1956) Томашевский толковал данное стихотворение в психолого-биографическом ключе как отражение того «чувства прилива жизненных и творческих сил» (Томашевский 1990а II: 336), которое поэт испытал летом 1825 года, к моменту свидания с А.П. Керн.

руется им спецификой гуманитарного знания: «Пора перестать вообще в гуманитарных науках оперировать с непреложностями, с „канонами“, догмами и т.п. Все дело в одной вероятности, и гипотеза отличается от утверждения только тем, что вероятность гипотезы есть совершенно неизвестная величина (искомая), а вероятность утверждения есть величина определенная» (Томашевский 1990: 50). Лирика, по Томашевскому, «намечает вехи для биографической гипотезы» (Томашевский 1990: 50), степень вероятности которой проверяется с помощью побочных свидетельств. А гипотеза иногда оказывается единственным средством для познания темных мест биографии писателя. Отсюда вытекает признание биографического значения лирики: «Лирика – вовсе не негодный материал для биографических разысканий. Это лишь – ненадежный материал» (Томашевский 1990: 50). Таково заключение Томашевского.

### *3.2. Формалистский «антибиографизм» как литературный прием в фикциональном дискурсе В.В. Вересаева*

Все же призыв формалистов не доверять художественным высказываниям писателей нашел сторонников в неакадемической среде. Мы имеем в виду прежде всего Вересаева как автора книги «В двух планах» (1929) и знаменитого монтажа «Пушкин в жизни»<sup>75</sup>.

Первая из них представляет собой сборник эссе, в которых излагается и обосновывается взгляд писателя на проблему биографической значимости художественных произведений Пушкина.

Здесь Вересаев полемизирует главным образом с гершензоновским методом буквального биографического прочтения лирики Пушкина. Именно полемической установкой обусловлена категоричность его утверждений об абсолютной недостоверности стихотворных признаний поэта, вроде следующего: «Кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот составил бы о его личности самое неправильное и фантастическое представление» (Вересаев 2000: 9). Подобные утверждения дали даже повод одному из первых рецензентов книги определить методологический подход Вересаева к изучению творчества Пушкина как «наивный антибиографизм» (Прянишников 1930: 215).

На самом деле, Вересаев не отрицал в принципе автореферентности лирических признаний Пушкина. Он только настаивал на их предварительной верификации посредством соответствующих документальных данных. Так, он резюмировал в концовке наиболее концептуального в этом смысле эссе «Об автобиографичности Пушкина»: «... пользоваться его <Пушкина> поэтическими признаниями для биографических целей можно только после тщательной их проверки имеющимися биографическими данными, и лишь постольку, поскольку эти данные их подтверждают. Иначе говоря, пользоваться ими можно только в качестве иллюстраций, а

---

<sup>75</sup> Первое издание вышло из печати в 1926 году.

никак не в качестве самостоятельного биографического материала». И далее следует утверждение, направленное специально против Гершензона, которое, будучи вырванным из контекста<sup>76</sup>, звучит совершенно так же, как только что цитированное, послужившее Н. Прянишникову мотивировкой для объявления Вересаева «антибиографистом»: «Распространенный обычай конструировать настроения и факты жизни Пушкина на основании поэтических его признаний должен быть признан недопустимым и совершенно ненаучным» (Вересаев 2000: 95).

Другой вопрос – критерии отбора Вересаевым «биографических данных», которые призваны подтвердить или опровергнуть лирические свидетельства поэта.

Уже первые критики «Пушкина в жизни» заметили определяющую роль художественного задания в отборе монтируемых материалов<sup>77</sup>. Наиболее ярко и развернуто эту мысль высказал Б.В. Томашевский в рецензии на второе издание книги. Приведя примеры некритического отношения писателя к документам, и особенно отметив его ссылки на лирику Пушкина как противоречащие собственной декларации о ее биографической недостоверности, критик объясняет эти отступления от нормы научного изложения художественной задачей создания собственного образа поэта. «... в книге чувствуется сильный субъективный отбор, нанизывание документов на предвзятое представление о Пушкине, на собственное, вересаевское понимание его образа. В летописце нетрудно угадать романиста, строящего из обширного чужого материала свою повесть о Пушкине. Чувствуется, куда был направлен интерес составителя, выписывавшего цитаты. „Оригинальнейшая и увлекательнейшая книга“, как ее характеризует Вересаев, получилась в результате того, что об оригинальности и увлекательности цитат решал он сам и образ „гениального гуляки праздного“ строил путем мелочного отбора „интересного“ из огромной кучи „неинтересного“.

---

<sup>76</sup> Именно так поступила Я.Л. Левкович, автор академического обзора биографической пушкинианы, опубликованной до 1966 года. Прочитав данное утверждение в качестве примера вересаевского отказа от «биографической интерпретации творчества Пушкина», чуть ниже она упоминает о сопоставлении фактов из жизни поэта с их интерпретацией в лирике как о типичном для исследователя приеме анализа и говорит в этой связи уже о «пути наивного биографизма», в которых тот якобы оказался (Левкович 1966: 283-284). В результате, вересаевский дискурс в его отношении к биографическому методу оказался непроясненным.

<sup>77</sup> См. оценку И.В. Евдокимова (писателя): «Это <<Пушкин в жизни>> – увлекательнейшее художественное произведение» (Евдокимов 1926: 237). Любопытно, что Евдокимов считает мемуары в принципе фикциональным жанром. При этом он опирается на априорное убеждение в субъективности установки мемуаристов. Именно поэтому, по мнению Евдокимова, неоправданны упреки Вересаеву в некритическом отборе материала. Сергиевский считает использование Вересаевым апокрифических источников удачным литературным приемом, оправданным «вненаучным характером авторского задания и его ориентацией на широкую читательскую массу, а не на узкий круг специалистов» (Сергиевский 1926: 187). «Зачастую ведь фольклор, которым обрастает та или иная историческая личность, – пишет критик, – дает более яркое ее ощущение, нежели многие томы наивнейших биографических разысканий; в мелком, даже заведомо выдуманном, случае индивидуальная специфика выражается иногда отчетливее, чем в целой груде научно-проверенных фактов» (Сергиевский 1926: 187). Позже Сергиевский критиковал Вересаева за «голую документалистику» «Гоголя в жизни» (1933) (Сергиевский 1933а: 144). По его мнению, этот монтаж построен по шаблону «массовой монтажной продукции», с ее установкой на фактографию и «академический критицизм» в отборе материалов (Сергиевский 1933а: 144). Этой книге явно не хватает продемонстрированной Вересаевым в предыдущем монтаже «вольности в обращении с материалом, любви к сочным и остропахнущим бытовым деталям, как бы апокрифичны они ни были» (Сергиевский 1933а: 144).

„Грешный, увлекающийся, часто действительно ничтожный, иногда прямо пошлый, – и все-таки в общем итоге невыразимо привлекательный и чарующий человек“, – вот авторское задание Вересаева, и оно чувствуется на протяжении всей книги» (Томашевский 1927)<sup>78</sup>.

То же самое, по нашему мнению, следует сказать о книге «В двух планах». Вызывающая противоречивость ее дискурса<sup>79</sup> мотивирована художественным заданием: создать яркий и запоминающийся образ «двухпланного» Пушкина. В этой связи определение концептуальных установок Вересаева как «наивного антибиографизма» либо, наоборот, как «наивного биографизма» представляется нерелевантным. Реализуя каламбурное значение заглавия, писатель сменяет маски представителей того или другого научного направления в соответствии с их целесообразностью в художественной структуре книги, которую следует понимать как единый текст<sup>80</sup>.

Итак, Вересаев употребил продекларированный формалистами радикальный антибиографизм как литературный прием. С его помощью он произвел операцию по отсечению тех художественных высказываний Пушкина, которые не укладывались, а часто и опровергали его концепцию, и, наоборот, привлек в качестве полноценных биографических документов анекдотические сведения о биографической личности поэта. Этот прием послужил Вересаеву эффективным средством в борьбе с теми учеными и критиками, которые стремились представить личность Пушкина в соответствии с его статусом великого поэта (М.О. Гершензон, Б.Л. Модзалевский, П.Н. Сакулин, В.Ф. Ходасевич, П.Е. Щеголев<sup>81</sup> и др.). Таким образом, так

---

<sup>78</sup> См. также лапидарную и изложенную нейтральным тоном формулировку Г.А. Гуковского: «Он <Вересаев> не пытается конструировать научные теории, а стремится внушить читателям определенный образ Пушкина человека. Верен или не верен этот образ – вопрос другой. Во всяком случае, задача Вересаева – задача художественная, а не научная, и это спасает его монтаж от многих нареканий» (Гуковский 1930: 197). В поздней монографии «Пушкин» (1956) Томашевский оценивает вересаевскую теорию «двух планов» исключительно как наукологический дискурс: «Именно наивно-биографическая интерпретация творчества Пушкина привела В.В. Вересаева к его теории „двух планов“, постоянного противоречия между поэзией Пушкина и действительностью» (Томашевский 1990а II: 330).

<sup>79</sup> В качестве примеров непоследовательного отношения Вересаева к собственным антибиографическим декларациям Н. Прянишников приводит «слишком буквальное восприятие „Поэта“» (Прянишников 1930: 216), а также использование лицейских стихов в качестве аргумента для доказательства тезиса о Пушкине-«чистом художнике» (Прянишников 1930: 217). Довольно наивно критик считает, что Вересаев попросту «забыл» собственные утверждения о биографической недостоверности лицейской лирики поэта.

<sup>80</sup> Вересаевский квазинаучный дискурс сопоставим с наукологическим дискурсом Шкловского и Эйхенбаума (в первую очередь – Шкловского) с его установкой на художественное (игровое) задание. Об этой установке как о конструктивном факторе научной прозы Шкловского и Эйхенбаума см.: Разумова 2004. Тезисное изложение этой статьи содержится в издании: Разумова 2005: 8-9. См. также замечание Ханзен-Лёве по поводу внесения Шкловским художественного момента в свои, как выразился исследователь, «псевдоисторические монографии» (Ханзен-Лёве 2001: 401), а также наблюдения М.Л. Гаспарова о художественном дискурсе в одной из таких монографий – «Краткой, но достоверной повести о дворянине Болотове» (1929) (Гаспаров 2006).

<sup>81</sup> Показательна в этой связи полемика Вересаева с Щеголевым по поводу так называемого «крепостного романа» Пушкина. В очерке «Крепостная любовь Пушкина» (1928) Щеголев, ссылаясь на лирические признания поэта, интерпретировал эту связь с крестьянкой как истинную любовь. (См. текст очерка в издании: Щеголев 2006: 162-199). Вересаев в ответной статье «Крепостной роман Пушкина» опровергал их биографическую значимость. При этом он снизил образ поэта в соответствии с теорией «двух планов». (Эта статья вошла в книгу «В двух планах». См.: Вересаев 2000: 138-158). Суть расхождения антагонистов в оценке «крепостного романа» содержится в весьма эмоциональном и откровенном

сказать, «перегибая палку с другого конца», Вересаев стремился разрушить «канонический образ личности Пушкина», с его точки зрения, «фальшивый и совершенно несоответствующий действительности» (цит. по: Левкович 1966: 284).

#### **§ 4. Проблема изучения личности писателя в социологическом литературоведении 1920-х-1930-х гг.**

В середине 1920-х гг. особая ситуация в связи с обсуждаемой проблемой сложилась в социологическом направлении (в широком значении этого слова) отечественного литературоведения.

Здесь тоже образовались свои «партии» биографистов и антибиографистов<sup>82</sup>. Однако полемика велась совсем не в той плоскости, какая до сих пор рассматривалась в нашей работе: дискутировался не биографический метод как таковой – в его безусловном отрицании сходились и та, и другая враждующие стороны – под вопрос ставилась сама целесообразность изучения личности писателя.

«Антибиографисты» эту целесообразность отрицали. Их лидер В.Ф. Переверзев декларировал изучение «бытия» в качестве единственной цели литературоведческого исследования<sup>83</sup>. Так как личность писателя этим «бытием» полностью детерминирована<sup>84</sup> и потому не может играть активной роли в творческом процессе, то ее игнорирование будет только способствовать большей эффективности научного анализа, минимизируя его трудоемкость. По Переверзеву, для познания «бытия» достаточно изучения «системы образов» данного литературного произведения, поскольку ее «закономерность» непосредственно «определяется закономерностями производственного процесса» (Переверзев 1928а: 86). То есть изучение «бытия» предполагается посредством «вычитывания» его «закономерностей» из «системы образов» данного литературного произведения<sup>85</sup>.

---

признании Щеголева о тяжелом чувстве, которое он пережил, знакомясь с полемической статьей Вересаева. «... меня поразили, – пишет исследователь, – особая предвзятость в оценке Пушкина, как особого циника в любовном быту, и необычайно высокомерный подход к мужицкому роману Пушкина. Вересаеву противна попытка раздвинуть рамки сближения Пушкина и крестьянки за пределы физиологии; он стремится изобразить эту связь как половой налет барина на крепостную» (Щеголев 1928: 97-98).

<sup>82</sup> «... как понять, – писал в 1928 году представитель «переверзевской школы» У. Фохт, – что в последнее время как будто даже среди материалистов-литературоведов мы имеем две противоположные враждующие между собой „партии“ биографистов и антибиографистов?» (Фохт 1928: 26).

<sup>83</sup> «В основании художественного произведения лежит не идея, а бытие, стало быть литературоведческое исследование и должно обнаружить не идею, а бытие, лежащее в основании поэтического явления» (Переверзев 1928: 11). Под «бытием» ученый понимал «социально-экономический процесс», детерминирующий и «жизнь людей, и их сознание, и поэтическое творчество» (Переверзев 1928: 12).

<sup>84</sup> «Человек <...> со всеми своими потрохами, со всем своим нутром, есть продукт социального бытия, продукт производственного процесса» (Переверзев 1928а: 87), – заявлял Переверзев на конференции преподавателей русского языка и литературы, состоявшейся 23-28 января 1928 года в Москве. Материалы этой конференции были затем опубликованы в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе» (1928. № 1).

<sup>85</sup> Тезисы Переверзева развивал У. Фохт в статье «Биография в литературоведении» (1928). См.: Фохт 1928.

Очевидно, что ученый, отрицая биографический метод, точнее говоря, объект его изучения – биографическую личность писателя как конструктивный фактор в анализе явлений эволюционного (литературного) ряда<sup>86</sup>, не отказывается от основополагающего для этого метода принципа каузальности, якобы существующей между литературой и реальностью. Показательно в этой связи, что в концепции Переверзева не находится места автономному литературному ряду. Так, в полемике с Эйхенбаумом Переверзев трансформировал литературоведческий дискурс в дискурс политико-экономический, определив литературу как «надстройку», из которой следует «вычитывать» «базис»<sup>87</sup>.

«Биографисты», опираясь на авторитеты В.И. Ленина, В.Г. Белинского, Г.В. Плеханова и А.В. Луначарского, критиковали Переверзева и его последователей<sup>88</sup> за игнорирование *индивидуальности* писателя в социологическом анализе художественного произведения<sup>89</sup>. При этом под *индивидуальностью* писателя понималась его биографическая личность, взятая в социальном, классовом аспекте. Само собой подразумевалось, что художественные произведения являются полноценными источниками для изучения социальной биографии писателя.

В конце концов, как известно, «переверзевская школа» была разгромлена и в социологическом литературоведении, которое в 1930-е гг. стало называться исключительно марксистским, возобладала точка зрения их критиков. Впрочем, для нашей темы эта информация уже не столь важна, поскольку каузальность между явлениями внелитературной реальности и эволюционным рядом, как было показано выше, сохранялась как принцип исследования в методологии и той, и другой «партии».

---

<sup>86</sup> См. в этой связи рассуждение Переверзева по поводу отношения литературоведов-марксистов к биографическому методу: «Марксизм порывает с традицией биографического метода. Биографии имели огромное значение для тех исследователей, которые подходили к литературе, к литературным фактам, литературным явлениям как к продукту творческой деятельности одного лица, которые видели в литературном факте изображение и отражение жизни и бытия – психологического и материального – отдельного художника. Совершенно естественно, что литературоведение, державшееся чисто индивидуалистического понимания литературного процесса, уделяло такое колоссальное внимание личности, биографии творца, писателя. Для марксиста-литературоведа биография теряет всякий смысл, всякое значение» (Переверзев 1928а: 87).

<sup>87</sup> См.: Михайлов А. 1929-. Имеется в виду статья Переверзева «„Социологический метод“ формалистов» (1929). Для отношения Переверзева к биографическому методу также характерно видимое противоречие между его декларативными заявлениями и литературоведческой практикой. Например, его перу принадлежит краткая биография Ф.М. Достоевского, опубликованная в виде вводной главы в монографии «Ф.М. Достоевский» (1925). Кстати говоря, эта книга вышла в госиздатовской серии «Биографическая библиотека». Рапповский критик И.С. Гроссман-Рощин, впервые обративший внимание на указанное противоречие, привел также ряд выдержек из данной работы ученого, свидетельствующих о ее биографическом характере. См.: Гроссман-Рощин 1928: 23-24.

<sup>88</sup> Аналогичные взгляды были также у П.С. Когана и О.М. Брика. См. критику этих взглядов с «умеренно-социологических» позиций в книге П.Н. Сакулина «Социологический метод в литературоведении» (1925). См. Сакулин 1925: 128-138. Г. Лелевич критикует Когана и Переверзева как союзников в вопросе о биографии писателя. См.: Лелевич 1926.

<sup>89</sup> См.: Лелевич 1926; Кубиков 1928; Полянский 1928; Гроссман-Рощин 1928. В. Полянский критикует «антибиографизм» как тенденцию в социологическом литературоведении, без упоминания конкретных фигур.

## Раздел 2. Антибиографическая тенденция в подходе к художественным произведениям в науке и критике Русского Зарубежья

### *§1. Конфронтация между теоретическими декларациями и конкретными результатами историко-литературных исследований в биографическом дискурсе М.Л. Гофмана*

В зарубежной науке и критике также существовала антибиографическая тенденция в подходе к художественным произведениям. Мы имеем в виду прежде всего концептуальные установки М.Л. Гофмана. Ученый выразил их еще до своего отъезда за границу в трактате «Пушкин. Первая глава науки о Пушкине» (1922).

Здесь Гофман критикует пушкинистов, практикующих в своих исследованиях биографический метод, в частности, за «склонность отождествлять реальную действительность с действительностью творческой, видеть в каждом поэтическом факте факт биографический, в каждом стихе автобиографическое признание, понимаемое буквально, à la lettre» (Гофман 1922: 11). Сам ученый чуть ниже указывает на формалистов как на своих идейных союзников в данном аспекте полемики с «биографистами»<sup>90</sup>.

Однако гофмановская критика направлена отнюдь не против каузальности, подразумеваемой при биографическом подходе к жизни и творчеству того или иного изучаемого писателя. Она направлена в другую сторону: против изучения биографической личности писателя как самоцели. Так, Гофман протестует против превращения творчества «в комментарий для жизнеописания» (Гофман 1922: 11), но изучение биографии как средства для «объяснения творчества» (Гофман 1922: 12) считает безусловно необходимым. В этом пункте он подчеркивает свое несогласие с формалистами<sup>91</sup>.

В своем подходе к соотношению искусства и реальности ученый, очевидно, руководствуется традиционной теорией мимесиса. В самом деле, он образно сравнивает явления действительности, нашедшие отражение в художественном произведении, с мраморной глыбой, из которой «художник высекает творчески-новое поэтическое создание» (Гофман 1922: 14), и объявляет главной целью изучения истории литературы приемы преломления действительности в данном произведении. По его мнению, это окажется невозможным, если будет игнорироваться изучение са-

---

<sup>90</sup> «<Формалисты> обрушиваются на биографов, как на исследователей, подъезжающих с „заднего крыльца“ к писателю и, упрекая их в замене творчества – биографией, поэта – человеком, предлагают рассматривать литературный факт, как данный, не обращая внимания на житейский генезис данного литературного факта, данного литературного явления. <...> Справедливые упреки, поскольку все творчество превращается в материал для биографии, в комментарий для жизнеописания...» (Гофман 1922: 12).

<sup>91</sup> «... несправедливые <упреки формалистов> – поскольку исследователь пользуется биографией, биографическим материалом для объяснения творчества, поскольку Wahrheit оттеняет и объясняет Dichtung» (Гофман 1922: 12).

мой «мраморной глыбы», то есть, в нашем случае, биографической личности писателя<sup>92</sup>.

Противоречивость теоретических взглядов ученого нашла свое отражение в его критических и историко-биографических трудах<sup>93</sup>.

Так, с одной стороны, он одобряет вересаевский принцип монтажа, в качестве достоверного материала, свидетельств современников о жизни Пушкина<sup>94</sup>; резко критикует пушкинистов «гершензоновской» школы за прямое биографическое прочтение художественных произведений поэта<sup>95</sup>; в собственной биографии Пушкина ограничивается пересказом внешних фактов по типу *curriculum vitae*<sup>96</sup>. С другой – сплошь и рядом допускает «вычитывание» биографических фактов из художественных произведений Пушкина<sup>97</sup>.

---

<sup>92</sup> «Цель изучения – само творчески-новое создание и способы, приемы его создания, исследователь-историк литературы должен прежде всего иметь в виду вопрос о том, как поэт высекает из мраморной глыбы создание Гения своим творчески-художественным чутьем, подсказывающим новые приемы на основе поэтической традиции, данной поэтическим опытом современных ему и предшествовавших литературных школ. Но, игнорируя эту мраморную глыбу, он роковым образом обрекает себя на бессильные попытки постичь художественное создание...» (Гофман 1922: 14-15). При цитации соблюдена пунктуация подлинника.

<sup>93</sup> Имеются в виду следующие работы Гофмана: Фантазии о Пушкине // Руль (Берлин). № 1271. 7 февраля 1925. С. 2-3; Еще о смерти Пушкина // На чужой стороне: историко-литературный сборник. Прага. 1925. Т. XI, 5-48; Клевета на Боратынского // Благонамеренный (Брюссель). 1926. № 1, 73-81; Дуэль и смерть Пушкина (В. Вересаев. Дуэль и смерть Пушкина.) <Рецензия> // Последние новости (Париж). № 2220. 21 апреля 1927. С. 3; Пушкин. Психология творчества. Париж, 1928; Первая любовь Пушкина // Иллюстрированная Россия (Париж). 1928. № 23, 11-13; Крепостная любовь Пушкина <Рецензия на книгу П.Е. Щеголева «Пушкин и мужики»> // Последние новости (Париж). № 2612. 17 мая 1928. С. 2; «Утаенная любовь» Пушкина // Руль (Берлин). № 2290. 10 июня 1928. С. 2-3; № 2292. 13 июня 1928. С. 4-5; Пушкин – Дон-Жуан. Париж: Издательство Сергея Лифаря, 1935.

<sup>94</sup> См. отзыв Гофмана на IV-й выпуск «Пушкина в жизни»: «Нельзя не признать целесообразности такого способа изложения: живые голоса современников красноречивее и живее описаний говорят о последних трагических днях Пушкина...» (Гофман 21.04.1927). То есть мы считаем характерным для Гофмана его молчаливое согласие с нигилистической позицией Вересаева по вопросу о биографическом значении стихотворных высказываний Пушкина.

<sup>95</sup> Здесь главной мишенью для критики Гофману послужила упомянутая статья Ходасевича о пушкинской «Русалке». Ей ученый посвятил рецензию с говорящим заглавием «Фантазии о Пушкине» (см.: Гофман 07.02.1925). В монографии «Пушкин. Психология творчества» Гофман, критикуя Ходасевича за якобы наивно-биографическое прочтение IV-й главы «Евгения Онегина», пытается его «поймать» на курьезной ошибке. По словам ученого, тот увидел «в „младом и свежем поцелуе черноокой белянки“ (т.е. белицы, монашенки) – „портрет“ дворовой девушки и указание на связь с этой девушкой...» (Гофман 1928: 42). Он добился только того, что дал повод своему оппоненту для симметричного обвинения в слабом знании русского языка. Как совершенно справедливо объясняет Ходасевич: «„Белянка“ значит только одно: белолица, белокурая. <...> (Заметим, что и белица – не монахиня, а послушница)» (Ходасевич 1928: 290). Об этой микрополемике, пожалуй, можно было бы и не упоминать, если бы курьезное обвинение Гофмана не нашло парадоксального продолжения в новейшей и, притом, пионерской работе, посвященной научному творчеству ученого. Диссертантка, подвизавшись на исправление ошибки Гофмана, что называется, «возвела ее в куб»: «„Белец“ (!) – это не монах, а напротив, мирянин. Слово же белянка у Пушкина образовано по типу обычного поэтического „селянка“ и означает просто деревенскую девушку» <при цитировании сохраняется пунктуация подлинника – В.Ч.> (Кондратьева 1998: 16).

<sup>96</sup> Имеется в виду пионерская биография А.С. Пушкина, написанная Гофманом на французском языке (M. Hofmann. Pouchkine. Paris: Payot, 1931). Ссылаемся на характеристику этой книги В.Ф. Ходасевичем: «Жизнь Пушкина прослежена М. Гофманом почти исключительно в ее внешних фактах. Перед нами биография прежде всего фактическая. Душевная жизнь Пушкина в ней замечена лишь в самых общих, бесспорных чертах, как это обычно и делается в биографиях, носящих характер учебного пособия» (Ходасевич 09.07.1931). Как замечает критик, Гофман обошел молчанием вопрос о «внутреннем соотношении жизни и творчества» Пушкина. В результате, он обезличил и жизнь, и творчество поэта.

<sup>97</sup> Указанное противоречие между антибиографическими декларациями ученого и его биографическим подходом к творчеству Пушкина было замечено в критике 1920-х-1930-х гг., насколько нам из-



В книге «Пушкин. Психология творчества» (1928) Гофман отвергал обвинения критиков в свой адрес по поводу отмеченного противоречия, указывая, что он выступает только против подхода к стихам Пушкина как к «исповеди личной жизни» <курсив Гофмана>, но отнюдь не считает их негодным материалом для изучения творческой личности поэта («его творческой, искренней личности») (Гофман 1928: 9)<sup>98</sup>. Таким образом, Гофман существенно уточняет свою формулировку понятия «жизнеописания поэта» из трактата 1922 года. Кроме того, по уверению ученого, поэтические свидетельства Пушкина используются им в исключительно символической функции и лишь в случае их верифицируемости «объективными» данными<sup>99</sup>.

В собственно исследовательских пассажах своего дискурса Гофман даже выработал особый тип оговорки, призванной напоминать читателю о его якобы антибиографической установке – столь тонка, видимо, была в сознании ученого грань между собственными представлениями об «истинной» научной методологии и третируемым биографическим методом. Так, в концовке длиннейшего, растянувшегося на два больших газетных «подвала», исследования о пресловутом объекте «утаенной любви» Пушкина, он парадоксально заявляет: «А может быть, для нас и не так важно знать имена женщин, которых любил Пушкин, а важно только то чувство, которое рождалось в душе Пушкина, и еще неизмеримо важнее его претворение в прекрасных художественных образах поэтического Вымысла?»<sup>100</sup> (Гофман 13.06.1928).

---

вестно, Г.О. Винокуром, Б.В. Томашевским (см.: Томашевский 1990: 50), Д. Выгодским и В.Ф. Ходасевичем. Выгодский писал в рецензии на книгу Гофмана «Пушкин. Первая глава науки о Пушкине»: «Гофман предупреждает исследователя от слишком поспешных выводов о действительной жизни поэта на основании его произведений. <...> „Необходимо точно протокольно знать Wahrheit не для того, чтобы в Dichtung найти Wahrheit“. И тут же (стр.15) „иллюстрируя это на пушкинском материале“ пытается из Dichtung „пока не требует поэта“ вывести Wahrheit пушкинского взгляда на поэта» (Выгодский 1922: 158-159). Ходасевич, отзываясь на книгу Гофмана «Пушкин – Дон-Жуан», с удовлетворением отмечал некоторое «смягчение» позиции ученого в вопросе о биографическом прочтении произведений Пушкина и связывал этот процесс с существующей в его сознании конфронтацией между теоретико-методологическими и историко-литературными интересами (см.: Ходасевич 25.04.1935).

<sup>98</sup> Тем не менее, и в этом отношении Гофман, очевидно, противоречил сам себе, когда, например, в статье «Еще о смерти Пушкина» занимался выяснением вопроса о характере отношений Н.Н. Пушкиной и Дантеса или о степени ее вины в гибели мужа. Как заметил по этому поводу Ю.И. Айхенвальд, подвергший данную работу жесткой критике, в частности, за чересчур большой интерес ее автора к интимным подробностям жизни Пушкина: «В области подобных проблем чувствует себя привольно не столько научный интерес, сколько праздное любопытство, и здесь легко нарушить меру и такт, здесь легко исследователю стать обывателем» (Айхенвальд 30.09.1925).

<sup>99</sup> «... я пользуюсь его словами-символами, только как символами – и только потому, что они мною объективно проверены (я мог бы обойтись и без символов Пушкинской поэзии и прозаически констатировать факты – „низкие истины“»)» (Гофман 1928: 9). На практике данная «проверка объективными данными» часто сводилась к перекрестному сопоставлению так называемых автобиографических произведений Пушкина, написанных в прозе, с его стихами.

<sup>100</sup> См. аналогичный «прием», использованный Гофманом для подытоживания собственных догадок по поводу реального прототипа записи Пушкина в лицейском дневнике, а также лицейской любовной лирики поэта: «Имя ли Бакуниной, „милой Бакуниной“ было написано в лицейском дневнике или какое-нибудь другое, может быть, даже совсем незнакомое нам имя? – На все эти вопросы мы не можем дать определенного ответа, и, как ни интересны они сами по себе, они представляются нам второстепенными по сравнению с тем чувством, какое испытал Пушкин-юноша. Кто бы ни внушил это чувство Пушкину – Бакунина, Кочубей, N.N. – это чувство было создано чистой и пламенной душой поэта, и его „идол“ был далек от реальной женщины» (Гофман 1928б: 12).

Методологическая беспомощность Гофмана, характерно проявившаяся в подобных оговорках, была полемически заострена в нарочито наивном изумлении Ходасевича по поводу целесообразности собственных биографических штудий ученого<sup>101</sup>, а также в пародийном плане комментаторской статьи В.В. Набокова по поводу знаменитой XXXIII-й строфы I-й главы «Евгения Онегина». В частности, последний, посвятив вопросу о реальном прототипе хозяйки ножек, воспетых в данной строфе, один из самых объемных в книге комментариев, венчает свое «исследование» таким карикатурным образом: «Окончательное мое впечатление: если ножки, воспетые в строфе XXXIII, и имеют конкретную хозяйку, то одна из ножек принадлежит Екатерине Раевской, а другая – Елизавете Воронцовой» (Набоков 1998: 166). То есть, мы хотим сказать, в данном «выводе» Набокова пародируется сам прием дезавуации результатов всего предшествующего, и весьма педантического по изложению, исследования, который характерен для пушкинистского дискурса Гофмана.

## ***§ 2. Антибиографическая концепция Ю.И. Айхенвальда и ее реализация в творчестве критика 1920-х гг.***

Более характерным для зарубежья, на наш взгляд, был антибиографизм так называемой имманентной критики<sup>102</sup>. В эмиграции оказался один из наиболее ярких представителей этого направления литературной мысли – Ю.И. Айхенвальд. Свои взгляды на проблему соотношения биографии и творчества писателя критик высказал в так называемом «Вступлении» к первому выпуску сборника эссе «Силуэты русских писателей» (в. 1-3, 1906-1910). Эта книга стала актуальным литературным фактом благодаря выходу в свет в 1929 году в берлинском издательстве «Слово» ее шестого (посмертного) издания.

---

<sup>101</sup> «Боясь, как бы не вздумали каждое слово Пушкина толковать биографически, – пишет Ходасевич по поводу книги Гофмана «Пушкин. Психология творчества», – М. Гофман идет и дальше: „Знание биографии Пушкина ничего не прибавляет к пушкинскому произведению, ничего не объясняет в нем“. Но зачем нам тогда вообще знать биографию Пушкина? Ради чего над некоторыми ее частностями трудится и сам Гофман? Зачем, например, публикует и комментирует он дневник Вульфа, всего только „современника“, вовсе уж не так близко стоявшего к Пушкину? Ведь не ради какого-то пушкинского спорта, и не из подражания, и не из праздного любопытства к частной жизни великого человека?» (Ходасевич 1928: 278). Далее критик намекает на упомянутую выше конфронтацию между теоретико-методологическими и историко-литературными интересами, которая существует в сознании ученого: «Нет, причины другие: он сам хорошо знает, что если не в творениях, то в творчестве Пушкина биография вскрывает и объясняет больше, чем в творчестве едва ли не всякого другого поэта. Знает, что биография приоткрывает подчас одну из дверей, ведущих в глубочайшие тайники творчества» (Ходасевич 1928: 279).

<sup>102</sup> При имманентном анализе художественного произведения исходят из презумпции эманации этого произведения из духовной индивидуальности его автора. Так как последняя мыслится как независимая от каких-либо внешних воздействий, в том числе от входящих в круг интересов биографов, то, следовательно, и художественное произведение обладает автономным статусом по отношению к реальности. Биографический подход к художественному произведению считается неприемлемым из-за его эмпиричности, препятствующей достижению главной цели имманентного анализа – познанию духовной индивидуальности автора данного художественного произведения. Подробно эти тезисы раскрываются ниже, при обсуждении теоретических взглядов Ю.И. Айхенвальда на предмет биографического метода.

Положительная программа Айхенвальда во многом построена на принципе отталкивания от позитивистской установки на изучение биографии писателя, рассматриваемой в качестве основного средства для понимания его художественных произведений<sup>103</sup>. По мнению критика, настоящая цель исследования – это духовная индивидуальность писателя, проявляющаяся на бессознательном уровне. Биографический подход с его глубоким интересом к фактам эмпирического порядка здесь оказывается нецелесообразен. Необходимые данные о «внутреннем человеке» писателя можно почерпнуть только из его произведений. Параллельные биографические факты приемлемы при условии их аналогии с литературной версией. В противном случае – они игнорируются, и художественное произведение остается единственным источником достоверной информации. При этом даже волевым усилием писатель не способен эту информацию скрыть. В этой связи Айхенвальд утверждает: «... каждое создание искусства – не что иное, как автобиография его творца» (Айхенвальд 1994: 23).

Эта «автобиографичность» иного, не «гершензоновского», рода. Айхенвальд – агностик в вопросе верифицируемости данных художественного произведения и, соответственно, – познаваемости духовной индивидуальности писателя. Всякая читательская рецепция неизбежно бывает субъективной. Однако, в отличие от «биографистов», стремившихся, в конечном счете, реконструировать «истинную» личность писателя, Айхенвальд акцентирует релевантность этого субъективизма в своем критическом дискурсе. При этом роль реципиента необычайно повышается: *«Писатель и читатель – понятия соотносительные. Один без другого действовать не может, и один другого определяет. Писателя создает читатель. Критик осуществляет потенцию автора»* (Айхенвальд 1994: 26). Таким образом, Айхенвальда, по-видимому, больше интересует не духовная индивидуальность писателя, понимаемая как объективная данность, а собственные субъективные представления об этой индивидуальности, полученные в процессе эмпатического «вживания» в ее внутренний мир.

Теоретические установки Айхенвальда проявились в его критических статьях 1920-х гг. в виде резко негативной оценки исследований в области биографии Пушкина. Так, он обвинил М.Л. Гофмана как автора статьи «Еще о смерти Пушкина» в исключительном внимании к подробностям из жизни поэта, в ущерб изучению его творчества<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Эту аксиому позитивистского литературоведения впервые сформулировал Ипполит Тэн. Так, он заявлял в предисловии к своему большому эссе о Бальзаке (1858): «Чтобы понимать и обсуждать Бальзака, должно знать его душу и его жизнь» (цит. по: Magen-Grisebach 1992: 12). Как заметила немецкая исследовательница Марен-Грисбах, прокламируемое Тэном единство биографии Бальзака и его трудов содержится уже в выражении «чтобы понимать Бальзака» вместо подразумеваемого «чтобы понимать произведения Бальзака» (Magen-Grisebach 1992: 12). Таким образом, по Тэну, чем больше знаешь о биографической личности писателя, тем лучше понимаешь его произведения.

<sup>104</sup> См.: Айхенвальд 30.09.1925. См. также сноску 98.

Аналогичный упрек он высказывал Ходасевичу как автору статьи «О чтении Пушкина (К 125-летию со дня рождения)» (1924) и исследования о «Русалке». По мнению критика, программные заявления Ходасевича в первой из названных работ<sup>105</sup> являются «в значительной мере» «самооправданием»: «ведь и он сам принадлежит к числу тех „кропотливых и мелочных“ биографов Пушкина, которых упрекают в том, что биографией они заслоняют поэзию» (Айхенвальд 23.07.1924). Здесь же Айхенвальд высказывает весьма важное для понимания его концепции положение, из которого, между прочим, становится ясно, что он склонен был расценивать пушкинистские биографические изыскания Ходасевича как чуть ли не «альковные»: «И, по существу тоже, поэт дан в своей поэзии; это – единое на потребу; остальное неважно, остальное – от лукавого. Была бы дурна та поэзия, которая в своей глубине, в своем вечном смысле, в своей красоте была бы недостаточно понятна без нашего любопытствующего проникновения в альковы и секреты поэта» (Айхенвальд 23.07.1924).

Известно, что Ходасевич, в свою очередь, оценил отзыв Айхенвальда по поводу его статьи «О чтении Пушкина» как в целом объективный. В письме к критику (от 31 июня 1926 г.) он даже заявил: «... многое Вами замечено так верно и ценно, что я уже не решился бы перепечатать статью без существенных изменений» (Ходасевич 1996- IV: 502)<sup>106</sup>. Однако в пушкинистских работах Ходасевич продолжал руководствоваться продекларированной методологией «мелочного биографизма» и пристального внимания к интимным подробностям жизни поэта<sup>107</sup>. Так что в 1936 году уже М.Л. Гофман полемически обвинял Ходасевича в «частых суждениях об интимных сторонах жизни Пушкина» (Гофман 30.04.1936)<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup> Здесь Ходасевич, в частности, заявлял: «Пушкин автобиографичен насквозь. Автобиография проступает иногда в общей концепции пьесы, иногда – в мельчайших деталях. <...> Самый кропотливый, самый мелочный биограф делает важнейшее дело: он помогает читать Пушкина, вскрывая единственный путь к его пониманию» (Ходасевич 1991: 190).

<sup>106</sup> Ср. более сдержанную оценку в статье «Еще о критике» (31 мая 1928 г.): «С основными положениями этого отзыва я не согласен, но он заставил меня многое пересмотреть и исправить» (Ходасевич 31.05.1928: 219).

<sup>107</sup> Кроме Айхенвальда, данную методологию Ходасевича-пушкиниста критиковали также Д. Кобяков и А. Шем (как редакторы сатирического журнала «Ухват») и М.А. Осоргин. «Ухватовцы» травили пушкинистский дискурс Ходасевича, анонсировав якобы принадлежащую ему работу «Анализ мочи теток Пушкина» (Ухват 1926: 9). Осоргин высказал пожелание зарубежным литературоведам, имея в виду прежде всего Ходасевича, «избавиться <...> от анализа поджелудочной железы теток Пушкина...» (Осоргин 01.03.1931). Ходасевич ответил своим «зоилам» в статье «Книги и люди» (28 мая 1931 г.). Он едко назвал Осоргина подражателем «неблагоуханной шутки» «журнальчика» «не без советского душка» (Ходасевич 28.05.1931) и обвинил его в литературном невежестве, указав в связи с этим на целый ряд курьезных ошибок, допущенных критиком в своей практике. См. пародийную рецепцию этой полемики В.В. Набоковым в сноске 131.

<sup>108</sup> Ходасевич в вышедшей в начале месяца рецензии на издание писем Пушкина к жене, определенное Гофманом, обвинил ученого в идеализации Н.Н. Пушкиной. Сам критик считал жену поэта нравственно непорочной, однако «легкомысленной» и «неумной». При этом он ссылаясь на мнение ее недоброжелателя С.А. Соболевского, а «восторженные», по его словам, оценки Пушкина считал недостоверными ввиду крайнего самолюбия поэта (см.: Ходасевич 02.04.1936).

**§ 3. Мифопоэтическая интерпретация биографии А.С. Пушкина  
в эссе В.В. Набокова «Пушкин, или правда и правдоподобие» (1937)  
в рамках полемики писателя с пушкинистским дискурсом  
В.Ф. Ходасевича**

«Имманентизм» Айхенвальда типологически родствен символистскому дискурсу с характерной для него мифопоэтической интерпретацией писательской биографии. Яркие образцы такой интерпретации в обозреваемый хронологический промежуток представлены в пушкинистской эссеистике В.Я. Брюсова<sup>109</sup>, М.И. Цветаевой<sup>110</sup>, В.В. Набокова<sup>111</sup>, а также в философско-биографическом эссе Д.С. Мережковского «Данте»<sup>112</sup>. В связи с темой нашего исследования особенно актуален анализ набоковской концепции личности писателя, поскольку она сформировалась в значительной мере как результат полемической реакции на биографический дискурс Ходасевича, и, стало быть, может послужить его характеристике<sup>113</sup>.

В рассматриваемом эссе Набоков, в рамках полемики с авторами модных «романсированных биографий», резко негативно оценил практикуемый ими монтаж фрагментов из эпистолярных и художественных высказываний поэта, взятого в качестве главного героя произведения: «Сначала берут письма знаменитого человека, их отбирают, вырезают, расклеивают, чтобы сделать для него красивую бумажную одежду, затем пролистывают его сочинения, отыскивая в них его собственные черты» (Набоков 1996: 413). Особенное возмущение писателя вызывает использование художественных произведений в качестве источника для биографии их творца: «Мне приходилось сталкиваться с совершенно курьезными вещами в подобных повествованиях о жизни великих, вроде биографии одного известного немецкого поэта, где от начала до конца пересказывалось содержание его поэмы „Мечта“, представленное как размышление над мечтой его собственной. Действительно, что может быть проще, чем заставить великого человека вращаться среди людей, мыслей, предметов, описанных им самим, и выпотрошить до полусмерти его книги, для того чтобы начинить ими свою собственную?» (Набоков 1996: 413).

Набоков указал на один из адресатов своей полемики посредством автоцитации романа «Дар», над которым он как раз работал в период создания эссе о Пушкине. Главный герой романа Федор Константинович Го-

---

<sup>109</sup> Сборник эссе «Мой Пушкин» (1929).

<sup>110</sup> Эссе «Мой Пушкин» (1937), «Пушкин и Пугачев» (1937), очерк «Наталья Гончарова» (1929).

<sup>111</sup> Эссе «Пушкин, или правда и правдоподобие» (1937). Написано на французском языке.

<sup>112</sup> Так определяет жанр этой книги В.В. Полонский, автор специальной работы об историко-биографических произведениях Мережковского 1920-1930-х гг. (см.: Полонский 1998: 23). Книга о Данте была закончена в мае 1937 года, однако увидела свет только в 1939 году (Николюкин 2000: 5; Николюкин 1997: 262).

<sup>113</sup> Подробный анализ брюсовской концепции личности Пушкина см. в статье: Grossman 1992. Анализ мифопоэтического дискурса Цветаевой, в том числе в аспекте его сопоставления с дискурсом Брюсова, содержится в книге А. Смит «Песнь пересмешника: Пушкин в творчестве Марины Цветаевой» (Смит 1998). Символистский дискурс Мережковского исследуется в упомянутой диссертации В.В. Полонского (Полонский 1998).

дунов-Чердынцев, намеревающийся написать биографию Н.Г. Чернышевского, в беседе со своей confidentкой Зиной Мерц указывает на одну из самых известных «романсированных биографий» 1920-1930-х гг., книгу А. Моруа «Байрон» (1930), как на источник собственного пародийного дискурса: «... я хочу все это держать как бы на самом краю пародии. Знаешь эти идиотские „биографии романсэ“, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы?» (Набоков 2000 IV: 380). «Мечта», «сон» («сновидение») передаются английским словом «the dream»<sup>114</sup>. Так называется стихотворение Байрона, датированное 1816 годом, которое Моруа откровенно парафразировал в соответствующих эпизодах своего романа<sup>115</sup>.

Таким же образом, по Набокову, поступают и авторы «романизированных биографий» Пушкина. Писатель намекает на конкретные фигуры в следующем пассаже: «Жизнь Пушкина, все ее романтические порывы и озарения готовят столько же ловушек, сколько и искушений сочинителям модных биографий. В последнее время в России их много написано, я видел одну или две достаточно безвкусных. Но помимо этого существует еще и благой, бескорыстный труд нескольких избранных умов, которые, копаясь в прошлом, собирая мельчайшие детали, вовсе не озабочены изготовлением мишуры на потребу вульгарного вкуса. И все-таки наступает роковой момент, когда самый целомудренный ученый почти безотчетно принимается создавать роман, и вот литературная ложь уже поселилась в этом произведении добросовестного эрудита так же грубо, как в творчестве беспардонного компилятора» (Набоков 1996: 415).

Принято считать, что единственным прототипом этого ученого, написавшего в 1920-1930-е гг. роман о Пушкине, является исключительно Ю.Н. Тынянов. Автор этой концепции Л.Ф. Кацис, комментируя данный фрагмент эссе, так и пишет: «Итак, перед нами оценка Набоковым как научного, так и художественного, пусть ограниченного романом «Пушкин», творчества Ю.Н. Тынянова. Ведь других „кандидатов“ на место представителя „нескольких избранных умов“, „добросовестного эрудита“ и одновременно автора романа о Пушкине (оцененного, правда, резко отрицательно, в отличие от научного творчества) в литературе 20-30-х годов просто нет» (Кацис 1990: 276). Это утверждение было безоговорочно принято в нашей прежней работе<sup>116</sup>, а также, например, в новейшей монографии М. Маликовой «В. Набоков. Авто-био-графия» (2002)<sup>117</sup>.

---

<sup>114</sup> Сравнить эту же фразу Федора в английском переводе Майкла Скаммелла, выполненного в сотрудничестве с Набоковым: «I want to keep everything as it were on the very brink of parody. You know those idiotic „*biographies romancées*“ where Byron is coolly slipped a *dream* extracted from one of his own poems?» (Nabokov 1991: 200). Слово «a dream» выделено нами. Термин „*biographies romancées*“ выделен Набоковым.

<sup>115</sup> См., например, эпизод прощального свидания поэта со своей возлюбленной Мэри Чаворт (Моруа 2001: 83).

<sup>116</sup> См.: Черкасов 2000: 21.

<sup>117</sup> См.: Маликова 2002: 118.

Однако подобный переход к художественному творчеству также совершили такие ученые-пушкинисты, как Л.П. Гроссман и В.Ф. Ходасевич. Первый известен своим романом о Пушкине «Записки д'Аршиака» (1930), второй – начальными главами беллетристической биографии поэта: «Начало жизни» (1932), «Дядюшка-литератор» (1932), «Молодость» (1933)<sup>118</sup>.

Кроме того, набоковское указание на недопустимую манипуляцию с текстом поэмы «Мечта», или «Сон», имеет совершенно конкретный адресат, а именно концовку упомянутого текста Ходасевича «Начало жизни», представляющую собой очевидный парафраз в духе Моруа пушкинского стихотворения «Сон (Отрывок)» (1816)<sup>119</sup>.

Сюда же, очевидно, следует отнести эссе Гершензона «Сны Пушкина» (1924), под которыми подразумеваются сны героев поэта – Руслана, Марьи Гавриловны из «Метели», Гринева, Отрепьева и Татьяны Лариной. В «Комментариях к „Евгению Онегину“» Набоков резко критиковал Гершензона за произвольное толкование сна Татьяны<sup>120</sup>. В таком случае, следует сделать вывод, что писатель относил к третируемой им «романизированной биографии» и наукообразную эссеистику, условно говоря, гершензонского направления в пушкинистике. Напомним, что к этому же направлению современники относили и исследования Ходасевича<sup>121</sup>.

Вообще говоря, эссе буквально насыщено полемическими аллюзийными репликами по поводу биографического дискурса Ходасевича. Их разбор увел бы нас далеко в сторону от темы. Все же без анализа некоторых из этих реплик, по-видимому, нельзя обойтись, поскольку они имеют принципиальное значение для выяснения положительных взглядов Набокова на проблему писательской биографии.

Уже в названии эссе Набоков обозначает тот аспект в глобальной проблеме концепирования личности Пушкина, по поводу которого он намеревается высказать свое «твердое мнение»: речь в нем идет в основном о безусловной «правде» поэзии, противопоставленной «лжи» («правдоподобию») свидетельств о поведении поэта в быту. При этом «правда» понима-

---

<sup>118</sup> Все главы были опубликованы в парижской газете «Возрождение».

<sup>119</sup> См. данный фрагмент в издании: Ходасевич 1996- III: 62. О работе Ходасевича с цитатным материалом в главах пушкинской биографии см.: Сурач 1994: 88-91. Для сравнения, Тынянов в соответствующем эпизоде романа «Пушкин» иронически обнажает условность изображения в данном стихотворении: вместо старой «мамушки» на сцену выступает «разбитная, ловкая», с «молодыми глазами» Арина (даже не Родионовна!) (Тынянов 1988: 42, 84); она подсмеивается над традиционными суевериями (совсем как Пушкин в поэме «Бова» (1814)!); Пушкин, с ее слов, оказывается настоящим ужасом для нечистой силы. См.: Тынянов 1988: 84.

<sup>120</sup> См.: Набоков 1998: 410.

<sup>121</sup> Сказанным выше, разумеется, отнюдь не отвергается указание Кациса на Тынянова как на прототип набоковского «ученого». Необходимо только правильно расставить акценты: скорее всего, дискурсы Тынянова, как и Гроссмана, выполняют функцию типологической рамки для биографического дискурса Ходасевича как для главного объекта набоковской полемики. Следует также иметь в виду, что произведенная Набоковым контаминация Ходасевича, известного своими антиформалистскими выступлениями, с формалистом Тыняновым является полемически-пародийной репликой на аналогичную стратегию Ходасевича по отношению к Набокову в эссе «О Сирине». (Впервые прочитано в качестве вступительной речи на парижском вечере Набокова, который состоялся 24 января 1934 в зале Социального музея (Ходасевич 1996- II: 560). Опубликовано в газете «Возрождение» 13 февраля 1937 г.). О ходасевичевской контаминации Набокова с формалистами см.: Черкасов 2001: 49.

ется не в биографическом, а в онтологическом смысле – как выражение абсолютной истины о сути поэтического гения.

В контексте представлений о личности поэта, актуальных для 1920-х-1930-х гг., данная формулировка Набокова зеркально-симметрична в отношении следующего концептуального утверждения Ходасевича по поводу достоверности «поэтической правды»: «Истина не может <быть> низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому „возвышающему обману“ хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания» (Ходасевич 08.02.1934: 3).

Ходасевич здесь полемизирует с концепцией пушкинского стихотворения «Герой» (1830), в котором декларируется абсолютная «правда» поэтического, возвышенно-идеалистического, взгляда на мир:

Да будет проклят правды свет,  
Когда посредственности хладной,  
Завистливой, к соблазну жадной,  
Он угождает праздно! – Нет!  
Тьмы низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман...  
Оставь герою сердце! Что же  
Он будет без него? Тиран...

(Пушкин 1994- III: 253).

Таким образом, если Ходасевич трактовал пушкинский «возвышающий обман» поэзии в буквальном смысле этого слова, то есть как «ложь», и противопоставлял этой «лжи» «возвышающую правду» биографических сведений о жизни поэта, сколь бы они ни были «неприкровенны», то Набоков, очевидно, сознательно восстанавливает в своем эссе аутентичные взгляды на природу поэзии самого Пушкина.

Мы полагаем, что именно полемической установкой по отношению к указанной концепции Ходасевича обусловлено акцентирование Набоковым темы «поэтической правды» в пушкинском коде. В самом деле, в тексте эссе содержатся конкретные аллюзийные ссылки на стихотворение Пушкина «Герой», которые звучат подчеркнуто демонстративно относительно ходасевичевской версии «возвышающей правды».

Так, изображая поэта в виду бахчисарайского фонтана, Набоков подчеркнуто следует стихотворной версии этого биографического факта и пренебрегает версией бытовой, изложенной в приложении к поэме (в письме к Дельвигу): «... я вижу его <...> в серебристый крымский полдень перед скромным маленьким фонтаном, струящимся во дворе старинного татарского дворца, с летающими ласточками под его сводами» (Набоков 1996: 417). При этом писатель акцентирует пушкинский поэтический код созданного им идеального портрета поэта посредством скрытого цитирования ключевой фразы «Героя» – *большой обман*: «В сущности, не имеет значения, если то, что мы



представляем в своем воображении, всего лишь большой обман». Далее Набоков педалирует этот мотив: «Я прекрасно понимаю, что это не Пушкин, а комедиант, которому плачú, чтобы он сыграл его роль. Какая разница! Мне нравится эта игра, и вот я уже сам в нее поверил» (Набоков 1996: 416). «Возможно, все это обманчиво и настоящий Пушкин не узнал бы себя, но если я вложил сюда хоть немного той любви, которую испытываю к его произведениям, то эта воображаемая жизнь не напоминает ли если не самого поэта, то его творчество?» (Набоков 1996: 417).

В другом месте эссе писатель употребил аллюзию на «Героя» в прямо полемической функции, как средство для развенчания адептов «неприкровенной правды», в данном случае, в лице авторов «романизированных биографий». Набоков сравнил созданных ими героев с «погребальными куклами» (Набоков 1996: 415). Тем самым, он создал каламбурную рифмовку к пушкинскому «тиран» («тиран» – «болван»). Этим приемом достигается эффект «вдвигания» пушкинского текста в контекст полемики 1920-1930-х гг. по поводу тематики «романизированных биографий». Эффект получается неотразимый: как будто сам Пушкин прокликает их создателей.

Итак, набоковская концепция «поэтической правды», выдержанная в подчеркнута пушкинском коде, полемически направлена против взглядов Ходасевича по поводу якобы решающей роли, которую играют в деле познания «истинной» личности поэта сведения о его человеческих слабостях и пороках.

Теперь нам предстоит решить следующие взаимосвязанные вопросы: 1) как Ходасевич реализовал на практике, то есть в своих критических и научно-исследовательских работах, свой тезис о «возвышающей правде» «неприкровенных» сведений о поэте как человеке? 2) каким образом Набоков опровергал выводы своего оппонента и как в этой полемике выясняются положительные взгляды писателя на проблему концепции личности поэта?

Указанное утверждение Ходасевич высказал в преамбуле к циклу некрологических очерков «Андрей Белый: Черты из жизни» (1934)<sup>122</sup>. Личность Белого изображается критиком в соответствии с этой установкой<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> См.: Возрождение, №№ 3173, 3177, 3179 (8, 13, 15 февраля 1934 г.).

<sup>123</sup> Вообще говоря, для Ходасевича в принципе не существовало каких-либо этических границ в исследовании интимных подробностей жизни того или иного писателя. Наиболее радикально этот взгляд был выражен в ходе полемики с актуализировавшимся в связи с публикацией воспоминаний А.Л. Толстой об отце «айхенвальдовским» представлением о нерелевантности биографических материалов для изучения творческой личности писателя: «Существует мнение, согласно которому биография писателя для понимания его произведений не нужна вовсе. С этим мнением (у нас его придерживался, хоть и непоследовательно, покойный Ю.И. Айхенвальд) можно соглашаться или не соглашаться. В первом случае тема семейной жизни Толстого становится для нас, конечно, запретной – но не иначе как вместе со всеми другими темами, относящимися к его биографии, и не потому, что она безнравственна, а потому, что она несущественна и ненужна. Но если мы признаем полезным и нужным знать жизнь Льва Толстого, а не только его творения, то и историю его супружества нам придется бесстрашно исследовать. Ту черту, за которую биограф переступать не имеет права, принципиально установить невозможно. Биограф, сознательно обходящий те или другие вопросы, не выдерживает критики. Он должен либо стремиться знать и

При этом в качестве источников для психолого-биографической реконструкции характера героя очерков используются его художественные произведения, трактуемые в духе психоаналитических штудий А.Л. Бема<sup>124</sup>. В данном случае Ходасевич только доводит до логического конца свою концепцию житнетворческой биографии Белого, в которой, по удачному выражению Н.А. Струве, «писатель возобладал над человеком» (Струве 1978: 108)<sup>125</sup>.

Личность Пушкина изображается Ходасевичем в многочисленных биографических работах<sup>126</sup> так же в соответствии с его концепцией житнетворческой биографии поэта<sup>127</sup> и притом столь же «неприкровенно», с акцентированием мельчайших подробностей его личной и бытовой жизни<sup>128</sup>. При этом, например, в упомянутой главе «Молодость» он вводит в монтаж, в духе Вересаева<sup>129</sup>, анекдотические сведения об интимной жизни

---

понять все, либо совсем отказаться от выполнения своей задачи. В отношении к Толстому такой отказ был бы равносильным отказу от изучения Толстого вообще» (Ходасевич 08.06.1933).

<sup>124</sup> Ходасевич считал методологические установки Бема, которые были реализованы, главным образом, в многочисленных работах о Достоевском, родственными его собственному подходу к изучению писательской личности. Он писал, в том числе, и по поводу статьи Бема «Драматизация бреда („Хозяйка“ Достоевского)» (1929): «... с подлинной личностью Достоевского меня все же конкретнее знакомят статьи, ближе меня подводящие к „лаборатории гения“ или прямо вводящие в эту лабораторию» (Ходасевич 26.07.1934). В очерках о Белом, Ходасевич «вычитывал» из романов писателя его детские переживания, вызванные семейными неурядицами, в частности, рано возникшую ненависть к отцу. Эта же тема обсуждается и в других работах критика, посвященных творчеству писателя (Хьюз 1987: 156). Методологической рамкой подобных рассуждений служит, очевидно, фрейдовский дискурс с пресловутым «эдиповым комплексом» в качестве универсальной отмычки для познания «тайны» творческой личности.

<sup>125</sup> Набоков делился своими впечатлениями от очерков Ходасевича о Белом в письме к критику от 26 апреля 1934 года. Он акцентировал внимание адресата на собственном чисто эстетическом прочтении произведений Белого: «Я читал „Петербург“ раза четыре – в упоении – но давно. („Кубовый куб кареты“, „барон – борона“, какое-то очень хорошее красное пятно – кажется от маскарадного плаща, – не помню точно; фразы на дактилических рессорах; тикание бомбы в сортире...). А из стихов – чудные строки из „Первого Свиданья“, – полон рот звуков: „Как далай-лама молодой“» (цит. по: Минувшее 1991: 278).

<sup>126</sup> Перечень этих работ приводится ниже, в связи с обсуждением биографического пушкинистского дискурса Ходасевича.

<sup>127</sup> Этот взгляд Ходасевич декларировал в статье «Памяти Гоголя», опубликованной уже через месяц после выхода в свет цикла очерков о Белом, – 29 марта 1934 года. Критик назвал Пушкина первым русским писателем, сознательно связавшим свою жизнь с творчеством: «Он первый связал неразрывно трагедию своей личности человеческой с личностью художника, поставив свою судьбу в зависимость от поэтических переживаний» (Ходасевич 1996- II: 294).

<sup>128</sup> Этот подход мотивируется абсолютной автобиографичностью творчества Пушкина. См. приведенные в сноске 105 программные заявления критика, сделанные в статье «О чтении Пушкина (К 125-летию со дня рождения)». В статье «В спорах о Пушкине» (1928) Ходасевич утверждал, что без знания бытовой биографии Пушкина невозможно познание его творчества: «Пушкин „читал жизнь свою“ „с отвращением“. Мы перечитываем ее с умилением, – не потому, что мы, по великодушию и мудрости своей, что-то там научились „прощать“ Пушкину, но потому, что и прощать нечего: прощать Пушкину его жизнь так же нелепо, как прощать его стихи. Только в слиянии с *этой* жизнью, не с иною, могла создаться *эта* поэзия, неотделимая от нее ничем. Творчество Пушкина не существовало в отдельности от его жизни, как жизнь – от творчества. Было лишь чудесное единство: жизнь-и-творчество. Чем больше мы знаем о жизни, тем больше слышим в поэзии. И если настанет день, когда мы окончательно научимся разделять их, – в тот день мы утратим Пушкина» (Ходасевич 1928: 275).

<sup>129</sup> Ходасевич критиковал Вересаева как автора книги «Пушкин в жизни», главным образом, за игнорирование биографической значимости стихотворных высказываний Пушкина (см. его рецензию на книгу Вересаева «Пушкин в жизни» от 13 января 1927 г. (Ходасевич 1996- II: 140-146)), а также за субъективный отбор мемуарных источников («... он <Вересаев> их использовал не полностью, а частично, *сообразно своему вкусу и разумению* <курсив наш – В.Ч.>» (Ходасевич 13.08.1937)). При этом критик исходил из религиозно-идеологических соображений. (О христологической перспективе полемики Хода-

Пушкина, о его разгулах, авантюрных поступках и т. д. Неадекватное поведение поэта объясняется в «психоаналитическом» ключе его ущемленной психикой, обусловленной полученными в детстве от бездарного родительского воспитания душевными травмами.

Вообще говоря, Ходасевич неоднократно обращался к остросюжетным и пикантным темам в пушкинистике. Из его статей о «донжуанских» похождениях поэта можно было бы составить книгу<sup>130</sup>. Ее общий колорит удачно дополнили бы фельетоны о Пушкине-бретере и банкете<sup>131</sup>.

«Донжуанство» Пушкина изображается Ходасевичем в его «вальмоническо-мефистофелевском» варианте. Наиболее ярко эта особенность проявилась в очерке «Зизи» (1933) при характеристике отношений Пушкина с обитательницами Тригорского. Очевидно, критик при этом руково-

---

севича с Вересаевым см.: Паперно 1992: 26-33. Все же исследовательница не учла важный в данном смысле отзыв Ходасевича на статью Вересаева «К художественному оформлению быта» (1926). См.: Ходасевич 21.03.1926). Однако Ходасевич не считал возможным полное игнорирование «апокрифического и полуапокрифического материала» (Ходасевич 13.08.1937) о жизни Пушкина. Например, он оценивал мемуары Л.Н. Павлищева, к слову сказать, один из главных источников анекдотических сведений о поэте, как «правдоподобные и не подлежащие окончательному отвержению» (Ходасевич 13.08.1937). Он включил в упомянутую главу «Молодость», а также в статью «Дуэльные истории» (1937) анекдот из книги Павлищева, включенный в монтаж Вересаева, о дуэльной ссоре Пушкина с родственником П.И. Ганнибалом из-за некой девицы Лошаковой. Вообще говоря, книга Вересаева послужила Ходасевичу одним из источников «Молодости» (Ходасевич 1996- III: 533). Судя по следующей ссылке Ходасевича, на нее же он опирался при составлении биографической статьи «Пушкин на Святогорской ярмарке» (1929): «Мы здесь привели небольшую часть <свидетельств современников – В.Ч.>; любопытный читатель найдет их гораздо больше (достоверных и сомнительных) у Вересаева („Пушкин в жизни“»)» (Ходасевич 20.06.1929).

<sup>130</sup> Тайные любви Пушкина (Ходасевич 20.09.1925), Пушкин и Хитрово (Ходасевич 10.02.1928), Зизи (Ходасевич 10.08.1933, 12.08.1933), Аглия Давыдова и ее дочери (Ходасевич 1935), Книги и люди: Дневник А.А. Олениной (Ходасевич 12.12.1936), Амур и Гиеней (1924, 1937) (Ходасевич 1996- III: 500-511), Гр. Д.Ф. Фикельмон (Ходасевич 15.04.1938).

<sup>131</sup> Дуэльные истории (1937) (Ходасевич 1999); Пушкин, известный банкет (Ходасевич 06.06.1928, 07.06.1928). Характерно, что в последнюю из упомянутых статей Ходасевич включил анекдотическое сообщение П.И. Бартенева, приведенное также у Вересаева (1990 II: 182), о якобы произошедшей в Кишиневе драке с участием Пушкина, где тот расправился со своим противником с помощью собственного сапога («снял сапог и подошвой ударил его <противника – В.Ч.> в лицо» (Ходасевич 07.06.1928)). Тем самым Ходасевич доказывает свой тезис о том, что Пушкин был «азартен до самозабвения». Набоков высмеял этот «натуралистический» ход мысли, подразумевающий отождествление творческой личности поэта с рефлекторной деятельностью его организма, пародийно воспроизведя в первом разговоре Годунова-Чердынцева с Кончеевым упомянутую выше полемику Ходасевича с Осоргиным и «ухватовцами» (см. сноску 107). Годунов-Чердынцев, выполняющий в данном случае функцию резонера классицистской комедии, выражает свое отвращение по поводу натуралистических приемов, с помощью которых И.А. Гончаров и А.Ф. Писемский передавали душевные движения своих героев: «Помните, как у Райского в минуту задумчивости переливается в губах розовая влага? – точно так же, скажем, как герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь?» (Набоков 2000 IV: 256-257). В ответ Кончеев восхищается «психологизмом» подобной сцены в романе Писемского «Люди сороковых годов» (1869): «Тут я вас уловлю <намек на название «Ухвата!» – В.Ч.>. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом?» (Набоков 2000 IV: 257). В оригинале следует продолжение: «... сапог этот попал одному лакею в лицо» (цит. по: Набоков 2000 IV: 657). Тут Кончеев попадает в собственную ловушку (в английском тексте вместо «уловлю» стоит «трап» (Nabokov 1991: 72), т.е. «ставить ловушки») или, так сказать, «ухватывает» сам себя: ведь его собеседник не испытывает никакого интереса к подобным «психологическим» приемам. Таким образом, Набоков указывает Ходасевичу, что подобное поведение, приписываемое тем Пушкину, характерно для лакеев и, переносно говоря, заниматься распространением подобных грязных сплетен – значит «перекидываться» этим самым «грязным сапогом» (или «неблагодарными шутками») с другими «лакеями». А он ведь может попасть и в собственное лицо сплетника.

дствовался версией А.Н. Вульфа, тайного недоброжелателя Пушкина, который в своем нашумевшем «Дневнике»<sup>132</sup> представил поэта в роли Мефистофеля, а себя – в роли Фауста<sup>133</sup>.

В этом очерке Ходасевич мотивирует любовное поведение поэта «мефистофелевским» стремлением к проникновению в невинные души ради, так сказать, «соблазнения малых сих»: «... ему всегда нравилось, его волновало – пробуждать чувственность там, где она еще не проснулась или казалась уснувшей» (Ходасевич 10.08.1933: 3). В связи с набоковской темой особенно актуален ходасевичевский «анализ» чувственной стороны знакомства поэта с четырнадцатилетней Евпраксией Вульф. (Ходасевич искусственно занижил возраст девочки на один год, посчитав ее родившейся 12 октября 1810 года (Ходасевич 10.08.1933: 3))<sup>134</sup>. «Не встретя с ее стороны никаких любовных поползновений (!), – рассуждает критик по поводу поведения Евпраксии, – он и сам избавил ее от ухаживаний» (Ходасевич 10.08.1933: 4)<sup>135</sup>.

---

<sup>132</sup> Опубликован в 1915 году.

<sup>133</sup> Следует иметь в виду, что в 1920-е гг. достоверность сведений, передаваемых Вульфом, некоторыми пушкинистами подвергалась сомнению. Так, Щеголев, полемизируя с Вересаевым, безоговорочно признавшим вульфовские записи в качестве полноценного источника для биографии Пушкина, считал упомянутое построение мемуариста несостоятельным с культурологической точки зрения. По мнению ученого, любовное поведение поэта определялось не литературными образцами, а нравами эпохи: «Пушкин – сын своего времени, и не приходится серьезно говорить о нем как о Мефистофеле, а о Вульфе как о Фаусте. Да, Вульф видел в Пушкине не столько учителя, сколько соперника, и не доказано, что Пушкин в своем обращении с сестрами и кузинами своего ученика в науке страсти нежной шел по тому же пути» (Щеголев 2006: 189). Н.О. Лернер охарактеризовал Вульфа как душевнобольного эротомана, по определению не способного понять Пушкина. Его писания – «сплошная грязь и низость». Сам он – «развратник и грубоватый армейский Дон-Жуан» (Лернер 1929: 62-63).

<sup>134</sup> В очерке «Аглая Давыдова и ее дочери» (1935) Ходасевич, в рамках полемики с предвзятыми, по его мнению, воспоминаниями И.Д. Якушкина, так же подробно обсуждает «эротическую» подоплеку отношений Пушкина с 10-11-летней (!) Аделью Давыдовой. В частности, он прямо биографически прочитывает стихотворение «Аделе» (1822), в котором лирический герой советует героине в духе горацианского *carpe diem* (лови мгновение): «Час упоенья / Лови, лови! / Младые лета / Отдай любви...» (Пушкин 1994- II: 244). Ходасевич считает, что современникам, «еще не замороженным записками Якушкина» (Ходасевич 1935: 236), эти стихи представлялись невинными, поскольку Рылеев поместил их в «Полярной Звезде» за 1824 год под названием «В альбом малютке». По мнению критика, «эти стихи – не более как дружеское, ласковое напутствие девушке, которой вскоре (года через три) <Ходасевич дает Адели 12 лет – **В.Ч.**> предстоит появиться „в шуме света“, а там и „младые лета отдать любви“ – то есть попросту выйти замуж» (Ходасевич 1935: 236). Другими словами, Ходасевич, корректируя свидетельство «невольно сгустившего краски» (Ходасевич 1935: 235) Якушкина, сам акцентировал упомянутый «мефистофелевский» момент в отношении Пушкина к девочке: в данном случае тот «пробуждал чувственность там, где она еще не проснулась» (Ходасевич 10.08.1933: 3). В художественной форме этот мотив Ходасевич варьировал в рассказе «Жизнь Василия Травникова» (1936), где «небесная» любовь главного героя к 13-летней Елене Гиллос симметрична любви «земной» старшего Травникова к 14-летней Маше Зотовой. Как замечает современный исследователь А.Л. Зорин: «Именно в этом влечении к девочке-подростку, „воспламененном“ „воображением о невинности, страстными тревожимой“ <курсив наш – **В.Ч.**>, источник трагедии Григория Травникова» (Зорин 1988: 25). Он же отмечает сходство сюжетов «Травников – Маша Зотова» и «Гумберт Гумберт – Лолита»: «Расплатой для него <Г. Травникова – **В.Ч.**>, как и для героя набоковской „Лолиты“, становится одиночество и безумие» (Зорин 1988: 25).

<sup>135</sup> Данные рассуждения Ходасевича нашли пародийное отражение в «Даре». В очерке критик писал по поводу происхождения другого имени Евпраксии – Зизи: «Звали ее Евпраксия, <...> а на французский лад Euphrosyne, откуда и уменьшительные: Зина, Зизи» (Ходасевич 10.08.1933: 3). Euphrosyne – это имя одной из харит (или граций) в греко-римской мифологии, которое буквально переводится как «радость духа» (Словарь античности 1989: 200). То есть «Зина», «Зизи» калькируется русско-богдановическо-чеховским «душенька», или «душечка». Напомним, что малолетнюю возлюбленную (и первую набоковскую «лолиту»), а затем падчерицу Б.И. Щеголева, пародийного персонажа «Дара» и однофамильца известного пушкиниста, звали Зина Мерц. Как известно, П.Е. Щеголев выдвигал в качест-

«Мефистофелевскую» тему Ходасевич развивает также в очерке «Дневник А.А. Олениной» (1936). И на этот раз он безусловно доверяет враждебным по отношению к Пушкину свидетельствам. Критик выделяет следующую дневниковую запись от 11 августа 1828 года: «Он влюблен в Закревскую. Все об ней толкует, чтобы заставить меня ревновать, но при том тихим голосом прибавляет мне разные нежности» (Ходасевич 12.12.1936). По Ходасевичу, Пушкин в данном случае стремился разбудить чувственность у еще невинной девушки: «Несомненно, одной из целей было именно возбуждение ревности. Но, вероятно, рассказами о Закревской, вокруг которой вся атмосфера была насыщена эротизмом, Пушкин пытался в Олениной расшевелить и иные чувства» (Ходасевич 12.12.1936).

В очерке «Амур и Гименей» (1924)<sup>136</sup> Пушкин представлен сознательно нарушающим обет супружеской верности. Ходасевич пишет: «Есть веские основания считать, что сам Пушкин не был верен своей жене. Его отношения с гр. Д.Ф. Фикельмон и с А.Н. Гончаровой, по-видимому, были не чисты» (Ходасевич 1999а: 254). Из очерка «Тайные любви Пушкина» (1925) выясняется одно из этих «веских оснований» категорического утверждения критика. Им оказывается его собственная уверенность в достоверности адюльтерной истории с участием Пушкина и Д.Ф. Фикельмон, которую поэт поведал своему другу Нащокину в 1830-е гг.<sup>137</sup> «Главным аргументом» критику послужил сам факт сообщения Пушкиным Нащокину имени этой дамы. Конечно, рассуждает Ходасевич, Пушкин в этом случае поступил «нескромно», однако, «если <...> допустить, что рассказ вымышлен, то получится, что либо Пушкин, либо Нащокин возмутительно клеветали на Фикельмон. Но мы достаточно знаем и Пушкина, и его друга. Они могли быть легкомысленны, – но прямой подлости мы ни в одном из них допустить не можем» (Ходасевич 20.09.1925). По этой же логике, непристойное сообщение Пушкина своему приятелю Соболевскому по поводу интимной связи с А.П. Керн – не более чем вполне простительное легкомыслие. Собственно, в таком духе Ходасевич и писал об этом сообщении в очерке «Пушкин и Хитрово» (1928), приводя его в качестве баналь-

---

ве объекта «утаенной любви» Пушкина М.Н. Раевскую-Волконскую, которой к моменту знакомства с поэтом было, по Набокову, тринадцать с половиной лет (Набоков 1998: 157). Кстати сказать, Ходасевич считал данную гипотезу Щеголева достоверной. См., например, его полемическое замечание в рецензии 1920 года по поводу комментирования В.Я. Брюсовым адресата стихотворения Пушкина «Редет облаков летучая гряда...» (1824): «Вряд ли стихотворение „Редет облаков летучая гряда...“ относится к Екатерине, а не Марии Раевской» (Ходасевич 1999а: 86). В качестве реального прототипа «любителя нимфеток» Б.И. Щеголева выступает также А.И. Куприн как автор романа «Жанета» (1932). Об этом подробнее см.: Черкасов 2003.

<sup>136</sup> Опубликован в пражском журнале «Воля России» (1924. № 1/2). Вошел в книгу Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924). В измененном виде вошел в книгу «О Пушкине» (1937). Вариант 1924 года перепечатан в составе «Поэтического хозяйства Пушкина» (45 глава) в издании: Ходасевич 1999а.

<sup>137</sup> В пушкинистике 1920-х гг. не существовало однозначного мнения по поводу достоверности этого рассказа. Безоговорочно ее признали М.А. Цявловский (Цявловский 1922: 119) и В.В. Вересаев, включивший рассказ, вероятно, с подачи того же Цявловского, помогавшего ему в отборе материалов, в свой монтаж «подлинных свидетельств современников». Однако Л.П. Гроссман доказывал фикциональный статус нащокинского рассказа, называя его «устной новеллой» (Гроссман 1923: 94-113). Ходасевич сообщает, что такого же мнения придерживался В.Ф. Саводник (Ходасевич 15.04.1938).

ного примера цинического отношения поэта к некоторым из своих возлюбленных<sup>138</sup>.

Если в печатных выступлениях, как было показано выше, Ходасевич, по крайней мере, стремился найти «соломоново решение», то, как свидетельствует М.А. Алданов, в устных рассказах о писателях откровенно сгущал краски<sup>139</sup>. «Могу засвидетельствовать, – пишет мемуарист, – что сам он правилу о „нас возвышающей правде“ следовал тоже не вполне неуклонно: многое в печати значительно смягчил по сравнению с устными рассказами. Так, несомненно, очень смягчены в книге, – говорю то с полной уверенностью, – его суждения и рассказы о Максиме Горьком» (Алданов 2004: 358). Свидетельство Алданова подтверждается воспоминаниями В.Н. Муромцевой-Буниной. Ей Ходасевич рассказывал о шулерстве Некрасова и Пушкина: «... с увлечением, гуляя по грасскому саду, рассказывает, что не только Некрасов, но даже Пушкин передергивали в карты...» (Муромцева-Бунина 2004: 215)<sup>140</sup>.

И.З. Сурат объясняет тяготение Ходасевича к пикантным темам в пушкинистике исключительно коммерческими условиями газетной работы<sup>141</sup>. По нашему мнению, исследовательницей не учитываются обозначенные выше концептуальные установки критика на «правдивое», в «мельчайших» деталях изображение личности Пушкина<sup>142</sup>. В самом деле, Ходасевич, как всегда, с очевидной личной заинтересованностью вникает в самые интимные и рискованные эпизоды из биографии Пушкина. Многие из отмеченных критиком черт характера поэта находят соответствие в высказываниях современников по поводу его собственного характера<sup>143</sup>. Сама

---

<sup>138</sup> «... какой вывод можно сделать из этого факта <возможной интимной связи Пушкина с Е.М. Хитрово – В.Ч.>? Разве лишь тот, что Пушкин порой выказывал презрение к иным из своих возлюбленных, что он мог выражаться о них цинически? Это не ново. <...> Об А.П. Керн, той самой, которой посвящено „Я помню чудное мгновенье“, написана чрезвычайная непростойностью в письме к Соболевскому, а позже в письме к жене, просто – „дура“» (Ходасевич 10.02.1928).

<sup>139</sup> В 1930-е гг. (начиная с октября 1932 года) Набоков довольно часто встречался с Ходасевичем (см. комментарий Мальмстада в издании: *Минувшее* 1991: 278-279) и поэтому вполне мог слышать его рассказы о писателях «из первых уст». Во всяком случае, по свидетельству Н.Н. Берберовой, беседы Набокова с Ходасевичем, состоявшиеся 23 и 30 октября 1932 года затем отразились в воображаемых диалогах Ф.К. Годунова-Чердынцева с Кончеевым: «Оба раза в квартире Ходасевича <...> в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы „Дара“, в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева» (Берберова 1999: 185).

<sup>140</sup> Ф.К. Годунов-Чердынцев высмеивает подобную резкость в оценках писательских личностей в обзоре полемических приемов критики 1860-х гг.

<sup>141</sup> См.: Сурат 1994: 72-73.

<sup>142</sup> На наш взгляд, косвенным опровержением данного утверждения исследовательницы может также служить собственное заявление Ходасевича, сделанное 10 апреля 1930 года на вечере в честь 25-летия его литературной деятельности. Это заявление дошло до нас в пересказе корреспондента «Возрождения»: «В теплых словах юбиляр благодарил собравшихся, особо подчеркнув, что в „Возрождении“ он нашел драгоценнейшую для писателя свободу, свободу независимого высказывания» (А.Л. 1930). В письме к З.Н. Гиппиус от 4 декабря 1928 года Ходасевич противопоставил «Возрождение» более популярной парижской газете «Последние новости», в том числе, по признаку негативного отношения к практикуемому той потаканию вульгарным вкусам. По его словам, в «Возрождении» нет «сочинителей вороватых стихов да похабных романчиков» (Ходасевич 1996- IV: 511).

<sup>143</sup> Жизнетворческую тему «донжуанства» Ходасевича иронически инвертировал в своих мемуарах В.С. Яновский в связи с быстрой женитьбой поэта на О.Б. Марголиной. При этом он пародийно варьировал мотивы стихотворения Ходасевича «Бегство» (1914). (Монографический анализ этого стихо-

Сурат в другом месте своей монографии упоминает статью «Пушкин, известный банкومت» для иллюстрации положения об автореферентности пушкинистского дискурса Ходасевича. Здесь же констатируется факт составления Ходасевичем собственного «дон-жуанского списка» в качестве примера жизнетворческой параллели с биографией Пушкина<sup>144</sup>.

В эссе Набокова газетная «желтизна» и наукообразная «мелочность» биографических произведений Ходасевича гротескно отражается в темах устных беллетризованных рассказов о русских писателях, которые сочинял один пародийный персонаж – сумасшедший знакомый эссеиста, пристрастившийся к историко-биографическому фантазированию, вследствие произошедшего с ним в ранней молодости падения с лошади<sup>145</sup>. Болезнь этого персонажа проявлялась в потере самоидентификации и в склонности отождествлять себя с героями своих «исторических» повествований<sup>146</sup>, а также в хронологически-реверсивном ходе «воспоминаний» о личном знакомстве с этими героями<sup>147</sup>. По словам Набокова: «Сумасшедший <...> рассказывал анекдотические истории об императорах и поэтах так, словно эти люди жили с ним на одной улице. Зажав в уголке рта папиросу, он в непринужденной манере рассуждал о босых ногах Толстого, серебристой седине почтенного Тургенева, цепях Достоевского и, наконец, добирался до любовных увлечений Пушкина» (Набоков 1996: 413-414).

В рассказах сумасшедшего «любовные увлечения» Пушкина стоят в одном ряду с подчеркнуто клишированными деталями сильно опошленных «психологических» портретов прочих упомянутых писателей. Этот прием Набоков симметрично отразил в нарисованном им портрете самого рассказчика, наделив его «папиросой», сладострастно «зажатой в уголке рта».

---

творения см.: Жолковский 2007). «Мне показалось странным, – пишет мемуарист, – что он – в этом возрасте и без средств – так быстро нашел себе другую даму, к литературе непричастную. Фельзен, считавшийся тогда специалистом по психологическому роману, объяснял нам, что есть такой тип мужчин: они наедине с женщиной становятся вдруг очаровательными, и тут ни наружность, ни возраст, ни положение или капитал роли не играют» (Яновский 2004: 325). Соль иронии заключается в том, что герой Фельзена (с которым в критике, в том числе и ходасевичевской (см., напр.: Ходасевич 12.01.1933), отождествлялся сам писатель), играл в отношениях со своей возлюбленной абсолютно пассивную роль, относясь, таким образом, к «донжуанскому» типу мужчины только своей «любвеобильной» стороной. Здесь же Яновский рассказывает о пристрастии Ходасевича к картам (Яновский 2004: 324-325). М.В. Вишняк, по методу Л.Н. Толстого в интерпретации Шкловского, нарочито наивно остраивает поведение Ходасевича, вызвавшего его на дуэль (Вишняк 2004: 316-317).

<sup>144</sup> См.: Сурат 1994: 50.

<sup>145</sup> Очевидная пародийная отсылка к «психоаналитическому» коду, содержащемуся, в том числе, в историко-биографических произведениях Ходасевича.

<sup>146</sup> Намек на автореферентный характер биографического дискурса Ходасевича.

<sup>147</sup> «Бедная странствующая душа, удаляющаяся все быстрее и быстрее по склону времени», – пишет Набоков по поводу данной мании своего персонажа. Этот «диагноз» выполняет функцию пародийно-полюемической отсылки к ходасевичевской характеристике набоковских героев как художников-маньяков собственного искусства, оторванных от реальности. По Ходасевичу, чисто эстетический творческий дискурс – признак дилетантизма. Так, он писал в своем первом развернутом отзыве о творчестве Набокова, характеризуя заглавного героя романа «Защита Лужина» (1929-1930): «Отрыв от реальности, целостное погружение в мир искусства, где нет полета, но есть лишь бесконечное падение, – есть безумие. Оно грозит честному дилетанту, но не грозит мастеру, обладающему даром находить и уже никогда не терять линию пересечения. Гений есть мера, гармония, вечное равновесие. Лузин не гений. Он, однако ж, и не бездарность. Он не более как талант» (Ходасевич 11.10.1930). В итоговом упомянутом эссе «О Сирине» (1937) Ходасевич фактически отождествил Набокова с его героями, охарактеризовав художественный дискурс писателя как чисто эстетический, в его формалистском варианте (Черкасов 2001: 49).

Другими словами, по мысли эссеиста, как Ходасевич, исходя из «кропотливого» анализа «мельчайших» деталей бытовой и интимной жизни Пушкина, определял «истинную», или творческую личность поэта<sup>148</sup>, так и читатель, по этой же самой «логике», должен безошибочно определить «истинную» («творческую») личность сумасшедшего рассказчика.

Такой клишированной деталью, как пристрастие к курению, мемуаристы наделяли психологический портрет самого Ходасевича. «Вправляющим длинными пальцами половинку „Зеленого Капораля“<sup>149</sup> в мундштук» (Набоков 2000 V: 318) он изображен и в русской и в английской версии мемуаров Набокова<sup>150</sup>. Однако для нас в данном случае прежде всего важен послуживший подтекстом обсуждаемого эпизода из набоковского эссе портрет Ходасевича, сделанный Андреем Белым в вышедших посмертно мемуарах «Между двух революций»<sup>151</sup>. Мемуарист пишет: «Бывало, умел с тихой нежностью, с „детскою“ грустью больного уродика тихо плакать о гибнущем в нем чувстве чести; любил он прикинуться ползающим в своей грязи из чувства подавленности перед ризами святости: делался даже изящным, когда, замерцавши глазами, с затыгом сухой папироски, с подергом змеиной головки, он нервным, грудным, перекурренным голосом пел, точно страстный цыганский романс, как он Пушкина любит за то, что и Пушкин купался в грязи; и купается Брюсов; и он, даже... я, как все лучшие и обреченные люди» (Белый 1990: 223-224).

С другой стороны, известен другой беловский портрет Ходасевича, который относится к приведенному пасквильному варианту по принципу зеркальной симметрии. И Набоков, конечно, имел в виду этот общеизвестный факт, когда отсылал читателя к текстам Белого, как поэта, личность которого была представлена Ходасевичем в соответствии с тезисом об абсолютной истинности «неприкрашенной правды».

Этот портрет Белый создал в начале 1920-х гг., в результате анализа не бытовых, а «поэтических жестов» Ходасевича-автора «Тяжелой Лиры». Здесь Белый пришел к прямо противоположному выводу, акцентировав абсолютную правдивость поэта<sup>152</sup>.

---

<sup>148</sup> Об «истинной» личности Пушкина как о ее творческой ипостаси см., например, следующие рассуждения Ходасевича по поводу упомянутой французской биографии Пушкина, написанной М.Л. Гофманом: «... повествование о творчестве, то есть о душе и смысле пушкинской жизни <выделено нами – В.Ч.>, как бы подменено библиографией и датировкой. Впрочем, иначе и быть не могло: там, где нет творческой личности <выделено нами – В.Ч.>, нет и творчества» (Ходасевич 09.07.1931). См. также утверждение критика, высказанное в упомянутой рецензии на книгу Вересаева «Пушкин в жизни»: «Пушкин без творчества – живой труп. Никакие „настроения“ и „привычки“, так же как „одежда“, не возместят отсутствия того, что было в нем главное и чем только он, в сущности, любопытен: его творческой личности» (Ходасевич 1996- II: 143).

<sup>149</sup> Сорт дешевых французских сигарет.

<sup>150</sup> См. также свидетельство М.В. Вишняка: «Ходасевич был непривередлив в еде, пил редко и мало, был почти равнодушен к комфорту. Только курильщик был он страстный: курение стоило ему „состояния“» (Вишняк 2004: 308).

<sup>151</sup> Интересующая нас часть мемуаров вышла в свет в апреле 1935 года (Белый 1990: 442).

<sup>152</sup> См. статьи Белого «Рембрандтова правда в поэзии наших дней» (1922) и «Тяжелая Лира и русская лирика» (1923) <название книги не закавычено в журнальной публикации – В.Ч.>. (Белый 1922; Белый 1923). С «жестами» лица Белый сравнил поэтические приемы Ходасевича: «... говоря о „приеме“ поэзии Ходасевича, повторяющем часто „приемы“ классической лирики, следует помнить: „прием“ здесь



Таким образом, Набоков как бы ставит Ходасевича перед выбором: какой из этих двух портретов для него окажется более правдивым? Тем самым Набоков доводит до абсурда методологическое указание критика о решающей роли в деле познания личности поэта сбора и обработки информации о бытовых подробностях его интимной жизни.

В самом деле, сведения, излагаемые Белым хотя и в пасквильном тоне, но в точном соответствии с установкой Ходасевича на «неприкрашенную правду», если сделать вполне допустимую, опять же по Ходасевичу, скидку «на сгущение красок», очевидно, подтверждаются как печатными пушкинистскими выступлениями критика на «донжуанско-мефистофелевскую» тему, так и свидетельствами мемуаристов, в том числе таким нейтральным, как алдановское, и дружественным, принадлежащим В.Н. Муромцевой-Буниной<sup>153</sup>.

Terra incognita в беловском портрете Ходасевича начинается там, где мемуарист, как бы пародируя концепцию реального прототипа своего героя, предается «психологизированию», восстанавливая личность героя посредством символизации «мельчайших» бытовых деталей. Так, «затыг сухой папироски», наряду с прочими деталями, призван подчеркнуть лицемерие Ходасевича, который, по Белому, надевал маску искренности, чтобы внушить к себе доверие собеседника, «войти» к нему «в душу» и там «нагадить» (Белый 1990: 223).

С другой стороны, если следовать опять же пушкинистскому методу Ходасевича, второй, «высокий», портрет, созданный Белым оказывается неверен, так как в этом случае, по-видимому, был проигнорирован принцип единства творчества поэта с его жизнью («жизнь-и-творчество»). В результате, Белый построил мифопоэтическую личность Ходасевича, в значительной мере руководствуясь своим чувством «конкретной любви»<sup>154</sup>. Подключение к анализу бытовых жестов Ходасевича, вроде «затыга папироски», должно обнажить произвольность беловского построения и привести к «неприкрашенной правде» лицемерного характера ходасевичевского «абсолютного поэтического реализма»<sup>155</sup>.

---

лишь жест (иль дрожание мускулов рта или глаз, отражающих чисто душевное состояние смеха, иль горя)» (Белый 1923: 379).

<sup>153</sup> Сюда же можно добавить свидетельство А.В. Бахраха по поводу аутентичности такой детали в беловском портрете Ходасевича, как «умение кусать и себя и других»: «Как ни гиперболичны характеристики Белого, в них всегда – пусть в кривом зеркале – отражена действительность. Подмеченную Белым черту Ходасевич пронес до конца дней, и, может быть, именно она придавала характерную остроту его писаниям, как прозе, так и поэзии» (Бахрах 2005: 290).

<sup>154</sup> См. надпись Белого на экземпляре «Петербурга», подаренного писателем Ходасевичу в 1922 году: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь» (цит. по: Хьюз 1987: 161).

<sup>155</sup> Сам Набоков считал стихи Ходасевича, как и стихи всякого большого поэта, единственным возможным источником для познания «истинной» личности творца, под которой понимал личность творческую. В этом смысле он отвергал даже личные воспоминания, поскольку они не имеют никакого отношения к этому, единственно важному, познанию, дарующему в конечном итоге ощущение осмысленности бытия. Свое «твердое мнение» на этот счет писатель высказал уже в 1939 году в концовке некролога «О Ходасевиче»: «Как бы то ни было, теперь все кончено: завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушел туда, откуда, быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие своей потусторонней свежестью – и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак. Что ж, еще немного сместилась жизнь, еще одна привыч-

Итак, по мысли Набокова, Ходасевич, не противореча собственной концепции «неприкрашенной правды», не может признать «высокий» вариант портрета Белого в качестве более правдивого<sup>156</sup>. Но почему, в таком случае, он же считает возможным и даже необходимым применение своей концепции к изучению личности других поэтов? В самом деле, чем отличаются недружественные к Пушкину свидетельства Вульфа, Олениной, Якушкина и т.д. от взглядов Белого 1930-х гг., возможно, в свою очередь, раздраженного «неприкровенными» сведениями по поводу его интимной жизни, всенародно распространяемыми Ходасевичем в эмигрантской периодике<sup>157</sup>?

Таким образом, Набоков обнажает субъективную произвольность пушкинистского биографического дискурса Ходасевича; его двойственный

---

ка нарушена, – *своя* привычка *чужого* бытия. Утешения нет, если поощрять чувство утраты личным воспоминанием о кратком, хрупком, тающем, как градина на подоконнике, человеческом образе. Обратимся к стихам» (Набоков 2000 V: 590). От собственного биографа писатель ждал только «обыкновенных фактов, не поиска символов, не подбрасывания заманчивых, но несообразных умозаключений, не марксистской болтовни, не фрейдистского вздора» (Nabokov 1973: 156).

<sup>156</sup> Любопытно, что Ходасевич оценил хвалебные отзывы Белого начала 1920-х гг. о его личности и творчестве как «полуправду», а пасквильный портрет в «Между двух революций» как «загробную ложь». Правда, эта оценка была выражена в печатном виде 27 мая 1938 года в статье-рецензии с говорящим названием «От полуправды к неправде» («Возрождение» (Париж), однако, как было сказано, в промежутке между апрелем 1935 и февралем 1937 гг. Набоков неоднократно встречался с Ходасевичем и, вполне возможно, был в курсе его отношения к беловским мемуарам. Невозможно согласиться с следующим мнением Р. Хьюза, выраженным в категорической форме, по поводу объективности ходасевичевской оценки «Между двух революций»: «В общем же это лучшая существующая оценка мемуаров Белого» (Хьюз 1987: 160). Исследователь не учел полемической установки указанной статьи-рецензии Ходасевича. Так, по его мнению, «две бранных страницы», посвященных Белым Ходасевичу, «несмотря на их яркость и силу, тем не менее исказили правду» (Хьюз 1987: 160). В качестве примера этого искажения Хьюз приводит ходасевичевскую поправку свидетельства Белого по поводу того, что Ходасевич якобы жил в доме Брюсовых и занимался распространением семейных тайн «о ссоре родителей с сыном» (закавыченное выражение, принадлежащее Белому цит. по: Ходасевич 27.05.1938). Если Ходасевич не занимался этим по отношению к Брюсову (хотя NB: см., напр., его некрологический очерк «Брюсов» (1925)), то, как следует хотя бы из данного самим Хьюзом экстракта содержания его статей, посвященных Белому (см. следующую сноску), «семейные тайны» последнего оказались «секретом полишинеля» как раз во многом благодаря деятельности критика. Ходасевичу, очевидно, важно было дезавуировать беловские контрвыпады по отношению к его фрейдистскому дискурсу.

<sup>157</sup> См., например, следующую содержательную характеристику эмигрантских критических работ Ходасевича, посвященных творчеству Белого: «„Аблеуховы-Летаевы-Коробкины“ (1927) – это фундаментальная работа, охватывающая главные художественные произведения Белого, которую можно отнести к психологической критике. Ходасевич находит разительное сходство действующих лиц и их взаимоотношений в романах „Петербург“, „Котик Летаев“ и „Москва“, и указывает на постоянную тему в романах Белого – „потенциальное отцеубийство“, а также на мотивы предательства и мании преследования. Он кратко упоминает в этом контексте неоконченный роман „Преступление Николая Летаева“. Тем временем этот фрагментарный роман, ранее напечатанный в „Современных Записках“, был опубликован в Москве под названием „Крещеный китаец“, и сразу же Ходасевич разбирает его с той же позиции, как и предыдущие. Есть здесь полунамек на источник этой тематики в биографии Белого: „Уж не знаю, влияют ли тут причины, лежащие внутри творческой личности Белого, или тут просто какой-то „рок“, тяготеющий над его книгами...“. В рецензии на книгу „На рубеже двух столетий“ (Москва, 1930) Ходасевич уточняет: отец Белого, „сухий урод лицом“ и воплощение позитивизма XIX века, знаменитый математик Николай Васильевич Бугаев, указывается как прототип вымышленных отцов в романах. Красавица-мать боролась за освобождение своего „любимого Бореньки“ от власти отца, „начетчика позитивистов, маниака, с ребяческой нежностью относящегося к науке“. Таким образом, шизофрения, проявившаяся позднее, была заложена в раннем детстве. Ходасевич описывает с большим сочувствием эти ножицы, как „называет Белый свою былую невозможность сочетать две крайности нашей культуры – позитивные науки и идеализм – столь долгие годы в юности мучившую его и нашедшую себе разрешение в символизме“» (Хьюз 1987: 156).

характер, выражающийся в декларировании абсолютной значимости творческой личности Пушкина и одновременной постановке изучения этой личности в зависимость от фактов бытовой биографии поэта, другими словами – во внутренне противоречивом сочетании мифопоэтического и биографического подходов в реконструкции личности Пушкина. Используя в качестве литературного подтекста беловские оценки личности Ходасевича-поэта и человека, писатель полемически-пародийно переадресует самому исследователю его жизнетворческую концепцию личности Пушкина. Он доводит до абсурда ее практические результаты, реализовав их в рассказах своего сумасшедшего «героя»<sup>158</sup>.

Итак, мы выяснили радикальную антибиографичность концепции Набокова. В данном эссе писатель последовательно проводит мысль о том, что миры художественных произведений абсолютно независимы от мира первичной реальности; что они обладают самодовлеющей ценностью, и это качество составляет необходимое условие для их истинности. Отсюда следует: 1) литературное произведение вообще не может служить биографическим документом; 2) возможно только создание идеального мифологического образа писателя, поскольку он отразился в его собственных художественных произведениях. Таков смысл следующего заявления Набокова: «Жизнь поэта как пародия его творчества. Бег времени, кажется, хочет повторить жест гения, придавая его воображаемому существованию такой же колорит и такие же очертания, какие поэт дал своим творениям» (Набоков 1996: 416). Набоков считает мифологизацию личности писателя необходимым условием «истинного» представления о ней.

#### **§ 4. Проблема биографии писателя в выступлениях критиков «Возрождения» (В.В. Вейдле, Ю.В. Мандельштам, И.Н. Голенищев-Кутузов, Г.А. Раевский)**

Обзор основных биографических концепций 1920-1930-х гг. был бы не полон без краткой характеристики взглядов на проблему писательской биографии тех литературных критиков парижской газеты «Возрождение», которые входили в ближайшее окружение Ходасевича.

---

<sup>158</sup> До Набокова полемический прием переадресации самому Ходасевичу продекларированного им принципа «мелочного биографизма» использовал Айхенвальд в упомянутых выше критических заметках по поводу статьи «О чтении Пушкина». «... если бы он <Ходасевич – В.Ч.> был последователен, – писал критик, – то он должен был бы признать, что когда появился, например, лирический сборник Вл. Ходасевича „Тяжелая лира“, то читатели и критики не могли его понять, не зная биографии Вл. Ходасевича, и оттого получили право копать в самых интимных подробностях частной жизни последнего. Ведь *по существу* нет разницы, разоблачаем ли мы тайны поэта покойного или поэта здравствующего» (Айхенвальд 23.07.1924). Не исключено, что Ходасевич сознательно провоцировал читателя именно на такое прочтение «Тяжелой лиры», когда печатно оценил данный отзыв Айхенвальда как вполне объективный: «... Айхенвальд мыслей моих не искажал, между строк не читал, руководила им независимость, а не заказ и не желание кому-нибудь угодить; в суждениях опирался он на известную систему художественных воззрений и на солидные познания в предмете, а не на капризную интуицию» (Ходасевич 31.05.1928: 219) (см. также сноску 106). В таком случае, Набоков карикатурно реализовал «тайное» желание Ходасевича, так сказать, подойдя к изображению его «творческой личности» с «заднего крыльца» бытовых привычек и психологических комплексов поэта.

Вообще говоря, редакция этой газеты уделяла большое внимание биографическим произведениям, в том числе посвященным писателям. В этом смысле «Возрождение» в выгодном свете отличалась от конкурирующей с ней парижской газеты «Последние новости». Наряду с текстами Ходасевича в «Возрождении» печатались отрывки из художественной биографии Б.К. Зайцева «Жизнь Тургенева» (1929-1931); «этюды» к книге А.В. Амфитеатрова «Н.В. Гоголь. Человек, смешавший людей» (1935-1936); статьи о русских писателях к памятным датам, принадлежащие перу П.Е. Ковалевского<sup>159</sup> (автора диссертации о Н.С. Лескове, защищенное в Сорбонне)<sup>160</sup>, Г.А. Мейера<sup>161</sup>, Д.С. Мережковского<sup>162</sup> и того же А.В. Амфитеатрова<sup>163</sup>.

Однако основную роль в редакционной политике в области биографии писателя играли соратники и друзья Ходасевича – В.В. Вейдле (с 1927 по осень 1931 года)<sup>164</sup> и Ю.В. Мандельштам (с 1933<sup>165</sup> по 1939 год)<sup>166</sup>. И.Н. Голенищев-Кутузов и Г.А. Раевский, заменившие на некоторое время ушедшего из газеты Вейдле, также играли в упомянутом смысле довольно значительную роль<sup>167</sup>.

Рассмотрим методологические установки этих критиков по проблеме биографии писателя.

На концепцию Вейдле, очевидно, повлияла упомянутая выше установка Ходасевича на изучение жизни и творчества Пушкина в их взаимной обусловленности («жизнь-и-творчество»), которая была выражена в статье «В спорах о Пушкине» (1928). Это видно хотя бы из следующей программной декларации критика, выраженной в статье «Об искусстве биографа» (1931)<sup>168</sup>: «... биография художника, поэта по-настоящему будет

---

<sup>159</sup> Н.С. Лесков. Столетие со дня рождения // Возрождение (Париж). № 2086. 17 февраля 1931. С. 4; А.В. Кольцов (к 125-летию со дня его рождения) // Возрождение (Париж). № 3438. 1 ноября 1934. С. 4

<sup>160</sup> Диссертация была опубликована в виде монографии: Kovalevsky Pierre. N.S. Leskov. Peintre méconnu de la vie nationale russe. Paris: Les presses universitaires de France, 1925

<sup>161</sup> Баратынский (глава из книги) // Возрождение (Париж). № 3718. 8 августа 1935. С. 3-4; Случевский (к 30-летию со дня смерти) // Возрождение (Париж). № 3739. 29 августа 1935. С. 3-4

<sup>162</sup> Мысли о Пушкине // Возрождение (Париж). № 4064. 6 февраля 1937. С. 6

<sup>163</sup> «Святогрешный» // Возрождение (Париж). № 4064. 6 февраля 1937. С. 7-8. Перепечатана в издании: Амфитеатров А.В. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 10. Кн. 1. М.: НПК «Интелвак», 2003, 7-15.

<sup>164</sup> Многие биографические очерки из «Возрождения» вошли под измененными названиями в книгу Вейдле «Вечерний день: отклики и очерки на западные темы» (1952). См.: Вейдле: 1952.

<sup>165</sup> Однако первое выступление Мандельштама в «Возрождении», посвященное девятилетней годовщине смерти Н.С. Гумилева, датируется еще 1930 годом. См.: Мандельштам 31.08.1930.

<sup>166</sup> Критик собрал свои биографические статьи в книгу «Искатели» (Шанхай, 1938). Краткий обзор биографических работ Мандельштама в «Возрождении» см.: Ломоносов А.В. 2000: 74.

<sup>167</sup> Перу Голенищева-Кутузова принадлежат следующие биографические статьи: Франсуа Вильон (к 500-летию со дня рождения поэта) // Возрождение (Париж). № 2375. 3 декабря 1931. С. 3-4; Жизнь Сервантеса // Возрождение (Париж). № 2387. 15 декабря 1931. С. 5; Два Гончарова // Возрождение (Париж). № 2466. 3 марта 1932. С. 3; Братья Бестужевы // Возрождение (Париж). № 2474. 11 марта 1932. С. 5; Гоголь в Италии // Возрождение (Париж). № 2496. 2 апреля 1932. С. 4. Раевский написал статьи о де Сталь (Мадам де Сталь // Возрождение (Париж). № 2159. 1 мая 1931. С. 3) и Гюго (Виктор Гюго в изгнании // Возрождение (Париж). № 2186. 28 мая 1931. С. 2), а также статью-рецензию на биографию Пушкина, написанную А.В. Тырковой-Вильямс («Жизнь Пушкина» (Тыркова-Вильямс А.: «Жизнь Пушкина». Т. 1 (1799-1824), Париж, 1929 <Рецензия> // Возрождение (Париж). № 1416. 18 апреля 1929. С. 3).

<sup>168</sup> Современные записки (Париж). 1931. № 45, 491-495. Фрагменты этой статьи были уже опубликованы в «Возрождении» тремя годами раньше под названием «Из французской литературы. Биографии» (№ 1213. 27.09.1928. С. 5).

написана только тогда, когда биограф сумеет в нее включить не одну лишь действительность его жизни, но и порожденный этой жизнью вымысел, не только реальности существования, но и реальности воображения. Истинной биографией творческого человека будет та, что и самую его жизнь покажет, как творчество и в творчестве увидит преображенной его жизнь. Для подлинного биографа не может быть „Пушкина в жизни“ и другого Пушкина – в стихах; для него есть только один Пушкин, настоящая жизнь которого – именно та, что могла воплотиться в стих, изойти в поэзии» (Вейдле 1931: 494). Следует заметить, что Вейдле универсализировал установку пушкинистского дискурса Ходасевича, сделав ее обязательной для создания биографии любого другого большого писателя.

Впрочем, по Вейдле, данные требования к создателям биографий идеальны. В реальности их выполнить если и возможно, то только силой творчества, понимаемого в религиозном ключе как подобие первотворению. В связи с этим отвергается жесткая детерминированность изучения личности писателя каким-либо методом, в том числе и биографическим<sup>169</sup>, – и это весьма любопытный нюанс в ближайшем контексте ходасевичевского дискурса.

В целом, Вейдле весьма высоко оценил биографические работы Гершензона, выразив надежду, что именно на них как на генетически родственную литературную модель будет ориентироваться Ходасевич при создании своей биографии Державина. Во всяком случае, таков возможный смысл следующего прогноза критика: «Биография Державина, начатая печатанием в „Современных Записках“, обещает стать, даже после книг Гершензона, лучшим образцом биографического искусства, известным на русском языке» (Вейдле 03.04.1930).

Голенищев-Кутузов и Раевский так же, как Вейдле, были приверженцами психолого-биографического, «гершензоновского», подхода к художественным высказываниям писателя<sup>170</sup>.

Более оригинален в своих теоретических взглядах на биографию писателя был, на наш взгляд, Ю.В. Мандельштам. Он полагал главной задачей биографа раскрытие глубинной, «онтологической» личности писате-

---

<sup>169</sup> Имеется в виду следующее рассуждение Вейдле: «Не легко освободить ее <жизнь писателя – В.Ч.> от фактов, анекдотов; от случайности избавить и совсем нельзя. Или, если можно, то лишь силою творчества, тоже индивидуального каждый раз, то использующего самую житейскую подробность, то проникающую вглубь творений, чтобы вырвать тайну их творца. Всякое воссоздание личности есть второе творчество – отражение того второго творчества, которым была создана сама личность. Второму, как и первому, можно только помешать слишком точным, слишком тесным правилом. Понять другого можно только теми же сложными и тайными путями, какими мы творим самих себя» (Вейдле 1931: 495).

<sup>170</sup> См. следующие рассуждения критиков в качестве образцов их дискурса. «Солдат Дон-Хуана Австрийского, романтический пленник алжирского бея, сборщик податей и несостоятельный должник, изучивший проезжие дороги и тюрьмы Испании, в сельских харчевнях и в севильском карцере создал бессмертные образы „Дон Кихота“, в которых воплотились его радости и страдания, героические порывы и насмешливый скептицизм. В облике „рыцаря печального образа“ мы узнаем порой самого автора» (Голенищев-Кутузов 15.12.1931). «В подлинных стихах всегда есть большая „внутренняя“ автобиография. Подсознательное перемещение душевных и совестных переживаний производится иногда с такой настойчивостью, что стихи подчас становятся светочувствительной пластинкой, передающей колебания, скрытые для самого автора. Это происходит даже и сознательно: слишком уж пленительно отягощение стиха за счет облегчения души и совести» (Раевский 21.03.1926).

ля<sup>171</sup>. Выполнению этой задачи может воспрепятствовать как излишний психологизм в интерпретации художественных высказываний писателя<sup>172</sup>, так и каузальность, устанавливаемая между его биографией и творчеством<sup>173</sup>. Мандельштам дал также конкретное методическое указание биографу, которым тот должен руководствоваться в своей реконструкции «онтологической» личности писателя. Этот метод сводится к выделению из произведений писателя, ставшего героем биографии, «основной» и притом лейтмотивной темы и последующего ее экстраполирования в его собственную реальную жизнь: «Единственный способ разобраться в ней <<сокровенной внутренней жизни писателя>>, это – проследить основную тему, проходящую через все книги писателя, ее постепенное развитие или внезапное преобразование» (Мандельштам 18.10.1934). Таким способом, по Мандельштаму, можно приблизиться к пониманию, так сказать, метафизического узора писательской судьбы.

Как будет показано ниже, стремление Мандельштама к познанию «онтологической» личности писателя в ближайшем литературном контексте оказывается типологически родственным установке Ходасевича в биографии «Державин» на «духовный реализм» в изображении служебной и поэтической деятельности главного героя.

Таким образом, в целом для критиков «Возрождения», входивших в ближайшее окружение Ходасевича, был характерен все-таки психолого-биографический подход, в широком смысле этого слова, к творчеству писателя и соответствующая стратегия в построении той или иной концепции его личности. Тем ценнее для нас рецепция Вейдле и Мандельштамом методологии Ходасевича в биографии «Державин», подтверждающая, как будет показано ниже, целесообразность интерпретации этого произведения в антибиографическом плане.

### **§ 5. Методология Ходасевича в биографии «Державин» в рецепции критики 1920-1930-х гг.**

Во «Введении» в тезисном плане было указано на неоднозначную рецепцию критикой 1920-1930-х гг. методологии Ходасевича в историко-

---

<sup>171</sup> Так, критик писал в связи с появлением антииндивидуалистических тенденций в современном европейском романе: «Преодоление индивидуализма возможно лишь в раскрытии иной, более глубокой личности, в стремлении к онтологической сущности в духовном, а не душевном искании» (Мандельштам 29.08.1936). Это утверждение распространяется критиком и на биографические произведения о писателях.

<sup>172</sup> В этом Мандельштам упрекал К.В. Мочульского как автора биографии Гоголя («Духовный путь Гоголя». Имка-Пресс, 1934). При этом он находил биографическое прочтение Мочульским произведений Гоголя противоречащим установке на реконструкцию «духовной» личности героя: «... произведения Гоголя <...> рассматриваются почти исключительно как свидетельства, как документы, тогда как, согласно положению самого Мочульского, они являются и результатом духовной работы. Мешает развитию темы Мочульского также известный психологизм. Объясняя мелкие душевные эпизоды гоголевской жизни и не показывая их связи с его духовным ростом или переломом, автор развивает и замедляет самый путь Гоголя, а подчас и снижает его значение» (Мандельштам 05.07.1934).

<sup>173</sup> «... если произведения Бунина могут дать немало сведений о его жизни, то объяснять биографией его творчество, как и творчество любого писателя, можно лишь в очень малой степени» (Мандельштам 18.10.1934), – писал критик по поводу биографии Бунина, написанной К. Зайцевым (Берлин, 1934).

биографических произведениях в целом и в биографии «Державин» в частности. В этом параграфе упомянутые отзывы критиков будут рассмотрены подробнее.

В.В. Вейдле, рецензируя первые главы биографии Ходасевича «Державин», не скрывал своего недоумения по поводу избранной автором видимой методологической установки на игнорирование биографической значимости стихов главного героя. По мысли Вейдле, так мог поступать Моруа в своей биографии Шелли, однако такой путь был бы неприемлем для Ходасевича, который, в конце концов, должен показать читателю личность и творчество, жизнь и дело поэта в их единстве. Для критика остается загадкой, каким образом удастся автору в следующих главах совместить взятый в начале повествования «тон» «со сколько-нибудь отвлеченным комментарием державинских стихов, хотя бы и взятых в отношении к его жизни» (Вейдле 04.07.1929), то есть выполнить стоящую перед ним упомянутую задачу.

На взгляд М.А. Алданова, рецензировавшего полный текст «Державина», Ходасевич сохранил минималистский подход к стихам Державина как к источнику биографии поэта до конца повествования. «В.Ф. Ходасевич отводит много места рассказу о политической деятельности Державина, – отмечает рецензент, – О нем как о поэте автор говорит короче, – и об этом должно пожалеть: страницы о том, как была написана ода „Бог“, едва ли не самые сильные в книге; они могли и должны были бы войти в классическую хрестоматию» (Алданов 1931: 497).

В аналогичном смысле критиковал Ходасевича А.Л. Бем в связи с его концепцией личности Н.С. Гумилева, которая была тем дана в мемуарном очерке, написанном к десятилетней годовщине смерти поэта<sup>174</sup>.

В начале статьи «Еще о Гумилеве» (1931), посвященной в значительной мере полемике с данной концепцией Ходасевича, критик обозначил свой взгляд на проблему писательской биографии. Для него является непреложным фактом наличие «двух планов» в жизни писателя: «Для историка литературы совершенно ясно, что есть две жизни поэта, две его биографии. Одна – его жизнь среди современников, его человеческий жизненный путь с подъемами и срывами, со всеми мелочами жизненных отношений. И здесь „ничего человеческого ему не чуждо“. И есть другая жизнь – жизнь поэта, отстоявшаяся в результате длительного и любовного постижения его внутреннего мира через творчество, его „поэтическая биография“, творимая легенда, как и житие святого, но, в сущности, единственная подлинная и для поэта значущая. И с нею его повседневная жизнь смешиваема не должна быть» (Бем 1996: 96)<sup>175</sup>.

Согласно Бему, Ходасевич в своих воспоминаниях фиксирует внимание читателя исключительно на первой, житейской биографии Гумиле-

---

<sup>174</sup> Имеется в виду очерк Ходасевича: Из воспоминаний о Гумилеве. (К десятилетию со дня смерти). // Возрождение (Париж). № 2277. 27 августа 1931.

<sup>175</sup> Здесь и далее при цитации данной статьи Бема сохраняется орфография и пунктуация подлинника.

ва, игнорируя биографию «поэтическую», данную в творчестве. В результате у него получился субъективно окрашенный образ поэта, далекий от объективной правды. В своих упреках Ходасевичу критик идет так далеко, что объявляет его свидетельства, почерпнутые из разговоров с Гумилевым, нерелевантными для постижения подлинной правды о поэте. Ее могут дать только его стихи: «... слова Гумилева в беседах со своими знакомыми не могут идти в сравнение с тем, что написано в его стихах черным по белому. Говорить, что предчувствия смерти были ему чужды, после того, как в его творчестве мотив преждевременной насильственной смерти так упорно возвращается, значит не понимать, что подлинный образ поэта дан не в его словах, а в творчестве. Для В. Ходасевича добровольчество во время войны Гумилева, просто ребяческое увлечение войной. Но книга стихов „Колчан“ говорит иное» (Бем 1996: 101).

Таким образом, Бем фактически обвинил Ходасевича в подмене «истинной» личности поэта, выраженной в его творчестве, бытовым и, притом, сниженным двойником<sup>176</sup>. Для нас же важно подчеркнуть, что критик, весьма позитивно оценивший выводы Ходасевича об автобиографической референтности пушкинской «Русалки»<sup>177</sup>, резко отверг его же концепцию, построенную по противоположному принципу игнорирования биографического значения поэтических высказываний<sup>178</sup>.

С другой стороны, в критике 1930-х гг. не существовало единого мнения и по поводу методологических установок пушкинистских работ Ходасевича. Так, Ю.В. Мандельштам, считавший, как было показано выше, что жизнь и творчество поэта должны изучаться в их единстве и что это единственный «правильный» путь, могущий привести исследователя к искомой цели – к познанию его «творческой» личности», или – ее «основного („онтологического“) устремления»<sup>179</sup>, очутился, видимо, в затруднительном положении при рецензировании книги своего старшего коллеги «О Пушкине» (1937). Дело в том, что в эту, так сказать, «психолого-биографическую» схему, с точки зрения критика, никак не укладывались

---

<sup>176</sup> То есть Бем фактически присоединился к аналогичным упрекам, высказанным в адрес пушкинистских работ Ходасевича Айхенвальдом, Гофманом и Набоковым. В свою очередь, Ходасевич выдвигал аналогичное обвинение против В.В. Вересаева как автора монтажа «Пушкин в жизни». См. его рецензию на эту книгу от 13 января 1927 года в издании: Ходасевич 1996- II: 140-146. См. также сноску 148. Таким образом, вольно или невольно, Бем полемически переадресовал Ходасевичу его собственные упреки Вересаеву.

<sup>177</sup> Рецензируя итоговую книгу Ходасевича «О Пушкине» (1937), в которую вошли многие статьи из «Поэтического хозяйства Пушкина», Бем сожалел, что писатель не включил в нее статью о «Русалке». По мнению ученого, в своих исследованиях придерживавшегося психоаналитической методологии, вывод Ходасевича о «чувстве вины», которое якобы испытывал Пушкин в связи со своим «крепостным романом», вполне адекватен. См.: Бем 1996: 302.

<sup>178</sup> Уклон Ходасевича в книге «Некрополь» (1939) в сторону изучения «чистой» биографии писателя заметил Ю.В. Мандельштам: «Даже говоря о том или ином поэте лично, Ходасевич больше касается его биографии, чем его творчества – впрочем, биографию он от творчества не отделяет, избегая этим ошибки, допущенной Моруа в „Шелли“» (Мандельштам 17.03.1939). Введение в состав книги очерков о Н.И. Петровской и Муни, характерных, с точки зрения Мандельштама, для символизма «как жизненного, а не литературного течения», дало ему повод утверждать, что главной целью Ходасевича в целом были не «личные биографии» писателей как таковые, а «история символистического быта», раскрываемая посредством этих биографий (Мандельштам 17.03.1939).

<sup>179</sup> См. сноску 171.



некоторые главы, носившие несомненные следы влияния формального метода. То есть, по словам Мандельштама, в этих главах Ходасевич «так тщательно скрыл общую тему книгу <«синтез личности и творчества Пушкина»>, что главы эти представляются нам уже сплошной классификацией, может быть очень тщательной, но как раз не „обнаруживающей душевных процессов...“» (Мандельштам 08.05.1937)<sup>180</sup>. По мнению критика, включение подобных работ, наряду с психолого-биографическими исследованиями «творческой личности» поэта, угрожает внутреннему единству книги: «Получается так, как будто ученый-пушкинист, во имя чуть ли не формального метода, порою восстает против художника и ведет с ним упорную борьбу. Эта двойственность подхода моментами и грозит <так! – В.Ч.> нарушением цельности» (Мандельштам 08.05.1937)<sup>181</sup>.

Дело осложняется тем, что Мандельштам, вольно или невольно, но повторил суть ядовитого отзыва Антона Крайнего (З.Н. Гиппиус) из статьи «Современность» (май, 1933 г.) по поводу «формализма» пушкинистского дискурса Ходасевича. Антон Крайний сравнивал последнего с В.Я. Брюсовым: «... у обоих нет того, что мы называем „талантом“, т. е. нет отношения (ни интереса) к „общим идеям“. Тип „спеца“, сосредоточившегося (в зависимости от области, в какой он работает) на словосочетаниях, или на статистике, или на изучении какой-нибудь пятой тараканьей ножки» (Гиппиус 2003: 465).

Сам Ходасевич в опубликованной приблизительно через месяц ответной полемической статье «О форме и содержании» (15. 06. 1933) иронически «расшифровал» «атрибуцию» этой «шпильки» Антона Крайнего: «... Гиппиус обвиняет меня в формализме, не произнося, впрочем, этого слова, о котором она, видимо, и не слыхивала...» (Ходасевич 1996- II: 272).

Мы полагаем, что Ходасевич имел в виду прежде всего упомянутый упрек Мандельштама по поводу якобы нарушенного им в книге «О Пушкине» принципа синтетического изучения личности и творчества поэта, когда в начале своей рецензии на его книгу биографических очерков «Искатели» (1938), в несколько наставническом тоне<sup>182</sup>, пояснял свой взгляд на

---

<sup>180</sup> Кавычками Мандельштам обозначает цитату из книги Ходасевича.

<sup>181</sup> В.В. Вейдле был более осторожен в оценке, говоря условно, «формалистских» глав из книги «О Пушкине»: «<книге> вообще можно поставить в упрек чрезмерную разнородность собранного в ней материала. Соображения о связи „Когда за городом...“ с „Пора, мой друг, пора...“ (кстати сказать, совершенно убедительные) представляют собой нечто отдельное, не приводящее нас непосредственно, как это делают перечисленные выше главы, к центру пушкинской личности. Заметка о словах „прямой“, „важный“ и „пожалуй“ лишь разъясняет пушкинский язык (или язык пушкинского времени), а в наблюдениях над самоповторениями Пушкина не всегда подчеркнуто различие между теми из них, что значат что-либо условное, и теми, что лишь подтверждают обилие самоповторений» (Вейдле 1937: 468).

<sup>182</sup> Вообще говоря, в этой рецензии содержится ряд острых выпадов против биографического дискурса Мандельштама. Так, в следующей характеристике шаблонных биографий XIX века можно усмотреть пародийную реминисценцию установки Мандельштама на исследование «основного устремления» «творческой личности», реализованной в «Искателях»: «Вырабатывались штампованные биографии донельзя почтенных, приличных и скучных господ, непрестанно преданных своей *основной деятельности* <выделено нами – В.Ч.>, не имевших ни страстей, ни пристрастий, ни даже житейских неприятностей, кроме тех, которые рисовали их „неколебимыми борцами“» (Ходасевич 23.09.1938). В конце статьи Ходасевич, как бы между прочим, «простоудушно» удивляется, что Мандельштам не снабдил помещенные в книгу очерки сносками на первоисточники, как делал это при их первопубликации на страницах

проблему соотношения жизни и творчества поэта: «Связь между жизнью и творчеством замечательного человека, в какой бы области его творчество не проявлялось, может быть различна. В одних случаях она тесна и прочна до неразрывности, до такой степени, что в самом творчестве слишком многое остается для нас нераскрытым, если мы не знакомы с его жизненными стимулами. В других случаях эта связь сравнительно более или менее ослаблена, жизнь влияет на творчество не так сильно и непосредственно, и мы можем хорошо узнать и понять человека, не слишком вдаваясь в историю его жизни. Я говорю „не слишком“ – потому что невозможно себе представить такой случай, когда бы творчество оказывалось от жизни вполне изолировано. Следовательно, и нет творчества, до конца постижимого в полном отрыве от жизнеописания» (Ходасевич 23.09.1938).

Таким образом, выясняется, между прочим, сложное, дифференцированное отношение Ходасевича к проблеме биографической значимости художественных произведений Пушкина<sup>183</sup>.

В современной науке проблема методологической установки ходасевичевской концепции личности писателя, которая была поставлена в критике 1920-х-1930-х гг., весьма плодотворно разрабатывается в дискурсе американского ученого Джона Мальмстада. Особенного внимания заслуживает его указание на возможную связь данной проблемы с неоднозначным отношением Ходасевича к формализму.

В предисловии к биографии Ходасевича «Державин», переизданной в 1975 году, Мальмстад комментировал замеченную им авторскую установку на частое отсутствие какой-либо связи между произведением и непосредственным переживанием (*experience*) заглавного героя биографии<sup>184</sup> в контексте полемических высказываний критика в отношении формалист-

---

«Возрождения». С учетом того, что критик чуть выше оценил эти очерки как всего лишь «пересказы» чужих биографических текстов, с некоторым добавлением «своих собственных соображений», он фактически обвинил автора «Искателей» в плагиате (не сказав об этом прямо!).

<sup>183</sup> На эту же тему Ходасевич писал еще в статье 1928 года «В спорах о Пушкине», когда отвечал на обвинение М.Л. Гофмана в наивно-биографическом («фотографическом», по выражению Гофмана) прочтении художественных текстов Пушкина: «Разумеется <...> вовсе не каждое слово в поэзии Пушкина буквально соответствует реальной правде в его биографии. Оно часто соответствует прямо, часто – в преломлении. Существуют, наконец, целые произведения, в которых связь с биографией уже неуловима» (Ходасевич 1928: 278). Ходасевич также обладал здоровой долей скептицизма по отношению к методологии пушкинистских работ Гершензона. В частности, его не удовлетворял допускаемый тем интуитивизм в подходе к историко-литературным фактам: «В свои историко-литературные исследования вводил он не только творческое, но даже интуитивное начало. Изучение фактов, мне кажется, представлялось ему более средством для *проверки догадок*, нежели добыванием материала для выводов» (Ходасевич 1996- IV: 104). (Здесь же приводится характерный пример устной полемики между автором очерка и Гершензоном).

<sup>184</sup> В качестве примера Мальмстад приводит акцентирование Ходасевичем данного приема при изображении творческой истории оды «На смерть князя Мещерского»: «... он <Ходасевич – В.Ч.> указывает <...> что величественное размышление (*great meditation*) Державина о времени и смерти, ода „На смерть князя Мещерского“, было написано в один из самых счастливых (*happiest*) периодов его жизни» (Malmstad 1975: XIII). Ученый, по-видимому, имеет в виду следующий пассаж Ходасевича: «Эти стихи о скоротечности жизни и ложности счастья писал он как раз в те дни, когда твердо верил в свое счастливое будущее» (Ходасевич 1996- III: 214). Подобное наблюдение сделала также И.З. Сурат, зафиксировав «случай не самой тесной связи между жизнью и творчеством» в ходасевичевской концепции личности А.А. Фета (в статье «Ранняя любовь Фета», 1933) (Сурат 1994: 61).

ского антибиографизма<sup>185</sup>. Правда, в этой работе ученый объяснил данную стратегию Ходасевича в «Державине» его чисто прагматическими соображениями: «... он не мог открывать (invent) или предполагать (make) связи <между произведениями и биографией поэта – В.Ч.>, если не был убежден (convince) в том, что они существуют» (Malmstad 1975: XIII)<sup>186</sup>.

Однако через десять лет, в упомянутой статье «Ходасевич и формализм: несогласие поэта», Мальмстад подчеркнул существующую между доктринами Ходасевича и формалистов методологическую связь: «Несмотря на сильный протест, у самого Ходасевича на удивление много такого, что перекликается с формализмом. Он всегда подчеркивал важность формального анализа в критике, и многие его работы о Пушкине, где речь идет о звукописи, повторяющихся мотивах и синтаксических конструкциях, не выглядели бы инородными в любых формалистических сборниках<sup>187</sup>. Безусловно, его понимание литературной истории как „эволюции стилей“ и его отрицание понятия „прогресса“ в литературе, выраженное в нескольких статьях (наиболее известная из них – „Памяти Гоголя“, 1934 г.), очень тесно связаны с формалистической доктриной, так что становится ясно, с какого близкого расстояния он на нее смотрел» (Мальмстад 1993: 292).

С другой стороны, ученый объяснил также суть существовавшего разногласия Ходасевича с формализмом. Ходасевич считал, что изучение творчества того или иного писателя должно начинаться с анализа литературных приемов. Однако этот анализ не должен быть самоцельным, как у формалистов. Он должен вести к познанию мировоззрения художника, ибо, по словам Ходасевича, «прием выражает и изобличает художника, как лицо выражает и изобличает человека» (цит. по: Мальмстад 1993: 293).

Таким образом, из анализа Мальмстада следует, что Ходасевич признавал практическое значение открытых формалистами литературных категорий для изучения личности писателя.

Критиками 1920-1930-х гг. была поставлена еще одна проблема, касающаяся методологии биографического дискурса Ходасевича в «Державине». Мы имеем в виду замеченную ими полемичность по отношению к распространенным взглядам на личность Державина как конструктивный фактор ходасевичевской концепции этой личности.

В.В. Вейдле проницательно писал об этом еще в ту пору, когда «Державин» не был напечатан отдельной книгой, а появлялся в виде выпусков в журнале «Современные записки». Характеризуя литературное мастерство писателя, критик отметил в том числе принципиальную новиз-

---

<sup>185</sup> Мальмстад детально рассматривал антиформалистские выступления Ходасевича в статье «Ходасевич и формализм: несогласие поэта» (1985). См. об этом ниже.

<sup>186</sup> Для связи рассуждений Мальмстада с критическим дискурсом 1920-1930-х гг. весьма характерно, что данное объяснение ученого было непосредственно адресовано М.А. Алданову как автору упомянутого выше замечания по поводу якобы минималистского подхода Ходасевича к стихам Державина как к источнику биографии поэта.

<sup>187</sup> Таким образом, негативно трактуемая Антоном Крайним и Мандельштамом связь методологии Ходасевича с формализмом у Мальмстада приобретает позитивный вид.

ну созданного тем образа заглавного героя. По его словам, этот успех был достигнут в результате реализации упомянутой полемической установки Ходасевича: «Спокойный, ровный рассказ прикрывает усердную борьбу против установившихся мнений, застарелых предрассудков и освященной временем небрежности. Без малейшей полемики, без ссылок, без „научного аппарата“ Ходасевич нарисовал нового Державина и перерисовать его будет очень и очень не легко» (Вейдле 24.07.1930).

Судя по критике 1930-х гг., таковыми «застарелыми предрассудками» в отношении личности Державина были его честолюбие и низкопоклонство.

В связи с этим рецензенты «Возрождения» П. Рысс и П.П. Муратов отмечали стремление Ходасевича представить честолюбие Державина в позитивном свете. Например, П. Рысс писал об этом качестве характера героя биографии Ходасевича как о «положительном». Оно не только помогло поэту сохранить свою личность вопреки тягостным житейским обстоятельствам, но и подвигло его на создание самобытной теории в области социально-политической мысли (Рысс 1931). П.П. Муратов трактовал честолюбие Державина как проявление духа времени, когда выполнение служебного долга становилось смыслом жизни, далеким от пошлых карьерных соображений. Именно так, по словам критика, понимали смысл слова «выслужиться» Петр I и Екатерина II, Бибиков и Михельсон, Суворов и сам Державин (Муратов 1931).

Рецензент берлинской газеты «Руль» А. Кизеветтер подчеркивал, что «для большинства читателей книга Ходасевича явится целым откровением» (Кизеветтер 1931). Кизеветтера особенно поразило, что «прославленный низкопоклонным льстецом замечательный поэт был на самом деле в высшей степени неуживчивым и независимым деятелем, резал правду в глаза и вельможам и царям, ставя под риск свою карьеру» (Кизеветтер 1931). В качестве характерного примера критик привел, действительно, один из самых репрезентативных в этом смысле эпизодов биографии Ходасевича, – отказ Державина писать по желанию императрицы похвальные оды в ее честь: «Он славил Екатерину в одах, лишь до тех пор, пока мог искренно идеализировать ее личность и упорно замолк, когда в ней разочаровался» (Кизеветтер 1931).

Один из конкретных адресатов полемики Ходасевича в биографии «Державин» был указан в рецензии П.М. Бицилли, а именно: концепция поэта и поэзии, выраженная в словах Моцарта, героя пьесы Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830), «о счастливых праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого Прекрасного жрецах» (Бицилли 1988: 314)<sup>188</sup>. По

---

<sup>188</sup> Критик склонен был приписывать слова этого героя самому Пушкину, мотивируя свой подход аналогичными высказываниями поэта в лирике (чуть ниже он цитирует сонет Пушкина «Поэту» (1830). При этом в рецензии даже не упоминается предсмертное завещание Пушкина (*И долго буду тем любезен я народу...*), где позиция лирического героя, наоборот, «размыкается» в мир. Таким образом, вольно или невольно, Бицилли развивал свой дискурс в рамках гершензоновской концепции «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». В эссе «Памятник», которое вошло в книгу «Мудрость Пушкина», Гершензон адресовал мысли, выраженные в IV-й строфе этого стихотворения, «толпе». Именно для нее, по словам

словам критика, Державин, изображенный Ходасевичем прежде всего как «служилый человек» XVIII столетия, «просто <...> не понял бы, как это можно служить „Прекрасному“, будучи „праздным“, в чем „Прекрасное“ исключает „пользу“ и почему „польза“ „презренна“ и заслуживает пренебрежения. Глубоко правильно замечание Ходасевича, что для Державина поэзия была продолжением государственной службы. „Карьера“ Державина была вместе и его творческим путем» (Бицилли 1988: 314-315).

Для нас важно подчеркнуть замечание Бицилли о полемической установке ходасевичевской концепции «служилого» Державина по отношению к жизнотворческой асоциальности пушкинской концепции поэта и поэзии. Именно погруженность героя Ходасевича в «жизнь», подразумевающая добровольное подчинение ее законам, полная самоотдача текущему «делу», то есть государственным и народным нуждам, позволяют критику говорить о его «человечности», гуманности в высшем, «ренессансном», значении этого слова<sup>189</sup>. «У великого гения есть право сказать себе: „Ты Царь, живи один“, – пишет Бицилли, – Но этим самым он обрекает себя на одиночество и *заставляет* „чернь“ испытывать к нему, как человеку, некоторую холодность и равнодушие. Державин „человечнее“ Пушкина и в каком-то „чисто человеческом“ отношении *ценнее*» (Бицилли 1988: 315)<sup>190</sup>.

---

Гершензона, «чувства добрые», «свобода», и «милость к падшим» представляют собой безусловные ценности, за которые она готова чтить поэзию Пушкина «из века в век». Для Пушкина эти истины якобы являются «клеветой» о его творчестве. В душе он отвергает их за «мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы» (Гершензон 2001: 273). По Гершензону, «истинные» представления Пушкина о поэте и поэзии выражены, в том числе, в упомянутых словах Моцарта, в сонете «Поэту», в стихотворении «Поэт» (1827) и т.д. Как и Бицилли, и Гершензон, Ходасевич считал аутентичными пушкинскому представлению о поэте, условно говоря, «асоциальную» концепцию «Моцарта и Сальери», «Поэта» и т.д., но никак не концепцию «социальную», нашедшую выражение в «Пророке» либо в «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Именно с концепцией «Моцарта и Сальери» Ходасевич полемизирует в стихотворении «2-го ноября» (1918), где идея служения «чистому искусству» отступает на второй план под напором гораздо более «реальных» событий октябрьской революции. В рецензии 1937 г. на статью С.Н. Булгакова «Жребий Пушкина» критик лапидарно сформулировал свое понимание проблемы аутентичности пушкинского взгляда на поэта: «Поэта Пушкин изобразил в „Поэте“, а не в „Пророке“» (Ходасевич 1996- II: 405).

<sup>189</sup> Чуть выше Бицилли оценивает сопоставление Ходасевичем Державина с Бенвенуто Челлини как «нельзя более меткое» и выражает свое намерение это сопоставление в своей рецензии «развить и обобщить» (Бицилли 1988: 314).

<sup>190</sup> Утверждение Бицилли о «человечности» Державина специально отсылает к полемике В.Г. Белинского с Н. Савельевым, автором предисловия к четырехтомному собранию сочинений Державина 1843 года. Савельев, протестуя против данной С.П. Шевыревым характеристики екатерининской эпохи и, соответственно, поэзии Державина как «полудикой, полуварварской, полуграмотной», в частности, писал: «Удивляюсь, как могли сорваться с пера подобные слова: ни Россию Екатеринина века, ни поэзию Державина нельзя без нарушения справедливости называть полудикою и полуварварскою: у Державина можно заметить иногда недостаток изящной отделки в языке, но чувство *человечности* и сознание достоинства *человека* ни у кого из русских поэтов не преобладают в такой сильной степени, как у Державина!» (цит. по: Белинский 1976- VI: 582). Белинский поддержал Шевырева, поместив именно его характеристику как точно сформулированную в концовке своей критической «диалогии» о творчестве Державина. А в рецензии на указанное собрание сочинений он специально возражал Савельеву по поводу высказанной им идеи о якобы присущей поэзии Державина «человечности», как говорится, оседлав своего любимого конька «риторичности» лирики поэта: «Ну, это едва ли так, потому что в век „милостивцев“, „отцов и благодетелей“, в век „меценатства“ и „патронажества“ могут быть только *фразы* о человеческом достоинстве, а не *чувство* человеческого достоинства...» (Белинский 1976- V: 361). Концепция «риторичности» лирики Державина нашла своего последователя (кроме критиков 1860-х гг. (см. об этом ниже)) в предреволюционной критике в лице Б.М. Эйхенбаума, который в своей статье «Поэтика Державина» (1916), совершенно в духе Белинского (хотя и под «маркой» «эстетского» «Аполлона»), оценивал

Следующим пунктом полемики Ходасевича с Пушкиным, отмеченным в рецензии Бицилли, является вопрос о поэтическом языке Державина. Если для первого грамматические «ошибки» поэта «составляют секрет неподражаемой силы, выразительности, индивидуальности» (Бицилли 1988: 315) его творчества, то для второго – это только свидетельство незнания русского языка<sup>191</sup>. В свою очередь, Бицилли возражал данному мнению Пушкина ссылкой на то обстоятельство, что Державин руководствовался в своем творчестве близкой ему «простонародной языковой стихией» (Бицилли 1988: 316); нарушал же слагавшиеся в его время каноны литературной речи вследствие незнания не русского, а французского языка, влиявшего на данный процесс формирования. Именно благодаря этому Державину удалось создать «свой собственный, единственный, неподражаемый по дикости, но и по могучей выразительности поэтический стиль» (Бицилли 1988: 316)<sup>192</sup>.

---

оду «Изображение Фелицы» как «томительно-растянутую» (Эйхенбаум 1988: 296). В ней, по словам критика, только местами встречаются «вдохновенные» строки. Таким образом, Бицилли указал на еще один возможный адресат полемики Ходасевича в «Державине»: на концепцию Белинского поэзии Державина как «риторической», далекой от «общечеловеческого содержания», которое только и может давать творчеству право на бессмертие. При этом критик скорее всего также имел в виду статью Ходасевича «Державин (к столетию со дня смерти)» (1916), полемичную по отношению к концепции Белинского. См. об этом: Malmstad 1975: VIII; Чернова 1993.

<sup>191</sup> Имеется в виду следующая известная оценка Пушкина из письма А.А. Дельвигу от начала июня 1825 года: «По твоём отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка – (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Что ж в нем: *мысли, картины и движения истинно поэтические*; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей богу, его гений думал потатарски – а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем (не говоря уж о его министерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее <так!> сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова – жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом – довольно об Державине...» (Пушкин 1994- XIII: 181-182). См. также афористическую оценку из письма А.А. Бестужеву (конец мая-начало июня 1825 г.): «Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый доньше еще не оценен» (Пушкин 1994- XIII: 178). Пушкинская оценка личности и творчества Державина стала актуальным литературным фактом в предреволюционное десятилетие благодаря публикации статей Б.А. Садовского («Г.Р. Державин», 1910) и Ю.И. Айхенвальда («Памяти Державина», 1916). Если Садовской корректировал эту оценку как слишком резкую с историко-литературной точки зрения (см.: Садовской 1988), то Айхенвальд ее безоговорочно принял, построив на ней свою концепцию «двупланного» Державина (см.: Айхенвальд 1988).

<sup>192</sup> О том, насколько близки были позиции Бицилли и Ходасевича в вопросе о пушкинской оценке поэтического языка Державина, свидетельствует хотя бы тот факт, что в концовке программного очерка «Дмитриев» (1937) последний развил намек своего ученого рецензента на чужеродность поэтического языка Пушкина языку народному. Здесь Ходасевич пишет о карамзинской языковой реформе. Его отношение к ней неоднозначно. Хотя отдается должное успехам Карамзина и Дмитриева в упорядочении синтаксиса и расширении словаря, тем не менее, их ориентация на французский язык воспринимается довольно скептически. Языковые устремления Карамзина и Дмитриева противопоставляются исканиям Державина. С точки зрения Ходасевича, последние были перспективнее, ибо открывали путь к овладению богатствами народного языка. Карамзинская реформа «вырыла ров» «между языком народа и языком дворянства» (Ходасевич 1991: 150). Хотя Пушкин в некоторых дискурсивных высказываниях выражал симпатию «грубому» и «простому» языку à la Державин, в художественной практике, тем не менее, предпочитал совершенствовать язык карамзинско-дмитриевской школы. Таким образом, он еще более отдалил язык образованного общества от языка народного. Поэтому его упреки Державину в безграмотности нерелевантны, ибо ориентированы на требования другой, «офранцузенной» (Ходасевич 1991: 150), языковой системы. Содержательный анализ ходасевичевской концепции поэтического языка Державина в биографии «Державин» см.: Malmstad 1975: VIII.

Об адекватности данных оценок Вейдле и Бицилли авторскому замыслу свидетельствует следующее признание Ходасевича, сделанное в письме к последнему из упомянутых критиков: «Увы, кроме Вас и Вейдле, критики мои просто пересказывают книгу <...> О „Державине“ судят они, не имея понятия о Державине» (цит. по: Зорин 1988: 15). Здесь же он охарактеризовал рецензию Бицилли как «компетентную и содержательную»<sup>193</sup>.

Сам Ходасевич обозначил свою полемическую установку по отношению к пушкинской концепции личности и творчества Державина в литературно-критических статьях, которые по своей тематике примыкают к биографии «Державин», то есть являются, так сказать, ее «спутниками».

Как показал Мальмстад, полемическая реплика Ходасевича в сторону пушкинской оценки творчества Державина содержится уже в упомянутой статье 1916 года «Державин (К столетию со дня смерти)». Ученый имел в виду следующее заявление критика, представляющее собой концовку данной статьи: «... Державин – один из величайших поэтов русских» (Malmstad 1975: VII)<sup>194</sup>. Он же впервые обратил внимание на развитие антипушкинского полемического дискурса Ходасевича в статье «Слово о Полку Игореве», над которой критик работал непосредственно перед началом писания биографии «Державин»<sup>195</sup>. По Мальмстаду, именно пушкинская точка зрения оспаривается в следующем утверждении автора статьи «Слово о Полку Игореве»: «... из написанного Державиным должно составить сборник, объемом в семьдесят-сто стихотворений, и эта книга спокойно, уверенно станет в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Боратынским, Тютчевым» (Malmstad 1975: VII)<sup>196</sup>. Здесь же ученый отметил тезис Ходасевича по поводу мотивированности отрицательной оценки Пушкина «соображениями партийными и литературно-тактическими», а не, по выражению Мальмстада, «чисто артистическими» (purely artistic). По словам Ходасевича, процитированным Мальмстадом: «... Пушкину нужно было немножко „столкнуть Державина с корабля современности“» (Ходасевич 2002: 38)<sup>197</sup>.

---

<sup>193</sup> Литературный обозреватель «Возрождения», подписавшийся именем Гинт, возвел эту оценку Ходасевича в превосходную степень: «Книга В.Ф. Ходасевича „Державин“ вызвала *очень содержательную* <выделено нами – В.Ч.> статью П. Бицилли в „России и Славянстве“» (Гинт 1931). Критик подчеркнул замеченную Бицилли «социальность» как суть ходасевичевской концепции творческой личности Державина, процитировав его ключевое в этом смысле утверждение: «„Карьера“ Державина была вместе и его творческим путем» (Гинт 1931).

<sup>194</sup> Мальмстад цитирует Ходасевича в английском переводе. Аутентичный текст данной формулировки Ходасевича приводится по изданию: Ходасевич 1988: 256.

<sup>195</sup> Согласно дневниковым записям Ходасевича, работа над статьей «Слово о Полку Игореве» продолжалась с перерывами 24, 28 и 29 января 1929 года. Параллельно писатель читал материалы о Державине и о Грибоедове. В записи от 30 января (в среду) в дневнике отмечено начало писания биографии «Державин»: «Державин (начал писать)» (Ходасевич 2002а: 340). Статья была опубликована в «Возрождении» 31 января 1929 года.

<sup>196</sup> Аутентичный текст Ходасевича цитируется по изданию: Ходасевич 2002: 38.

<sup>197</sup> От себя добавим, что полемическое по своему характеру утверждение Ходасевича о равнозначности поэзии Державина и Пушкина могло быть также вызвано скептическим отношением последнего к способности Державина написать произведение, равное по достоинству «Слову о Полку Игореве». Это отношение Пушкин выразил в статье «Песнь о Полку Игореве» (1836), повторив в качестве его мо-

Таким образом, уже критиками, современниками Ходасевича, были замечены такие конструктивные для автора «Державина» методологические установки, как антибиографичность, генетически родственная формалистским представлениям о соотношении жизни и творчества поэта, и полемичность по отношению к «устоявшимся мнениям» по поводу личности Г.Р. Державина, в число которых, по-видимому, входит и пушкинская концепция. Современный ученый Джон Мальмстад творчески развил и довел до логического конца замечания и наблюдения критиков 1920-1930-х гг., указав на релевантность научных достижений формалистов для биографического дискурса Ходасевича. В последующем анализе концепции личности писателя в биографии Ходасевича «Державин» мы будем исходить из указанных методологических установок, замеченных критиками межвоенного двадцатилетия.

Подводя общий итог обзору основных биографических концепций 1920-1930-х гг., в контакте с которыми формировались концепции писательских личностей в историко-биографических произведениях Ходасевича, следует сказать, что в межвоенное двадцатилетие в русской науке и литературе существовала весьма сильная антибиографическая тенденция. Она возникла, в частности, вследствие глубокой неудовлетворенности традиционным методом «вычитывания» биографических фактов из художественных высказываний писателя, который в своей крайней форме проявился в трудах Гершензона. Все упомянутые выше ученые и писатели, придерживавшиеся в своих концепциях антибиографических взглядов, в большей или меньшей степени разделяли методологическое убеждение в недопустимости отождествления литературных героев с биографической личностью их творца. Это убеждение было связано с общим представлением о самодовлеющей эстетической ценности художественных произведений, конфронтирующим с практикой «биографистов» по их использованию всего лишь в качестве подсобного материала для изучения писателя как человека. В следующих главах будет показано, что антибиографическая тенденция нашла свое отражение и в творчестве Ходасевича.

---

тивировки свою негативную оценку знаний Державина в области русского языка из упомянутого письма Дельвигу: «Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которого невозможно подделаться. Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт. Держ.<авин>? но Державин не знал и русского языка, не только языка Песни о плку <так!> Игоре-ре. Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколь находится оной в плаче Яр<ославы>, в описании битвы и бегства» (Пушкин 1994- XII: 147-148). Следуя логике Ходасевича, поэзия Державина и в 1836 году являлась актуальным фактом, с которым Пушкину приходилось считаться в своей литературной политике. Попутно Ходасевич обнажает полемическую условность утверждений Белинского начала 1840-х гг. о поэзии Державина как о сугубо историческом явлении, годном лишь для педагогических целей. Другими словами, Пушкину и Белинскому, по мнению Ходасевича, так и не удалось дискредитировать вневременную значимость поэзии Державина, и их последователи, как например, Айхенвальд (см. сноску 191) или Эйхенбаум (см. сноску 190), принуждены сызнова начинать этот *Сизифов труд*.



**КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА  
В ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
В.Ф. ХОДАСЕВИЧА**

**Раздел 1. Полемика В.Ф. Ходасевича с изображением малыковской деятельности Г.Р. Державина в «Истории Пугачева» А.С. Пушкина и в «Жизни Державина» Я.К. Грота**

***§ 1. Служебная деятельность Державина в эпоху пугачевщины в представлениях современных ученых***

Прежде чем перейти к раскрытию темы, заявленной в заголовке данной главы, мы считаем необходимым дать краткий обзор новейших научных представлений о деятельности Державина в эпоху пугачевщины, так как в них отражается указанное во «Введении» игнорирование современными учеными взглядов Ходасевича. В этой ситуации страдает, в конечном итоге, репутация Державина как человека и как поэта.

Начать с, казалось бы, элементарных фактических ошибок<sup>198</sup>. Так, исследователи не могут прийти к единому мнению по поводу формулировки малыковского задания Державина. Единственное корректное определение, которое нам удалось найти, принадлежит В.А. Западову: «Главной целью державинской командировки была поимка Пугачева, ибо начальство считало, что после поражения Пугачев должен будет бежать в приволжские поселения, в которых он получил благословение раскольников на восстание» (Западов В.А. 1965: 23). Коллектив авторов<sup>199</sup> к сборнику документов по теме пугачевщины считает, что Державин, «как сотрудник Казанской секретной комиссии, исполнял важнейшие ее поручения по розыску видных сторонников Пугачева на Иргизе и в Нижнем Поволжье» (Крестьянская война 1973: 381). Позже М.Д. Курмачева, один из авторов данного комментария, определит малыковское задание Державина следующим образом: «... поручик Г.Р. Державин, присланный в Саратов с „секретной экспедицией“ А.И. Бибиковым для надзора за скитом Филарета на Иргизе» (Курмачева 1991: 157). Формулировки Д.Д. Благого и А.В. Западава подразумевают военный характер малыковского задания Державина. Так, Благой пишет: «В 1774 году он был направлен, с целью преградить

---

<sup>198</sup> В наш обзор мы сознательно не включили романизированные биографии Державина, принадлежащие перу Ю.О. Домбровского и О.Н. Михайлова (см.: Домбровский 1987 и Михайлов 1977) – ввиду специфичности авторского задания, а также англоязычную биографию Державина, автором которой является Джесс В. Кларди (см. Clardy 1967). По поводу последнего опуса приходится, по-видимому, говорить как не более чем о курьезе: слишком много в нем нелепых и труднообъяснимых фактических ошибок.

<sup>199</sup> С.С. Дрейзен, Е.И. Индова, М.Д. Курмачева, Р.В. Овчинников, Е.И. Самгина.

дорогу Пугачеву, в немецкие колонии близ Саратова»<sup>200</sup> (Благой 1959: 125). А вот как формулирует А.В. Западов: «Бибиков командировал Державина в дворцовое село Малыковку (ныне город Вольск) на Волге, в ста пятидесяти верстах выше Саратова, чтобы направлять прибывающие войска и вести закупку провианта. Но Державин получил и устное наставление. В случае неуспеха под Оренбургом Пугачев мог броситься в заволжские степи, на реку Ирғиз, впадающую в Волгу напротив Малыковки, и здесь его должен был встретить Державин со своим небольшим отрядом» (Западов А.В. 1958: 48-49).

Еще более вопиющую картину представляют собой новейшие представления о действиях Державина в петровско-саратовском эпизоде его военной карьеры. Р.В. Овчинников, комментатор недавно изданных протоколов показаний Пугачева на допросе в секретной следственной комиссии, фактически обвиняет Державина как руководителя экспедиции под Петровск в дезертирстве. Вот как он излагает действия поэта в ходе этой экспедиции в примечании № 441 к протоколу показаний Пугачева на допросе в Яицкой секретной комиссии 16 сентября 1774 года: «Речь идет о событии, происходившем 4 августа 1774 г. под городом Петровском. В тот день к Петровску, занятому уже войском Е.И. Пугачева, приблизился выступивший накануне из Саратова отряд гвардии поручика Г.Р. Державина с 60 донскими казаками во главе с есаулом П.А. Фоминым. Державин, намереваясь точнее разведать положение в городе, отправился к нему с поручиком Ф.Ф. Гогелем и двумя казаками. Навстречу им кинулось до полутораста повстанцев во главе с Пугачевым. Державин, Гогель и Фомин успели бежать, бросив свою команду, которая перешла на сторону Пугачева» (Пугачев на следствии 1997: 314). А вот как излагаются те же самые события в примечании № 667 к протоколу показаний Пугачева на допросе в Московском отделении Тайной экспедиции Сената 4-14 ноября 1774 г.: «Донская казачья команда есаула П.А. Фомина (около 60 казаков) 3 августа 1774 г. была послана из Саратова бригадиром М.М. Ладыженским в Петровск, чтобы воспрепятствовать захвату этого города войском Е.И. Пугачева. 4 августа в команду Фомина, приблизившуюся к Петровску, приехали из Саратова гвардии поручик Г.Р. Державин, майор Ф.Ф. Гогель и прапорщик П. Скуратов (Шкуратов). Гогель, Скуратов и Фомин с десятью казаками поехали ближе к Петровску, отрядив туда четырех казаков, которые и были захвачены повстанцами, после чего Е.И. Пугачев со 150 повстанцами бросились преследовать офицеров и есаула Фомина» (Пугачев на следствии 1997: 412). Как видим, маститый ученый в данном случае не сумел свести факты к единому знаменателю, однако, в любом случае, произнес суровый приговор по поводу поведения Державина во время петровской экспедиции, подрывающий репутацию поэта.

---

<sup>200</sup> Впрочем, скорее всего в данной формулировке малыковского задания Державина Благой допустил обычную небрежность, так как в своей монографии «Державин» (1944) употребил более точное слово: «для захвата Пугачева» (Благой 1944: 12).

Столь же сурово и безапелляционно звучит оценка, которая была дана М.Д. Курмачевой отъезду Державина из Саратова перед нашествием Пугачева: исследовательница фактически обвинила поэта в трусости. Сравнить: «Бежали из Саратова Державин, Ладыженский»<sup>201</sup> (Курмачева 1991: 159).

Итак, современные ученые не могут придти к единому мнению по поводу действий Державина в эпоху пугачевщины. Ходасевич в свое время также обратил внимание на противоречивость трактовки этих действий в «Истории Пугачева» и в последующих работах историков XIX-начала XX веков. Более того, он показал, что от освещения этих действий в свете документально подтвержденных фактов напрямую зависит понимание концепции личности Державина в «Истории Пугачева», адекватное авторскому замыслу. Этот тезис будет обоснован в процессе нашего дальнейшего исследования.

## **§ 2. Полемика Ходасевича с Пушкиным и Гротом в статье «Пушкин о Державине»**

### *2.1. Конструктивные мотивы статьи Ходасевича «Пушкин о Державине»*

Ключевой для раскрытия темы, обозначенной в заголовке данного раздела, является статья Ходасевича «Пушкин о Державине», которая была опубликована в газете «Возрождение» 7 сентября 1933 года. Она посвящена полемике с концепцией личности Державина в «Истории Пугачева» А.С. Пушкина и в биографии Я.К. Грота «Жизнь Державина». Из этой полемики выясняется ходасевичевская концепция биографической личности Державина, а также взгляды писателя на соотношение литературной и биографической личности этого поэта.

Кроме того, следует сказать, что данная статья структурно связана с биографией Ходасевича «Державин» и, таким образом, входит вместе с нею в единый текст, в котором реализуется антипушкинский и антигровтовский полемический дискурс Ходасевича. В анализе данной статьи мы будем учитывать сделанное замечание об отсутствии внутритекстовых границ между нею и биографией «Державин».

В данной статье Ходасевич возражает Пушкину с позиции ученого-историка. В своей контраргументации критик исходит, главным образом,

---

<sup>201</sup> В таком же смысле можно понять формулировку, данную отъезду Державина в комментариях к указанному сборнику документов эпохи пугачевщины. Сравнить: «5 августа из Саратова уехали Державин, Лодыженский и Жуков. В городе остался комендант Бошняк» (Крестьянская война 1773: 381). Хотя употреблено нейтральное слово «уехали», однако отъезд Державина по-прежнему выглядит немотивированным. В этом контексте противопоставление действий поэта стоической позиции Бошняка представляет их в явно невыгодном свете. Напомним, что М.Д. Курмачева была одним из авторов комментариев к данному сборнику документов.

из одного постулата: одностороннее освещение личности Державина в «Истории Пугачева» явилось следствием незнания Пушкиным державинских «Записок». «Работая над „Историей Пугачевского бунта“, – пишет он, – Пушкин знал о существовании записок Державина, в то время еще неизданных, но ознакомиться с ними ему не удалось» (Ходасевич 07.09.1933). Тут же Ходасевич обозначает тему парадоксального влияния пушкинской концепции на труды последующих историков: «Это <незнание державинских «Записок» – В.Ч.> послужило причиной длинного ряда ошибок, им допущенных и от него перешедших к позднейшим историкам» (Ходасевич 07.09.1933).

Таким образом, Ходасевич уже в самом начале статьи «Пушкин о Державине» акцентирует, по крайней мере, два ее конструктивных мотива: во-первых, «История Пугачева» рассматривается исключительно как наукологический труд, а державинские «Записки», соответственно, – как полноценный фактологический, или документальный, источник; во-вторых, пушкинская концепция личности Державина в «Истории Пугачева» анализируется с учетом ее возможного влияния на концепции последующих историков, так сказать, в пространстве единого державиноведческого текста. Кроме того, как мы допускаем, Ходасевич целенаправленно придал своему логизированию в роли ученого-«историка» мнимый характер, который должен обнажать условность данной роли, ее пародийный, масочный статус. В самом деле, если причина якобы допущенных Пушкиным ошибок кроется в незнании державинских «Записок», то что помешало «позднейшим историкам», знавшим этот текст, этих ошибок избежать?

К сделанному наблюдению следует добавить, что искусственность позы «историка»-педанта, которую принял Ходасевич в разбираемой статье, обнаруживается в самом подходе к «Истории Пугачева» как к исключительно наукологическому трактату, а к державинским «Запискам» как к документированному источнику. Ведь сам он, в отличие от созданного им «историка», относился к историческим трудам Пушкина, а, значит, и к «Истории Пугачева», как к произведениям с художественной установкой. По его мнению, высказанному в другой статье, обращение Пушкина к жанру историографических сочинений следует рассматривать как результат его творческой эволюции. «Я глубоко уверен, – писал Ходасевич, – что исторические интересы и труды Пушкина в основе своей имели художнический импульс – инстинктивное стремление художника обогатить не только свой ум историческими знаниями, но и свое перо – новыми приемами» (Ходасевич 24.06.1938). Что же касается отношения «историка» к державинским «Запискам» как к документированному источнику, то оно, очевидно, противоречит установке Ходасевича как автора биографии «Державин». Этот тезис будет доказываться ниже, в ходе нашего анализа данного текста Ходасевича.

## 2.2. *Формулировка малыковского задания Державина в его «Записках» и в «Истории Пугачева» в рецепции Грота (реконструкция Ходасевича)*

Чуть ниже Ходасевич называет как имена «позднейших историков», на концепции которых, по его мнению, оказало влияние пушкинское представление о роли Державина в усмирении пугачевщины, так и конкретный аспект деятельности Державина, трактуемый Пушкиным и, соответственно, «позднейшими историками» якобы одинаково. Имеются в виду историки второй половины XIX-начала XX века Д.Г. Анучин, Н.Н. Фирсов и, прежде всего, Я.К. Грот. По утверждению ходасевичевского «историка», они не вполне последовательно формулировали «разведочный» характер малыковского задания Державина, допуская трактовку этого задания как «боевого», тогда как на самом деле (как подразумевается, согласно державинским «Запискам») оно было исключительно «разведочным», в соответствии с занимаемой поэтом должностью члена секретной комиссии. Тут же данное утверждение контаминируется с указанием на фактическую «ошибку» Пушкина, интерпретировавшего малыковское задание Державина как исключительно «боевое». На наш взгляд, этим приемом читателю внушается факт влияния данной пушкинской интерпретации на соответствующие взгляды «позднейших историков», в соответствии с исходным тезисом статьи об «ошибках», «перешедших» от Пушкина к этим историкам. Сравнить: «Вообще роль Державина в усмирении пугачевщины Пушкин себе представлял совершенно неверно. Если позднейшие историки, как Анучин, Фирсов и даже Грот, не вполне учли то обстоятельство, что Державин состоял в секретной следственной комиссии и в сущности не был призван участвовать в военных действиях, то Пушкин и вовсе о том не знал. Задачи Державина представлялись ему исключительно боевыми, тогда как они в действительности были политическими и разведочными, а если порой принимали боевой характер, то лишь в силу необходимости» (Ходасевич 07.09.1933).

В качестве примера неверного понимания Пушкиным характера заданий, поставленных перед Державиным, «историк» цитирует начало главы Пятой «Истории Пугачева»: «... Пушкин <...> полагает, что это сделано было <посылка Державина в Малыковку – **В.Ч.**> „для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова“» (Ходасевич 07.09.1933).

Если бы перед нами была корректная научная полемика, то следовало бы ожидать ссылки на те фрагменты державинских «Записок», в которых приводится информация о характере малыковского задания Державина. Наоборот, отсутствие такой ссылки является знаком квазинаучного, пародийного характера контраргументации ходасевичевского «историка».

В самом деле, его рассуждение почти дословно повторяет критику Я.К. Гротом, а также Н.Н. Фирсовым пушкинского определения малыковского задания Державина.

Грот в одном из примечаний к своей биографии «Жизнь Державина» пишет по этому поводу буквально следующее: «Материалы, которыми пользовался Пушкин для своей *Истории Пугачевского бунта*, были очень не полны <...>. Неудивительно поэтому, что и сведения, сообщаемые им об участии Державина в тогдашних событиях, не только скудны, но отчасти и неверны. Он помещает Державина в число начальников, назначенных для военных действий, и думает, что его послали в Малыковку для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Далее, передавая не точно распоряжения Державина, Пушкин сверх того смешивает эпохи и только о деятельности его в Саратове знает несколько подробнее и положительнее» (цит. по: Державин 1864- IX: 56-57).

Ученый считает, что главной причиной отмеченных ошибок является незнание Пушкиным державинских «Записок», которые были опубликованы только в 1858 году. По его словам, Пушкин пытался познакомиться с рукописью, однако получил отказ от вдовы поэта.

Н.Н. Фирсов в своей комментарии к академическому изданию «Истории Пугачевского бунта» (1914) при толковании данного эпизода буквально повторяет замечание Грота: «В тот момент, когда Державин был послан в Малыковку, он не состоял „в числе начальников, назначенных для военных действий“»<sup>202</sup> (Фирсов 1914: 205). Для доказательства этого положения ученый цитирует по тексту «Записок» фрагмент из инструкции, данной Державину его начальником главнокомандующим генерал-аншефом А.И. Бибиковым 6 марта 1774 года при посылке в Малыковку (см.: Фирсов 1914: 206). При этом Фирсов также обращает внимание на хронологическую ошибку, допущенную Пушкиным при изложении малыковского задания Державина. По его словам, командировка на Иргиз состоялась не в январе, а в марте. Между прочим, ученый указывает на источник неверного толкования Пушкиным малыковского задания Державина, а именно на так называемые «Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова» (1817), составленные его сыном сенатором А.А. Бибиковым: «Поручения, которые получил Державин от А.И. Бибикова на первых порах, были иного характера, а не того, какой, согласно „Запискам“ Бибикова, получился в комментируемом месте „Истории Пугачевского бунта“» (Фирсов 1914: 205).

Что же касается упомянутого в «триумвирате» историков Д.Г. Анучина, то и он сформулировал малыковское задание Державина как прежде всего «разведочное», а не военное. Правда, сделал он это вне рамок полемики с Пушкиным. Сравнить: «Державин <...> прислан был в Саратов генерал-аншефом Бибиковым с секретными поручениями наблюдать за рекою Иргизом и принимать меры к разведыванию о Пугачеве» (Анучин 1869: 42).

Итак, вопреки утверждению ходасевичевского «историка», Анучин, Фирсов и Грот формулировали малыковское задание Державина как «раз-

---

<sup>202</sup> Очевидно, Фирсов цитирует Грота, однако без ссылки на источник.

ведочное», а двое последних из названных ученых оспаривали в этой связи Пушкина как автора «Истории Пугачева». При этом как Грот, так и Фирсов ссылались в своей полемике на державинские «Записки».

В чем тут дело? С наукологической точки зрения очевиден абсурд обсуждаемого утверждения ходасевичевского «историка» по поводу неведения названных ученых относительно цели и задач малыковской командировки Державина и влияния на них в этом вопросе взглядов Пушкина.

Однако не следует забывать о пародийном, «зеркальном», модусе «дискурса» ходасевичевского «историка». В данном случае его утверждение о том, чего нет на самом деле, симметрично некорректному в научной полемике приему «сглаживания» или откровенного «замалчивания» того, что на самом деле существует, использованному Гротом и Фирсовым в их критике Пушкина.

Так, названные ученые (и, соответственно, ходасевичевский «историк») не учли другую формулировку задания Державина, которую Пушкин сделал ниже, в главе Восьмой «Истории Пугачева»: «Он <Державин> отряжен был (как мы уже видели) в село Малыковку, дабы оттуда пресечь дорогу Пугачеву в случае побега его на Иргиз» (Пушкин 1994- IX: 71). Как видно, Пушкин был в курсе настоящей цели малыковской командировки Державина<sup>203</sup>. Его критики даже не задались вопросом, почему он, посредством заскобочной отсылки «как мы уже видели», утверждает равнозначность, даже взаимозаменяемость формулировок деяний Державина в Малыковке, данных в Пятой и Восьмой главах; и почему он непосредственно вслед за формулировкой Восьмой главы сообщает о таких деяниях Державина в Малыковке, которые явно не имеют отношения к первоначальному заданию о поимке Пугачева на Иргизе. Сравнить: «Державин, известясь о сношениях Пугачева с киргиз-кайсаками, успел отрезать их от кочующих орд по рекам Узеням, и намеревался итти на освобождение Яицкого городка; но был предупрежден генералом Мансуровым»<sup>204</sup> (Пушкин 1994- IX: 71-72).

Эту же тактику «сглаживания», или «замалчивания» «неудобной» информации, разрушающей стройность наукологических построений, Грот и Фирсов применили и к тексту державинских «Записок».

Вот как передает Державин в своих «Записках» содержание так называемого «тайного наставления» от 6 марта 1774 года, которое было дано ему Бибиковым при посылке в Малыковку: «чтоб он, прикрыв подобие правды под некоторыми другими видами, ехал в тот край, а в самом деле, яко в гнезде раскольничьей сволочи, Иргизе, Малыковке и Узенях, стерег бы Пугачева, ежели бы он по разбитии толпы своей захотел там укрыть-

---

<sup>203</sup> Об этой цели Пушкин знал из рапорта главнокомандующего генерал-поручика князя Ф.Ф. Щербатова от 5 мая 1774 года. См.: Пушкин 1994- IX: 775. Здесь же сообщается дата посылки Державина в Малыковку, – 2 марта. Этот документ был опубликован в 1938 году в составе полного собрания сочинений Пушкина.

<sup>204</sup> В изложении этих действий Державина Пушкин также следует тексту упомянутого рапорта Щербатова.

ся...»<sup>205</sup> (Державин 2000: 45-46). Между прочим, Бибииков, в передаче Державина, особенно подчеркивал необходимость соблюдения конспирации. В частности, людей, которым поручалось поймать Пугачева, Державин должен был приготовить «скрытно», «чтоб известностью всего дела не уничтожить» (Державин 2000: 46).

Казалось бы все ясно: Державин был послан в Малыковку именно с «разведочным» и никаким другим заданием. Но вот ниже Державин, излагая поручения, которые были даны им лазутчикам, посылаемым в стан Пугачева, пишет буквально следующее: «Но чтоб оные посланные, в случае их неверности, и в другом виде были полезны, то наказывал он им, что приехал в Малыковку (Вольск) для встречи четырех полков гусар, едущих из Астрахани, для которых подрядил провиант, дав небольшие задатки. Сие разглашать велел с намерением, которого никому не открыл, чтоб, в случае предприятия злодейского, устремиться по Иргизу к Волге, где никаких войск не было, удержать впадение их во внутренность империи, как-то на Малыковку, Сызрань, Симбирск, Пензу и далее, и сделать тем диверсию или удержать их несколько ход до прибытия на Яик генерала Мансурова и прочих войск, – в чем истинная была цель его, Державина, которая ему и удалась, как то из последствия видно будет» (Державин 2000: 47).

При этом Державина не смущает даже некоторое противоречие между заданием лазутчикам разглашать слухи о скором прибытии на Иргиз «астраханских гусаров» и приказом Бибиикова арестовать Пугачева, «ежели бы он по разбитии толпы своей захотел <на Иргизе> укрыться» (Державин 2000: 45-46). В самом деле, каким бы образом Пугачев избрал своим убежищем Иргиз, зная, что там расположены войска? Более того, Державин усиливает данное противоречие, приведя чуть ниже, после изложения задания лазутчикам, посылаемым в стан Пугачева<sup>206</sup>, содержание ордера своим помощникам – Серебрякову и Герасимову, согласно которому те должны были выяснять через «надежных за деньги присмотрщиков», «не прибежит ли Пугачев крыться в запримеченных ими местах» (Державин 2000: 48), то есть на том же Иргизе.

Следует отметить, что, пересказывая в «Записках» содержание «тайного наставления» Бибиикова, Державин не указал, под какими именно «видами» ему надлежало «прикрывать подобие правды» (Державин 2000: 45), так что создается впечатление, что идея распустить слухи об «астраханских гусарах» в качестве оборонительного средства принадлежит именно ему. К тому же, он пишет, что намерение прикрыть Волгу таким

---

<sup>205</sup> События пугачевщины Державин излагает, по его собственным словам, по тексту «подлинного журнала» (Державин 2000: 42), веденного им в это время. Однако тут же он оговаривается, что этот журнал дополнен им «подробными примечаниями на некоторые сокращенные обстоятельства» (Державин 2000: 42). Как будет показано ниже, многие свидетельства, зафиксированные в данном журнале, не находят себе подтверждения в других документальных источниках, в частности, в переписке Державина во время пугачевщины. В связи с этим мы полагаем, что указание на некоторые «подробные примечания», добавленные при включении журнала в текст «Записок», служит знаком его фикционального статуса.

<sup>206</sup> Лазутчиков было двое: раскольничий старец Иов и дворцовый крестьянин Василий Григорьевич Дюпин.



способом он «никому не открыл» (Державин 2000: 47), в том числе даже Бибикову. Таким образом, читателю «Записок» остается поверить их повествователю на слово, что все именно так и было, как он рассказал.

Таким образом, Державин в «Записках», в конце концов, заявил, что «истинной целью» его пребывания на Иргизе было боевое задание по «прикрытию Волги» от нападения пугачевцев.

Грот оспорил данное заявление Державина. По его словам, «такой план показывал бы излишнюю самонадеянность в подпоручике, при котором не было никакого войска, тем более что это предприятие далеко вышло из границ данного ему поручения» (Грот 1997: 80-81). По-видимому, ученый склонен был объяснять данное заявление старческой амнезией поэта<sup>207</sup>. Как видно, и в данном случае ходасевичевский «историк» в своей полемике с Пушкиным по поводу формулировки малыковского задания Державина буквально повторил контраргументацию Грота по поводу войсковых ресурсов.

Итак, Грот отверг как несостоятельное с научной точки зрения утверждение Державина, сделанное в «Записках», о том, что его малыковское задание имело боевой характер и что блеф, то есть слухи об идущих на Иргиз «астраханских гусарах», явился действенным сдерживающим фактором, воспрепятствовавшим наступлению пугачевцев в данном направлении. С точки зрения ученого, этому наступлению могли бы помешать только войска, фактически находившиеся в распоряжении Державина. Также отвергается присутствующий в данном утверждении Державина мотив единоличного совершения грандиозного деяния, так сказать, «богатырского» подвига по прикрытию целого «иргизского» фронта. Кроме того, Грот в своей книге никак не комментирует ссылку Державина на последующие события, которые якобы доказывают справедливость утверждения о блефе как об эффективном средстве в борьбе с мятежниками.

Между тем, в последующем повествовании державинских «Записок» тема боевого задания их героя по прикрытию Волги от основных сил пугачевцев, расположенных под Оренбургом либо Яицком, а также темы его «богатрства» и блефа становятся лейтмотивными.

Последующий достаточно пространный экскурс в область сопоставительного анализа текстов державинских «Записок» и биографии Грота «Жизнь Державина», который сопровождается сверкой содержания этих текстов с историческими документами эпохи пугачевщины, на наш взгляд, необходим ввиду той важной роли, которую занимает этот анализ в реконструкции ходасевичевской концепции личности Державина: напомним, что, по признанию Ходасевича, он создавал свою биографию «Державин», отталкиваясь прежде всего от концепции Грота<sup>208</sup>. Кроме того, следует учитывать тот факт, что, как было показано выше, в статье «Пушкин о

---

<sup>207</sup> Державин «в старости, – замечает Грот, – когда писал свои записки, слишком усилил <...> довольно умеренное выражение» (Грот 1997: 80) из журнала времен пугачевщины. Фирсов попросту обошел молчанием обсуждаемое заявление Державина.

<sup>208</sup> См. «Введение» к нашей работе.

Державине» акцентируется необходимость знания державинских «Записок» для понимания сути полемических упреков Ходасевича по отношению к концепциям личности Державина, представленным в «Истории Пугачева» и в «Жизни Державина».

*2.3. Боевой характер малыковского задания Державина в «Записках» и корректировка Гротом масштабов воинских мероприятий поэта (при А.И. Бибикове: март-апрель 1774 года)*

Чуть ниже мы узнаем, что Державин получил от одного из своих помощников, данных ему Бибиковым в команду, – Серебрякова, известие об опасности со стороны киргиз-кайсаков. В следующем фрагменте «Записок» Державин передает содержание одного из своих рапортов Бибикову, в котором содержалась данная информация: «... якобы Пугачев, будучи на Яике, обнаружил свой манифест, призывавший киргизцев к себе в помощь, обещал за то яицкую степь до Волги...» (Державин 2000: 48). Однако, по Державину, астраханский губернатор П.Н. Кречетников (его недруг), к которому он в связи с данным обстоятельством обратился за военной поддержкой, поскольку тот был обязан, согласно рескрипту Бибикова, оказывать ему всемерную поддержку, в том числе, и войсками, в тот момент не мог этого сделать, поскольку сам нуждался в таковом подкреплении. В его передаче, губернатор всерьез испугался нападения киргиз-кайсаков, а еще более – возможности наступления пугачевцев через Иргиз во внутренние области империи. Губернатор якобы через Державина просил у Бибикова помощи: «что от сего <возможного нападения киргиз-кайсаков – **В.Ч.**>, а паче от пролития с Яику в провинции по Иргизу злодеев, астраханский губернатор, бывший тогда в Саратове, полагал себя иметь бессильным, требовал от г. Бибикова себе подкрепления...» (Державин 2000: 48).

Далее Державин в «Записках» сообщает, что он, по содействию Бибикова, потребовал от начальства саратовской опекунской конторы воинскую команду в связи с возможным движением пугачевцев в направлении Иргиза после их разгрома генерал-майором князем П.М. Голицыным под Татищевой 22 марта и последовавшего бегства самого Пугачева в Башкирию. О последнем обстоятельстве Державин узнал из ордера от 9 апреля, написанного от имени смертельно больного Бибикова (в этот день главнокомандующий умер) и подписанного генерал-майором А.Л. Ларионовым. Этот ордер завершался сообщением, что Пугачев тем не менее «всячески намерен пробираться на Яик; то чтоб употребить сей случай в пользу» (Державин 2000: 49). «В таком случае, ведая, что Пугачев хочет пробираться на Яик, где еще у него сообщников было довольно; – пишет Державин в «Записках», – для того чтоб сделать отвращение могущему его быть влиянию по Иргизу к Волге во внутренние провинции и прикрыть колонии, просил Державин Опекунскую контору о присылке к нему команды под видом авангарда идущих якобы войск от Астрахани, которых и поста-

вить в крайней колонии Шафгаузене. Опосле видно будет, что сие было весьма полезно» (Державин 2000: 49).

Как видно из данного эпизода «Записок», Державин считал, что блеф по поводу «астраханских гусар» для успешной реализации нуждается хотя бы в видимости правды, так сказать, в бутафорском прикрытии. В данном случае функцию этого прикрытия должны были выполнить саратовские фузелеры под командой капитана Ельчина, вытребованные у начальства опекунской конторы. В «Записках» этот капитан изображается как трус и несведущий в своем деле офицер, то есть буквально как декоративная фигура. Вот как он, согласно державинским «Запискам», действовал против напавшей на колонии другой кочевой народности – калмыков: «Капитан Ельчин хотя и имел вместо конницы (то есть донских денисовских казаков, за переправу из-за Волги не поспевших) собранных Державиным малыковских крестьян, но как при первом разе к битве были они не привыкли, да и капитан Ельчин не столь храбро поступал как должно, что не в померную даль расстрелял попусту два комплекта зарядов и требовал оных присылки, то поражения их и покорения к законной власти сделать не мог; но довольствовался только отпужанием их от Иргиза» (Державин 2000: 51-52).

Согласно «Запискам», именно с этим сборным отрядом саратовских фузелеров и малыковских крестьян Державин предпринял по собственной инициативе и вопреки советам П.Н. Кречетникова упомянутую экспедицию под Яицк. Это свидетельство, конечно, подтверждает его совершенно исключительную, «богатырскую», храбрость. Правда, по его словам, он все же просил дополнительной военной помощи у того же губернатора, но в совершенно незначительном количестве – всего 30 донских казаков, и совсем для другой цели, а именно – для поимки неких «подсылных злодеев, шатающихся по хуторам» (Державин 2000: 48). К тому же получил в ответ отказ с присовокуплением иронического совета задействовать для своих целей «Шевичевы ескадроны, которые имели ордер поспешать к главным корпусам» (Державин 2000: 49). Герой «Записок» на этом якобы успокоился, решившись, по-видимому, по немецкой поговорке, «из нужды сделать добродетель», то есть, удовлетворившись имеющимися в наличии минимальными силами, сорвать тем более весомый приз в виде освобождения Яицкой крепости.

Наконец, в следующем эпизоде «Записок» Державин приводит документальное свидетельство, призванное доказать эффективность его мероприятий по «прикрытию Волги». Здесь излагается содержание ордера, полученного им от П.М. Голицына 2 мая 1774 года с приложением «доклада» Толкачова, одного из пугачевских старшин, руководивших повстанцами под Яицком. В последнем документе Толкачов просил разрешения у Пугачева «идти с ополчением» (Державин 2000: 51) в сторону Иргиза и далее за Волгу «для склонения» (Державин 2000: 51) тамошних жителей и «для собрания провианта» (Державин 2000: 51). «Вследствие чего, – пишет Державин, – генерал Голицын приказывал ему, Державину, брать оттого предосторожность, которая, как выше видно, предварительно, уже до при-

шествия в Яик генерала Мансурова, была принята; ибо от стоящих при Шафгаузене Опекунских команд, с апреля еще месяца, простерся слух, что около колоний есть войска» (Державин 2000: 51).

Согласно «Запискам», этот «слух» довели до сведения пугачевцев посланные Державиным лазутчики: «... после носился слух, что сами они, пришед в канцелярию к жене Пугачева Устинье, объявили о своей посылке и письмо к Симонову <коменданту Яицка – В.Ч.> открыли, что и нужно было, ибо сим удержано стремление злодеев от впадения вовнутрь империи, как ниже о том увидим» (Державин 2000: 50)<sup>209</sup>.

Таким образом, державинский план по «прикрытию Волги» от пугачевцев посредством блефа был блестяще реализован.

Грот корректирует масштабы военных мероприятий Державина, произведенных тем, согласно «Запискам», при Бибикове, в ракурсе сыскного характера малыковского задания, а также – количества находившихся в его распоряжении воинских сил.

Он утверждает как в сноске к приказу Державина Серебрякову и Герасимову от 22 марта<sup>210</sup>, так и в «Жизни Державина»<sup>211</sup>, что Державин просил у Кречетникова воинской команды исключительно в связи с угрозой нападения со стороны киргиз-кайсаков, а не мятежников.

Кроме того, Грот элиминировал в «Жизни Державина» упомянутые выпады Державина против Кречетникова. Тем самым он скорректировал щекотливую ситуацию, в которой оказался сам автор «Записок», вероятно, вследствие своего желания, во что бы то ни стало высмеять своего недруга и представить в возможно более выгодном свете собственные чисто воинские заслуги. В самом деле, согласно «Запискам», Державин в случае надобности брался усмирить посредством относительно небольшого количества воинских сил не только многочисленных и воинственных кочевников, против которых оказался якобы бессилен даже губернатор одной из самых обширных российских губерний<sup>212</sup> со всей находящейся в его распоряжении военной мощью, но и «прикрыть Волгу» от главных пугачевских сил.

По Гроту, на поход под Яицк Державин решился, только имея в своем распоряжении достаточные для этого воинские силы: кроме 200 человек саратовских фузелеров, в его отряде было две пушки (Грот 1997: 85).

---

<sup>209</sup> Затем данное утверждение Державин повторил в письме-прошении Екатерине II, написанном в июле 1776 года. Это письмо поэт привел в «Записках» в качестве итогового документа, удостоверяющего собственные заслуги в ходе подавления пугачевщины. Текст письма см. в издании: Державин 2000: 76-78.

<sup>210</sup> «...Державин виделся <с Кречетниковым> в Саратове и <...> безуспешно просил воинского отряда для отправления против Киргизов, так как по слухам они были уже на Узеньях и со стороны их предстояла опасность» (Державин 1864- V: 24).

<sup>211</sup> «Главною целью для поездки туда <из Малыковки в Саратов> Державина было желание получить в свое распоряжение отряд из войска, которым располагал губернатор в Саратове. Поводом к тому могло служить полученное в Малыковке известие о готовности киргиз-кайсаков присоединиться к Пугачеву, для чего они, по его приглашению, уже и собирались на Узеньях. Вручая Кречетникову письмо Бибикова о содействии подателю, Державин упомянул об этом известии и указывал на угрожавшую со стороны киргизов опасность» (Грот 1997: 81-82).

<sup>212</sup> Грот называет Астраханскую губернию «обширной» (Грот 1997: 106). По его словам, в начале 70-х годов XVIII века она была расположена «по обе стороны Волги: граница ее начиналась на севере от устья Самары, а на юге обнимала все течение Терека» (Грот 1997: 106).

Кроме того, Грот приводит точное количество малыковских крестьян: «сотни полторы» (Грот 1997: 84). К тому же, вопреки отказу губернатора, Державин в любом случае «решился поставить на своем и по пути взять с Иргиза донских казаков опекунской конторы, отданных ею в распоряжение губернатора» (Грот 1997: 85). Грот не называет в данном эпизоде книги точного количества этих казаков, однако, акцентируя настойчивость, проявленную Державиным ради их задействования под собственную команду, внушает читателю мысль, что, на самом деле, их было гораздо больше. Во всяком случае, проявление такого упорства, вплоть до превышения служебных полномочий в виде прямого нарушения вышестоящего начальства, вряд ли мотивируется желанием заполучить три десятка казаков. Так можно поступать только в случае крайней заинтересованности, даже, мы бы сказали, – в случае, если решается вопрос о жизни и смерти<sup>213</sup>.

Далее. Грот ничего не сообщает по поводу намерений Толкачова, а также по поводу предположения Державина о решающей роли посланных им лазутчиков в деле удержания пугачевцев от похода на Иргиз. Он лишь пересказывает, со слов Державина, слух об их предательстве: «После носился слух, прибавляет Державин в записках своих, что Иов и товарищ его Дюпин <имена лазутчиков – **В.Ч.**>, по словам его, убитый, сами пришли к бывшей в Яицком городке жене Пугачева Устинье, объявили о своем поручении и открыли письмо к Симонову» (Грот 1997: 86).

Таким образом, анализ рецепции Гротом рассмотренных эпизодов державинских «Записок» показывает, что ученый стремился не только устранить противоречие между «воинственными» заявлениями мемуариста и конспиративной целью его пребывания на Иргизе, но и сгладить потенциальный комизм в изображении Державиным собственной деятельности во время пугачевщины. Другими словами, Грот стремился сгладить количественную «невязку» между грандиозными военными деяниями Державина и фактическим наличием войск в его распоряжении.

Однако насколько оправдана документально данная стратегия Грота? Тут одно из двух: либо ученый, стараясь представить читателю более «реалистический» образ великого поэта, «увлекается» и допускает неоправданные утверждения, без ссылок на документальные источники; либо державинские «Записки» на самом деле не обладают безусловным фактологическим статусом, как это утверждает Грот (и вслед за ним Фирсов) в приведенном выше критическом замечании к пушкинской «Истории Пугачева», и информация, приведенная в них, требует дополнительной проверки посредством подлинных документов эпохи пугачевщины. В любом случае, без обращения к соответствующим источникам данного вопроса не решить. Благо, переписка Державина эпохи пугачевщины опубликована Гротом в пятом томе собрания сочинений поэта (1869 г.).

---

<sup>213</sup> А ведь, собственно говоря, экспедиция под Яицк на самом деле и была чистым *tour de force*’ом со стороны Державина, и не известно, чем бы все закончилось, не подоспей Мансуров (освободитель города) во время. Конечно, в реальности Державин не мог не понимать этого обстоятельства и старался по возможности предупредить вероятные катастрофические последствия своей авантюры.

Итак, сопоставим разобранные эпизоды «Записок» с соответствующими историческими документами.

#### *2.4. Малыковский эпизод военной карьеры Державина в исторических документах*

Согласно оригиналу текста «тайного наставления» Бибикова, «виды», которыми Державин, должен был прикрывать свое «прямое дело» (Державин 1864- V: 11) в Малыковке – поимку Пугачева – сформулированы следующим образом: «Вы отправьтесь отсюда в Саратов и потом в Малыковку, где о пребывании вашем наружно объявляйте, что посланы от меня для встречи и препровождения марширующих с Дону казаков под командою полковника Денисова и гусарских эскадронов, под командою майора Шевича сюда же марширующих, и для закупки провианта на здешний корпус, когда он к Оренбургу достигнет» (Державин 1864- V: 10-11). Таким образом, слухи об идущих в сторону Иргиза войсках действительно служили, по мысли Бибикова, прикрытием для задания Державина по поимке Пугачева. Однако в тексте «тайного наставления» ничего не говорится о том, что главнокомандующий с помощью этих слухов собирался «прикрывать Волгу» от нападения пугачевцев. Эти войска шли через Иргиз на Оренбург, освобождение которого от осады являлось главной стратегической задачей Бибикова во все время пребывания его на посту главнокомандующего. Так как в «тайном наставлении» ни слова не говорится об Иргизе как о месте постоянной дислокации этих воинских сил, то нет и указанного выше противоречия между формулировками видимого («прикрытие Волги») и «прямого» (поимка Пугачева) задания Державина.

В реальности, как следует из документальных источников, Державин такого противоречия в своих действиях не допускал. Так, получив 30 июня 1774 года ордер от главнокомандующего генерал-поручика князя Ф.Ф. Щербатова, возглавившего антипугачевские правительственные войска после смерти Бибикова, о возобновлении «тайных разведываний» (Державин 1864- V: 122) возможного убежища Пугачева на Иргизе, Державин просил генерал-майора П.Д. Мансурова в рапорте от 1 июля 1774 года отозвать стоявшие в это время в тех местах казачьи команды, «дабы чрез сие, раскрыв их, обеспечить злодею место его убежища» (Державин 1864- V: 122). «В противном случае, – поясняет Державин, – кажется, у своих знакомых при командах пристать не можно будет» (Державин 1864- V: 122).

Далее. В подлиннике рапорта Державина Бибикову от 13 марта, в котором излагаются поручения, данные лазутчикам при посылке в пугачевский стан, нет ни слова о данном им задании по распространению слухов об «астраханских гусарах»<sup>214</sup>. Нет ни слова об этом задании и в рапорте

---

<sup>214</sup> То есть получается, что, судя по «Запискам», Державин превысил свои полномочия, ничего не сообщив главнокомандующему о своей идее «прикрыть Волгу» с помощью «астраханских гусаров» и, тем самым, как мы видели из разбора противоречивого характера державинских поручений лазутчикам,

Державина П.И. Панину от 5 октября 1774 года, в котором он отчитывался перед новым главнокомандующим о своих действиях во время пугачевщины в связи с возникшими подозрениями в поведении (во время пребывания в Саратове), недостойном русского офицера.

Насколько нам удалось выяснить, впервые утверждение Державина о том, что он давал задание лазутчикам разглашать слухи о дислокации войск на Иргизе и что именно эти слухи удержали мятежников от наступления в этом направлении, появляется в так называемом «Сокращении комиссии л.-гв. Преображенского полку поручика Державина», составленном 16 ноября 1774 года по требованию начальника секретной комиссии генерал-майора П.С. Потемкина. Здесь сказано следующее: «По письму злодейского начальника Толкачева, тогда как все наши войска прошли под Оренбург, хотели из Уралу бунтовщики пролиться по течению Иргиза на нагорные провинции к покорению их, то я сделал разгласками и вытребованием из Саратова команды от того им заблаговременно диверсию» (Державин 1864- V: 291). Для сравнения, в рапорте П.И. Панину Державин утверждал, что наступлению мятежников с Яика воспрепятствовало исключительно прибытие на Иргиз воинской команды саратовской опекунской конторы: «Оная ж вытребованная мною саратовская команда <...> не допустила по письму злодейскому покушения с Яика...» (Державин 1864- V: 235).

Можно только предполагать, почему Державин внес столь значительные поправки в «Сокращении комиссии...». Судя по рапорту П.Д. Мансурову, написанному в мае, Державин, наоборот, никак не рассчитывал на распространение ими слухов об «астраханских гусарах». Так, он считал, что Иов, единственный из посланных лазутчиков оставшийся в живых, наоборот, побуждал пугачевцев двинуться на Иргиз. Сравнить: «... мне непонятно <...> почему он <Иов> просил сюда на Иргиз злодейской команды в то время, когда здесь ни одного человека войска не было и все жители готовы были к бунту» (Державин 1864- V: 74-75). Это подозрение могло возникнуть у Державина после прочтения упомянутого письма Толкачова, в котором тот, действительно, просил разрешения у Пугачева совершить рейд на Иргиз для пополнения людских и продовольственных ресурсов<sup>215</sup>. Ясно, что если бы Толкачов знал о наличии на Иргизе правительственных войск, он вряд ли стал бы рисковать. Да и в его письме ни слова не говорится о какой-либо угрозе со стороны правительственных сил. То есть Иов, вопреки утверждениям Державина в «Записках», мог попросту ничего не сказать мятежникам об идущих на Иргиз «астраханских

---

поставил под угрозу успешное выполнение своего задания по поимке Пугачева. См. текст данного рапорта в издании: Державин 1864- V: 15-18.

<sup>215</sup> Текст письма Толкачова, сохранившегося в копии, писаной рукой Державина, см. в издании: Державин 1864- V: 280-281. По нашему мнению, Грот при публикации этого письма что-то напутал. Он приписывает этот текст Матвею Толкачеву, убитому «впоследствии» «в стычке с передовым отрядом кн. Голицына, при деревне Пронкиной». Следует ссылка на так называемый «Экстракт из журнала кн. Голицына», опубликованный в приложениях к «Истории Пугачева» А.С. Пушкина. Однако в указанном месте речь идет о событиях, происходивших в феврале 1774 года (см. Пушкин 1994- IX: 359), тогда как данное письмо датировано 16 апреля 1774 года. В письме речь идет, несомненно, о походе из-под Яицка. Грот же в сноске указывает на Гурьев.

гусарах», а, ловко поведя двойную игру, обмануть своего «резидента» и, так сказать, раскрыть его карты<sup>216</sup>. Во всяком случае, выходит, что посылка Иова в стан пугачевцев оказывается ошибкой Державина, тем более существенной, что не успевай вовремя Мансуров, Толкачов мог бы совершить упомянутый рейд на Иргиз.

Кстати сказать, Державин постоянно ссылается на письмо Толкачова как на доказательство собственной предусмотрительности в деле защиты Волги от мятежников. Якобы мятежники отказались от своего плана нападения на Иргиз только потому, что, в конце концов, узнали о воинской команде, дислоцирующейся в тех местах. Письмо Толкачова помечено 16 апреля 1774 года<sup>217</sup>. В этот день Мансуров как раз вошел в Яицк. Казалось бы, ясно, по какой причине отряд Толкачова не напал на Иргиз.

Судя по данному рапорту Мансурову, у Державина не было твердой уверенности в том, что его лазутчики передали мятежникам письмо, предназначенное Симонову. Вообще говоря, уверенность Державина в их предательстве, выраженная как в «Сокращении комиссии...», так и в «Записках», в рапорте Мансурову остается на уровне подозрения и другими документами эпохи пугачевщины никак не подтверждается. Сравнить в этой связи, например, передачу Державиным в рапорте Мансурову результатов учиненного им допроса Иова: «Старец Иев нашелся, что он по моим наставлениям не очень исполнил. От неразумия ли сие сделал, или от плутовства, неизвестно. Письмо г. коменданту от меня отдано или нет, не знаю ж; от него было ли ко мне письмо, также не известно. <...> По смятности его рассказов, для меня его похождение непонятная загадка» (Державин 1864- V: 74).

В «Записках» не точно называются воинские силы, прибытия которых на Иргиз якобы ждал герой этого произведения: согласно примечанию П.И. Бартенева к другому эпизоду «Записок», гусары под командой Шевича – это «сербские гусары из Екатеринославской губернии» (Державин 2000: 283). В «Записках» они упоминаются в связи с ироническим советом астраханского губернатора П.Н. Кречетникова использовать их вместо требуемых от него Державиным казаков, то есть – как

---

<sup>216</sup> В упомянутом письме к Симонову от 13 марта, которое Иов и Дюпин должны были ему передать, Державин обнадеживает своего адресата присылкою войск: «... м. гдрь мой, дайте знать, сколько злодеев округ вашего города теперь; почему бы и стал я стараться, не можно ли на то число послать к вам войска, дабы подать вам руку помощи» (Державин 1864- V: 19). На тот момент в распоряжении у Державина не было ни одного солдата, и Иов, если бы он действительно оказался предателем, конечно, сообщил бы об этом Толкачову. Кроме того, совсем не ясно, каким бы образом Иов, посланный в Яицк 13 марта, мог сообщить мятежникам о команде саратовской опекунской конторы, прибывшей на Иргиз в начале апреля.

<sup>217</sup> Кстати сказать, Михаил Толкачов, один из руководителей яицких мятежников, согласно так называемому «Журналу Симанова» (коменданта Яицкой крепости), был выдан ими гарнизонному начальству 15 апреля. Вот что происходило в городе в этот день, согласно данному источнику: «15 числа усмотрено, что яицк.<ие> Бунтовщики малыми толпами въезжали в город и к вечеру собрались до неск.<ольких> сот – и ударя в набат, собрали круг и шумели. После чего толпою приблизились к крепости – их было приняли выстрелами, но вскоре увидели, что они вели связанных своих предводителей, атамана Каргина и Толкачева с товарищи, всего 7 чел., прося в винах помилования и всему городу пощады. Перевязанные злодеи приняты, а голодный гарнизон насыщен привезенным хлебом, а 16 числа прибытием г. ген.<ерал-> м.<айора> Мансурова от осады освобожден» (Пушкин 1994- IX: 503-504).



воинская сила, вполне недостижимая для Державина: эти гусары, как сказано в «Записках», «имели ордер поспешать к главным корпусам»<sup>218</sup> (Державин 2000: 49). Вообще говоря, от астраханского губернатора Державин за все время своего пребывания в Малыковке не получил ни одного солдата, поэтому «астраханские гусары», на наш взгляд, являются как нельзя более уместным и остроумным термином, вероятно, изобретенным Державиным при создании «Записок» для обозначения желаемой, но недоступной воинской силы.

Озабоченность Кречетникова по поводу возможного нападения киргиз-кайсаков и пугачевцев также не находит подтверждения в документальных источниках. Письмо от Серебрякова и Герасимова с предупреждением о возможной опасности со стороны киргиз-кайсаков и требованием в связи с этим обстоятельством воинской команды, датированное 16 марта, Державин получил 19 марта в Саратове, где в это самое время находился Кречетников. По-видимому, в этот же день Державин лично просил у губернатора войск, но безуспешно. В связи с этим иронично звучит формулировка подорожной, которую Кречетников выдал Державину 19 же марта для проезда в Малыковку: «в благополучном городе Саратове» (Державин 1864- V: 33). В приказе Серебрякову и Герасимову от 22 марта Державин приводит подлинное мнение Кречетникова по поводу опасности со стороны киргиз-кайсаков: «От Киргизцев хотя, по словам губернаторским, никакой опасности нет, однако вы, ежели можно, старайтесь о донесенном вами обстоятельно разведывать...» (Державин 1864- V: 24).

Сам факт «пролития с Яику в провинции по Иргизу злодеев» (Державин 2000: 48) как реальная угроза, существовавшая к 19 марта, вызывает большие сомнения. Единственный известный нам документ, в котором содержится информация такого рода – это упомянутый рапорт Серебрякова и Герасимова Державину, датированный 16 марта. Вот в каких выражениях оформили эти крестьянские «порученцы» Державина видимую ими необходимость пребывания на Иргизе воинской команды: «Уведомились мы чрез дворцового крестьянина Сергея Матвеева, что известный злодей Емелька Пугачев неоднократно посылал к Киргиз-Кайсакам воровские свои указы, обещая тем в вечное владение всю по сю сторону Яика до реки Волги Яицкую степь, ежели они только защитят его, бунтовщика, и окажут свою к нему верность, чего ради от Узеней вниз по степи те Киргизцы кочевьем и расположились, что по примечанию нашему и последовать может, почему соблаговолите, ваше благородие, заподлинно о том разведать или и без того всескорейшую принять осторожность и истребовать воинскую откуда возможно команду с орудиями, а г. Максимова отправить на-

---

<sup>218</sup> Сравнить данный совет Кречетникова в письме к Державину от 3 апреля 1774 года: «А как на сих днях проследовали к его в-пр. 5 гусарских эскадронов с премьер-майором Шевичем, коему по случаю разбития их, злодеев <под Татишевой 22 марта, в результате чего была снята осада Оренбурга – В.Ч.>, приказано взять по реке Иргизу разъезд к городу Яику, а притом, съехався с вами, поступить и по вашим наставлениям, и потому можете в нужном употреблении пользоваться уже не малейшим числом казаков, но целыми эскадронами» (Державин 1864- V: 35).

пред себя в Малыковку и другие дворцовые и экономические жительство для приготовления со всякою поспешностию противу того ж злодея обывателей, сколько годных и вооруженных с лошадьми найтись может, и оных с воинскою командою выставить в иргизские жительство для поимки упоминаемого злодея с его толпою и для освобождения от злодеев города Яика, о которых сказывают, что уже и они начали есть лошадей, о чем благоволите, ваше благородие, быть известны» (Державин 1864- V: 33).

Причина не ясного указания объекта угрозы иргизским поселениям заключается в многозначности слова «злодей». Этим термином обычно называли в официальных документах того времени прежде всего руководителя мятежа Емельяна Пугачева. Донесение лазутчиков Державина не явилось исключением из этого правила. Далее, судя по контексту, «злодеем» в единственном числе они называли киргиз-кайсаков, против которых Максимов должен был мобилизовать обывателей. Совсем не ясно, какой «злодей» имеется в виду в третьем случае употребления этого слова: если это Пугачев, которого, согласно приказу Бибикова, и надлежало поймать, тогда почему он должен был оказаться именно среди киргиз-кайсаков. Наконец, «злодеями» уже во множественном числе называются мятежники, осаждавшие Яицкую крепость. Итак, по Серебрякову и Герасимову, воинская команда, непременно с «орудиями», могла решить сразу несколько масштабных задач: 1) защитить иргизские поселения от киргиз-кайсаков; 2) арестовать Пугачева, причем, даже не одного, как было предусмотрено в «тайном наставлении» Бибикова, а сразу «с толпою»; 3) освободить от осады Яицкую крепость. Нужно сказать, что третье задание оказалось возможным решить только месяц спустя, после поражения главных сил пугачевской армии под Татищевой 22 марта и последующего снятия осады Оренбурга, а поимка Пугачева, нужно ли говорить, была делом еще более отдаленного будущего.

Характерна реакция Державина на это «наполеоническое», но весьма сумбурное донесение своих лазутчиков. Как мы уже видели в приказе Серебрякову и Герасимову от 22 марта, он принял в расчет только возможную угрозу со стороны киргиз-кайсаков и ни слова не сказал по поводу поимки Пугачева с «толпою» или освобождения Яицка.

Озабоченность Державина по поводу «прикрытия Волги» от нападения пугачевцев определенно фиксируется только в документах, датированных началом апреля.

В рапорте П.Н. Кречетникову от 7 апреля, ссылаясь на ордер А.И. Бибикова от 31 марта, Державин мотивировал свою просьбу о присылке казаков возможным движением Пугачева с отрядом, насчитывавшим 1000 человек, в сторону Иргиза. Дело в том, что, согласно сообщению Бибикова, Пугачев после разгрома под Татищевой направился в сторону Переволоцкой крепости, входящей в Самарскую линию крепостей, то есть, по крайней мере, в сторону Иргиза. Правда, сам главнокомандующий в своем ордере ничего не писал по поводу возможной угрозы иностранным коло-

ниям, расположенным по Иргизу. Вот его точные слова (выше говорится о результатах сражения под Татищевой): «... сам же злодей, спасшись с 5-ю только человеками, пришел в Берду, и забрав до 1000 человек и 10 малых пушек, побежал степью на Переволоцкую крепость, где стоит уже подполковник Бедряга для пресечения его пути. Но какой он успех имеет, не получил я еще известия» (Державин 1864- V: 31). Таким образом, сама идея, что Пугачев может двинуться в сторону Иргиза, принадлежит исключительно Державину. И только в данном месте «Записок» находит себе подтверждение в документах. Только к этому времени, то есть к началу апреля, Державин имел в своем распоряжении воинский отряд, а именно фузелеров<sup>219</sup> саратовской опекунской конторы, способный решить задачу по «прикрытию Волги». Как он выразился по этому поводу в рапорте П.И. Панину от 5 октября, «сделался некоторым образом диспозитором<sup>220</sup> военных действий» (Державин 1864- V: 234).

Однако в «Записках» ничего не сообщается по поводу количества сил мятежников, угрожавших Иргизу. Так как саратовские фузелеры именуются «авангардом идущих якобы войск из Астрахани», то можно полагать, что читателю внушается представление не о тысяче пугачевцев, как это зафиксировано в документах, а о гораздо более значительных соединениях. Данное представление поддерживается и на лейтмотивном уровне текста «Записок», где количественная мера пугачевских сил всегда остается, при всей своей неопределенности (или, может быть, как раз благодаря ей), весьма значительной.

С другой стороны, в документах нет упоминания ни о саратовских фузелерах, ни о какой-либо другой воинской команде, находившейся в распоряжении Державина, как об «авангарде» «астраханских войск».

Утверждение Державина о том, что роту саратовских фузелеров под командованием капитана И.Л. Ельчина (или Елчина) сопровождали необстрелянные малыковские крестьяне, расходится с показаниями самого упомянутого офицера. Судя по его рапорту, полученному Державиным 19 мая, он предпринял экспедицию совместно с более боеспособными отрядами яицких и иргизских казаков, и именно они и участвовали в последовавшем сражении с калмыками. Это сражение оказалось на самом деле довольно серьезным испытанием для Ельчина и его артиллеристов, так как им пришлось, фактически без прикрытия, отстреливаться не только от калмыков, тактически, кстати сказать, поступавших довольно грамотно, но и побуждать к выполнению воинского долга упомянутых казаков, откровенно не желавших воевать против мятежников и, как выяснилось позднее, только и ожидавших прибытия пугачевского атамана Овчинникова, чтобы передаться на сторону противника<sup>221</sup>.

---

<sup>219</sup> Согласно энциклопедии Брокгауза и Ефрона, фузелеры, или фузилеры, – это пехотные солдаты, вооруженные кремневыми ружьями. См. статью «Фузилеры» в издании: Брокгауз 2003.

<sup>220</sup> От латинского *dispositor* – распорядитель, устроитель.

<sup>221</sup> Текст рапорта Ельчина см.: Державин 1864- V: 92-94.

Из других источников известно о безукоризненном и даже героическом поведении Ельчина во время обороны Саратова и особенно Царицына. Один из немногих оставшихся верным своей присяге офицеров-артиллеристов саратовского гарнизона<sup>222</sup>, он участвовал в знаменитом отступлении отряда под руководством И.К. Бошняка от стен города к берегам Волги. Затем царицынский комендант полковник И.Е. Цыплетев особенно отметил действия батареи, которой командовал Ельчин: «По способности же что оные <батареи> отверзты к нашим батареям тотчас поражены и как по всей вышине не дано больше места, потянулся с артиллерией на плоскость к Волге, чтобы пользоваться берегом, что приметя майор Харитонов и артиллерии фузелерного полку освободившийся из Саратова капитан Иван Елчин, тотчас с своих батарей пуска частые выстрелы, не дав места, да и как скоро оказывались толпы, то исправностию артиллеристов сбиты были» (цит. по: Анучин 1869б: 396). Итак, очевидно, капитан И.Л. Ельчин был опытный и храбрый офицер.

Тем не менее, следует сказать, что оценка Державиным действий Ельчина, выраженная в «Записках», в сущности, тождественна оценке, данной им же в письме к начальнику саратовской опекунской конторы М.М. Лодыжинскому 29 мая 1774 года. В концовке этого письма Державин писал: «О бранных же подвигах г. капитана Елчина, я думаю, Контора опекунства иностранных меня донести уволит. Яко не бывший в сражении и яко младший его, с удивлением умолчу!» (Державин 1864- V: 107).

Можно только догадываться, чем Ельчин заслужил столь нелестное о себе мнение со стороны своего непосредственного начальника, каковым на тот момент являлся Державин. Для нас же важно заметить, что характеристика Ельчина как труса и неопытного офицера, зафиксированная в державинской переписке эпохи пугачевщины<sup>223</sup>, была перенесена в «Записки», где сыграла важную роль в создании глобального образа «астраханских гусаров» – войск, устрашающих одним своим названием; войск, с помощью которых герою «Записок» удалось «прикрыть Волгу» от нападения пугачевцев.

В рапорте Бибикову от 21 апреля Державин подробно обосновал свою подготовленность в смысле обеспечения войсковыми ресурсами для проведения яицкой боевой операции: «... корпус наш, движимый под Яик, состоять будет <...> из 200 человек пехоты, да конницы, малыковских обывателей, людей проворных, 150, да Донских казаков, находящихся на

---

<sup>222</sup> По сообщению Д.Г. Анучина, из 400 человек, которые насчитывала саратовская артиллерийская команда, на сторону пугачевцев перешло 308 человек (Анучин 1869: 43).

<sup>223</sup> См. также эмоциональный ответ М.М. Лодыжинского Державину от 18 мая, в котором можно заметить, между прочим, причину недовольства последними действиями Ельчина: «Не мало дивился, получа от вас письмо, коим уведомляете о поступках Елчина; но неисполнение по данному ему указу и сумасбродный рапорт мимо команды <т. е. напрямую губернатору Кречетникову, недругу Державина и Лодыжинского – В.Ч.>, а напоследок поздовременные характера его описания побудили меня, думаю, без обиды ему, сделать вам совершенное удовольствие. Простите мне, что я в нем ошибся, потому что я здесь новый человек: я более об нем не слышал, как только, что он великий храбрец; а ныне тогдашние описатели его свойств сами говорят, что он великий трус, а только любит стрелять по-пустому холостыми зарядами...» (Державин 1864- V: 99).

Иргизе по повелению его превосход. г. губернатора, которые яко опекунские, то я по предложению вашего в.-пр. доехав туда, их и возьму и препоручу в команду, господину капитану Елчину, яко офицеру достойному и старшему и всем корпусом командовать имеющему» (Державин 1864- V: 55).

Итак, в этом рапорте яицкий экспедиционный корпус характеризуется совершенно в другом тоне, нежели в «Записках»: называется точное, довольно значительное число военнотружущих; малыковские крестьяне представлены не как необстрелянные обыватели, а как опытные и умелые в воинском искусстве люди; самое главное, в состав этого корпуса все-таки должны были войти донские казаки, находившиеся в подчинении у Кречетникова, а капитан Ельчин представлен как «достойный офицер». Как уже было упомянуто выше, Державин просил этих казаков у Кречетникова четыре раза. Их число было достаточно внушительным, чтобы оправдать эти усилия, а именно около сотни<sup>224</sup>.

Судя по данному рапорту Бибикову, операция Державина под Яицк была хорошо спланированным и вполне обеспеченным войсковыми ресурсами актом, отнюдь не требующим каких-то чудесных, «богатырских», способностей от ее руководителя.

Итак, судя по документам, утверждение Державина в «Записках» о том, что он с помощью слухов об «астраханских гусарах», распространенных через лазутчиков, смог обеспечить безопасность Иргиза, на самом деле может представляться преувеличением. Но это же сопоставление документов и «Записок» показывает, что Грот в своих выводах опирался скорее на первые, чем на последние. Другими словами, ученый корректировал свидетельства Державина, приведенные в «Записках», опираясь на подлинные исторические документы, обнаруженные им в архиве поэта и опубликованные затем в его собрании сочинений. Однако Грот никак не объяснил замеченные им противоречия в тексте «Записок» с документами эпохи пугачевщины, относя их на счет фактических неточностей и извиняя возрастом поэта.

Указанная стратегия «сглаживания» «неудобной» информации, содержащейся в державинских «Записках» – не случайность. Ниже будет показано, что она применяется Гротом в изложении пугачевского эпизода военной карьеры Державина в целом.

---

<sup>224</sup> О количестве находящихся на Иргизе по приказанию Кречетникова донских казаков Державин узнал из секретного сообщения М.М. Лодыжинского от 10 апреля: «Что ж принадлежит до казаков, то из ведомства конторского по требованиям находящегося здесь астраханского губернатора, г. ген.-майора и кав. Кречетникова, командированы и распределены Саратовского батальона с офицерами для разъездов в колонии Шафгаузен, Хайсоль и Цесарсфельд старшина один, казаков 56, да ныне отослано к нему ж, г. губернатору, и им отправлено в тамошние ж места для присматривания и поимки, не появятся ли из разбитой близ Оренбурга злодейской толпы бегущие к здешним местам, старшина один, казаков 40 человек...» (Державин 1864- V: 41-42). Ровно 100 человек называет Державин в рапорте П.М. Голицыну от 10 мая: «Прежде имевшиеся было для экспедиции присоединиться ко мне 100 человек казаков посланы его пр-ством астраханским губернатором на реку Узени для преследования тех утеклов с Яику» (Державин 1864- V: 85).

## 2.5. Интерпретация Гротом деятельности Державина в эпоху пугачевщины

**2.5.1. Самарский эпизод.** Начнем с анализа самых первых действий Державина, направленных, в конечном итоге, на подавление мятежа.

Бибиков прибыл в Казань в ночь с 25-го на 26-е декабря (Грот 1997: 67). Державин явился к нему с докладом через два дня (Грот 1997: 68). Вот как в «Записках» передается содержание этого доклада и реакция на него главнокомандующего: «Сей<sup>225</sup> пересказал ему слышанное, что верстах уже в 60 разъезжают толпы вооруженных татар и всякая злодейская сволочь, присовокупя, по чистосердечию своему и пылкости своей, собственные рассуждения, что надобно делать какие-нибудь движения, ибо от бездействия город находится в унынии. Генерал с сердцем возразил: „Я знаю это, но что делать? Войски еще не пришли“ (которые из Польши, из бывших против конфедератов и прочих отдаленных мест ожидаемы были). Державин смело повторил: как бы то ни было, есть ли войска или нет, но надобно действовать. Генерал, не говоря ни слова, схватя его за руку, повел в кабинет и там показал ему от симбирского воеводы репорт, что 25-го числа, то есть в Рождество Христово, толпа злодейская, под предводительством атамана Арапова, вошла в город Самару и тамошними священнослужителями и гражданами встречена со крестами, со звоном, с хлебом и солью. Державин то же говорил: надобно действовать. Генерал, задумавшись, ходил взад и вперед и потом, не говоря ни слова, отпустил его домой» (Державин 2000: 39-40).

То есть Державин, по собственным словам, готов был вступить в сражение не только с «татарами и всякой злодейской сволочью», но и с отрядом пугачевской повстанческой армии под командованием атамана Арапова, только что взявшего приступом Самару. При этом он собирался ограничиться таким количеством войсковых ресурсов, которые были, с точки зрения боевого генерала Бибикова, явно недостаточны для успешного осуществления этой операции. Другими словами, не нюхавший порошу подпоручик Державин собирался атаковать пугачевцев с минимальным количеством войск, *едва ли не в одиночку*, в то время как генерал Бибиков, прославившийся своей храбростью еще во время семилетней войны<sup>226</sup>, на этот шаг не решался.

---

<sup>225</sup> То есть Державин. О себе мемуарист пишет в третьем лице.

<sup>226</sup> См., например, описание подвигов Бибикова в ходе этой войны, данное Д. Н. Бантыш-Каменским в «Словаре достопамятных людей русской земли» (1836): «Бибиков, выступивший с полком своим из пределов России 1 Марта 1758 года, отличил себя примерно храбростию в сражении близ Церндорфа, потеряв убитыми и ранеными шестьдесят Штаб- и Обер-Офицеров и более половины рядовых. Императрица наградила его в 1759 году чином Полковника. Монаршее благоволение одушевило Бибикова к новым подвигам на поле брани: в славной и кровопролитной битве при Франкфурте он лишился около тысячи рядовых, сорок пять Штаб- и Обер-Офицеров, получил сам рану и ушиблен в грудь убитою под ним лошадыю; но со всем тем не устранил себя от службы, принял почетное звание Коменданта города Франкфурта и человеколюбивым, кротким обхождением своим приобрел любовь и уважение граждан. <...> При открытии кампании 1760 года Александр Ильич начальствовал пехотною бригадой, тяжелою и легкою кавалерией, составлявшею резервный корпус Генерал-Лейтенанта Графа Петра Александровича Румянцева и в следующем году, после жаркого сражения, три часа продолжавшегося,

Правда, Державин объяснил содержание этого своего доклада Бибикову прямоотой и горячностью собственного характера, тем самым, устранив абсурдное подозрение в трусости главнокомандующего, могущее возникнуть у несведущего в истории читателя, и подчеркнув его благородие. Тем не менее, он заявил мотив своей единоличной воинской силы и храбрости, так сказать, – «богатырских» качеств собственной персоны.

Так, чуть ниже выясняется, что Державин считал свою первую командировку в Самару, в ходе которой он должен был принять участие в освобождении города от повстанцев Арапова, следствием намерения Бибикова «проникнуть, таков ли он рьян на деле, как на словах» (Державин 2000: 40), возникшего после данной аудиенции. И, судя по изложению Державиным собственных боевых действий в составе 22-й легкой полевой команды подполковника Гринева, произведенных вследствие приказа Бибикова, он считал свои воинские способности вполне адекватными заявленному намерению сразиться с пугачевцами посредством минимального количества войск. По крайней мере, он принял участие по собственной инициативе в победоносном сражении под Алексеевском как раз с той самой «толпою Арапова» (Державин 2000: 41), которой так опасался Бибиков, за что и получил от главнокомандующего 10 января 1774 года «апробацию и благодарность» (Державин 2000: 42). То есть сам Бибиков признал адекватность «дел» Державина его «словам». А до этого араповский отряд был изгнан из Самары с большими с его стороны потерями. Причем, для полной «виктории» над многотысячным повстанческим соединением оказалось достаточно, как и подразумевал Державин в разговоре с Бибиковым, минимального количества войск, в данном случае, всего лишь одной 24-й легкой полевой команды майора Муфеля<sup>227</sup>. Вот как описывает Державин результаты состоявшегося сражения между этой командой и отрядом Арапова: «Он <Муфель> имел с толпою Арапова, по большей части состоявшей из ставропольских калмыков и отставных солдат, сражение. У него убито ядром из поставленной на берегу пушки драгун только 3 человека; но он побил множество, взял 9 городских чугунных пушек, выгнал из Самары и прогнал в город Алексеевск, лежащий от Самары в 25 верстах, злодейскую толпу, которая была в нескольких тысячах» (Державин 2000: 41-42).

Таким образом, если следовать тексту державинских «Записок», их герой уже в самом начале пугачевской кампании проявил себя, прежде все-

---

разбил при городе Трептау Прусского Генерала Вернера, храброго защитника Колберга: положил на месте шестьсот тридцать человек; взял в плен всю пехоту, до двух тысяч в начале битвы простиравшуюся, около шестисот конных, четырнадцать Обер-Офицеров, Подполковника фон Марсана, самого Генерала Вернера; овладел двумя пушками со всем снарядом и блистательным сим подвигом содействовал сдаче важной крепости Колберга» (Бантыш-Каменский 2006).

<sup>227</sup> По сообщению Д.Г. Анучина: «Легкие полевые команды, учрежденные 31 августа и 5 сентября 1771 года, состояли: 1) из 2 мушкетерных рот по 146 нижних чинов в каждой; 2) 52 егерей; 3) 65 драгунов и 4) 34 артиллеристов при 4 орудиях. С офицерами и нестроевыми в команде было 556 человек и 156 лошадей, в том числе 66 строевых» (Анучин 1869в: 12). Грот насчитывает в отряде Муфеля, каким он был в мае 1774 года, 800 человек (Грот 1997: 90).

го, как полноценный боевой офицер, в какой-то мере превзошедший в данном смысле слова даже такого *именитого генерала*<sup>228</sup>, как А.И. Бибиков.

Теперь посмотрим, как данную сцену аудиенции героя державинских «Записок» у Бибикова трактует Грот. Напомним, что следуя логике ходасевичевского «историка», мы должны ожидать в интерпретации Грота примерно тех же самых выводов о характере действий Державина, к которым пришли мы при разборе соответствующего эпизода державинских «Записок»: их герой стремится представить свою деятельность как прежде всего боевую; обязанности офицера секретной следственной комиссии являются только поводом для демонстрирования собственных воинских способностей и заслуг.

Грот в изложении данного разговора Державина с Бибиковым элиминирует тройной повтор подчиненным предложения действовать, а также мотив видимого колебания главнокомандующего: «Через два дня по приезде Бибикова в Казань Державин отправился к нему вечером и, рассказав о разъезжающих вокруг города шайках, напомнил ему, что пора действовать. „Знаю, – возразил с некоторой досадой Бибиков, – но что делать? Войска еще не пришли“» (Грот 1997: 68). «Конечно, – подчеркивает Грот, – он не нуждался в подобном напоминании и сам не терял времени» (Грот 1997: 68). Бибиков уже сделал все, что можно было сделать ввиду сложившихся обстоятельств, то есть – отсутствия в его распоряжении достаточного количества воинских сил: «Тотчас по прибытии в Казань он виделся с престарелым и больным губернатором фон Брантом <так!>, который уехал было в Козьмодемьянск, но вернулся, услышав о скором прибытии нового главнокомандующего. Потом разослан был с нарочными в назначенные места привезенный Бибиковым манифест» (Грот 1997: 68).

По Гроту, одним своим присутствием Бибиков внушил казанцам уверенность в собственной безопасности: «Приезд его окончательно успокоил город: все стали верить, что опасность совершенно миновала и что „благоразумие и храбрость героя“, как выразился тот же Платон <архимандрит Платон Любарский – **В.Ч.**>, скоро положат конец мятежу. Такое ослепление жителей Казани продолжалось почти до самого разгрома этого города Пугачевым» (Грот 1997: 67). То есть, по Гроту, выходит, что Бибиков, в представлении казанцев, выполнял как раз ту самую роль, к которой стремился Державин, акцентируя в изображении собственной деятельности мотив «богатырских» качеств собственной персоны. В самом деле, казанцы верили, что одного присутствия Бибикова, даже без войск, которые начали приходить, как замечает Грот, «только 29-го числа» и собирались очень «медленно» (Грот 1997: 68), было достаточно для защиты такого крупного города, как Казань. Державин, судя по «Запискам», претендовавший на эту роль, не возвышался в своем понимании событий над уров-

---

<sup>228</sup> Такой репутацией пользовался А.И. Бибиков в момент назначения его главнокомандующим антипугачевскими силами. См. выписку из протокола заседания государственного совета от 25 ноября 1773 года: «<Совет> признавал за нужное отправить туда <в Оренбург – **В.Ч.**> также и именитого генерала» (цит. по: Анучин 1872: 452).



нем казанцев. Поэтому элиминирование мотивов, могущих внушить читателю «Жизни Державина» подобное представление о тщеславии заглавного героя, было, по-видимому, по мысли Грота, просто необходимо.

По Гроту, дело обстояло гораздо серьезнее, чем думал герой державинских «Записок», имевший в виду только «разъезжающие вокруг города шайки» да отряд Арапова. Чуть ниже ученый дает выразительное описание истинных масштабов пугачевщины в декабре 1773 года, то есть в момент назначения Бибикова на должность главнокомандующего. Сам Бибиков прекрасно ее сознавал: «Он ясно видел опасное положение края, не скрывал его от государыни и понимал всю великость своей ответственности. Конечно, сам Пугачев был в то время еще далеко: овладев всеми крепостями между Яицким городком и Оренбургом, он осаждал оба эти важные пункта. Но шайки его разливались все выше и выше по Волге и прилегающим к ней с востока областям. Неистовые толпы врывались в села и города, и уstraшенные жители принимали их с покорностью. Буйные башкиры, поднявшись поголовно, производили грабежи и убийства в селениях и на заводах и окружили Уфу; калмыки также взбунтовались. Но особенно тревожило Бибикова своеволие черни, которая не только не сопротивлялась самым ничтожным шайкам, но шла толпами навстречу Пугачеву. В то же время воеводы и вообще местные власти искали спасения в бегстве. „Гарнизоны, – писал Бибиков жене, – никуда носа не смеют показать, сидят по местам, как сурки, и только что рапорты страшные присылают“» (Грот 1997: 68). В другом месте Грот пишет, ссылаясь на Пушкина<sup>229</sup>, что Бибиков, вообще говоря, «сначала сомневался в духе своего войска»<sup>230</sup> (Грот 1997: 70).

Очевидно, что нескольких «легких полевых команд» для усмирения столь грандиозного восстания было бы явно недостаточно<sup>231</sup>.

Само дело, порученное Бибиковым Державину, то есть идти вместе с командой Гринева на освобождение Самары, изображается Гротом менее драматически, нежели в «Записках». Во всяком случае, ученый акцентиру-

---

<sup>229</sup> В распоряжении Пушкина были письма Бибикова к президенту военной коллегии графу Чернышеву, к Д.И. Фонвизину, а также к супруге, в которых главнокомандующий откровенно высказывал свое видение разворачивающихся событий. Письма к Чернышеву и Фонвизину Пушкин поместил в качестве приложения к «Истории Пугачева».

<sup>230</sup> Очевидно, что одним из «страшных рапортов» был упомянутый Державиным доклад симбирского воеводы о взятии Араповым Самары. Таким образом, судя по данному эпитету, истинное отношение главнокомандующего к подобным сообщениям было ироническим. Грот намекнул на тенденциозность державинского изображения поведения Бибикова во время аудиенции.

<sup>231</sup> Следует сказать, что сам Державин оказался в курсе истинных масштабов пугачевщины ко времени прибытия Бибикова в Казань, по крайней мере, уже в январе 1774 года, когда главнокомандующий поручил ему вести так называемый «Журнал всей деловой переписки по бунту с описанием и самых мер, принимаемых к прекращению его» (Грот 1997: 72). В седьмом томе «Сочинений Державина» Грот опубликовал черновые редакции «Дневной записки поисков над самозванцем Пугачевым», принадлежащей перу Державина (Державин 1864- VII: 3-19). Здесь, в частности, подробно пересказывается содержание рапортов Бибикову военачальников охваченных мятежом областей, а также содержание ордера Бибикова генерал-майору Фрейману, оставшемуся за старшего после самовольного отъезда Кара (предыдущего главнокомандующего) в Москву. В этом ордере, посланном 15 декабря 1773 года, то есть еще до приезда в Казань, Бибиков требует от Фреймана более активных военных действий, что, кстати сказать, служит дополнительным фактом, свидетельствующим о художественной условности изображенного Державиным в «Записках» поведения Бибикова в Казани как пассивного и нерешительного.

ет мотив не боевой, а сыскной и карательной деятельности Державина в соответствии с его должностью члена секретной комиссии.

Итак, по Гроту, Бибииков действовал вполне адекватно, в соответствии со своим статусом опытного боевого генерала, когда ожидал войска<sup>232</sup>. Они ему были необходимы для осуществления действительно масштабного реального плана, который соответствовал размерам опасности: «По плану Бибиикова, войска должны были со всех сторон сходиться к Казани – из Тобольска, Малороссии, Польши, даже из Петербурга, – чтоб потом, под собственным его главным начальством, идти к Оренбургу и не дать Пугачеву проникнуть с одной стороны во внутренние губернии, а с другой – в северо-восточный край, где он мог соединиться с башкирами и заводскими крестьянами» (Грот 1997: 68).

Корректирующая стратегия Грота при изложении самарского эпизода военной карьеры Державина находит свое подтверждение в исторических документах, а также в свидетельствах самого поэта эпохи пугачевщины.

Такие лейтмотивы данного эпизода «Записок», как «воинственность» и «дерзость» героя противоречат поэтической самохарактеристике Державина, данной в так называемой «Эпистоле к ген. Михельсону на защищение Казани». Это стихотворение, написанное одическим стилем, датируется Гротом 1775 годом. Сравнить:

Те музы кроткие, те музы тиха свойства,  
Едва что терпят звук и истинна геройства,  
За честь Минервину с оружием стоят,  
Начальника в кровях поверженного зрят

(Державин 1864- III: 322).

Сравнить также в этой связи самохарактеристику Державина, данную в рапорте Бибиикову от 11 января 1774 года по поводу результатов упомянутого сражения под Алексеевском: «Совестно мне, ваше высокопревосходительство, будучи самому малому человеку, говорить о людях, а в *военном деле неискусну* <выделено нами – **В.Ч.**>, разбирать онаго силу; но я как нигде не исправлю лучше доверенности вашего высокопревосходительства, мне данной, как в сем случае, то и должен по мере смысла

---

<sup>232</sup> В понимании ключевого значения количества войск для подавления пугачевщины сходились такие историки, современники Грота, как Д.Г. Анучин и Н.Ф. Дубровин, автор фундаментального труда «Пугачев и его сообщники» (1884). Эти ученые полагали, что предшественник Бибиикова генерал-майор В.А. Кар, самовольно оставивший театр военных действий, оказался жертвой недостаточной информированности высшего руководства империи в истинных размерах мятежа. В результате, воинских сил, оказавшихся в распоряжении Кара, оказалось недостаточно для успешного выполнения поставленной перед ним задачи. Дубровин даже пишет, что первые шаги Бибиикова в должности главнокомандующего ничем не отличались от бездействия Кара. По словам ученого: «Преемнику Кара пришлось также долго маячить, прежде чем он мог двинуться вперед» (Дубровин 1884 II: 166). Словечко «маячить» Дубровин процитировал из одного из донесений Кара, в котором тот таким образом характеризовал свое вынужденное бездействие. Между прочим, Дубровин объясняет задержку Бибиикова на пути к месту назначения соображением бесполезности собственного пребывания в Казани без достаточного количества войск: «Войска эти <командированные на подавление пугачевщины в основном из западных и северо-западных областей империи – **В.Ч.**> были большею частью в походе и еще далеко от места действия. Не скоро можно было приступить к фактическому усмирению мятежников, и потому А.И. Бибииков не особенно торопился отъездом из столицы, но признал необходимым отправить вперед членов секретной комиссии» (Дубровин 1884 II: 180).

моего сказать о первенствующем везде собою предводителе, г. подполковнике Гриневе...» (Державин 1864- V: 7).

Таким образом, судя по приведенным самохарактеристикам, вряд ли Державин считал себя боевым офицером, по крайней мере, в обсуждаемый промежуток времени. Вообще говоря, трудно себе представить, чтобы автор этого рапорта, написанного во вполне «верноподданническом» тоне, был бы столь требователен, или, как выразился Державин в соответствующем эпизоде «Записок», *назойлив* (Державин 2000: 41) по отношению к собственному начальнику и благодетелю.

С другой стороны, нерешительность Бибикова, зафиксированная в «Записках» в сцене аудиенции, противоречит поэтическому свидетельству Державина, данному в той же «Эпистоле...» и в примечании к нему. Сравнить:

Его <Бибикова> прибытьем здесь <в Казани> вострепетала злоба  
Была что скрытая, мрачнее с язвой гроба.  
Его един обрат <оборот>, его един здесь взгляд  
Крамолу обуздал и обессилил яд.  
В пределы буйности то тотчас разнеслося,  
Что воинство ему на хищников далося.  
Он меры предприял и вождев разрядил;  
Казалось, что тогда ж он злобу победил

(Державин 1864- III: 314).

К первому стиху данного фрагмента Державин сделал следующее примечание: «В 1773 году в ноябре месяце и декабре в первых числах Казань была в великом страхе и колебании от самозванцевых партий. Прибытием покойного Александра Ильича все сие и рассеваемые плевелы в народе обуздались. Одна его особа устрашала бунтовщиков, в 60 верстах разъезжающих уже от Казани» (Державин 1864- III: 314).

Вообще говоря, представляется удивительным, что Бибиков, доверявший свои настоящие мысли и опасения по поводу грозно разворачивающихся событий пугачевщины только в «полуофициальной переписке»<sup>233</sup> с президентом военной коллегии графом Чернышевым да в письмах друзьям и родственникам и старавшийся, по словам А.С. Пушкина, «ободрить окружавших его жителей и подчиненных» (Пушкин 1994- IX: 39) своим «равнодушным и веселым» (Пушкин 1994- IX: 39) видом<sup>234</sup>, вдруг

<sup>233</sup> Данная характеристика принадлежит Д.Г. Анучину. См.: Анучин 1872а: 6.

<sup>234</sup> Пушкин опирался на следующее свидетельство А.А. Бибикова, сына А.И. Бибикова и автора «Записок о жизни и службе Александра Ильича Бибикова» (1817): «Сколь ни опасно было положение дел, Александр Ильич, по прибытии в Казань, старался всех успокоить, имея не только вид спокойный, но и веселый; сим успел восстановить столько доверенности к безопасности города, что большая часть выехавших жителей возвратились» (Бибиков 1865: 130). Этой характеристике поведения Бибикова по прибытии в Казань вполне соответствует державинская оценка деловых и нравственных качеств этого военачальника, данная во вступлении к «Запискам» А.А. Бибикова и затем процитированная Пушкиным в 21 примечании к Пятой главе «Истории Пугачева». Сравнить: «... всякой легко усмотрит необыкновенные его способности, мужество, предусмотрение, предприимчивость и расторопность, так, что он во всех родах налагаемых на него должностей, с отличием и достоверностью был употребляем <...> твердый нрав, верою и благочестием подкрепленный, доставлял ему от всех доверенность <...> умел выбирать людей, был доступен и благоприветлив всякому; но знал однако важною своею поступью, соединенною с приятностью, держать подчиненных в должном подобострастии. <...> Всякий нижний и выс-

допустил сомнение и колебание в своих решениях в присутствии как раз своего подчиненного, которого, к тому же, видел до сих пор всего несколько раз в своей жизни и еще посчитал нужным, по мнению самого Державина, высказанному в «Записках», проверить его настоящую дееспособность командировкой в Самару.

### **2.5.2. После А.И. Бибикова: май-первая половина июля 1774 года.**

Данную тенденцию корректирования масштабов военных мероприятий Державина в ракурсе сыскного характера его обязанностей как сотрудника секретной комиссии, а также – количества находившихся в его распоряжении воинских сил, Грот сохраняет при изложении деятельности поэта под началом генерал-поручика князя Ф.Ф. Щербатова, сменившего Бибикова на посту главнокомандующего; казанского губернатора Я.И. фон Брандта, возглавлявшего в апреле-июле 1774 года казанскую секретную комиссию; начальника всех секретных комиссий с июля 1774 года генерал-майора П.С. Потемкина, а также командующих отдельными воинскими соединениями генерал-майора П.Д. Мансурова и генерал-майора князя П.М. Голицына.

Согласно «Запискам», реальная угроза проникновения пугачевцев на территории, прилегающие к Иргизу, возникла в начале мая 1774 года. 2 мая 1774 года Щербатов отдавал Державину чисто боевое задание по охране от повстанцев «степей между Волги и Яика», мотивируя изменившимися обстоятельствами подразумеваемое нарушение конспиративности пребывания Державина на Иргизе, потребной для выполнения «разведочного» задания по поимке Пугачева. В то время Щербатов был уверен, что Пугачев, окруженный правительственными войсками на Авзяно-Петровских заводах, вот-вот будет взят в плен либо уничтожен. При этом главнокомандующий одобрял военную инициативу Державина в экспедиции под Яицк: «... яицкое предприятие одобрил, рекомендовав примечать на пролезшую близь Ельшанки партию сволочи, повелевая, что ежели появится в степях между Волги и Яика, то чтоб открытым образом он, Державин, делал над нею поиск, не опасаясь, что Пугачев придет тайно укрываться на Иргизе...» (Державин 2000: 50).

В приказе от 10 мая 1774 года Щербатов подтвердил задание Бибикова прикрывать Волгу от возможного нападения пугачевцев. Во всяком случае, именно в таком смысле интерпретируется державинское изложение этого приказа. Сравнить: «... об увольнении его, Державина, ее величество

---

ший чиновник его любил и боялся» (Пушкин 1994- IX: 113). Очевидно, в «Записках» Державина А.И. Бибиков в обсуждаемой сцене аудиенции не смог удержать своего подчиненного «в должном подобострастии». Такой непредубежденный и корректный в своих выводах историк, как Д.Г. Анучин, оценивая первые действия А.И. Бибикова на посту главнокомандующего антипугачевскими силами, отмечал между прочим его твердый характер и умение обходиться самыми малыми воинскими ресурсами: «Разбирая эти действия генерал-аншефа Бибикова, нельзя не отдать полную справедливость как административным, так и военным его способностям. С необыкновенным умением распоряжаясь имеющимися под руками незначительными средствами, он с особым тактом выбирал цель своих действий, и раз решившись, неуклонно шел к ее достижению. Этот верный военный взгляд и соединенная с ним твердость характера дают полное основание считать А.И. Бибикова в числе замечательнейших генералов своего времени» (Анучин 1872а: 35-36).

указать соизволила не переменять диспозиции покойного Бибикова и для того, чтоб Державин на poste своем был безотлучным; ибо усматривался тут быть нужным, а именно рекомендовалось ему от Малыковки по Иргизу Опекунской командою учредить посты, усиля их частью марширующими тогда мимо Денисовского полку казаками» (Державин 2000: 51). Очевидно, что для чисто конспиративного задания по поимке Пугачева усиление «авангарда астраханских гусар», то есть саратовских фузелеров под командой капитана Ельчина, резервными казаками «Денисовского полку», которые первоначально были предназначены, вообще-то говоря, для участия в основных боевых операциях против Пугачева, по крайней мере, излишне. А вот для «прикрытия Волги» это усиление как нельзя более целесообразно.

Таким образом, судя по данному эпизоду «Записок», Державину удалось реализовать блеф об «астраханских гусарах», якобы дислоцирующихся на Иргизе.

Однако чуть ниже выясняется, что реальная военная помощь со стороны денисовских казаков так и не понадобилась, затем что они не «поспели» «за переправу из-за Волги» (Державин 2000: 51); а вскоре и вовсе «наипоспешно» были командированы под Оренбург (Державин 2000: 52).

По Державину, сражение, в котором денисовским казакам так и не довелось принять участие, произошло между калмыками, напавшими на колонии, и воинской командой под его руководством, составленной из упомянутой бутафорской команды саратовских фузелеров капитана Ельчина и малыковских крестьян, мобилизованных им для этой цели. Как было показано выше, хотя Ельчин выполнял декоративную функцию, а крестьяне были необстреляны, отряду под командованием Державина все же удалось выполнить задание, поставленное перед ним генералом П.Д. Мансуровым, а именно – защитить колонии от нападения калмыков. В состоявшейся стычке кочевники отступили, а вслед за тем были рассеяны Муфелем. Однако Державин подчеркивает, что именно его «военные распоряжения» сыграли решающую роль в успешном завершении этой операции. По его словам, он получил за них благодарность от главнокомандующего генерала князя Ф.Ф. Щербатова в ордере от 27 мая 1774 года (Державин 2000: 52).

В мае 1774 года центр пугачевского восстания находился в Башкирии. Однако, согласно «Запискам», Иргиз по-прежнему оставался стратегически важным в военном отношении рубежом. Так, в передаче Державиным рапорта Щербатова от 27 мая 1774 года, главнокомандующий не решался оставить эту линию без войскового прикрытия, предпочитая снять нужные для башкирской операции силы с яицкой линии: «... за продолжающимся в Башкирии бунтом взято из Яика некоторое число войск; а на место их приказано подвинуться на Иргиз с 300 малороссийскими козаками майору Черносвитову, и велено ему в нуждах исполнять сообщения Державина» (Державин 2000: 52). Вскоре и эти «козаки» Черносвитова, как и их предшественники – казаки Денисова, так и *не понюхав пороху* на

Иргизе, были «откомандированы» Мансуровым в тот же Оренбург (Державин 2000: 52).

То есть Державин акцентирует в разобранных эпизодах «Записок» мотив «виртуального» присутствия воинской силы на Иргизе. Тем самым он подчеркивает решающую роль собственной персоны в деле «прикрытия Волги».

По Гроту, Щербатов, Мансуров и Голицын, действительно, побуждали Державина к проведению чисто боевых операций. Они «решительно» одобрили «не удавшийся его план идти на помощь Яицкому городку» (Грот 1997: 89). Они «советовали или даже предписывали ему действовать вооруженною рукою» (Грот 1997: 89). Однако ученый, корректируя приведенное выше свидетельство Державина о якобы «перманентном» выполнении им задания по прикрытию Волги от пугачевцев, которое было подтверждено приказом главнокомандующего Щербатова от 10 мая 1774 года, не забывает упомянуть: до начала мая тот играл совсем другую роль: «... роль его, по крайней мере на время, изменялась»<sup>235</sup> (Грот 1997: 89-90). И Щербатов приказывал Державину «прикрыть течение Волги» «цепью из фузелерных рот и донских казаков» (Грот 1997: 90) не для полномасштабной битвы с войсками Пугачева, как это можно понять из «Записок», а, так сказать, для «зачистки» подведомственного ему района от мятежников, разбежавшихся после снятия осады с Яицка: «Генералы писали ему, чтобы он со своими отрядами принял участие в истреблении или поимке разбежавшихся шаек Пугачева»<sup>236</sup> (Грот 1997: 90).

По Гроту, именно для этой цели Щербатов, по просьбе Державина, командировал в его распоряжение донских казаков «доблестного полковника» Денисова» (Грот 1997: 90). Однако не весь отряд в составе пятисот человек, как это можно понять по «Запискам», а только сотню, то есть количество, примерно потребное для проведения «зачистной» операции «по

---

<sup>235</sup> Эта оговорка ученого также может быть обоснована оригинальным текстом ордера Щербатова от 10 мая. См.: «... как Ея Императорскому Величеству благоугодно было поручить мне полную команду над всеми войсками, с таким между прочим высочайшим предписанием, чтоб вести их по тем же основаниям, на коих покойным ген.-анш. Бибиковым были распорядены, и чтоб отнюдь связи дел и течения их не переминать; то вследствие сего и надеюсь я, что вы не умалите стараний ваших и впредь к поспешствованию пользе службды Ея Величества и не поскутите ни мало продолжать с таким же усердием положенное на вас дело, которое *по настоящим в краю вашем обстоятельствам теперь нужно* <выделено нами – В.Ч.>. А потому и рекомендую вам сделать от Малыковки до Иргиза, а от онога до Яика цепь теми фузелерными ротами, кои у себя имеете, прибавя к ним часть Донских казаков, и стараться не только истреблять вкравшихся на Иргиз злодеев, но и закрывать течение реки Волги, а сим самым уже прикроется и Самара» (Державин 1864- V: 86). То есть Щербатов, отдавая приказ прикрыть Иргиз и Волгу от мятежников, разбежавшихся после снятия осады с Яицка, делает упор на изменившиеся обстоятельства, тогда как в державинских «Записках» акцентируется перманентность выполнения их героем данного задания.

<sup>236</sup> Судя по рапорту Щербатову от 7 мая, Державин давал установку подчиненной ему воинской команде именно на «зачистные», а не полномасштабные боевые операции: «С фузелерною командою г. от артиллерии капитану Елчину сообщил вступить на реку Иргиз и, придав ему небольшое число малыковских обывателей, ибо умножить количество их теперь нужды не предвидится, открыл явный я над бегущими из степи злодеями, по раскольничьим монастырям, хуторам и мурчужным их жилищам поиск» (Державин 1864- V: 78). Грот так объясняет значение слова «мурчуг»: «*Мурчугами* или, правильнее, *мурчугами* (от морцо), называются наполненные водой ямины на берегах реки или озера, глухие рукава реки и т. п. (что местами называется *ерик*)» (Державин 1864- V: 11).

поймке разбежавшихся шаек», а отнюдь не для «прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова».

Когда возникла угроза нападения на колонии со стороны калмыков, Державин, по словам Грота, «уже не довольствовался сотнею казаков, а с разрешения Щербатова требовал, чтобы Денисов ему отрядил их двести, с остальными же шел бы к Сызрани для прикрытия провианта, который от туда будет послан»<sup>237</sup> (Грот 1997: 90). То есть, по Гроту, Державин весьма был заинтересован в присутствии на Иргизе реальной, а не «виртуальной» воинской силы. Ученый наводит читателя на мысль, что будь воля Державина, в Малыковке остались бы и все 500 казаков во главе с «доблестным полковником Денисовым». При этом Державину были потребны эти казаки отнюдь не против основных сил Пугачева, как было заявлено в «Записках», а всего лишь против тех самых калмыков, которые якобы разбежались от «холостых» выстрелов пресловутого капитана Ельчина.

Таким образом, если бы на колонии действительно напали калмыки, в распоряжении Державина были не только саратовские фузелеры да малыковские крестьяне, а и две сотни донских казаков. Судя по ближайшему контексту данного эпизода книги Грота, эти силы внушили веру в реальную воинскую силу Державина даже у П.Н. Кречетникова, до сих пор, как было показано выше, относившегося к этой возможности скептически. В изложении Грота, Кречетников именно в Державине увидел «панацею» от взбунтовавшихся калмыков. Сюда же следует добавить свидетельство ученого по поводу серьезных видов в военном отношении, которые имели на отряд Державина Щербатов и Мансуров: «Между тем к воинской предприимчивости <Державина> обращались уже не только Щербатов и Мансуров: Кречетников, который недавно издевался над нею, теперь посылал ему из Саратова одно письмо за другим, вызывая его на помощь другим отрядам против калмыцких шаек. К одному из этих писем губернатор своеручно прибавил: „Я не уповаю, чтоб такое их большое число было, как пишут из Сызрани, но сколько имеется, то нужно истребить, *о чем благоволите постараться*“» (Грот 1997: 90).

По словам Грота, Державин и в самом деле собирался было идти против калмыков, но был предупрежден подполковником Муфелем, который рассеял с помощью своего отряда бунтовщиков и взял их предводителя в плен. Таким образом, по Гроту, хотя угроза нападения калмыков, в отличие от таковой возможности со стороны киргиз-кайсаков, была реальной, однако самому Державину и в этом эпизоде пугачевщины не довелось поучаствовать непосредственно, в качестве командира воинского отряда, вступившего в бой с бунтовщиками.

Таким образом, по Гроту выходит, что Державин, хотя и предпринимал меры военного характера в связи с угрозой нападения на колонии кочевников, фактически не принимал участия в боевых действиях против них

---

<sup>237</sup> В ордере Денисову от 15 мая Державин, ссылаясь на приказ Щербатова, повторно требовал 200 казаков, хотя и знал, что П.М. Голицын, в свою очередь, предписывал этому казацкому полковнику отрядить только 100 человек. См.: Державин 1864- V: 87, 91.

вплоть до сентября 1774 года. Сама же тема угрозы колониям со стороны кочевников трактуется чуть ли не в ракурсе «обманутых ожиданий»: в марте киргиз-кайсаки так и не появились, в мае калмыки были с легкостью рассеяны отрядом Муфеля, состоявшим всего из восьмисот человек (Грот 1997: 90). Свидетельство Державина, приведенное в «Записках», по поводу полученного им от Мансурова в конце июня 1774 года предупреждения о возможной военной угрозе со стороны все тех же киргиз-кайсаков, Грот попросту не упоминает<sup>238</sup>.

Далее. Согласно «Запискам», после взятия Пугачевым в начале июля 1774 года пригорода Осы, Державин получил сразу два ордера от казанского губернатора Я.И. фон Брандта и Щербатова «учред<ить> как на сухом пути имеющимися на Иргизе 200 донскими казаками заставу, так и приготовить, сколько можно, вооруженных судов для воспрепятствования стремления его по Волге» (Державин 2000: 54). Другими словами, Державин должен был с помощью 200 донских казаков и малыковских крестьян, столь успешно сражавшихся с калмыками, преградить путь всей пугачевской армии. И Державин, действительно, приготовил было требуемые «суда» и даже вооружил их «взятыми у малыковских обывателей» «фальконе-тами», но случившийся 13 июля в Малыковке пожар, уничтоживший «суда и снасти» (Державин 2000: 54), вынудил его покинуть Иргиз и отправиться в Саратов.

Грот указывает, что данные предпринятые Державиным меры были следствием полученного им приказа от Щербатова и Брандта «ловить подсылаемых Пугачевым для возмущения народа «передовщиков» (Грот 1997: 97). Этот приказ Щербатов отдал 12 июня в связи с известием о разгроме генерал-поручиком И.А. Деколонгом Пугачева, состоявшемся 21 мая при Троицкой. Вот как ученый излагает обстоятельства, вызвавшие приказ Щербатова: «Успех при Троицкой возбудил в военачальниках такие же надежды, как прежде победа Голицына при Татищевой. Щербатов еще не знал в точности, куда бежал Пугачев, но воображал, что он, спасшись только с восемью человеками и находясь в краю, где много войска, не будет в состоянии собрать новые силы, а поспешит искать убежища на Иргизе. Поэтому Щербатов 12-го июня писал Державину, что считает присутствие его в том краю нужным и что все прежде сделанные им там распоряжения должны быть восстановлены» (Грот 1997: 96-97). По словам Грота, Брандт также пекся прежде всего о сыскных, а не войсковых мероприятиях: «Вскоре и Брант <так!> из Казани послал Державину приказание возобновить меры для задержания Пугачева на Иргизе; при этом казанский губернатор извещал, что он, по совету Державина, при устье Камы и в Симбирске „учредил преграды“ из сыскных команд и нескольких судов» (Грот 1997: 97).

---

<sup>238</sup> Сравнить: «В оном же месяце, от 28-го числа, уведомлен Державин был от генерала Мансурова с Яика, что он имеет сведения о нападении киргиз-кайсаков на иргизские селения, то чтоб он имел осторожность; однако б не производил народного волнения, ибо чаял он, что сие неосновательно» (Державин 2000: 53).



То есть речь в приказах Щербатова и Брандта шла опять-таки только о поимке Пугачева, но отнюдь не о полномасштабной битве с его войсками.

К тому же, Грот подчеркивает, что даже подобные военные операции локального характера, производимые Державиным, были не обеспечены войсками в достаточном количестве и если, в конце концов, все-таки реализовывались, хотя бы в стадии подготовительных мероприятий, то исключительно благодаря, так сказать, его энтузиазму. По словам Грота, начальники Державина просто «забыва<ли>, что он, собственно, не располагал никакой военной силой...» (Грот 1997: 97). В качестве примера он приводит письмо Щербатова Мансурову от 2 июля 1774 года, «где в числе мер, принимаемых Брантом, упоминается намерение его писать к поручику Державину „о таком же учреждении на берегу команд“», а в конце письма Щербатов просит уведомить г. Державина, чтобы он, „по требованию губернатора и по своему собственному расположению, взял нужные к тому предосторожности“» (Грот 1997: 97).

Этот мотив получает продолжение в том эпизоде книги Грота, где излагаются обстоятельства вступления Державина под команду вновь назначенного начальника секретных комиссий генерал-майора П.С. Потемкина.

**2.5.3. Под началом П.С. Потемкина: вторая половина июля – первая декада августа 1774 года.** Согласно «Запискам», приказ от Потемкина о поимке Пугачева Державин получил непосредственно после взятия Пугачевым Казани, то есть, казалось бы, в совершенно неподходящее в этом отношении время. В самом деле, напомним хотя бы классическую характеристику пугачевщины этого периода, данную Пушкиным в «Истории Пугачева» и процитированную Ходасевичем в биографии «Державин»: «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой; от провинции к провинции» (цит. по: Ходасевич 1988: 65). Тем не менее, по Державину, Потемкин ему «предписал, что как время настало настоящему его подвигу, то б он не жалел ни труда, ни денег, если обстоятельство потребует оных, и что он на него, Державина, полагает всю надежду» (Державин 2000: 55-56).

Тут же Державин дает краткий комментарий к своему пониманию данного «предписания» Потемкина, переданного им, кстати сказать, как мы увидим ниже при анализе соответствующего эпизода книги Грота, в весьма обтекаемой формулировке. Державин пишет: «Сие самое побудило его горячее вмешаться после в саратовские обстоятельства» (Державин 2000: 56).

По «Запискам» известно, что во время саратовских событий Державин пытался самовольно сместить с поста военного коменданта И.К. Бошняка и взять на себя его обязанности по обороне города от пугачевской армии. Между прочим, он обращался при этом за помощью к Потемкину и нашел с его стороны поддержку своим действиям. В передаче Державина, начальник секретных комиссий приказывал военачальнику, имевшему

полномочия фактического руководителя обороны города и по своей должности ему не подчиненного, следовать в своих действиях плану начальника опекунской конторы Лодыжинского, который был поддержан Державиным. То есть фактически подчиниться Державину. Сравнить: «... от него <Потемкина – В.Ч.> получал предписания, которые как одобряли его саратовским начальникам представления, так и повелевалось высочайшим именем ее величества коменданту объявить, что он по всей строгости судим будет, ежели не исполнит благоучрежденного приуготовления, на которое в общем определении он согласился и подписал оное» (Державин 2000: 56).

К слову сказать, план Державина-Лодыжинского предусматривал излюбленную поэтом атаку всей пугачевской армии минимальным количеством воинских сил, в состав которых, между прочим, входила и пресловутая команда капитана Ельчина, причем – вне защиты городских укреплений, в открытом поле. Сравнить текст упомянутого «определения», которому должен был следовать Бошняк, в передаче Державина: «Тут сделано было определение, чтоб для безопасности казенного, церковного и частного имущества, женского пола и людей невоенных сделать укрепление около провиантского опекунского магазина, в котором сложено было 25000 <кулей> ржаной муки, яко в месте по имуществу казенного интереса и по место положению важном и оставить в нем небольшой гарнизон под начальством коменданта Бошняка (!) с 14 чугунными пушками и мортирою. Прочим же войскам, то есть двум артиллерийским ротам с Саратова и донским казакам с четырьмя медными полевыми единорогами под предводительством артиллерийского майора Семяжи, идти навстречу злодею, ежели он наклонится к стороне Саратова...» (Державин 2000: 55). То есть герой «Записок» намеревался, что называется, «посадить Бошняка в муку» (которой было целых 25000 кулей!) с основной артиллерией в придачу, а сам, так сказать, «на лихом коне» и «с открытым забралом», то есть с минимальным количеством пушек, разгромить-таки «злодея».

Как бы то ни было, но, согласно «Запискам», Державин адекватно понял «предписание» Потемкина произвести поимку Пугачева посредством воинских сил, «буде понадобится». Предпринятые им вследствие этого приказа меры в Малыковке носят сугубо военный характер: «В течение же сего времени, как выше значит, пришедшие двести человек с Иргиза донских казаков, долженствующие расположиться по ордеру генерала Щербатова в Сызрани, пришли, и как предписано было ему, по обстоятельствам, близ Малыковки к Волге ими распорядить; то, понеже не известно еще было, на Сызрань ли, Малыковку или Саратов устремится злодей с своими полчищами, то, чтоб от Сызрани до Саратова иметь в примечании все расстояние, и велел он ста человекам около Сызрани, а ста около Малыковки делать их разъезды» (Державин 2000: 56). То есть, по Державину, двух сотен донских казаков вполне было достаточно для возможного сражения с «полчищами» Пугачева.

Чуть выше Державин мотивирует данный план поимки Пугачева результатом собственного предварительного изучения его поведенческих стереотипов во время сражений: «... трусость по многим разбитиям известны уже были, что во время сражения всегда он удалялся, и когда усматривал толпы его опрокинутыми, то с малым числом своих приближенных предавался в бегство то в ту, то в другую сторону и, остановясь где-либо в отдаленных местах, набирал или накапливал новые толпы бессмысленной сволочи» (Державин 2000: 55). Ясно, что, по Державину, для «отпужания» такого «военачальника» было бы достаточно и «холостых» выстрелов капитана Ельчина, не только что двух сотен донских казаков.

Грот пространно цитирует указанное «предписание» Потемкина Державину от 26 июля. Отсюда читатель узнает, что новый начальник секретных комиссий, хотя и предоставлял своему подчиненному «пространное поле» (Грот 1997: 106), то есть *carte blanche*, для исполнения даваемого ему поручения по поимке Пугачева, имел в виду все тот же старый план Бибикова, предусматривающий прежде всего конспиративные мероприятия. В передаче Грота, Потемкин полагал, что пугачевская армия, как говорится, была «измотана» и «деморализована» в результате «сокрушительного» поражения под Казанью; что сам Пугачев в связи с указанным обстоятельством может быть заинтересован только в одном: уйти от преследования Михельсона. Малыковка представлялась Потемкину, как и Бибикову, и Щербатову, исключительно в качестве, так сказать, запасного варианта на случай военного поражения. Сюда Пугачев мог прийти только, условно говоря, «в одиночку» и не воевать, а «залегать на дно». Об этом Потемкин и писал Державину: «Здесь многие думают, что он пробирается на Дон, но я не думаю, а думаю, что *если не усилит он своей толпы* <выделено нами – **В.Ч.**>, то пойдет или на Яик, или к вам (т. е. в Малыковку)» (Грот 1997: 106). То есть Потемкин, по крайней мере, в данный момент, совершенно не думал о какой-либо воинской операции, как это можно понять по «Запискам» Державина, тем более о такой масштабной, как сражение с пусть и преследуемой, но все еще грозной повстанческой армией. В его «предписании» подразумевалось, что с ней могли бы справиться разве что боевые соединения Михельсона либо Меллина и Муфеля, блокирующие ее возможное движение в направлении Москвы и Симбирска, соответственно<sup>239</sup>.

Само влияние данного приказа Потемкина, бывшее, по комментарию Державина, якобы определяющим в его саратовской деятельности, трактуется Гротом в плане, так сказать, «пафосном», а отнюдь не с точки зрения его содержательной части, как это хотел бы представить Державин. По

---

<sup>239</sup> См. также реакцию Державина на ордер Потемкина от 26 июля в ответном рапорте от 2 августа: «Долг мой есть, чтобы ко мне попался в расставленные сети злодей, но та беда, что его должно теперь в стране сей удерживать не сетями, но узами .... Когда команды рассеют его скопища и заставят его одного укрываться, то у меня люди готовы разведывать его. Теперь же слух его толпы .... И всех приводит в робость» (Державин 1864- V: 155-156). То есть Державин понял чисто конспиративный характер задания Потемкина и указывал на его неактуальность в связи со сложившимися обстоятельствами. В «Записках» же, как было сказано, данный ордер Потемкина можно понять как предписывающий именно военное задание.

словам ученого, Державин превысил свои служебные полномочия в Саратове, стараясь оправдать высокое мнение Потемкина по поводу его деловых качеств: «После таких доказательств высокого мнения начальников о деятельности Державина нас не должно удивлять, если он иногда придавал ей слишком большую важность и выходил из границ, которые ему предписывало его служебное положение» (Грот 1997: 106).

По Гроту, Державин действительно готовился «для встречи Пугачева» в Малыковке (Грот 1997: 107). Однако рассчитывал при этом не только на две сотни донских казаков, а и на полторы тысячи малыковских крестьян<sup>240</sup>. Кроме того, для обороны Саратова Державин, как и Бошняк, призвал на помощь отряд майора Дица, расквартированный в Царицыне (Грот 1997: 110).

По Гроту, Державин относился к феномену Пугачева со всей серьезностью. Он разделял проницательное мнение Бибикова, цитируемое Пушкиным в «Истории Пугачева»: «Пугачев не что иное, как чучело, которым играют воры, Яицкие казаки: не Пугачев важен, важно общее негодование» (Пушкин 1994- IX: 45). Грот публикует письмо Державина Щербатову с весьма выразительной и глубокой характеристикой масштаба фигуры Пугачева. Ведь тот в народном мнении был принят ни много ни мало как «чаемый» государь Петр Федорович. Именно в этой вере, по Державину, коренится его практически безграничное могущество: «Народ здесь <в Саратове – В.Ч.> от казанского несчастья в страшном колебании. Должно сказать, что если в страну сию пойдет злодей, то нет надежды никак за верность жителей поручиться. Хотя не можно ничего сказать о каком-либо явном замешательстве, однако по тайному слуху все ждут чаемого ими Петра Федоровича. Внедрившаяся в сердца язва, начавшая утоляться, кажется, оживляется и будто ждет только случая открыть себя. Ни разум, ни истинная проповедь о милосердии всемилостивейшей нашей государыни, – ничто не может извлечь укоренившегося грубого и невежественного мнения. Кажется бы, нужно несколько преступников в сей край прислать для казни: авось либо незримое здесь и страшное то позорище даст несколько иные мысли» (Грот 1997: 108). То есть, судя по данному письму, Пугачев – не жалкий трусишка, бегущий, как заяц, даже от *ветерка*, как это представлено в «Записках», но внедрившаяся в сердца и души народа язва, колоссальное по своей значимости явление, к которому вообще не применимы обычные, «земные», характерологические мерки. Также следует отметить, что в данном письме Державин считает адекватным средством для борьбы с этой духовной язвой не тривиальную вооруженную силу, а примерные казни преступников. Однако для нас, в данном случае, важно подчеркнуть, что Державин, судя по данному письму, мыслил наиболее целе-

---

<sup>240</sup> Следует добавить, что в реальности Державин рассчитывал также на воинскую команду саратовской опекунской конторы и отряд Мансурова. См. в этой связи рапорт Мансурову от 12 июля: «... я кой час услышу надобность, истребую из Саратова команду, куда уж секретно и писал, чтоб была готова с двумя пушками. Притом стоявших на Иргизе казаков и жителей сколько можно употреблю тогда в дело и вам не оставлю донести, ежели паче чаяния злодей близиться будет» (Державин 1864- V: 130). Как видно из последних слов, Державин, к тому же, во всяком случае рассчитывал на помощь Мансурова.

сообразными в борьбе с феноменом пугачевщины меры не военного характера, как это представлено в «Записках», а, условно говоря, карательного. А последние как раз и входили, в том числе, в круг его прямых служебных обязанностей как офицера секретной следственной комиссии.

Что касается упомянутого приказа Потемкина, отданного по просьбе Державина Бошняку по поводу исполнения плана Лодыжинского-Державина, то из книги Грота выясняется, что начальник секретной комиссии, говоря о его нарушении со стороны коменданта, имел в виду только работы по укреплению обороны города Саратова. По крайней мере, в цитируемом Гротом фрагменте данного приказа Потемкина от 9 августа весьма неопределенно говорится о необходимости «восприятия» «мер должных» «на поражение злодея», но не содержится конкретной информации по поводу целесообразности предполагаемого Державиным сражения с повстанческой армией в открытом поле. Сравнить: «К крайнему оскорблению <...> получил я ваш рапорт, что г. полковник и саратовский комендант Бошняк, забывая долг свой, не только не вспомоществует благому учреждению вашему к охранению Саратова, но и препятствует укреплять оный; того для объявите ему, что я именем ее императорского величества объявляю, что ежели он что-либо упустит к восприятию мер должных как на поражение злодея, стремглав бегущего от detachementов майора гр. Меллина и подполковника Муфеля, так и на укрепление города Саратова по положению условному, о коем вы мне доносили: тогда я данную мне властью от ее величества по всем строгим законам учиню над ним суд»<sup>241</sup> (Грот 1997: 112).

Чуть выше ученый цитирует образец рапорта Державина Потемкину (от 4 августа) по поводу действий Бошняка. Судя по нему, Державин докладывал исключительно с точки зрения офицера секретной комиссии, призванного контролировать «состояние умов» в боевых соединениях и в гражданском населении: «Комендант <...> явным делается развратителем народа и посеваает в сердца их интригами недоброхотство... чернь ропщет и указывает, что им комендант не велит» (Грот 1997: 111-112). Таким образом, Грот ничего не сообщает о доведении Державиным до сведения Потемкина военной составляющей его плана по обороне города<sup>242</sup>.

**2.5.4. Сражение с киргиз-кайсаками: вторая половина августа – начало сентября 1774 года.** Разобранный выше по тексту «Записок» мотив «богатырства» героя Державина продолжен в эпизоде стычки отряда под его командованием с киргиз-кайсаками, напавшими на иностранные колонии во второй половине августа 1774 года.

---

<sup>241</sup> В концовке этого ордера Потемкин просит Державина «поддержаться несколько в честь свою и к пользе общей» (Державин 1864- V: 173) до прихода в Саратов правительственных сил. Этот ордер опоздал: Саратов был взят Пугачевым еще 6 августа.

<sup>242</sup> В опубликованных Гротом документах нет указания, что Потемкину было известно конкретное содержание «условного положения» по обороне Саратова, о котором упоминается в его ордере от 9 августа.

По Державину, когда стало известно об этом нападении, генерал-майор князь П.М. Голицын, командовавший в то время военными операциями в данном районе, оказался бессилён в защите колонистов, поскольку не обладал для этого достаточным количеством войск: «... как деташамент сего генерала был и сам по себе невелик и раскомандирован на успокоение Симбирской и Пензенской провинции, то в таких смутных обстоятельствах и нечем было помочь Иргизу и колониям» (Державин 2000: 60). Державин же взялся «прогнать» киргиз-кайсаков с помощью крестьян, которых еще нужно было для этой цели мобилизовать, двадцати пяти «отставных бахмутских гусар» и «одной полковой пушки». Указанное военное подкрепление согласился ему предоставить Голицын. При этом крестьяне, предназначенные для мобилизации, предварительно еще должны были быть «усмирены» посредством этих гусар и пушки, поскольку жили в «бунтующей» Малыковке. То есть Державин попутно должен был решить задачу по «усмирению» раскольников, к которым по большей части принадлежали жители Малыковки и окрестных деревень.

О том, что в данном эпизоде «Записок» подразумевается антитеза между храбростью поручика и боязливой осторожностью генерала, Державин намекает посредством акцентирования указанного качества последнего. В самом деле, тут же сообщается, что Голицын, узнав о том, что только что выступивший отряд Державина может столкнуться с четырехтысячной «толпою» «под предводительством некоего разбойника Воронова, называющегося пугачевским генералом» (Державин 2000: 61), тут же послал нарочного с приказом отряду возвращаться. Как пишет по этому поводу Державин: «... князь и убоялся, чтоб Державин с толь малою командою не был жертвою сего злодея» (Державин 2000: 61). Однако, судя по ближайшему контексту «Записок», Голицын не учел, как следовало бы на его месте сделать в первую очередь, что Воронов ставил перед собой другую задачу, а именно соединиться с войсками Пугачева, идущими в сторону Царицына. То есть Воронов должен был удаляться от места дислокации отряда Державина, которому, таким образом, ничто не угрожало. Об этом обстоятельстве Державин узнал, «расспрося основательно» (Державин 2000: 61), того самого нарочного, унтер-офицера, убежавшего от Воронова и сообщившего Голицыну о местонахождении и примерном количестве данного повстанческого отряда.

Спрашивается: почему Голицын не занялся этим «расспросом», прежде чем посылать непродуманный приказ о возвращении?

Мы полагаем, что Державин строит данный эпизод колебания Голицына на реализации поговорки «у страха глаза велики». Во всяком случае, только страхом мы можем объяснить неадекватное поведение генерала, потерявшего способность трезво оценивать ситуацию. Как раз этим качеством, судя по «Запискам», сам Державин обладал в должной мере.

Итак, Державин все-таки продолжил предпринятый поход против киргиз-кайсаков, имея в своем распоряжении пусть и всего лишь двадцать пять, и «отставных», но, так сказать, «реальных» гусаров. Как выразился

по этому поводу ходасевичевский «историк» в статье «Пушкин о Державине»: «В распоряжении Державина был целый отряд, хотя и небольшой, но вооруженный даже артиллерией» (Ходасевич 07.09.1933). Под «артиллерией» «историк» имел в виду упомянутую «одну полковую пушку».

Однако эти гусары, судя по изложению Державина, по своим боевым качествам ничем не отличались от бутафорской команды капитана Ельчина. Так, в ситуации ночной тревоги по поводу нападения повстанцев, они попросту растерялись. И только благодаря хладнокровию и храбрости Державина отряд был приведен-таки в состояние боевой готовности. Вот как передается соответствующий эпизод в «Записках»: «В полночь услышал с одного притона скачущего крестьянина, кричащего: „Злодеи! Злодеи!“ Все пришли в крайнюю робость и смятение. Державин велел конным гусарам сесть на коней, пешим приготовиться, сам же взял фитиль, стал у пушки, дожидаясь нападения...» (Державин 2000: 61).

Некоторая «опереточность» данных «гусар» подчеркивается комическим мотивом «обманутых ожиданий». Оказывается, тревога оказалась ложной, а в роли «грозных» повстанцев были «обыкновенные разбойники», сами испугавшиеся оклика часового и скрывшиеся в лесу: «... после известно стало, что обыкновенные разбойники, разграбля одного управителя графа Чернышева, хотели в том селении пристать; но когда их на форпосте окликали, то они, не отвечав, побежали в лес, из коего вышли, а часовой, их испугавшись, поскакал в селение и встревожил оное» (Державин 2000: 61).

В самой битве с киргиз-кайсаками, которых было, по Державину, «около 2000 человек» (Державин 2000: 64), участвовало со стороны правительственных сил 500 вооруженных крестьян (Державин 2000: 64), 25 бахмутских гусар и 20 саратовских фузелеров (Державин 2000: 63). Этот сборный отряд возглавлял единолично Державин.

Основу боевой мощи отряда Державина составляли гусары. Они выполняли функцию офицеров и унтер-офицеров. Именно фланговый маневр конницы, возглавляемой гусарами, согласно «Запискам», решил исход сражения. То есть, опять-таки, Державин вроде бы утверждает реальную действенность гусаров. Однако мемуарист одновременно акцентирует их, так сказать, «виртуальный статус», не полное до воплощение. В самом деле, по Державину, на самом деле столкновения между противоборствующими сторонами так и не состоялось. Чуть ли не одного вида «красных мундиров» оказалось достаточно, чтобы обратить в бегство толпу киргиз-кайсаков, которая только издали «казалась страшною громадою» (Державин 2000: 64). Сравнить соответствующее описание данного «сражения»: «... коль скоро с наволока показались передние шеренги, красные мундиры, и с боков, во фланг сей толпы, стала заезжать конная рать под предводительством гусар, то варвары дрогнули и, ударясь в бегство во все стороны, оставили плен» (Державин 2000: 64).

Итак, судя по «Запискам», план под кодовым названием «астраханские гусары» оказался весьма эффективным в усмирении пугачевщины.

По Гроту, Голицын не мог лично возглавить операцию по освобождению колонистов от киргиз-кайсаков не только потому, что в его распоряжении не было достаточно войск. Он, в качестве командующего всеми правительственными войсками в данном районе боевых действий, другими словами, как командующий фронтом, очевидно, должен был выполнять другие функции. Операция, предпринятая Державиным, была, так сказать, «не по его рангу». В книге Грота, Голицын прежде всего отдает адекватные распоряжения. Так, в результате одного из этих распоряжений комендант Яицкой крепости Симонов отправил на нижнеяицкие форпосты отряд сотника Харчева, которому, в конце концов, и выдали Пугачева предавшие его соратники<sup>243</sup>.

Соответственно, Грот ничего не говорит о намерении Голицына вернуть отряд Державина во избежание возможного столкновения с отрядом Воронова<sup>244</sup>. Также не упоминается им эпизод ложной ночной тревоги, в котором обнажается бугафорская функция бахмутских гусар.

Что касается количества воинских сил, принимавших участие с той и другой стороны в упомянутом сражении, то ученый занижает численность кочевников и завышает таковую в отношении войск, на которые мог рассчитывать Державин до своего непосредственного столкновения с противником.

Так, с одной стороны, Грот приводит другое свидетельство Державина, согласно которому, «разбитая партия состояла из 1000 человек» (Грот 1997: 125). То есть киргиз-кайсаков на самом деле было вдвое меньше заявленной в Записках» численности.

С другой стороны, хотя, по Гроту, бахмутских гусаров действительно было только 25 человек, однако не на них возлагал свои надежды Державин. Судя по изложению Грота, эти гусары были ему необходимы, прежде всего, для сыскных и мобилизационных мероприятий. Они должны были обеспечить исполнение намеченных казней. А посредством этих казней Державин рассчитывал принудить крестьян к военному сотрудничеству. О том, какое большое значение Державин придавал количеству крестьянского ополчения, свидетельствует, кстати сказать, его первоначальное требование от жителей Малыковки, приведенное в «Записках», «до 1000

---

<sup>243</sup> См. также державинскую характеристику Голицына из упомянутой «Эпистолы к ген. Михельсону на защищение Казани». Здесь этот генерал представлен безусловным героем: «Пускай Голицыну в искусстве и труде / По правде похвалы разносятся везде: / Сквозь степи, снег, прошел бураны он безбедно / И войско сохранил в опасностях безвредно. / Удачный зельный бунт как души всех мучил, / Скрывался в пепле огонь, он воинов укрепил. / Колеблен всяк тогда против врага был злова, / Он первый опроверг в укреплениях Пугачева; / Изменникам дал страх, отвагу нам вперил, / Карать без робости продерзость ободрил; / Поставил свою грудь вперед в смущенном бое; / Такое рвение любезно есть в герое! / Он доблестный будет вождь, то труд его звучит, / И зависть, в нем узрев надежду, замолчит» (Державин 1864- III: 315).

<sup>244</sup> Согласно рапорту Голицыну от 22 августа, написанному в связи с полученным сообщением о возможной опасности со стороны отряда Воронова, Державин намеревался остановиться до получения известия об уничтожении этого отряда в деревне Сосново, где его ожидала внушительная воинская помощь в лице двухсот вооруженных мужиков, собранных управителем (см.: Державин 1864- V: 189). По Гроту, уже на другой день Голицын уведомлял Державина о ликвидации мятежников и предписывал ему «следовать в назначенное место с крайней поспешностью» (Державин 1864- V: 189). Таким образом, в реальности Державин был весьма осторожен в своих действиях, во всяком случае, не столь безрассудно храбр, как это можно понять по «Запискам».



человек конных вооруженных набрать ратников» (Державин 2000: 63). Малыковцы смогли предоставить 700 ратников (Державин 2000: 63), из которых, как было указано выше, в сражении приняло участие 500 человек. Грот приводит общее количество крестьянского ополчения в количестве 700 человек и ничего не говорит по поводу численности сражавшихся ратников (Грот 1997: 124).

Кроме того, согласно Гроту, Державин до последнего надеялся на обещанных Голицыным казаков. Его экспедицию намеревалось также поддержать начальство колоний. Так, один из крейс-комиссаров капитан Вильгельми «вызвался набрать для него 300 колонистов» (Грот 1997: 123), а руководить ими вызвался боевой офицер майор Гогель, известный Державину по мужественному поведению во время экспедиции в Петровск. Затем к отряду присоединился поручик саратовского батальона Зубрицкий (Грот 1997: 124-125). Таким образом, не один Державин командовал сражением, как это можно понять по «Запискам».

Сражение, по Гроту, состоялось. По крайней мере, киргиз-кайсаки оказывали некоторое время сопротивление. Сравнить: «Завязалась стычка, и скоро киргизы, бросая добычу, ударились в бегство»<sup>245</sup> (Грот 1997: 125). Причем гусары под командованием Гогеля и Зубрицкого сыграли действительную роль в поражении кочевников, войско которых ученый называет «шайкой» (Грот 1997: 125).

Таким образом, Грот представил данную экспедицию Державина против киргиз-кайсаков в качестве трезво рассчитанного до мельчайших деталей «проекта». Именно поэтому и был достигнут выдающийся результат, замеченный самим Суворовым.

**2.5.5. «Усмирение» Малыковки: вторая половина августа 1774 года.** Своей кульминации тема «богатырства» героя Державина достигает, на наш взгляд, в эпизоде «усмирения» «бунта» жителей Малыковки и близлежащих деревень. Именно здесь, точнее говоря, в сцене казни, Державин указывает читателю на глубокий символический смысл своей деятельности во время пугачевщины, трактуемой им до сих пор, насколько нам удалось выяснить, в комическом плане. Здесь он приоткрыл тайну своей военной мощи. Другими словами, Державин, так сказать, «шекспиризировал» свои «наполеоновские» подвиги, придав им «четвертое измерение» в виде актуализированного библейского («самсоновского») кода.

Антураж этого эпизода остается прежним. То есть внешний комизм ситуации сохраняется. Так, по Державину, слуха о приближении возглавляемого им отряда оказалось достаточно, чтобы малыковцы, до того «бунтовавшие», были «устрашены» до такой степени, что не только не оказали

---

<sup>245</sup> Сравнить описание этого боя самим Державиным в рапорте Голицыну от 5 сентября: «Как же скоро оных <киргиз-кайсаков> передовщики мои открыли, то сделав я с гусарами два отряда, один под командою г. польского подполковника, а нашей службы поручика Гогеля, а другой под командою саратовского батальона поручика Зубрицкого, велел атаковать их во фланги, а сам, прикрыв мою пушку и сделав из обозу вагенбург, следовал в их средину. Но как скоро на них сильно ударили, то тотчас их опрокинули» (Державин 1864- V: 209). Таким образом, «контакт» сражающихся сторон все же имел место быть.

какого-либо сопротивления, но сами же и выдали зачинщиков. Державин подчеркивает трагикомичность ситуации указанием на обстоятельства малыковского «бунта», который ему с такой легкостью удалось «усмирить».

В его передаче, непосредственное малыковское начальство, в чьем распоряжении находилось 20 саратовских фузелеров, спряталось по его указанию от бунтовщиков на одном из волжских островов. Сами малыковцы в это время приняли, что называется, «с распростертыми объятиями» «двух разбойников», объявивших, что они «из армии Батюшки» (Державин 2000: 62). Эти «разбойники» тут же «так напились, что легли близь кружала<sup>246</sup> врястяжку» (Державин 2000: 62). А малыковцы «поставили вокруг их караул» (Державин 2000: 62). По Державину, именно при их молчаливом попустительстве и откровенном предательстве некоторых из них совершилась вопиющая по своей «иродовой» свирепости казнь супругов Тишиных и их детей младенческого возраста: «... кормщик, изменя, сказал о них <супругах Тишиных – В.Ч.> злодеям, едва с похмелья проснувшись. Они тотчас схватили мужа и жену; мучили, неистово наругавшись над нею, допросились о детях, которых едва сыскали и принесли, то, схватя за ноги, разможили об угол головы младенцев; а казначея и казначейшу, раздев, повесили на мачтах и потом, расстреляв, уехали» (Державин 2000: 62).

Таким образом, Державин акцентирует мотив готовности самих малыковцев к бунту. В самом деле, неужели «несколько тысяч» (Державин 2000: 62) крестьян могли быть принуждены вступить в ряды бунтовщиков двумя «бездельниками» (Державин 2000: 62)? И, конечно, не от этой «пары» пьяниц прятались 20 фузелеров. Они опасались разъяренной толпы обывателей.

Но если воинские и, мы бы здесь сказали, духовные силы этих солдат были столь незначительны, что им даже в голову не пришло выйти из укрытия, чтобы спасти плененных Тишиных, то заглавный герой «Записок» обладал ими с лихвой. Конечно, и 25 гусар оробели бы, не будь с ними Державина.

Так же комичен, с точки зрения количественного соотношения противостоящих сторон, антураж сцены самой казни. С одной стороны – упомянутые 20 фузелеров, до того, так сказать, «прятавшиеся в кустах», с «одной» «наполеонической» «пушкой», и 25 «робких» «виртуальных» «бахмутских гусар», с другой – потрясающая, ни с чем не сравнимая покорность и страх «бунтарей», которых было «несколько тысяч», среди них – 200 человек, которых надлежало пересечь.

Конечно, как подразумевает Державин, не перед этой жалкой воинской силой испытывал страх народ. Они, как он пишет, были утрачены самим зрелищем казни: «Сие так сбежавшийся народ всего села и из окружающих деревень утрашило, что хотя было их несколько тысяч, но такая была тишина, что не смел никто рта разинуть. <...> Народ весь, ставши на колени, кричал: „Виноваты и рады служить верою и правдою!“» (Державин

---

<sup>246</sup> То есть перед кабаком, где, по словам В.И. Даля, «народ кружит» (Даль 2002 II: 201).

2000: 62-63). Одновременно происходило наказание плетьюми, причем сами же виновные исполняли должность палачей друг по отношению к другу.

Возникает вопрос: что же было в этой казни такого «устрашающего» для многотысячной толпы крестьян? Ведь только что они, как показано Державиным, желали смерти Тишину<sup>247</sup> и его семье и фактически реализовали это свое желание в несравнимо более страшное зрелище – зверское убийство «младенцев». Почему во время той казни, произведенной «иродами», народ не «безмолвствовал» и не каялся в своих грехах?

Все дело в том, что герой Державина организовал столь устрашившее народ *позорище* не просто как рядовую казнь, а как деяние, призванное напомнить о каре Божией за сотворенные грехи. Как было показано выше, в связи с цитированием письма Державина Щербатову по поводу Пугачева как феномена, имеющего, прежде всего, религиозное значение, поэт считал самым действенным средством борьбы с этой «духовной язвой» примерные казни. Из следующего фрагмента «Записок» видно, что поэт разумел под этими казнями: «... чтоб больше утратить колеблющую чернь и привести в повиновение, приказал на другой день в назначенном часу всем обывателям, мужескому и женскому полу, выходить на лежащую близь самого села Соколину гору; священнослужители от всех церквей, которых было семь, облачаться в ризы; на злодеев, приговоренных к смерти, надеть саваны. Заряженную пушку картечами и фузелеров 20 человек при унтер-офицере поставил задом к крутому берегу Волги, на который взойти было трудно. Гусарам приказал с обнаженными саблями разъезжать около селения и не пускать никого из оногo с приказанием, кто будет бежать, тех не щадя рубить. Учредя таким образом, повел с зажженными свечами и с колокольным звоном чрез все село преступников на место казни» (Державин 2000: 62). То есть, вольно или невольно, но Державин ссылался на опыт инквизиционной борьбы с дьяволом, который, как известно, как раз и имеет свойство «внедряться» в души грешников. Отсюда, как мы полагаем, и торжественная, казалось бы, совершенно неуместная, «церковная» обстановка совершенных Державиным казней, с непрерывным присутствием священников, с саванами, одетыми на осужденных, с зажженными свечами в руках обывателей и проведением преступников через село под колокольный звон.

---

<sup>247</sup> Кстати говоря, этот Тишин, исполнявший должность малыковского казначея и, как таковой, имевший право давать распоряжение малыковским крестьянам, вплоть до мобилизации их на военные мероприятия против Пугачева, в изображении Державина представляется чем-то вроде некрасовского Фогеля: такой же зануда и буквоед, на самом деле пекущийся более о собственных шкурных интересах, нежели о самом деле. Так, по Державину, Тишин не только отказал ему в присылке крестьян, потребных для яицкой экспедиции, но еще и намекнул на возможность доноса в компетентные инстанции по поводу укрывательства им Серебрякова, его сотрудника в деле поимки Пугачева: «... казначей Тишин прислал сообщение, что он в неведомую посылку людей без экономического правления не даст, тем паче что Серебряков требовался по прежним его делам в юстицию; у которого, яко у человека подозрительного, люди под присмотром быть не могут» (Державин 2000: 49). Грот приводит яркий пример деятельности Тишина, могущий мотивировать крестьянскую ненависть: «Жители Малыковки, по письменным приговорам, дали место под постройку духовного правления. Тишин, поссорившись со священником, пришел со своими людьми к начатому строению, велел им разломать сделанное и разогнал работников палкой, грозя высечь их плетьюми» (Грот 1997: 83).

Итак, народ был утрашен карой Божьей. В таком случае, сам Державин играет роль *мстителя* Божьего, то есть – того же Самсона<sup>248</sup>. «Иродово войско», несмотря на всю свою видимую буйную силу и дикую свирепость, было рассеяно в прах перед духовной мощью посланца Бога – Державина, а их главари в буквальном смысле были съедены червями, то есть казнены.

На наш взгляд, данным эпизодом казни, в котором смело «сталкиваются» темы «величия Кесарева» и «величия Божиего» и тем самым обнажается их настоящая ценность друг по отношению к другу, Державин призывает читателя по-новому взглянуть на изображаемую им деятельность героя «Записок» во время пугачевщины и при повторном чтении попытаться «подключить» план «двойного знаменования» (Ходасевич 1988: 202), заданный в его поэзии. Конечно, речь в данном случае не идет о том, что Державин, возможно, намекал на жинетворческий характер своей служебной деятельности. Ведь, в конце концов, указанное «столкновение» «самсоновского» (поэтического, Божественного) и «наполеоновского» (прозаического, «земного») кодов как раз подчеркивает их «контраст». Нет, все дело в колебаниях этих планов; в их неуловимой для человеческого понимания связи и взаимообусловленности друг другом. Словом, как пытался выразить эту связь Державин: «Я царь, – я раб, – я червь, – я Бог!» (Державин 2002: 58).

Грот попросту не замечает «двойное знаменование» сцены казни. Он лишь упомянул об ее «особенной торжественности», предназначенной для того, чтобы «как можно сильнее подействовать на колебавшийся народ» (Грот 1997: 124). Характера этой торжественности он не раскрывает, отсылая любопытствующего читателя к тексту «Записок». То есть, видимо, подразумевая этой отсылкой на чисто описательные «прелести» процедуры, не требующие комментариев.

Ученый, как и прежде, озабочен количественной корректировкой державинских свидетельств, то есть сглаживанием их комизма.

По Гроту, малыковцы предстают совсем не той буйствующей толпой, добровольно примкнувшей к пугачевцам, как это показал Державин. Это по большей части мирные обыватели, которые были принуждены пугачевцами посредством применения грубой силы к исполнению их предписаний. Сами разбойники ведут себя не так «благодушно», как державинские «пьяницы». Первоначально это настоящая боевая единица, состоящая из 17 человек, которые ведут себя по отношению к сельчанам крайне агрессивно и целенаправленно: «Семнадцать сообщников Пугачева, ворвавшись в село, велели искать управителя и казначея<sup>249</sup>, расхитили их имущество, выпустили на волю около 15-ти колодников<sup>250</sup> и, разбив питейный

---

<sup>248</sup> Как известно, Самсон был призван Богом «отмстить Филистимлянам» (Суд. 14: 4).

<sup>249</sup> Как мы помним, по Державину, казначеем озадачили неспросавшихся «бездельников» сами малыковцы.

<sup>250</sup> Они, конечно, тут же пополнили собой пугачевский отряд.

дом, *заставили народ* <выделено нами – **В.Ч.**> пить за здоровье государя Петра Федоровича; многие присоединились к ним» (Грот 1997: 120-121).

Этого отряда опасались, судя по всему, не только упомянутые 20 саратовских фузелеров, но и даже есаул Богатырев, отряд которого стоял в одном из соседних сел. Во всяком случае, он не решился вступить в бой с пугачевцами всеми силами, а отрядил для этой цели только их часть. И тут же потерял в числе дезертиров четырех человек. Правда, остальные посланные им казаки возвратились, пленив при этом девятерых повстанцев. Однако больше этот опыт Богатырев не повторял вплоть до ухода оставшейся части пугачевцев вместе с примкнувшими к ним крестьянами. Только после этого он «послал за ними погоню» (Грот 1997: 121).

Оставшиеся же восемь повстанцев отнюдь не смирили свой буйный нрав. Они продолжали терроризировать население и принуждать его к покорности собственной воле: «Остальные восемь мятежников стали разъезжать по селу, били крестьян плетью и вешали непокорных, таскали соль из амбаров и грабили деньги» (Грот 1997: 121). И только к вечеру позволили себе «расслабиться»: «К вечеру все они лежали пьяные перед кружалом», – пишет Грот (Грот 1997: 121). Если кто и сочувствовал пугачевцам из жителей Малыковки, то все они до прихода отряда Державина, по словам Грота, «разбежались разными дорогами вниз по Волге» (Грот 1997: 121). То есть «буйной» верхушки в селе не было; сопротивляться было некому; остались одни мирные обыватели, которых не нужно было «усмирять», так как они и сами *рады* были «усмириться».

Кроме того, судя по ближайшему контексту книги Грота, до их сведения наверняка мог дойти манифест такого «серьезного» генерала, как Мансуров, в котором тот угрожал «жестоким казнью» не желающим «усмириться» (Грот 1997: 121).

Далее, по Гроту, когда Державин прибыл в Малыковку, он «нашел ее еще под впечатлением совершившихся там недели за две перед тем ужасов» (Грот 1997: 124). А так как им также незадолго до этого совершались казни, то обыватели и испугались повторения произошедшего, на этот раз, правда, в виде наказания за их, как было показано выше, вынужденное предательство. Поэтому они решили выдать, во избежание большего зла, участников убийства семейства Тишиных.

Таким образом, по Гроту, на самом деле Державин проводил в Малыковке задание, абсолютно лишённое какого-либо боевого «ореола»<sup>251</sup>. Это были дежурные полицейские казни, с «нулевым» фактором риска. То есть, по Гроту, пусть уж лучше Державин останется в памяти читателя трезво мыслящим и довольно-таки скучным господином, способным в случае необходимости выполнить и должность палача, чем блефующим

---

<sup>251</sup> Крейс-комиссар иностранных колоний Вильгельми уверял Державина в письме от 23 августа в совершенной безопасности предпринятого им похода в Малыковку: «Ради Бога, приезжайте к нам сюда и будьте без всякого опасения: все крестьяне и селения до Малыковки совершенно усмирены и сами отыскивают изменников и убийц. Всех захваченных мы удерживаем здесь, в надежде, что в эту ночь приедете к нам. Фураж для вашей команды заказан» (Державин 1864- V: 190). То есть Державин, так сказать, шел на все готовое: усмирение раскольничьих селений произошло без него.

«романтическим» героем-«наполеонидом», побеждающим «толпы» «черни» одним звуком своего грозного имени. Другого же плана заглавного героя «Записок», как было сказано выше, он не видел.

Проанализированный нами мотив корректировки «воинственных» заявлений героя «Записок», содержится и в итоговой характеристике, данной Гротом деятельности Державина во время Пугачевщины в целом: «Просматривая кипы бумаг, составляющих далеко не полную переписку его во время пугачевщины, мы прежде всего поражены неумоимой его деятельностью: ничто не ускользает от его внимания; он предусматривает нужды и вовремя уведомляет о них кого следует, предлагает и вызывает меры осторожности, сносится непрерывно с начальниками и другими лицами, идет сам добровольно навстречу опасностям, которых легко мог бы избежать, – словом, *делает гораздо более, нежели сколько, собственно, был обязан делать по своему назначению* <выделено нами – В.Ч.>. Неудивительно, что он таким образом сумел поставить себя высоко в глазах всех своих непосредственных начальников, которые часто искали помощи в нем, как будто в равном себе по власти» (Грот 1997: 156).

Итак, анализ рецепции Гротом державинских «Записок» показывает последовательную стратегию ученого по корректировке тех мотивов, которые могут внушить читателю представление о деяниях их героя как прежде всего боевых, а не разведочных. Некорректное с научной точки зрения указание ходасевичевского «историка» на якобы противоположную позицию, занимаемую Гротом в этом вопросе, обнажает, по принципу зеркальной симметрии, не только данную стратегию ученого, но и неожиданно открывающуюся проблемную сторону в отношении Пушкина как автора «Истории Пугачева» к тексту державинских «Записок». В самом деле, получается, что пушкинская формулировка малыковского задания Державина по «прикрытию Волги со стороны Пензы и Саратова» не просто почти буквально повторяет заявление самого героя «Записок» по поводу «истинной цели» его пребывания на Иргизе, но и в концентрированном виде отражает сам «воинственный» дух его деятельности во время пугачевщины.

Переходим к рассмотрению пушкинской формулировки малыковского задания Державина в ее отношении к «Запискам» поэта.

### *2.6. Обнажение Ходасевичем фикционального статуса пушкинской формулировки малыковского задания Державина*

В данном случае у нас нет никаких оснований в том, чтобы подвергнуть сомнению упомянутое выше утверждение Грота по поводу незнания Пушкиным самой рукописи «Записок». Отмеченное совпадение формулировок малыковского задания из «Истории Пугачева» и «Записок» может быть объяснено простым сопоставлением двух источников, имевшихся в распоряжении Пушкина: упомянутых «Записок о жизни и службе Александра Ильича Бибикова» и так называемого «Ключа к сочинениям Г.Р. Державина» (1822) Н.Ф. Остолопова, точнее говоря,

«Краткого описания жизни Г.Р. Державина», вошедшего в качестве приложения в данную книгу.

Вот как в первом из названных источников излагаются распоряжения А.И. Бибикова, в том числе якобы данное им задание Державину по «прикрытию Волги»: «В сие время<sup>252</sup> войски начали приходить в назначенные им места и разделены на корпуса. Главный, который должен был действовать от Оренбурга до Казани и заградить московскую дорогу, поручен был от главнокомандующего начальству генерал-майора князя П.М. Голицына. Генерал-майору Мансурову вверено правое крыло, назначенное к защите Самарской линии; левое, для обороны дороги от Екатеринбурга и Уфы, сначала отдано под команду генерал-майора Ларионова, но, по медленному его движению или некоторой несмелости, поручено подполковнику Михельсону; с Сибирской стороны от Верхне-Яицких крепостей преписано стеснять мятежнические толпы генерал-поручику де Калонгу и отделять от себя для защиты Кунгура отряд под начальством майора Гагриана. А как от Яицка по всей степи до городка Гурьева не было никаких войск и бунтующие могли свободно пробраться чрез Волгу на Малыковку (что ныне Вольск), оттуда на Симбирскую, Пензенскую губернии и даже на Москву; то, чтоб отвратить их от сего покушения, когда войски под предводительством означенных генералов приближались к Оренбургу, Александр Ильич послал (6-го марта) того ж гвардии офицера Державина в Саратов и иностранные колонии и велел ему подряжать провиант для идущих будто бы во множестве гусар от Астрахани. Точным и благоразумным исполнением сего предписания, г. Державин оказал важную услугу и заслужил признательность. Пугачев, утрашась распушенных слухов и остерегаясь приближения идущих вымышленных войск, сперва оказал нерешимость, потом остановился на походе, и наконец обратился на низовые места, чем потерял драгоценное для себя время и допустил генерала Мансурова освободить Уральск от осады и совершенного голода...» (Бибиков 1865: 136-138).

Н.Ф. Остолопов в числе деяний Державина во время пугачевщины, вознагражденных чином коллежского советника и тремя душами в Белоруссии, называет в том числе «прикрытие Волги»: «... не допустил от Иргиза разлиться возмущению во внутренние Великороссийские Губернии» (Остолопов 1822: 9). При этом Остолопов тут же утверждает, что имел случай читать рукопись державинских «Записок». Как видно, формулировка малыковского задания Державина в «Кратком описании...» Остолопова, в сущности, не отличается от таковой в «Записках» А.А. Бибикова. Отсюда следует, что главным источником информации в данном эпизоде «Записок» А.А. Бибикова были свидетельства Державина. К тому же,

---

<sup>252</sup> Судя по ближайшему контексту, время действия датируется концом января 1774 года. В предыдущем абзаце автор «Записок о жизни и службе Александра Ильича Бибикова» обозначает дату освобождения Муфелем Самары как 29 января 1774 года (Бибиков 1865: 136). Кстати говоря, как указал автор примечаний к данному изданию «Записок» А.А. Бибикова, в «Истории Пугачева» указывается верная дата этого события – 29 декабря 1773 года.

Пушкину было известно, что Державин тесно контактировал с А.А. Бибиковым в пору создания тем своих «Записок»: автор «Истории Пугачева» пространно цитировал заметку Державина об А.И. Бибикове, специально написанную для его сына-биографа<sup>253</sup>.

Кроме того, «прикрытие Волги» от мятежников перечисляется среди заслуг Державина во время пугачевщины в первой биографии поэта, написанной митрополитом Евгением (Болховитиновым). Причем Евгений подчеркивает в позитивном плане мотив единоличного свершения этого подвига: «Во время занятия войсками прочих важных проходов к Оренбургу, зделал он одним лицом своим (чрез вымышленные виды и распоряжения) Диверзию злодеям пролиться тогда от Яицкого городка или нынешняго Уральска по реке Иргизу на внутренние провинции...» (цит. по: Курилов 2007: 28). Эта статья Евгения впервые появилась в печати в мартовском номере журнала «Друг Просвещения» за 1806 год (Курилов 2007: 25), а затем «при незначительной редакторской правке опубликована Н.И. Гречем в „Некрологии Державина“ <в журнале «Сын Отечества», 1816, № 29. – В.Ч.>, где имелась прямая ссылка на первоисточник» (Курилов 2007: 33). То есть Пушкин наверняка читал статью Евгения, в которой содержится цитируемая формулировка одного из главных подвигов, совершенных Державиным в Малыковке. А в том, что эту информацию Евгений получил непосредственно от самого Державина, Пушкин мог убедиться, прочитав в «Объяснении» к посланию «Евгению. Жизнь Званская» собственноручное признание поэта в приятельских отношениях с митрополитом: «Евгений, Викарный Архиерей Новгородский, приятель автора. Он часто посещал Автора в деревне, и любил слушать эхо пушечных выстрелов, которые неоднократно повторяются в лесах по берегам Волхова» (Львов 1834 I: 70).

Итак, Пушкин в начале Пятой главы «Истории Пугачева», в сущности, повторил формулировку малыковского задания Державина как прежде всего боевого, данную, в конечном итоге, в державинских «Записках». Однако в пушкинской формулировке малыковского задания Державина есть существенное отличие от формулировки оригинальной: Державин, по Пушкину, призван был «прикрывать Волгу со стороны Пензы и Саратова», то есть с запада, тогда как, согласно «Запискам», угроза со стороны мятежников до июля 1774 года существовала со стороны Иргиза, то есть с востока, и только в июле-августе волна мятежа захлестнула Саратов и Малыковку со стороны Пензы.

---

<sup>253</sup> См. примечание 21 к главе Пятой «Истории Пугачева» (Пушкин 1994- IX: 113). Данный вариант формулировки малыковского задания А.А. Бибилов почти полностью взял из первоначальной (черновой) редакции упомянутой заметки Державина об А.И. Бибикове. Сравнить (выше почти в тех же словах, что и в «Записках» А.А. Бибилова говорится о заданиях А.И. Бибилова Голицыну, Мансурову, Деколону и т. д.): «Но как от Яицкого городка, по великому пространству степи, до городка Гурьева не было никаких войск и по селениям реки Иргиза могли свободно пробраться злодеи через Волгу на Симбирскую, Пензинскую <так!> и прочие внутренние провинции: то, чтоб отвратить их от одного покушения, когда войски под предводительством означенных генералов приближались к Оренбургу, оставляли их позади себя, послал он 6-го марта с тайным повелением гвардии подпоручика Державина, приказав ему разглашать и подражать будто провиант для идущих во множестве гусар от Астрахани, что и имело желаемый успех. Злодеи устрашились и, промедля, дали время подоспеть генералу Мансурову, освободить Уральск от их стеснения и совершенного голода» (Державин 1864- VII: 32).



Мы полагаем, что ходасевичевский «историк» указывает читателю на данное различие формулировок, акцентировав отсутствие какой-либо необходимости «прикрывать Волгу со стороны Пензы и Саратова» в январе 1774 года, когда «все пугачевские операции» «производились к востоку от Малыковки, в районе Оренбурга» (Ходасевич 07.09.1933).

В самом деле, данный контраргумент «историка», по меньшей мере, некорректен с научной точки зрения. Пушкин как раз опровергал бытующую в его время информацию о том, что Пенза была взята Пугачевым к моменту прибытия А.И. Бибикова в Казань, то есть в конце декабря 1773 года. В этой связи он указывал на точную дату взятия Пугачевым этого города, – на июль 1774 года. В развернутом виде данная полемика Пушкина содержится в его статье «Об „Истории Пугачевского бунта“» (1836), написанной по поводу отрицательной рецензии В.Б. Броневского на «Историю Пугачева». Здесь писатель посчитал нужным указать на некоторые фактические неточности, имеющие место быть в книге его критика – «Истории Донского войска» (1834). В частности, Пушкин пишет:

«Г. Броневский, описав прибытие Бибикова в Казань, пишет, что в то время (в январе 1774) *самозванец в Самаре и Пензе был принят народом с хлебом и солью*.

Самозванец в январе 1774 года находился под Оренбургом и разъезжал по окрестностям оного. *В Самаре он никогда не бывал, а Пензу взял уже после сожжения Казани*, во время своего страшного бегства, за несколько дней до своей собственной гибели»<sup>254</sup> (Пушкин 1994- IX: 391).

Таким образом, Пушкин на самом деле прекрасно понимал, что в январе 1774 года не было никакой необходимости «прикрывать Волгу» со стороны Пензы.

Однако аргумент ходасевичевского «историка» по поводу целесообразности прикрытия Волги «со стороны Пензы и Саратова» в январе 1774 года, по-видимому, указывает не только на несовпадение формулировки малыковского задания Державина в «Истории Пугачева» с имеющейся в распоряжении Пушкина информацией о настоящем направлении угрозы со стороны мятежников. Дело в том, что в следующих двух абзацах статьи «Об „Истории Пугачевского бунта“» Пушкин дает свою оценку идее о «прикрытии Волги» посредством слухов об «астраханских гусарах». Броневский также почерпнул эту информацию из «Записок» А.А. Бибикова, однако не упомянул при этом имени Державина. Сравнить:

«Описывая первые действия генерала Бибикова и медленное движение войск, идущих на поражение самозванца к Оренбургу, г. Броневский пишет: „Пугачев, умея грабить и резать, не умел воспользоваться сим вы-

---

<sup>254</sup> Данную информацию о взятии Пензы в конце декабря 1773 года Броневский почерпнул из «Записок» А.А. Бибикова. Сравнить: «В сие время <к моменту прибытия А.И. Бибикова в Казань, состоявшемся в конце декабря 1773 года – **В.Ч.**> получены известия, что в Самаре, Пензе и в некоторых других городах народ не токмо принял самозванца, но и встретил его с крестами и хлебом и солью...». В издании «Записок» А.А. Бибикова 1817 года этот фрагмент находится на странице 281. По свидетельству Б.Л. Модзалевского, Пушкин подчеркнул слово «Пензе» и на полях поставил восклицательный знак (Модзалевский 1910: 11). Таким образом Пушкин выражал свое несогласие с А.А. Бибиковым.

годным для него положением. Поверив распущенным нарочно слухам, что будто от Астрахани идет для нападения на него несколько гусарских полков с донскими казаками, он долго простоял на месте, потом обратился к низовью Волги и через то упустил время, чтобы стать на угрожаемом нападением месте“.

Показание ложное. Пугачев все стоял под Оренбургом и не думал обращаться к низовью Волги» (Пушкин 1994- IX: 391).

Таким образом, Пушкин обнажил комизм данной аргументации, используя свой излюбленный полемический прием точного цитирования и давая при этом краткое возражение, которое выясняет суть цитируемого текста в желаемом для него ракурсе. Судя по этому возражению, Пушкин твердо был уверен в неизменной дислокации главных сил Пугачева под Оренбургом, а также в отсутствии каких-либо намерений со стороны руководителя мятежа оставить осаду города и начать движение в каком-либо направлении. При этом Пугачев руководствовался не слухами об «астраханских гусарах», а собственным решением «выморить город мором» (Пушкин 1994- IX: 25). Таковы собственные его слова, цитируемые Пушкиным в «Истории Пугачева».

Показав Пугачева как твердого и уверенного в себе руководителя восстания, Пушкин обнажил нелепость аргументации Броневского, исходящего из представления о его трусливости. По Пушкину, Броневский, ставя перед собой научное задание, на самом деле, построил свою аргументацию на комическом приеме реализации слухов, имевшем устойчивую традицию в комедийной литературе последней трети XVIII-первой трети XIX веков<sup>255</sup>.

Итак, Пушкин считал блеф об «астраханских гусарах» таким же абсурдом, как и захват Пугачевым Пензы в январе 1774 года.

Некорректный с научной точки зрения и, как таковой, имеющий пародийный характер контраргумент ходасевичевского «историка» по поводу нецелесообразности «прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова» в январе 1774 года, оказывается весьма точным указанием фикциональной стратегии Пушкина в данном эпизоде «Истории Пугачева». В самом деле,

---

<sup>255</sup> Так, в 1820-1830-е гг. «на слуху» была комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», где драматургу удалось глубоко проникнуть в сложный механизм сплетен, слухов и прочих чисто словесных феноменов, выяснить условия их реализации и могущественного воздействия на судьбы людей. Гостям Фамусова совершенно не важно было конкретное содержание сплетни о Чацком. Они почувствовали ее злобный тон по отношению к человеку, успевшему сделаться их врагом, и поэтому ее «повторяют». (См. формулировку Грибоедова в письме Катенину от января 1825 года: «Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил и все повторяют...» (цит. по: Тынянов 1969: 348-349)). В результате, словесная оболочка, пустой звук, превратилась в реальную силу, и Чацкий был изгнан из общества. Как показал Тынянов, Грибоедов учитывал наблюдения Бомарше, выраженные в «Севильском цирюльнике», по поводу механизма распространения клеветы и ее могучего воздействия на общественное мнение. В результате, по утверждению опытного интригана Базиля, даже самый честный человек может быть «уничтожен» ею (Тынянов 1969: 350). Однако Пушкин, указывая на возможный чисто комический эффект подобного утверждения, повторенного Броневским, очевидно, имел в виду менее трагические варианты данной темы, например, ситуацию, в которой оказались чиновники города N., персонажи комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», устрешенные слухом о приезде ревизора, и, как следствие, обманутые его *тенью*, – Хлестаковым.

«сдвигом» указателей направления, с которого якобы исходила угроза нападения мятежников на Иргиз в январе 1774 года, Пушкин обнажает отмеченный выше абсурд, заложенный в его формулировку малыковского задания Державина, ставит самого Державина в комическое положение.

Становится очевидным, что аргументация ходасевичевского «историка», пародирующая научный дискурс, имеет еще одну функцию, поэтологическую, соответствующую, на этот раз, фикциональному статусу «Истории Пугачева». В этой функции данная аргументация теряет свой пародийный характер. Соответственно, из-за маски «историка» выглядывает настоящее лицо Ходасевича, который указывает читателю на тенденциозность автора «Истории Пугачева» в освещении событий или акцентирует его внимание на полемичных моментах пушкинской концепции личности Державина. Выдвинутые положения играют конструктивную роль в нашем последующем анализе полемики Ходасевича с пушкинской концепцией личности Державина в «Истории Пугачева».

Что же именно в пушкинском изображении державинских действий в Саратове и в Малыковке могло вызвать протест у Ходасевича, и как это связано с работой автора «Истории Пугачева» с документами по данным эпизодам? Поиском ответа на эти вопросы мы займемся в следующих параграфах.

## *2.7. Полемика Ходасевича с пушкинской формулировкой малыковского задания Державина*

**2.7.1. Обнажение количественной «невязки» между средством и результатом как полемический прием.** Как уже говорилось выше, в контексте «Истории Пугачева» формулировки деяний Державина в Малыковке, данные в Пятой и Восьмой главах, не просто связаны друг с другом. Пушкин утверждает их равнозначность, даже взаимозаменяемость заскобочной отсылкой «как мы уже видели», введенной в формулировку из Восьмой главы.

Для этого у Пушкина были веские основания.

В самом деле, хотя бы только из знакомства с рапортом Ф.Ф. Щербатова от 5 мая 1774 года он мог убедиться в том, что первоначальная задача, поставленная А.И. Бибиковым перед Державиным, благодаря чрезвычайной энергичности последнего, явно переросла свои рамки и приобрела глобальный характер.

Этот вывод подтверждает тот факт, что непосредственно вслед за формулировкой Восьмой главы Пушкин, следуя тексту рапорта Ф.Ф. Щербатова, сообщает о главных деяниях Державина в Малыковке, которые явно не имеют отношения к первоначальному заданию о поимке Пугачева на Иргизе: «Державин, известясь о сношениях Пугачева с киргиз-кайсаками, успел отрезать их от кочующих орд по рекам Узеням, и намеревался итти

на освобождение Яицкого городка; но был предупрежден генералом Мансуровым»<sup>256</sup> (Пушкин 1994- IX: 71-72).

Очевидно, что, игнорируя, как было показано выше, указанную связь между формулировками малыковского задания Державина в *общем* контексте «Истории Пугачева» (и тем самым указывая, в пародийном плане, на такой же недочет в критике Грота и Фирсова), Ходасевич, в поэтологическом плане, акцентирует внимание читателя на контексте *частном*. Другими словами, он предлагает читать формулировку малыковского задания Державина из Пятой главы в *ближайшем* контексте, как будто формулировки из главы Восьмой не существует. Он подчеркивает, что задание из Пятой главы нужно понимать именно как «боевое», а не «политическое» либо «разведочное».

На что же указывает Ходасевич таким образом? Что могло его не удовлетворить в пушкинском изображении действий Державина в Малыковке?

Даем ближайший контекст формулировки Пятой главы: «Наконец войска, отовсюду посланные противу Пугачева, стали приближаться к месту своего назначения. Бибиков устремил их к Оренбургу. Генерал-майор князь Голицын, с своим корпусом, должен был заградить Московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-майору Мансурову вверено было правое крыло, для прикрытия Самарской линии, куда со своими отрядами следовал майор Муфель и подполковник Гринев. Генерал-майор Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбург. Декалонг охранял Сибирь, и должен был отрядить майора Гагринна с одною полевой командою для защиты Кунгура. В Малыковку послан был гвардии поручик Державин, для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова» (Пушкин 1994- IX: 43).

Напомним, что речь идет о первых распоряжениях по армии вновь назначенного главнокомандующего генерал-аншефа А.И. Бибикова, прибывшего в Казань, где находился главный штаб, 25 декабря 1773 года (Пушкин 1994- IX: 38).

Надеясь маску «историка», Ходасевич указывает, что данная пушкинская формулировка малыковского задания Державина ошибочна, так как в его распоряжении не было каких-либо воинских сил: «„Прикрывать“ Волгу Державину было просто не с чем, ибо в его непосредственном распоряжении не было ни одного солдата» (Ходасевич 07.09.1933).

---

<sup>256</sup> Круг деятельности Державина в Малыковке, отмеченный в рапорте Щербатова, соответствует смыслу «тайного наставления», данного Бибиковым Державину 6 марта 1774 года при посылке в Малыковку. Бибиков давал своему подчиненному фактически *carte blanche* для выполнения поставленных перед ним задач. Так, в концовке инструкции он писал: «... рассуждение здравое и собственный ваш ум да будет вам лучшим руководителем; а ревность и усердие к службе представит вам такие способы, которые не быв на месте и по заочности предписать не можно...» (цит. по: Грот 1997: 79). Очевидно, что Бибиков подразумевал операции самого различного рода, в том числе и боевые, «буде понадобятся». Между прочим, согласно рапорту Ф.Ф. Щербатова, Бибиков апробировал боевые маневры Державина против киргиз-кайсаков. Кстати говоря, данный момент в инструкции Бибикова мог обнаружить несостоятельность концептуальной установки Ходасевича о разграничении боевых и политических задач, поставленных перед Державиным, и он весьма пространно цитируя в своей биографии эту инструкцию, его опустил (Ходасевич 1988: 62).

В научно-полюемической функции возражение «историка» явно избыточно: у него не было никакой необходимости ставить вопрос о том, какими воинскими силами Державин располагал для выполнения столь масштабной задачи, так как достаточно было бы просто указать на хронологическую несообразность, допущенную Пушкиным при указании январского срока его малыковской командировки. Указание на неверную хронологию – один из основных полюемических приемов «историка» в других эпизодах статьи. Ниже он даже сообщает, что в январе «Державин еще находился в Казани» и только «затем сидел в Малыковке». Тем удивительнее, что он не воспользовался этим, более веским с исторической точки зрения, контраргументом для опровержения пушкинской формулировки малыковского задания Державина.

Однако в поэтологической функции указание «историка» на фактическое отсутствие в распоряжении Державина каких-либо воинских сил весьма актуально: оно обнажает комизм в формулировке данного «боевого» задания Державина, основанный на количественной «невязке» между средствами и предполагаемым результатом. Этот комизм выясняется в контексте приведенных распоряжений Бибикова.

В самом деле, если «корпус» генерал-майора князя Голицына, «отряды» майора Муфеля и подполковника Гринева, «полевая команда» майора Гагрина действительно соответствуют нашему представлению об армейских соединениях, а генеральские звания Мансурова, Ларионова и Декалонга ассоциируются с значительными воинскими силами, которыми они командуют и которые способны «прикрыть Самарскую линию», защитить Уфу и Екатеринбург, «охранять Сибирь», то Державину «для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова» не дано, по-видимому, ничего, кроме почетного звания «гвардии поручика». Другими словами, в отличие от мотивированных Голицына, Мансурова, Декалонга и проч., Державин очутился этаким «богатырем» – сам-друг против войска Пугачева.

Эту же «невязку» Ходасевич обнажает, опровергая с точки зрения «историка» точность пушкинского сообщения об успехах Державина, достигнутых вследствие данного ему приказания от Бибикова.

Приводим это сообщение по тексту статьи Ходасевича: «Пушкин считает, что в январе 1774 г. „Державин, начальствуя тремя фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою“, а потом, в апреле, ходил на выручку Яицкого Городка» (Ходасевич 07.09.1933).

Пушкин в этом же цитируемом Ходасевичем абзаце уточняет, что, по крайней мере, однажды Державину довелось усмирить «множество» взбунтовавшихся крестьян, живших в одном из упомянутых «раскольничьих селений», имея в своем распоряжении лишь двух казаков (Пушкин 1994- IX: 44).

Ходасевич в роли «историка» педантично уточняет хронологию событий: они происходили не в январе, а в августе и сентябре.

Затем он опровергает сведения о количестве воинских сил, с помощью которых Державину удалось достичь данных успехов: «три фузелер-

ные роты» были задействованы только во время безрезультатного похода под Яицкий Городок, поэтому усмирение раскольничьих деревень и «кочующих племен» (киргиз-кайсаков, как поясняет «историк») производилось с помощью других сил. К примеру, силы для усмирения раскольников были взяты Державиным в Симбирске. Конечно, это были не пресловутые «два казака», а, по словам «историка», «целый отряд, хотя и небольшой, но вооруженный даже артиллерией» (Ходасевич 07.09.1933)<sup>257</sup>.

Эти аргументы «историка», употребленные в поэтологической функции, приобретают статус точных указаний на принцип построения данного эпизода «Истории Пугачева».

Уточнение хронологии указывает на стремление Пушкина акцентировать грандиозность достижений своего героя. В самом деле, оказывается, что Державин совершил *все* известные подвиги в течение всего лишь *одного* месяца<sup>258</sup>.

С другой стороны, уточнение «историком» количества воинских сил, находившихся в распоряжении Державина, говорит о тенденции Пушкина педалировать их незначительность, даже ничтожность. Пушкин прибегает к фигуре градации, когда сводит количество воинских сил, находившихся под началом Державина, от пресловутых «трех фузелерных рот» до явно анекдотичных «двух казаков»<sup>259</sup>.

Таким образом, Пушкин, по указанию Ходасевича-поэтолога, заставил читателя думать, что Державин добился грандиозных результатов, имея в своем распоряжении лишь «три фузелерные роты», а иногда и совсем до смешного малые воинские силы – «двух казаков». Хотя, по сравнению с потрясающим только воздухом званием «гвардии поручика», это все-таки *что-то*, однако и этих сил, очевидно, было бы недостаточно, чтобы «прикрыть Волгу со стороны Пензы и Саратова». Количественная «невязка» между средством и результатом как конструктивный прием данного эпизода «Истории Пугачева» обнажен, тем самым, ее комический эффект разрушен.

**2.7.2. Обнажение качественной «невязки» между средством и результатом как полемический прием.** Как было сказано выше, ходасевичевский «историк» указал, что Пушкин, формулируя малыковское задание Державина как «боевое», не сообщил количества приданных ему воинских сил. На наш взгляд, тем самым Ходасевич ставит перед читателем наводя-

---

<sup>257</sup> Кстати говоря, в указании на Симбирск «историк» сам допускает неточность: эти силы были взяты с согласия Голицына в Сызрани. В биографии «Державин» Ходасевич такой ошибки не допускает (Ходасевич 1988: 70-71). Таким образом, указание на Симбирск, как на пункт, откуда Державиным был взят воинский отряд, оказывается знаком пародийного статуса данной контраргументации ходасевичевского «историка».

<sup>258</sup> От себя добавим, что о том же стремлении Пушкина говорит примечание 2 к главе Пятой «Истории Пугачева». Здесь к названным подвигам Державина добавляется его собственное свидетельство по поводу освобождения им «от киргизов» «около полуторы тысячи пленных колонистов» (Пушкин 1994- IX: 110).

<sup>259</sup> В распоряжении Пушкина был, как мы помним, рапорт Щербатова от 5 мая 1774 года, в котором сообщалось, что Державин имел под своим началом сотню крестьян. Об этом автор «Истории Пугачева» предпочел не упоминать.

щий вопрос: какими же средствами Державин, по Пушкину, выполнит поставленное перед ним задание? Может ли этим средством быть блеф?

В поисках ответа на этот вопрос читатель опять-таки не остается без руководящих указаний ходасевичевского «историка».

Дело в том, что тот посредством недобросовестного, да к тому же еще и неточного цитирования акцентирует внимание читателя на том единственном месте в тексте «Истории Пугачева», где может содержаться позитивный ответ на искомый вопрос: на концовке эпизода усмирения бунта (соответственно, пуанте малыковского эпизода в целом), где перечисляются карательные действия Державина. Другими словами, произвольное и предвзятое обращение «историка» с документами мотивируется, как и в разобранных выше примерах его «некорректной» научной полемики, поэтологическо-полемической функцией.

В «Истории Пугачева» концовка эпизода выглядит следующим образом: «...Державин строго на них <зачинщиков бунта> прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось» (Пушкин 1994- IX: 44).

А вот как выглядит эта концовка в передаче «историка»: «Он <Державин> велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось... И.И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости» (Ходасевич 07.09.1933).

Очевидная разница в передаче действий Державина объясняется тем, что «историк» цитирует не основной текст «Истории Пугачева», а примечание 76 к главе Пятой «Истории Пугачевского бунта», опубликованной в шестом томе собрания сочинений А.С. Пушкина под редакцией П.А. Ефремова (1903)<sup>260</sup>. В этом примечании редактором был скомбинирован устный рассказ сенатора Д.И. Баранова, записанный Пушкиным и послуживший ему источником данного эпизода «Истории Пугачева», а также замечание И.И. Дмитриева, вызванное этим рассказом, которое Пушкин включил в так называемые «Замечания о бунте».

То есть «историк», это следует подчеркнуть, недобросовестно выдает приводимую им цитату за собственный пушкинский взгляд на вещи.

Однако и данное примечание «историк» цитирует не точно и делает это сознательно: отточием обозначает пропуск указания Баранова о главной причине бегства крестьян. Дело в том, что у Ефремова между «Сборище разбежалось» и «И.И. Дмитриев уверял...» стоит следующее предложение: «Державин уверил, что за ним идут три полка (слышал от сенатора Баранова)» (Пушкин 1903- VI: 294).

Ниже «историк» опровергает замечание И.И. Дмитриева (с которым, в его передаче, Пушкин был согласен): «... вопреки остроумному замечанию Дмитриева, <казни> вызывались не „поэтическим любопытством“, а

---

<sup>260</sup> Как известно, именно это издание сочинений Пушкина Ходасевич вывез с собой в эмиграцию. См. примечание Дж. Э. Мальмстада к стихотворению Ходасевича «Я родился в Москве. Я дыма...» (1923) в издании: Мальмстад 2001: 250.

отчасти необходимостью, отчасти же прямым предписанием державинского начальства» (Ходасевич 07.09.1933). Итак, именно казни, с точки зрения «историка», оказались главной причиной подавления бунта.

Очевидна некорректность данного возражения «историка». В самом деле, если Пушкин, как он подразумевает, был согласен с замечанием Дмитриева и привел его, чтобы дезавуировать практическую целесообразность казней, то что же он (Пушкин) оставил в качестве причин подавления бунта? Судя по его цитате – ровным счетом ничего.

Поскольку научно-полемический дискурс «историка» обладает для нас «презумпцией» поэтологической функции, обратимся к анализу отмеченных особенностей работы «историка» с документами в данном аспекте.

Если бы «историк» цитировал пушкинскую запись рассказа Баранова корректно, то ему не пришлось бы полемизировать с Пушкиным по поводу практической целесообразности казней и, как следствие, он избежал бы, по крайней мере, абсурдного мата самому себе в самом конце своего «дискурса». В самом деле, упоминание о «трех полках», по-видимому, снимает вопрос о причине подавления бунта.

Но дело в том, что в основном тексте «Истории Пугачева» также не содержится указания на эти «полки». А указанное замечание Дмитриева, приведенное Пушкиным в качестве комментария к данному эпизоду «Истории Пугачева», подчеркивает практическую нецелесообразность произведенных казней. То есть «историк» в своей цитате примечания 76 из издания Ефремова почти буквально повторил пушкинскую передачу данного эпизода державинской карьеры, как она представлена в основном тексте «Истории Пугачева».

Итак, научно-полемический дискурс «историка», спроецированный в поэтологический план, почти по пунктам обнажает авторскую позицию в «Истории Пугачева» в вопросе о причинах усмирения бунта: как и Пушкин, Ходасевич-поэтолог отвергает упоминание о «трех полках»; затем он указывает на солидарность Пушкина с Дмитриевым по поводу практической нецелесообразности казней, произведенных по приказу Державина.

Без обсуждения покамест остается только один пункт – угрожающий крик Державина («прикрикнул»). Он является ключевым для ответа на искомый вопрос: мог ли Державин выполнять малыковское задание с помощью блефа?

«Историк», цитируя вместо основного текста «Истории Пугачева» его источник, соответственно, пропускает указание Пушкина (в Пятой главе) на крик Державина. Ведь, согласно Баранову, Державин отнюдь не кричал на зачинщиков бунта. Употребленный в поэтологической функции, этот пропуск означает, что обсуждаемая формулировка словесного жеста Державина, представленная в «Истории Пугачева», – он «строго на них прикрикнул», – принадлежит только Пушкину и притом является единственной мотивировкой успешного исхода предпринятой Державиным операции.

Итак, следуя указаниям Ходасевича-поэтолога, мы приходим к выводу, что, по Пушкину, по крайней мере, иногда Державину доводилось «прикры-



вать Волгу со стороны Пензы и Саратова» буквально только своим словом. Устраняя вслед за Пушкиным упоминание о «трех полках», Ходасевич указывает, что тот стремился подчеркнуть этот парадокс посредством элиминирования содержательной части крика Державина и вытекающим отсюда акцентированием его формальной характеристики – интонации угрозы. В конце концов, не важно, чем именно Державин мог испугать крестьян, да хотя бы теми же «тремя полками». Все равно в данной ситуации ему оставалось только блефовать, иначе он был бы просто поглощен вместе с «двумя казаками» «набежавшей волной» разбушевавшейся толпы.

Итак, Ходасевич обнажает прием качественной «невязки» между словом как средством и практическим результатом, который использовал Пушкин в малыковском эпизоде «Истории Пугачева». По Ходасевичу, пушкинская ирония имеет своим источником утверждение Державина в «Записках», что именно его блеф по поводу «астраханских гусар» испугал Пугачева и заставил отказаться от намерения двинуть свое войско от Оренбурга в сторону «Пензы и Саратова». Ходасевич выразил свое несогласие с пушкинским изображением самовлюбленного и тщеславного Державина-человека.

Однако, по Ходасевичу, названные качества являются не единственными чертами биографической личности Державина, которые затронули пародийную жилку Пушкина при знакомстве с малыковским эпизодом военной карьеры поэта. Ниже этот вопрос будет обсуждаться в связи с решением другой проблемы, поставленной в статье Ходасевича: как соотносится биографическая личность Державина с его литературной личностью? Другими словами, существует ли между ними прямая связь, и биографический Державин жил по законам созданной им художественной действительности, либо этой связи не существует, и каждая из этих личностей живет по законам той действительности, к которой принадлежит? Что думал по этому поводу сам Державин и что Пушкин? И как к их взглядам относится концепция Ходасевича?

## *2.8. Полемика Ходасевича с пушкинской концепцией жизнетворческого поведения Державина*

**2.8.1. Пушкинская концепция житнетворческого поведения Державина.** Державин полагал, что его биографическая личность отличается от личности литературной, поскольку в стихах он допускал мысли, которых не думал на самом деле. Эта установка отчетливо выражена в концовке стихотворения «Храповицкому» (1797):

За слова – меня пусть гложет,  
За дела – сатирик чтит

(Державин 2002: 291).

Речь идет о лестях по отношению к Потемкину и Зубову.

По свидетельству Гоголя, Пушкин возразил по поводу такого подхода к поэтическому творчеству: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела» (Гоголь 1994 VI: 19).

Гоголь трактует это замечание Пушкина как безусловную необходимость для поэта избегать в своем творчестве «неискренности», «необдуманности» и «поспешной торопливости» (Гоголь 1994 VI: 19). Несоблюдение этих условий может привести к дискредитации в глазах читателя биографической личности писателя. Гоголь показывает это на примере Державина: «Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их <оды> во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял» (Гоголь 1994 VI: 20).

Для нас особенно актуально в трактовке Гоголя, что в пушкинском замечании по поводу упомянутых стихов Державина, по крайней мере, может содержаться требование для поэта сохранять самоидентификацию своей биографической личности в творчестве, другими словами, не отделять биографической личности от личности литературной, сохранять их единство. Фактически это означает требование жизнетворческого поведения поэта.

Изображая малыковские действия Державина, Пушкин, по-видимому, поступает в соответствии со смыслом, заложенным, по Гоголю, в его замечании: он ставит их в прямую зависимость от поэтических идеалов реального прототипа своего героя. Точнее говоря, эти действия представлены как буквальная реализация воинственной и грозной, как принято считать, поэзии Державина.

Это впечатление находит свое обоснование в том факте, что Пушкин использовал как конструктивный прием упомянутое замечание Дмитриева, согласно которому карательные действия Державина напрямую связаны с идейным содержанием его поэзии<sup>261</sup>. Получается, что Державин как герой «Истории Пугачева» казнит именно потому, что является поэтом.

В примечании 2 к главе Пятой «Истории Пугачева» Пушкин сделал косвенное указание на конкретные державинские тексты, послужившие основанием для его жизнетворческой концепции. Здесь он ссылается на собственное свидетельство Державина о деятельности во время пугачевщины, содержащееся в «Объяснении» к стихотворению «Мой истукан»: «Державин, в объяснениях на свои сочинения, говорит, что он имел счастье освободить около полуторы тысячи пленных колонистов от киргизов» (Пушкин 1994- IX: 110).

В этих текстах, стихотворном и прозаическом, выясняется отношение Державина к убийству как таковому. И Пушкин как бы приглашает читателя убедиться, что взгляды на этот феномен Державина-поэта и Державина-человека идентичны и одинаково жестоки.

В самом деле, в стихотворном тексте поэт, размышляя о деяниях, которые могли бы сделать его достойным изваяния, высеченного скульпто-

---

<sup>261</sup> «И.И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости» (Пушкин 1994- IX: 373).

ром Рашеттом, казалось бы, отвращается от убийств. Однако под последними он понимает только действия, направленные на завоевание русского государства либо на свержение монархической власти. Этот вывод следует из приводимых Державиным примеров «типичных» убийц – Батыя и Марата:

... Но ты, о зверских лиц забава!  
Убийство! – я не льщусь тобой.  
Батыев и Маратов слава  
Во ужас дух приводят мой;  
Не лучше ли мне быть забвенну,  
Чем узами сковать вселенну?

(Державин 2002: 195).

С другой стороны, поэт прославляет агрессивную и захватническую политику русского правительства, предполагающую массовые убийства:

Я рад отечества блаженству:  
Дай больше небо таковых,  
Русской силы к совершенству,  
Сынов ей верных и прямых!  
Определения судьбины  
Тогда исполнятся во всем;  
Доступим мира мы середины,  
С Гангеса злато соберем;  
Гордыню усмирим Китая,  
Как кедр, наш корень утверждая

(Державин 2002: 200).

В объяснении к 7-9 стихам этой строфы, которое Пушкин читал в редакции Ф.П. Львова<sup>262</sup>, Державин пишет: «Императрица один раз объяснилась при Авторе, что не желала бы Она умереть прежде нежели выгонит Турок из Европы, то есть, пока не достигнет мира середины, не учредит торгова с Индиею, или с Гангеса не соберет золота и не усмирит гордыню Китая» (Львов 1834 I: 39).

Пушкин указывает на аналогичное противоречие в отношении Державина к убийству, процитировав в упомянутом примечании 2 к главе Пятой его объяснение по поводу сугубо «миротворческой» деятельности в эпоху пугачевщины и поместив в основном тексте «Истории Пугачева» сразу вслед за предложением, к которому относится данное примечание, эпизод с казнями.

Вот как выглядит ближайший контекст цитаты Пушкина в «Объяснениях» Державина (в редакции Ф.П. Львова):

«Хотя б я с пленных снял железы,  
Закон и правду сохранил,

---

<sup>262</sup> «Объяснения» Державина в полном виде впервые были опубликованы Я.К. Гротом в третьем томе академического собрания сочинений поэта (1864-1883). Пушкин имел представление об этом тексте Державина по упомянутому выше «Ключу...» Остолопова и прежде всего по изданию Ф.П. Львова (см.: Львов 1834).

Отер сиротски, вдовьи слезы,  
Невинных оправдатель был,  
Орган Монарших благ и мира...

Автор имел счастье утвердить стихи сии событиями, поелику освободил около полуторы тысячи человек пленных колонистов от Киргизов; потом, служа Сенатором, старался по силам своим давать истинную цену слезам вдов и сирот, что по голосам его в делах известно. При торжестве последнего тогда с Турками мира, он читал у трона объявление об оном и о награждении отличившихся в заслугах, а потому и был органом благ и мира» (Львов 1834 I: 38-39).

Таким образом, Державин не упоминает о своих карательных мероприятиях, по-видимому, не считая их препятствием для самопрезентации в качестве «органа благ и мира». По-видимому, ему даже в голову не приходило считать «злодейством» совершенные им смертные казни. С его точки зрения, они были справедливы, поскольку были вызваны необходимостью наказать преступников и усмирить бунт, угрожающий существованию российского государства<sup>263</sup>.

Для Пушкина, положившего в основание своего поэтического «Памятника» не державинскую «истину»<sup>264</sup>, а «милость к падшим», точка зрения, оправдывающая смертную казнь и правительственные репрессии, была неприемлема.

Таким образом, поведение Державина в малыковском эпизоде «Истории Пугачева» представлено как жизнетворческое: герой в своих поступках руководствуется не объективными законами реальной действительности, а субъективными законами действительности художественной.

Ввиду отмеченной буквальности реализации поэтических «бранных» идей Державина возникает комический эффект, основанный на упомянутой выше «невязке» между средством и результатом: «слово» Державина стало его «делом», когда, как было показано выше, с помощью блефа он прикрыл-таки Волгу «со стороны Пензы и Саратова». «Богатырские» подвиги пушкинского героя соответствуют гиперболичности поэтического стиля Державина.

Однако этот эффект существует наряду с трагическим аспектом реализации антигуманных поэтических смыслов. На примере повешенных Державиным людей Пушкин показывает, какой ужасающий результат могут иметь непродуманные и безответственные призывы к наси-

---

<sup>263</sup> В полном тексте «Объяснений», который Пушкин, скорее всего, не знал, Державин именно в таком смысле говорит о совершенных им казнях: «Автор не хотел уподобляться всем таковым злодействами прославившимся людям <то есть Батью и Марату – В.Ч.>, имея к тому случай в возмущении злодейском, когда имели к нему большую доверенность, что он мог, один будучи, *делать преступникам казни* <курсив наш – В.Ч.> и набирать войско, так что, набрав 700 человек в Малуковке <...> освободил колонии от расхищения киргизцев и доказал тем возможность иметь на своей стороне многих сообщников, тем паче когда видел к себе их приверженность, что они, *несмотря на строгое наказание преступивших свою присягу, в рассуждении своей верности к императрицы* <курсив наш – В.Ч.>, были к нему так привязаны, что он все бы мог из них сделать...» и т.д. (Державин 2002: 594).

<sup>264</sup> См. стихотворение Державина «Памятник» (1796), с поэтической концепцией которого, как известно, Пушкин полемицировал в своем стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

лию, выраженные в блестящей, и потому еще более убедительной, поэтической форме<sup>265</sup>.

Таким образом, Пушкин подвергает ироническому снижению жестокий и негуманный, с его точки зрения, смысл, заложенный в поэзии Державина. При этом биографическая и литературная личность поэта представлены, в обсуждаемом аспекте, в единстве и равным образом трагестированы.

Ходасевич указал на данный аспект пушкинской концепции личности Державина, когда оспорил, по его мнению, принятую тем точку зрения Дмитриева.

В своем антипушкинском дискурсе он стремится опровергнуть не только обвинение в жестокости, выдвинутое Державину, но и концепцию его поведения как жизнетворческого. Для этой цели он дезавуирует как неубедительное указанное основание пушкинской жизнетворческой концепции, а именно – традиционные представления о поэзии Державина как «грозной и воинственной», а о самой литературной личности поэта как о «бранном певце»<sup>266</sup>.

**2.8.2. Полемика Ходасевича с традиционным взглядом на поэзию Державина как «бранную» и «воинственную» в статьях «Прежде и теперь» и «Война и поэзия».** Ходасевич мог иметь в виду, что Пушкин, представляя в «Истории Пугачева» действия Державина как жестокие, исходил из общего распространенного представления о поэзии Державина как «грозной и воинственной», а о самой литературной личности поэта как о «бранном певце».

Это представление отразилось, например, в отзыве Екатерины по поводу оды «На взятие Измаила» (1790). Вот как Державин передает это событие в своих «Записках»: «Государыня, увидев его при дворе в первый раз по напечатании сего сочинения, подошла к нему и с усмешкою сказала: „Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна“» (Державин 2000: 130).

Отношение Ходасевича к данному «рупору общественного мнения» видно хотя бы из намека, сделанного им в соответствующем эпизоде биографии «Державин», что это мнение не следует воспринимать серьезно: императрица лишь льстила поэту (Ходасевич 1988: 143). В общем контексте биографии это означает, что она, скорее всего, попросту не поняла настоящего смысла державинского стихотворения, как это случилось с ней,

---

<sup>265</sup> В целом, поэзия Державина оценивается Пушкиным в «Истории Пугачева» весьма высоко. Он не один раз напоминает читателю о поэтических достижениях Державина, тематически относящихся к эпохе пугачевщины. Например, цитирует последнюю строфу из оды «На смерть Бибикова», первая редакция которой датируется апрелем 1774 года, с весьма высокой оценкой: «Последняя строфа должна быть вырезана на его <Бибикова> гробе...» (Пушкин 1994- IX: 112). Тут же полностью приводится некролог, посвященный Державиным Бибикову.

<sup>266</sup> Эта формулировка традиционного представления о литературной личности Державина принадлежит Ходасевичу. См. его заметку «Прежде и теперь», впервые опубликованную в газете «Возрождение» 23 июля 1933 года, в издании: Ходасевич 1991: 143.

например, когда она разгневалась по поводу померещившегося ей в оде «На взятие Варшавы» вольнодумства<sup>267</sup>, которого там и в помине не было.

Ходасевич развенчивал указанное традиционное представление о поэзии Державина в специальных статьях: упомянутой «Прежде и теперь» и «Война и поэзия» (1938).

Особенно характерна в этом смысле последняя из названных статей. В ней критик назвал Державина единственным из всех русских поэтов, кто «осудил войну прямо и без обиняков» (Ходасевич 21.10.1938). То обстоятельство, что Державин прославлял в своих одах «русских воинов и их вождей» и, в частности, воспел взятие Измаила, критик объясняет государственным пафосом его поэзии: «... он славил их <воинов и вождей> как певец российского великодержавия», а взятие Измаила мыслилось им как «победа над общим „супостатом“» России и Европы. К самой же войне Державин относился негативно и «ставил себе в заслугу, что „проповедовал мир миру“» (Ходасевич 21.10.1938). В качестве примера такой «проповеди» Ходасевич приводит следующую цитату как раз из той самой оды, которую Екатерина восприняла как сугубо воинственную, – «На взятие Измаила»:

Война, как северно сиянье,  
Лишь удивляет чернь одну;  
Как светлой радуги блистанье,  
Всяк мудрый любит тишину.

Ходасевич подчеркивает, что в реальности бой, которым сопровождалось взятие Измаила, был «одним из самых кровопролитных, какие дотоле знала военная история» (Ходасевич 21.10.1938). Другими словами, более подходящего оселка для проверки идейного содержания поэзии Державина на «жестокость» – не найти, и эта проверка такого пафоса не обнаружила.

С Державиным сопоставляется Лермонтов как автор знаменитых антивоенных стихов из «Валерика»:

Я думал: Жалкий человек.  
Чего он хочет!.. небо ясно,  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он – зачем?

Ходасевич педалирует обстоятельства создания этих стихов. Если «воинственное» «Бородино» сочинял Лермонтов, «еще не понюхавший пороха», то «Валерик» он написал «тотчас после сражения при Валерике, отличившись в бою и будучи представлен к награде» (Ходасевич 21.10.1938). В общем контексте статьи, предполагающем сопоставление Лермонтова и Державина, данное указание на обстоятельства создания лермонтовского стихотворения является автореминисценцией того эпизода биографии «Державин», где речь идет об истории создания «Читалагай-

---

<sup>267</sup> Этот эпизод биографии см.: Ходасевич 1988: 152.

ских од»: Державин также писал их сразу же после завершения боевых действий в эпоху пугачевщины.

Судя по общему контексту стихотворений Лермонтова, темой которых служили военные действия русской армии на Кавказе, поэт понимал историческую необходимость присоединения этих территорий к России. Однако его весьма волновал трагизм противоречия между этой необходимостью и методами, с помощью которых оно осуществлялось (Пульхритудова 1981: 78). В частности, в стихотворении «Валерик», цитированные стихи непосредственно связаны со сценой смерти капитана, выделенной на фоне ужасающих результатов резни как наиболее характерный их пример. Кажется, впервые в русской литературе Лермонтов столь отчетливо ставит вопрос, впоследствии акцентированный Достоевским: стоит ли все завоевание Кавказа, пусть и исторически необходимое, смерти хотя бы *одного* человека? Гуманистический, общечеловеческий аспект этого вопроса акцентируется одинаково сочувственным отношением лирического героя к жертвам резни со стороны горцев: их кровь, так же как и русская, сделала воду ручья «теплой» и «красной»: «... Резались жестоко, / Как звери, молча, с грудью грудь, / Ручей телами запрудили. / Хотел воды я зачерпнуть... / <...> / ... но мутная волна / Была тепла, была красна» (Лермонтов 1988 I: 204).

Очевидно, что сопоставлением стихотворений «На взятие Измаила» и «Валерик» Ходасевич стремился педалировать в державинском подходе к ужасной цене, которую приходится платить за войну, пусть даже и справедливую, именно данный общечеловеческий аспект.

По Ходасевичу, такой подход Державина имеет своим источником его религиозные убеждения, впервые особенно ярко сказавшиеся в экклезиастовом дискурсе «Читалагайских од». Этот тезис критика скрыт в стыке этих од и «Валерика», произведенным им в статье «Война и поэзия» посредством указания на аналогичные обстоятельства создания этих текстов, а в биографии «Державин» – посредством педалирования в оде «На смерть Бибикова», вошедшей в цикл, мотива скорби по поводу смерти *человека*, якобы не могущей быть оправданной достижениями *полководца*<sup>268</sup>. Таким образом, Ходасевич также указывает на возможный литературный первоисточник упомянутой лермонтовской переоценки ценности жизни *одного* человека в сопоставлении с военно-политическими интересами империи. Получается, что через поэзию Державина Лермонтов воспринял и творчески развил данную, христианскую по своей сути, проблему<sup>269</sup>.

Нужно сказать, что в последовательно проводимую Ходасевичем аналогию между мирными установками Лермонтова и Державина также

---

<sup>268</sup> О работе Ходасевича с текстом оды «На смерть Бибикова» смотреть ниже.

<sup>269</sup> Ходасевич также сопоставлял позиции Державина и Лермонтова в более широком религиозно-идеологическом плане в статье «Фрагменты о Лермонтове» (1914). Бытийственной позиции этих поэтов критик противопоставлял сугубо «земной», условно говоря, «безрелигиозный» взгляд Пушкина на цели и задачи поэтического творчества (см.: Ходасевич 1996- I: 438-448). См. также обсуждение отдельных положений статьи в «Заключении» к нашей работе. Вопрос о противопоставлении в статьях Ходасевича «Война и поэзия» и «Прежде и теперь» пацифистских позиций Державина и Лермонтова по отношению к провоенным взглядам Пушкина будет обсуждаться в следующем параграфе.

вписывается упомянутая ода последнего «На взятие Варшавы» (1794). Это наблюдение основано на интерпретации Ходасевичем этого стихотворения, посвященного прославлению подвигов русских войск под руководством Суворова в Польше, как неискреннего. В соответствующем эпизоде биографии «Державин» писатель говорит, что его нарочито «одическая», затрудненная, форма, призванная «выражать бурный прилив чувств», «чаще выражала обратное» (Ходасевич 1988: 152). Призыв прекратить захват Польши, вычитанный Екатериной из стихотворения, якобы входил в расчеты Державина. Отсюда следует, что, по Ходасевичу, и в «Валерике», и в оде «На взятие Варшавы» отразилось одинаково негативное отношение поэтов к колонизаторской политике царского правительства и, соответственно, сочувствие к покоряемым народам.

Здесь особенно заметна концептуальная точка зрения Ходасевича, так как, с одной стороны, он проигнорировал собственное признание Державина в сугубой искренности выраженного в оде «На взятие Варшавы» восторга. «В том году скончалась первая жена Автора, – пишет поэт в объяснении, – и он, несмотря на печаль свою, восхищен быв победами Суворова, писал в похвалу ему сию оду» (Державин 2002: 596-597). С другой стороны, он игнорирует отмеченное выше понимание Лермонтовым исторической необходимости присоединения Кавказа к России, выраженное, например, в балладе «Спор» (1841) или в поэме «Мцыри» (1839)<sup>270</sup>.

В концовке статьи Ходасевич сопоставляет антивоенные стихи «Валерика» с явно контрастными мыслями по тому же поводу биографического Лермонтова. В частности, он цитирует письмо Лермонтова к А.А. Лопухину от 12 сентября 1840 года: «Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными» (цит. по: Ходасевич 21.10.1938). По Ходасевичу, то обстоятельство, что в этом письме Лермонтов «даже не намекает» на мысли, высказанные в стихотворной форме, совсем не опровергает искренности того, что высказано в «Валерике». Это лишь значит, что мысль «Валерика» принадлежала к числу тех дорогих и сокровенных, которые «поэты готовы выразить стихами всему миру, но в разговоре или письме – никому» (Ходасевич 21.10.1938). То есть, отмеченный контраст означает, что в жизни Лермонтов руководствовался законами реальности. Например, в данном письме говорил о своем самочувствии так, чтобы не огорчать любимую женщину, – Вареньку, сестру Лопухина; на войне – был храбрым офицером и выполнял все возложенные на него поручения. В творчестве же он предельно искренно говорил о том, что думал на самом деле, то есть следовал фундаментальному, с точки зрения Ходасевича, закону истинной поэзии. Другими словами, литературная и биографическая личности Лермонтова не совпадают. Но это не означает, что биографическая личность «хуже» литературной. Она ей вполне адекватна.

---

<sup>270</sup> Имеются в виду следующие стихи из поэмы: «И божья благодать сошла / На Грузию! она цвела / С тех пор в тени своих садов, / Не опасая врагов, / За гранью дружеских штыков» (Лермонтов 1988 I: 595).



Все только что сказанное о соотношении литературной и биографической личности Лермонтова, по логике статьи Ходасевича, относится и к Державину. Тем самым опровергается исходный тезис Дмитриева о жизне-творческом поведении Державина в эпизоде усмирения бунта, принятый, как было показано выше, с точки зрения Ходасевича, и Пушкиным.

В статье «Прежде и теперь» Ходасевич особенно ярко акцентирует мысль, что антитурецкая направленность творчества Державина и, в частности, оды «На взятие Измаила», объясняется не узко националистическими настроениями поэта, а, наоборот, его представлениями об общеевропейской пользе: «Державин глубоко усвоил взгляд на Россию как естественную защитницу Европы от т у р е ц к о й о п а с н о с т и». «Екатерининских полководцев он славил по чувству не только русского, но и европейского патриотизма» (Ходасевич 1991: 143). В этой связи Ходасевич цитирует авторское указание на реальный источник упомянутой стихотворной проповеди мира из оды «На взятие Измаила»: «Генрих IV и многие другие великие люди желали всеобщий в Европе мир утвердить; на сей системе и поныне у многих голова вертится» (цит. по: Ходасевич 1991: 143). То есть Ходасевич указывает, что сам Державин руководствовался в своей пацифистской проповеди примером этого французского короля, являвшегося автором проекта по созданию федерации европейских государств с целью изгнания турок из Европы.

Кроме того, Ходасевич упоминает в числе сочинений, вероятно известных Державину и стимулировавших его пацифистское мировоззрение, «Проект вечного мира» аббата де Сен-Пьера. Критик имеет в виду, что поэту, судя по идейным установкам, отразившимся в его творчестве, должны были быть близки сугубо мирные средства, предлагаемые французским просветителем для достижения искомой цели проекта. Тем более, что, по крайней мере, в общих чертах проекты Сен-Пьера и Генриха IV совпадали: и тот, и другой предусматривали создание на добровольных началах международной организации, которая регулировала бы возникающие распри между европейскими государствами.

Чтобы оттенить последовательность и искренность пацифистских убеждений Державина, Ходасевич упоминает более практичные, но и зато противоречивые позиции других известных «борцов за мир», – Жан-Жака Руссо и Вольтера как критиков-антагонистов проекта Сен-Пьера; Ломоносова как автора пацифистских стихов из поэмы «Петр Великий» (1761); государственных участников Женевской конференции по разоружению (1931-1935 гг.).

Судя по формулировке Ходасевича, можно заключить, что Руссо был восторженным почитателем проекта Сен-Пьера, а Вольтер, наоборот, его отрицателем: «Этой книгой увлекался Руссо, Вольтер находил ее вздорной» (Ходасевич 1991: 143).

На самом деле, как показал М.П. Алексеев в своей статье «Пушкин и проблема „вечного мира“» (см.: Алексеев 1972), данный антагонизм представляется мнимым: и тот, и другой критиковали Сен-Пьера за прекраснодушие, оторванность от действительности; и тот, и другой видели главное

препятствие в реализации проекта «вечного мира» в личном эгоизме монархов, сроемся с эгоизмом государственным: они не верили, что государи добровольно пойдут на создание международной организации, которая ограничивала бы их право ведения войны. Различие в их позициях обнаруживается только в способе преодоления этого препятствия, но и в этом случае, если судить с исторической точки зрения, различие оказывается мнимым. Руссо открыто призывал к свержению существующей государственной власти. Вольтер исподволь разьедал своей едкой иронией ее авторитет, без которого она, как показали события французской революции 1789 года, не может существовать. В конце концов, противоречивость их пацифистской проповеди реализовалась в такой кровавой бойне, какую история еще не знала.

Позиции Ломоносова и участников Женевской конференции обнаруживают свое противоречие с обратной стороны: они считают, что чем прочнее государственная власть, тем реальнее осуществление проекта «вечного мира». Вот как пишет об этом Ходасевич, характеризуя ломоносовскую точку зрения в сопоставлении с пацифистскими убеждениями Державина: «Если сентиментальный пацифизм Державина приводил его к мыслям о разоружении, то совершенно иначе окрашен был пацифизм ломоносовский, столь же несомненный, но искавший разрешения вопроса в ином направлении – в системе вооруженного мира, в том страхе, который державы должны внушать друг другу. Потому-то и настаивает Ломоносов на том, что „Монархам надлежит оружие готовить“. Его афористический стих:

Не может свет стоять без сильных вооружений –  
можно было бы посвятить Женевской конференции» (Ходасевич 1991: 143).

Говоря о «несомненности» пацифизма Ломоносова, Ходасевич, конечно, имеет в виду упомянутые стихи из поэмы «Петр Великий» по своей мысли напоминающие, как заметил Г.А. Гуковский, «знаменитые стихи в „Валерике“ Лермонтова»<sup>271</sup> (Гуковский 1999: 94). То есть и тот, и другой поэт одинаково сочувствовали «падшим», призывали к милосердию. В этом смысле Ломоносов, как и Лермонтов, сопоставляется с Державиным.

Однако Ломоносов, в конце концов, оправдал человеческие жертвы войны государственными интересами России<sup>272</sup>. Этим и вызвано ироническое сопоставление ломоносовского «афоризма» на данную тему из поэмы «Петр Великий» и «мирных» проектов участников женевской конференции, предусматривавших разоружение других стран и усиление собственной военной мощи.

---

<sup>271</sup> Вот эти стихи: «О смертные, на что вы смертию спешите? / Что прежде времени вы друг друга губите? / Или ко гробу нет кроме войны путей? / Везде нас тянет рок насильством злых когтей! / <...> / Еще ли ты <человек> войной, еще ль не утомился / И сам против себя вовек вооружился?» (Ломоносов 1986: 308-309).

<sup>272</sup> См. продолжение только что цитированных стихов: «Но оправдал тебя <человека> военным делом Петр. / Усерд к наукам был, миролюбив и щедр, / Притом и меч простер и на море и в поле. / Сомнительно, чем он, войной иль миром боле. / Другие в чести храм рвались чрез ту вступить, / Но ею он желал Россию просветить. / Когда без оныя не ввел к нам просвещений, / Не может свет стоять без сильных вооружений. / На устьях Невы его военный звук / Сооружал сей град, воздвигнул Храм наук; / И зданый красота, что ныне возрастает, / В оружии свое начало признает» (Ломоносов 1986: 309).

Таким образом, Ходасевич показывает, что пацифистские взгляды Державина нереалистичны, поскольку принадлежат области высокой поэзии, миру платоновских идей. И в этом их оправдание. Ведь всякая реализация пацифистских идей в чистом виде развязывает войну и революцию. Поэтому поэтические идеи Державина не только не «жестоки», они гораздо человечнее многих, признанных таковыми, идей прославленных «друзей человечества».

**2.8.3. Полемика Ходасевича с Пушкиным по поводу традиционного представления о поэзии Державина как «бранной» и «воинственной».** Есть основание считать, что Ходасевич в данных статьях полемизировал прежде всего с Пушкиным, разделявшим, как было показано выше, указанное традиционное представление о поэзии Державина. Присутствие пушкинской концепции угадывается в негативном плане.

В самом деле, когда читаешь статьи, прежде всего бросается в глаза тот факт, что Пушкин даже не упоминается в числе русских поэтов, осудивших войну. Это заставляет присмотреться к ходасевичевскому сопоставлению мирных установок Державина, Лермонтова и Ломоносова в новом аспекте: что в этих установках есть такого, чего нет у Пушкина? другими словами, почему поэтическая и биографическая позиция Пушкина не заслужила приобщения к ряду поэтов-миролюбцев? А как же ставшие хрестоматийными «милость к падшим» и «не приведи Бог видеть русский бунт...»? В таком свете игнорирование имени Пушкина представляется сознательным приемом.

Кроме того, отсюда следует еще один важный вопрос: если Ходасевич сознательно противопоставлял позиции поэтов-миролюбцев и Пушкина, то какую функцию в данной антитезе выполняют взгляды Руссо, Вольтера и участников Женевской конференции? А priori покамест ясно одно: взгляды этих «борцов за мир» должны в чем-то совпадать с мнениями Пушкина. Иначе их очевидная контрастность с последовательно пацифистскими убеждениями Державина и Лермонтова (у Ломоносова здесь, как мы показали, особое положение) – не понятна.

Итак, сначала посмотрим, какие общие мотивы мы выяснили в ходе сопоставительного анализа поэзии Державина и Лермонтова, Державина и Ломоносова в концепции Ходасевича, а затем попытаемся найти их «теневой», или негативный аспект в поэзии Пушкина. Функциональная роль указанных возможных союзников Пушкина будет выясняться в процессе исследования.

По Ходасевичу, в своей поэзии Державин и Лермонтов проповедовали «мир миру». При этом они исходили из общечеловеческой, вариант – христианской, общеевропейской точки зрения на проблему войны: жизнь всех людей для них бесценна, без различия национальностей и вероисповедания, принадлежности к дружественной или вражеской армии. Им дорог каждый отдельный человек: победные результаты всех войн не могут искупить его гибели. Они осуждают захватническую политику царского правительства и выражают сочувствие к покоряемым народам. При этом

их пацифистские идеи носят не умозрительный характер, а являются результатом тяжелого боевого опыта.

С другой стороны, они понимают, что их задушевные мысли носят надмирный характер, что их реализация немислима. Если говорить об утилитарной пользе этих мыслей, то, думается, к ним уместно применить по аналогии парадокс, обычно относимый к христианским идеям: к ним можно только приближаться, но никогда нельзя терять их из виду. В жизни эти поэты руководствуются ее законами, например, не пишут в письмах то, что затем выражают в стихах. Другими словами, они не культивируют жизнетворческое поведение.

Теперь мы попытаемся доказать следующий тезис: все только что сформулированные выводы, только со знаком «минус», относятся к Пушкину как автору таких революционных произведений, как прозаическая заметка «О вечном мире», стихотворения «Кинжал», «Война» и «Генералу Пущину», а также эпилога к поэме «Кавказский пленник», в котором прославляется завоевательная война России на Кавказе (все эти произведения были созданы в 1821 году); реакционных, но таких же радикальных антипольских стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» (то и другое написано в 1831 году); наконец, поэмы «Полтава» (1828) с ее знаменитыми батальными сценами.

На революционно-радикальные настроения, которые переживал Пушкин в 1821 году в период кишиневской ссылки, в статье Ходасевича «Война и поэзия» указывает педалирование контраста между боевым опытом Державина, соответственно, Лермонтова, и их проповедью мира. Этот же контраст, только в зеркальном преломлении, присутствует как раз в том эпизоде биографии Пушкина, когда он, «мальчишка, не выигравший никакой победы»<sup>273</sup>, звал к революции и к войне. Имеются в виду споры на кишиневской квартире М.Ф. Орлова в октябре-ноябре 1821 года, в которых Пушкин принимал активное участие. Эти споры отразились в упомянутой заметке «О вечном мире».

В статье Ходасевича «Прежде и теперь» на обсуждаемый эпизод биографии Пушкина указывает ссылка на тот самый критический трактат Руссо – «Суждение относительно проекта о вечном мире», основные идеи которого послужили предметом обсуждения в заметке Пушкина.

Как показал М.П. Алексеев, Пушкин полностью разделял, по крайней мере, в тот период, революционные убеждения Руссо<sup>274</sup>. В Советском Союзе 1930-х гг. (и несколько десятилетий позже) бытовала авторитетная точка зрения Б.В. Томашевского, согласно которой Пушкин оказывался даже, так сказать, «более революционером, чем сам отец всех революций»<sup>275</sup>. Видимо, общеизвестные вольтерьянские убеждения Пушкина не помешали ему в тот момент увлечься радикальными идеями Руссо.

---

<sup>273</sup> Так однажды назвал Пушкина опытный боевой генерал М.Ф. Орлов (Лотман 1995: 77).

<sup>274</sup> См. особенно страницу 181 в издании: Алексеев 1972.

<sup>275</sup> См. обсуждение комментария Томашевского к заметке Пушкина «О вечном мире» в указанной работе Алексеева: Алексеев 1972: 179-181.

Таким образом, Ходасевич через Руссо отсылает к Пушкину. Отношение к книге Сен-Пьера служит оселком взглядов на войну, с одной стороны, Державина и, с другой, Пушкина. Эти взгляды оказываются контрастны: у первого – пацифистские, у второго – провоенные.

В статье «Книги и люди: „Русские вольные каменщики“» (1934) Ходасевич, в рамках обсуждения политической деятельности русских масонских лож XVIII-начала XIX вв., прямо указывает на революционно-радикальные (по его словам, «карбонарские»<sup>276</sup> (Ходасевич 23.08.1934)) настроения, которые испытывал Пушкин в данный период как член кишиневской ложи «Овидий»<sup>277</sup>. При этом критик полностью цитирует стихотворение «Генералу Пущину», в котором поэт призывает адресата своего послания, основателя ложи генерала П.С. Пущина, возглавить восстание против тирании, в масонско-карбонарском понимании этого слова<sup>278</sup>.

В связи с вышесказанным также характерно, что в это время, как известно, Пушкин всерьез намеревался принять участие в греческом национально-освободительном восстании. Из его письма брату от 30 января 1823 года известно, что это настроение отразилось в стихотворении «Война», написанном 29 ноября 1821 г. и напечатанном в «Полярной звезде» за 1823 г. под названием «Мечта война» (Томашевский 1990а I: 389). В стихотворении «Кинжал» поэт, прославляя самых известных радикалов и их

---

<sup>276</sup> Имеется в виду радикальная политическая деятельность европейских карбонарских организаций, достигшая пика своей активности в 1820-е гг.. По словам консервативного автора статьи «Карбонарии» из энциклопедии Брокгауза и Ефрона (подписавшегося как *В. ий.*): «Как борцы за свободу и национальную независимость Италии, К.<арбонарии> были главными виновниками неаполит.<анской> революции 1820 г., беспорядков в Папской Области в том же году и пьемонтской революции 1821 г.» (Брокгауз и Ефрон 2003). Столь же активны были французские карбонарии: «Политическая роль К.<арбонариев> в эпоху Реставрации не подлежит сомнению. Ложи карбонариев были очагом оппозиции против Бурбонов. В их ряды стали такие представители либеральной партии, как Лафайет, сделавшийся главой общества, Корселль, Мерилу, Жак-Кёхлин, де Шуан, Арнольд Шеффер, Барт и др.. <...> Политич. значения К. <арбонарии> не лишились и после не удавшихся им революционных попыток в 1821 г. в Бельфоре, Ларошели, Сомюре, стоивших им многих жертв. Июльская революция встретила со стороны К.<арбонариев> деятельную поддержку» (Брокгауз и Ефрон 2003). Для нас важно отметить проводимую *В. ий.* аналогию между карбонариями и масонами (и те и другие «окружали свои собрания большою таинственностью, создали целую систему мистических обрядов, выработали особую фразеологию»; во Франции каждая ложа карбонариев имела свое особое название, подобно масонским ложам и т.д.) и особенно тот факт, что карбонарии, будучи антиклерикалами, использовали в своей политической борьбе христианскую символику и выражаемые ею нравственные ценности. Так, выражение «очистить лес от волков» на их языке, по словам *В. ий.*, «значило освободить отечество от тиранов. Символом тирании являлся волк; величайшую жертву ее видели в Христе, символом которого служил агнец. Выражение „мщение волку за угнетение агнца“ сделалось лозунгом общества» (Брокгауз и Ефрон 2003).

<sup>277</sup> Термин «карбонарство» Ходасевич повторяет несколько раз. На наш взгляд, этим акцентированием он устанавливает в созданной им в своих историко-биографических произведениях иерархии писателей структурную связь между фигурой А.С. Пушкина как члена «карбонарской» ложи «Овидий», с одной стороны, и фигурами А.Н. Радищева и его масонского окружения, а также – революционных демократов 1860-х гг. во главе с Н.Г. Чернышевским, с другой. Дело в том, что, как будет показано ниже, Радищев и его масонские друзья и шестидесятники во главе с Чернышевским, по Ходасевичу, так же, как и карбонарии (см. предыдущую сноску), спекулировали на христианских нравственных ценностях ради достижения конкретных политических предпочтений.

<sup>278</sup> «В дыму, в крови, сквозь тучи стрел, / Теперь твоя дорога: / Но ты предвидишь свой удел, / Грядущий наш Квирига! / И скоро, скоро смолкнет брань / Средь рабского народа – / Ты молоток возьмешь во длань / И воззовешь: „свобода!“ / Хвалю тебя, о, верный Брат, / О Каменщик почтенный! / О, Кишинев, о, темный град! / Ликуй, им просвещенный» (цит. по: Ходасевич 23.08.1934).

террористические методы борьбы, фактически призывал к насильственному свержению существующей государственной власти.

Указание на следующий эпизод пушкинской биографии, когда проявились уже не революционные, но такие же радикальные антипольские настроения поэта, содержится, как было показано выше, в акцентировании Ходасевичем в статьях «Война и поэзия», «Прежде и теперь» и в биографии «Державин», во-первых, негативного отношения Державина и Лермонтова к захватническим действиям русских войск; во-вторых, их подхода к проблеме мира с общечеловеческой (общеевропейской) точки зрения; в-третьих, их христианско-гуманистического, милосердного отношения ко всем без исключения, в том числе и к побежденным, участникам войны. Особый нюанс в акцентирование третьего аспекта антагонистических позиций Державина-Лермонтова и Пушкина вносит введение ломоносовского кода.

Кроме того, Ходасевич мог иметь в виду, что в стихотворении «Клеветникам России» содержится удобный повод для очередного сопоставления позиций Державина и Пушкина по вопросу о войне и мире: в нем упоминаются измаильские события. В отличие от Державина, написавшего по этому поводу пацифистские стихи, Пушкин поминает «измаильский штык» «старого богатыря» (Пушкин 1994- III: 270), чтобы припугнуть военной мощью России враждебно настроенных французов, собиравшихся вмешаться в русско-польский конфликт.

Переходим к рассмотрению пушкинской позиции, по Ходасевичу, контрастной по отношению к вышеобозначенной установке Державина и Лермонтова в вопросе войны и мира.

Итак, в отличие от Державина и Лермонтова, Пушкин полностью оправдывал захватнический характер действий русских войск. Об этом, по словам Б.В. Томашевского, «совершенно определенно» (Томашевский 1990а II: 35) говорится уже в эпилоге поэмы «Кавказский пленник». Ниже ученый поясняет свою точку зрения, опираясь на стилистический анализ: «Пушкин обращается к теме политической – к завоеванию Кавказа. Здесь его тон совсем не напоминает элегических стихов самой поэмы. Тон эпилога чисто одический. Здесь присутствуют одические обращения и почти ломоносовские гиперболические сравнения:

О Котляревский, бич Кавказа!  
Куда ни мчался ты грозой –  
Твой ход, как черная зараза,  
Губил, ничтожил племена...

И далее Пушкин воспеваает главного героя покорения Кавказа:

Но се – Восток подьмет вой!..  
Поникни снежною главой,  
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!»

(Томашевский 1990а II: 35).

По Томашевскому, «... политическое содержание эпилога соответствовало подлинным взглядам Пушкина»<sup>279</sup> (Томашевский 1990а II: 35). В этой связи ученый цитирует письмо Пушкина брату от 24 сентября 1820 года: «Кавказский край, знойная граница Азии – любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикае черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои – излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах – и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии» (цит. по: Томашевский 1990а II: 36).

Как видно из этого письма, Пушкин в своих мечтах шел даже дальше Екатерины и Державина, надеясь на осуществление русскими войсками наполеоновского плана по захвату Индии. Те, как мы помним, надеялись только на учреждение торговли с этой страной, или, по словам Державина, «с Гангеса собрать золото» (Львов 1834 I: 39).

Точно также Пушкин оценивал в 1831 г. военные действия русских войск в Польше. В стихотворении «Клеветникам России» он мотивировал эти действия исторической необходимостью единения славян ради их безопасности:

Кто устоит в неравном споре:  
Кичливый лях, иль верный росс?  
Славянские ль ручьи сольются в русском море?  
Оно ль иссякнет? вот вопрос

(Пушкин 1994- III: 269).

Соотнося в ироническом плане «пацифистские» позиции Ломоносова и участников Женевской конференции, Ходасевич скорее всего имел в виду данный «гамлетовский» вопрос Пушкина. В самом деле, получается, что «быть» мир как политическая система и как политическое состояние (в смысле отсутствия войны) может только при условии его однополярного устройства. В частности, насильственное присоединение Польши к России гарантирует сохранение мира (в обоих значениях этого слова) среди славян.

Далее. В отличие от Державина и Лермонтова, которые, по Ходасевичу, подходили к проблеме войны и мира с общечеловеческих (общеев-

---

<sup>279</sup> Известна резко негативная оценка, которую дал князь П.А. Вяземский эпилогу «Кавказского пленника» с либеральных позиций. Он писал А.И. Тургеневу (27 сентября 1822 г.): «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он,

... как черная зараза,  
Губил, ничтожил племена?

От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг – настоящий анахронизм. Досадно и то, что, разумеется, мне даже о том намекнуть нельзя будет в моей статье. Человеколюбие и нравственное чувство мое покажется движением мятежническим и бесовским внушением в глазах наших христолюбивых цензоров» (цит. по: Томашевский 1990а II: 36). Таким образом, в этом письме эпилог «Кавказского пленника» однозначно трактуется как «славословие резни».

ропейских) позиций, в стихотворении «Клеветникам России» Пушкин судит о решении русско-польского конфликта с точки зрения национальных и государственных интересов России. Он утверждает сугубо внутренний характер войны, называя ее «семейной враждой», проявлением «домашнего, старого спора», вмешательство в который третьей стороны не только бесполезно, но и, возможно, приведет к общеевропейской, а то и мировой войне, во всяком случае, только способствует эскалации напряженности.

Эти же мотивы Пушкин развивает в стихотворении «Бородинская годовщина». Однако здесь, по сравнению со стихотворением «Клеветникам России», особенно ярко проявляется враждебное отношение Пушкина к покоренным, «падшим», как он их называет, полякам. О «костях» погибших повстанцев, о «раздавленном бунте» поэт пишет с торжествующей интонацией победителя. По его мнению, они должны быть еще довольны, что остались «невредимы», что русские, например, не сожгли Варшавы в отместку за сожжение Москвы.

Как известно, еще более резко беспощадное отношение Пушкина к восставшим полякам выразилось в письме к Вяземскому от 1 июня 1831 г.: «... их надобно задуть, и наша медленность мучительна» (Пушкин 1994- XIV: 169). Здесь же излагается та же самая мысль о сугубо внутреннем характере русско-польского конфликта, что и в упомянутых стихотворениях. Однако отношение к возможному французскому военному вмешательству далеко не воинственно: поэт опасается общеевропейской войны: «Того и гляди, навяжется на нас Европа» (Пушкин 1994- XIV: 169). Таким образом, литературная личность Пушкина оказывается в некотором отношении даже более воинственной, чем личность биографическая.

Переходим к рассмотрению батальных сцен «Полтавы». На необходимость их анализа Ходасевич указывает посредством введения в статье «Прежде и теперь» ломоносовского кода. На этот раз он приглашает читателя выяснить вопрос: почему с Державиным-пацифистом сопоставляется опять-таки не Пушкин, а Ломоносов как автор поэмы «Петр Великий»? Чего нет в поэме Пушкина, посвященной прославлению военных подвигов Петра, то есть в «Полтаве», по сравнению с поэмой Ломоносова, написанной на ту же тему?

В связи с обсуждаемой темой наиболее характерными, очевидно, являются следующие знаменитые строки, где тела погибших солдат вражеской армии сравниваются с «саранчой»:

Но близок, близок миг победы.  
Ура! мы ломим; гнутся шведы.  
О славный час! о славный вид!  
Еще напор – и враг бежит.  
И следом конница пустилась,  
Убийством тупятся мечи,  
И падшими вся степь покрылась,  
Как роем черной саранчи

(Пушкин 1994- V: 59).



Как видно, эти стихи лишены сочувственного отношения к «падшим», призыва к милосердию, то есть тех качеств, благодаря которым Ломоносов и был поставлен Ходасевичем в ряд поэтов-миролюбцев, хотя и с оговорками.

В советской пушкинистике 1930-х гг. предпринимались попытки доказать, что батальные сцены «Полтавы», как и военные стихи из эпилога «Кавказского пленника» не отражают настоящего отношения Пушкина к войне и ее последствиям. Так, Б.М. Эйхенбаум в статье «От военной оды к „гусарской песне“» (1933) утверждал, что данные произведения были написаны Пушкиным «не без расчета, не без „посторонних соображений“» (Эйхенбаум 1933: 39). По словам ученого: «Эпилог „Кавказского пленника“ был написан с дипломатическим расчетом – подействовать на власти и подготовить возможность возвращения из ссылки» (Эйхенбаум 1933: 39), а «писание поэмы <«Полтава» – В.Ч.> было не столько внутренней потребностью, сколько вынужденным ответом на какой-то заказ» (Эйхенбаум 1933: 40). Тут же Эйхенбаум поясняет, какой «заказ» он имеет в виду: «Заказом была империалистическая политика Николая I на Востоке (персидская и турецкая компании). От Пушкина ждали и требовали, чтобы он воспел, наконец, „войны кровавый пир“» (Эйхенбаум 1933: 40). При этом для доказательства своего тезиса об отсутствии у Пушкина «внутренней потребности» к работе над «Полтавой» Эйхенбаум ссылается на следующее признание поэта из статьи «Опровержение на критике» (1830): «Полтаву написал я в несколько дней, далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все» (цит. по: Эйхенбаум 1933: 39-40). По Эйхенбауму, Пушкин якобы разделял либеральные пацифистские взгляды П.А. Вяземского, выраженные в цитированном выше отрицательном отзыве из письма к А.И. Тургеневу об эпилоге «Кавказского пленника»<sup>280</sup>.

В стилистическом плане Эйхенбаум считал интересующие нас батальные сцены не более чем пародией на оды Ломоносова: «„Полтавский бой“ восходит прямо к одам Ломоносова. Но здесь описание боя выглядит <...> двусмысленной стилизацией или даже пародией. Метод пародии в данном случае – стилистическое и ритмическое сгущение подлинника. Так, типичные для оды Ломоносова стихи –

Однако, топчут, режут, рвут,  
Гудят, терзают, грабят, жгут, –

даны Пушкиным в такой ритмико-синтаксической транскрипции, что производят совсем иное впечатление:

Швед, русский – колет, рубит, режет.  
Бой барабанный, клики, скрежет»

(Эйхенбаум 1933: 40).

Ходасевич в статье «Денис Давыдов» (1934) назвал последнее утверждение Эйхенбаума о пародийности боевых сцен «Полтавы» «неле-

---

<sup>280</sup> «Можно быть уверенным, – пишет Эйхенбаум, – что высказанные здесь воззрения <то есть отрицательная оценка, данная Вяземским эпилогу «Кавказского пленника» – В.Ч.>, типичные для либерального слоя новой дворянской интеллигенции, разделялись и Пушкиным» (Эйхенбаум 1933: 39).

пым» (Ходасевич 06.09.1934). Далее он иначе интерпретировал приведенное Эйхенбаумом признание Пушкина из статьи «Опровержение на критике». По мнению Ходасевича, слова поэта, наоборот, свидетельствуют о вдохновении, испытанным тем в процессе работы над поэмой: «Известно по воспоминаниям его друзей, что над „Полтавой“ Пушкин работал с необыкновенным напряжением, чуть ли не день и ночь. К этому напряжению и относятся вышеприведенные слова его. Пушкин хочет сказать и говорит, что если бы не успел быстро кончить поэму, то не мог бы уже работать дальше и не мог бы в иной обстановке вернуться к труду, начатому при таком душевном подъеме» (Ходасевич 06.09.1934: 4). И далее: «„Полтаву“ он очень любил и считал ее самую зрелую из своих поэм. Об этом он говорит в той же заметке, откуда взяты и вышеприведенные слова<sup>281</sup>. Эйхенбауму не приходит в голову, что вещь, написанную через силу и под чуждым давлением, нельзя ни любить, ни считать совершенною» (Ходасевич 06.09.1934: 4).

Следовательно, по Ходасевичу, и это важно для нас подчеркнуть, Пушкин был предельно искренен в «Полтаве», в том числе и в интересующей нас «жестокой» батальной сцене. Это его и только его безжалостная установка, как таковая, обусловленная не служением Богу и его Истине, — что, по Ходасевичу, и является единственной целью «настоящей» Поэзии, — а узко понятыми государственными и национальными интересами, принадлежащими по своему определению царству Кесаря. Как было показано выше, по Ходасевичу, Державин, в отличие от Пушкина, в своей поэтической деятельности свято соблюдал данный завет и не смешивал Божественное с *человеческим, слишком человеческим*<sup>282</sup>.

Итак, в критическом дискурсе Ходасевича объективно обнажается противоречие между христианско-гуманистическими декларациями Пушкина, выраженными, в частности, в IV-й строфе «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и в «Капитанской дочке», и конкретными агрессивными идеями, которые были представлены в других текстах поэта и реализовались в его жизнетворческом поведении.

Однако существование этого противоречия угрожает существованию самой ходасевичевской концепции безусловного единства литературной и биографической личности Пушкина («жизнь-и-творчество»). Если Ходасе-

---

<sup>281</sup> Очевидно, имеются в виду следующие слова Пушкина: «Самая зрелая из всех моих стихотворных повестей, та, в которой все почти оригинально...» (Пушкин 1994- XI: 158).

<sup>282</sup> Полемика Ходасевича с Эйхенбаумом построена на симметричном отражении рассмотренных тезисов из статьи «От военной оды к „гусарской песне“»: как Эйхенбаум, на первый взгляд, заботится о создании «положительного» образа Пушкина-пацифиста, а в подтексте представляет его лицемерным конформистом и предателем вольнолюбивых идеалов молодости (взгляд, весьма распространенный в советской пушкинистике 1920-1930-х гг.: см., напр., очерк Д.Д. Благого «„Полтава“» в издании: Благой 1931: 79-105), так Ходасевич, характеризуя поэтический дискурс «Полтавы» как «искренний» (и тем самым опровергая подтекстовое значение дискурса Эйхенбаума), в подтексте собственного отзыва «переводит стрелку» на автореферентность «жестоких» батальных сцен поэмы. В последнем случае критика Ходасевича, очевидно, направлена против созданного Эйхенбаумом «положительного» образа Пушкина-пацифиста. Также следует отметить, что Б.В. Томашевский в вышеприведенном анализе идеологического содержания эпилога «Кавказского пленника» последовательно опровергает рассмотренную концепцию Б.М. Эйхенбаума, на нее при этом не ссылаясь.

вич неоднократно настаивал на этой концепции, значит, он считал это противоречие мнимым.

В случае с декларацией «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» это могло произойти только в том случае, если он разделял рассмотренные выше взгляды Гершензона по поводу ее атрибуции<sup>283</sup>.

Что касается декларации из «Капитанской дочки», то, как мы полагаем, Ходасевич считал ее художественной условностью. Дело в том, что, с его точки зрения, это произведение Пушкина представляет собой еще что-то вроде ученического упражнения по овладению господствующим в прозе 1830-х гг. романтическим каноном. Другими словами, Пушкин в «Капитанской дочке», по Ходасевичу, даже не ставил перед собой задачи выразить свои истинные взгляды, о чем свидетельствует, например, принесение им в жертву требованиям романтической поэтики собственных исторических знаний. Об этом Ходасевич писал в рецензии на эссе М.И. Цветаевой «Пушкин и Пугачев»: «Образ Пугачева в „Капитанской дочке“ не вполне оригинален и условен, ибо создан под жанровым давлением романтической повести – отсюда его идеализация, идущая вразрез с историческими познаниями Пушкина. В эпоху „Капитанской дочки“ Пушкин еще не умел сделать в прозе то, что давно сумел сделать в „Борисе Годунове“: взглянуть на историю поэтическим, но трезвым и сложным взглядом Шекспира – взглядом художника-реалиста. „Капитанская дочка“ в пушкинской прозе занимает еще примерно то место, которое в поэзии занимают „Цыганы“» (Ходасевич 26.11.1937). Отсюда, в частности, следует, что и атрибуция мысли Гринева о «русском бунте» Пушкину является такой же сомнительной, как и вывод о тайной симпатии Пушкина к Пугачеву и, следовательно, о его сочувственном отношении к этому «бунту», который сделала Цветаева в рецензируемом эссе на основании идеализированного изображения руководителя крестьянского мятежа.

Итак, по Ходасевичу, понимать буквально пацифистские декларации из «Памятника» и «Капитанской дочки» не следует. В таком случае, актуальными для характеристики взглядов Пушкина на войну и на убийство остаются «жестокие» и агрессивные идеи стихотворений «Война», «Клеветникам России» и проч., эпилога «Кавказского пленника», поэмы «Полтава», заметки «О вечном мире». Эти идеи, как было показано выше, непосредственно связаны с реальными переживаниями и поступками Пушкина.

---

<sup>283</sup> См. сноску 188. Поэтому не корректно замечание Ю.И. Левина по поводу якобы полемической направленности стихотворения Ходасевича «Люблю людей, люблю природу» (1921) в отношении IV-ой строфы «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (см.: Левин 1986: 48). Не полемика, а сознательная ставка на аутентичность концепции сонета «Поэту» (который ученый тут же упоминает в качестве подтекста стихотворения Ходасевича) и, как следствие, «подражание» в собственном творчестве (и не только в поэзии, но и в жизни (см.: Мальмстад 2001: 219)) заданному «высочайшему» образцу. То же самое следует сказать по поводу утверждения Левина, что ходасевичевский «Памятник» (1928) полемичен по отношению к «монументально-мемориальной традиции», к которой якобы принадлежит и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (см.: Левин 1986: 56). Согласно интерпретации Гершензона, релевантной для концепции стихотворения Ходасевича, Пушкин выразил «истинное» понимание собственных поэтических достижений буквально в одном черновом стихе: «И долго буду тем любезен я народу, / Что звуки новые для песен я обрел» <курсив Гершензона – В.Ч.> (Гершензон 2001: 274). Очевидно, что никакой «монументальности» в данном утверждении Пушкина нет.

Следовательно, литературная и биографическая личности Пушкина в данном аспекте совпадают. Они равно «жестоки», будучи укоренены не в царстве Бога с его евангельским заветом милосердия, а в царстве Кесаря с его уважением к победителям и презрением к побежденным.

Все это означает, что Ходасевич в своем полемическом дискурсе не только опроверг пушкинский взгляд на литературную и биографическую личности Державина как на равно «жестокие» и «бесчеловечные», но и переадресовал этот взгляд самому автору «Истории Пугачева».

Подведем предварительный итог нашему исследованию полемики Ходасевича с изображением мальковской деятельности Державина в трудах Я.К. Грота (и Н.Н. Фирсова), с одной стороны, и в пушкинской «Истории Пугачева», с другой. Реконструируя указания Ходасевича в роли «ученого историка», мы замечаем зеркально-симметричное соположение мнений критикуемых им авторов по поводу свидетельств Державина, содержащихся в «Записках». Грот старается их скорректировать, опираясь на подлинные исторические документы эпохи пугачевщины. Пушкин, наоборот, обнажает заложенный в них комический потенциал. И тот, и другой подход к тексту державинских «Записок» Ходасевич считает некорректным.

Теперь нам предстоит решить следующий вопрос: какова же положительная часть концепции Ходасевича? как, по его мнению, следует читать «Записки» Державина? что не учли ни Грот, ни Пушкин, и не могли учесть, в своей рецепции этого текста поэта?

### **§ 3. Полемика Ходасевича с Пушкиным и Гротом в биографии «Державин»**

#### **3.1. Конструктивное значение плана «*sub specie aeternitatis*»<sup>284</sup> для фикционального статуса «Записок» Г.Р. Державина (реконструкция Ходасевича)**

«Записки» Державина следует воспринимать в аспекте их фикционального статуса. В этом Ходасевич убеждает читателя в соответствующем эпизоде биографии «Державин», посвященном описанию обстоятельств их создания.

Прежде всего, Ходасевич определяет жанр этого произведения Державина в гоголевском коде. Он намекает, что «Записки», в сущности, предвосхищают уникальный жанр лиро-эпической поэмы в прозе, в котором Гоголь, как известно, воплотил свой замысел «Мертвых душ».

Так, Ходасевич отмечает «эпичность» повествования в третьем лице и чисто художественные функции этого приема: во-первых, он «способствовал спокойной важности изложения» (Ходасевич 1988: 211); во-вторых, отвечал излюбленному Державиным акцентированию контраста, в данном

---

<sup>284</sup> С точки зрения вечности (лат.).

случае, между положением, которого он достиг, и «ничтожеством» (Ходасевич 1988: 211), из которого вышел.

По Ходасевичу, Державин не долго выдерживал эпически бесстрастный тон. Присущая ему, как поэту по преимуществу, субъективность взгляда на мир и на собственную роль в этом мире вскоре стала играть в повествовании доминирующую роль. Себя Державин представил защитником законности, неизменно правым в своих действиях и «чрезвычайно миролюбивым, хотя на самом деле случалось ему открывать враждебные действия и затем идти уже напролом» (Ходасевич 1988: 211). «Единственным недостатком своим, – пишет Ходасевич, – признавал он горячность, но в глубине души почитал и ее достоинством и относился к ней с любовной, как бы отеческой мягкостью. При таких обстоятельствах эпический лад Записок довольно скоро перестал отвечать их внутреннему лиризму» (Ходасевич 1988: 211). По Ходасевичу, впервые этот лиризм в изображении борьбы героя державинских «Записок» за правое дело проявился при изложении событий, связанных с подавлением пугачевщины, а именно – обороны Саратова: «Но препон, поставленных его деятельности служебной иль государственной, но обид, наносимых в его лице возлюбленному Закону, он не прощал и прощать не считал себя вправе. Первые столкновения такого рода произошли у него во время пугачевщины. Начиная с обороны Саратова, он и в Записках стал увлекаться изображением борьбы, в которой позже прошла его жизнь» (Ходасевич 1988: 211).

Таким образом, как указывает Ходасевич, начиная с пугачевщины действия державинского героя следует воспринимать с учетом его фикционального статуса: его неизменную правоту, миролюбие по отношению к своим противникам – как художественную условность, а возникающий в связи с данным изображением собственной позиции, поданном по контрасту с чрезвычайно эмоциональным поведением («горячностью») комикомористический план – как проявление снисходительного отношения автора к своему автобиографическому герою, не обремененному грузом лет и житейского опыта.

Отмеченная субъективность в изображении действий героя «Записок», по Ходасевичу, еще более усилилась, когда Державин перешел к рассказу «о душевных ранах, еще не заживших – о временах Павла и Александра, о людях, которые „привели государство в такое бедственное состояние, в котором оно ныне, то есть в 1812 году, находится“» (Ходасевич 1988: 213). То есть Ходасевич подчеркивает кровную связь автора «Записок» с современным состоянием российского общества и государства. В это время Отечественная война достигла своего пика. После кровопролитнейшего сражения при Бородино Кутузов оставил Москву. И Державин мучительно искал причины этой катастрофы. Тут уж было не до бездушно-эгоистического стиля Цезаря, «Запискам» которого, по Ходасевичу, Державин в начале собственного повествования начал было подражать<sup>285</sup>. В

---

<sup>285</sup> См.: «Подобно Цезарю, Державин писал о себе в третьем лице» (Ходасевич 1988: 211). Как известно, «Записки» Цезаря преследуют апологетические цели. (Тронский 1988: 326). Поэтому Цезарь изображает себя, по словам И.М. Тронского, «в весьма привлекательном свете: он <...> кроткий, снисхо-

Державине проснулась человеческая, личная обида и боль за случившееся с Россией, а значит – и с ним, поскольку поэт не отделял собственную судьбу от судьбы своего народа. «Желчь в нем разлилась, – пишет Ходасевич по поводу душевного состояния Державина в этот период писания «Записок», – Забывая эпический слог, он все чаще сбивался с третьего лица на первое и почти с наслаждением перечислял подвохи, подкопы, *шиканьи*, поставленные его деятельности, и обиды, нанесенные ему лично. Не вытерпев, он составил особый реестр пятнадцати главным своим заслугам, „за которые имел бы право быть вознагражденным, но напротив того претерпел разные несправедливости и гонения“» (Ходасевич 1988: 213). Таким образом, по Ходасевичу, Державиным при создании «Записок» двигало такое же высокое вдохновение, вызванное бедственным состоянием Родины, какое подвигло Гоголя на создание «Мертвых душ».

Сходство между поэмой Гоголя и «Записками» Державина Ходасевич намечает и в плане содержания этих произведений.

В этой связи прежде всего следует сказать, что он объединяет «Объяснения» Державина к стихотворениям с «Записками» в единый текст. Так, он подчеркивает, что «Объяснения» являются в сущности такими же воспоминаниями, как и «Записки». Отличия между этими текстами, по Ходасевичу, заключаются только в плане организации повествования, а не в плане содержательном. Сравнить: «Объяснения, диктованные Лизе Львовой, уже содержали немало воспоминаний. То были однако ж воспоминания отрывочные, в составе своем ограниченные (ибо так или иначе связанные с поэзией), подчиненные не хронологии, но порядку стихотворений и потому разрозненные. Записки Державин повел в форме повествования связного, плавного и последовательного. Он начал с поры своего младенчества, но его главной целью был рассказ о гражданской деятельности на разных поприщах» (Ходасевич 1988: 210).

Чуть ниже Ходасевич снова монтирует «Объяснения» и «Записки» в едином контексте, как произведения, в которых установка на документальность изложения конфликтует с фактически реализующейся художественной формой изложения. Сравнить: «Свои Объяснения Державин намерен был напечатать вскоре (хотя цензура, конечно, не пропустила бы в

---

дительный человек, который лишь изредка оказывается вынужденным применить суровые меры по отношению к вероломному неприятелю» (Тронский 1988: 326). Ходасевич отмечает подобную тенденцию Державина. Однако при этом подчеркивает искренность его заблуждения по поводу собственной роли в состоявшихся конфликтах, другими словами, противопоставляет «прозаическую» ложь Цезаря «поэтической» правде Державина. Кроме того, в позициях Цезаря и Державина, по Ходасевичу, существует и нравственное различие. Если девизом первого было нарушение права «ради господства» (Федорова 1979: 32), то Державин как раз-таки боролся за соблюдение права. Сравнить: «Начиная с обороны Саратова, он и в Записках стал увлекаться изображением борьбы, в которой позже прошла его жизнь. Так как по существу он отстаивал дело правое, то и в Записках, как в жизни, пришел к уверенности в неизменной и постоянной своей правоте. Так как причина столкновения всегда лежала не в нем, то он и вообразил себя в жизни и представил в Записках чрезвычайно миролюбивым, хотя на самом деле случалось ему открывать враждебные действия и затем идти уже напролом» (Ходасевич 1988: 211). Очевидна, однако, намеченная Ходасевичем парадоксальность позиции Державина в «Записках»: он боролся за правду, нарушая право своих противников, то есть «цезарским способом». О двойственной позиции заглавного героя «Записок» в биографии Ходасевича см. подробнее ниже, в связи с обсуждением наполеоновско-гугачевского кода служебной деятельности Державина.

них очень многого). Записки писал он для будущего. Перед лицом потомства он хотел быть правдивым, и в отношении внешней стороны событий это ему удавалось. Но если он надеялся сохранить беспристрастие в их внутреннем изъяснении, то это не удавалось ему вовсе» (Ходасевич 1988: 210). Имеется в виду упомянутый выше субъективный подход Державина к изображению событий, запечатленных в «Записках», который выразился в лиро-эпической, то есть в фикциональной, форме.

А по поводу «Объяснений» Ходасевич выше высказался в смысле художественности их задания: «Эти мелкие примечания Державин писал с особенным удовольствием еще потому, что восстанавливал в них не только поводы к творчеству, но отчасти и *самый ход творчества* <выделено нами – **В.Ч.**> – лишь в обратном порядке» (Ходасевич 1988: 202).

Итак, по Ходасевичу, «Объяснения» и «Записки» составляют единый текст с художественным, или фикциональным, статусом.

Но самыми интересными для нас являются в связи с только что приведенным заключением указания, которые оставил Ходасевич по поводу того, как следует читать «Объяснения»: ведь эти указания экстраполируемы и на «Записки».

По Ходасевичу, Державин «Объяснениями» стремился решить, по крайней мере, несколько задач.

Прежде всего, он обнажал предметный план своей, по Ходасевичу, символической поэзии: «Ему нравилось разоблачать бесчисленные аллегории, метафоры и другие приемы своей поэзии, в которых было заключено ее „двойное знаменование“» (Ходасевич 1988: 202).

Затем, и это главное, Державин трактовал этот план в контрастном сопоставлении с соответствующими ему «высокими» символическими значениями поэтических образов. Тем самым, он придавал предметному плану комическую окраску. Как пишет по этому поводу Ходасевич: «Вероятно, ему и впрямь хотелось блеснуть реальной обоснованностью своих гипербол и аллегорий. Но главное наслаждение заключалось не в том. Предметы реального мира некогда возносились его парящей поэзией на страшные высоты, где уж переставали быть только тем, чем были в действительности. Теперь Державину было любо возвращать их на землю, облекать прежней плотью. Для поэта былая действительность спит в его поэзии чудным сном – как бы в ледяном гробу. Державин будил ее грубовато и весело. Превращая поэзию в действительность (как некогда превращал действительность в поэзию), он совершал прежний творческий путь, лишь в обратном порядке, и как бы сызнова переживал счастье творчества» (Ходасевич 1988: 202-203).

Ходасевич приводит два конкретных примера указанного обнажения Державиным предметного плана символических образов, произведенного с явной установкой на комизм по контрасту: «Нередко он делал это с очаровательным простодушием, быть может – несколько и лукавым. Например, дойдя до стихов:

На сребророзовых конях,  
На золотарном фаэтоне –  
он пояснял: „У кн. Потемкина был славный цуг сребророзовых или рыже-  
соловых лошадей, на которых он в раззолоченном фаэтоне ездил в армии“.

К величественным словам:

Не заключит меня гробница,  
Средь звезд не превращусь я в прах –  
он спешил приписать: „Средь звезд, или орденов совсем не сгнию так, как  
другие“» (Ходасевич 1988: 202).

Таким образом, по Ходасевичу, Державин, переводя гиперболические образы своей поэзии в предметно-бытовой план, как бы предлагал читателю взглянуть вместе с ним на ценности этого мира, столь ценимые в системе координат «здорового смысла», с точки зрения тех «страшных высот», которых он достиг в поэтическом парении. «Страшные высоты» можно условно передать термином Спинозы «*sub specie aeternitatis*», то есть «под видом вечности», под которой философ разумел Бога. Дело в том, что чуть ниже Ходасевич полностью цитирует стихотворение Державина «Признание» (1807-1808), которое поэт назвал «объяснением на все свои сочинения» (Ходасевич 1988: 203) и в котором содержится указание на достигнутый им уровень Боговдохновенности:

Если я блистал восторгом,  
С струн моих огонь летел, –  
Не собой блистал я, Богом:  
Вне себя я Бога пел

(цит. по: Ходасевич 1988: 203).

Очевидно, что «*sub specie aeternitatis*» система «земных» мер и ценностей должна представляться чем-то до абсурдности мелким и смешным.

Теперь возвратимся снова к «Запискам» и посмотрим, как же данные указания Ходасевича по поводу следующего восприятия «Объяснений» работают в их случае.

В «Записках» Ходасевич акцентирует тему борьбы Державина со своими многочисленными врагами на служебном поприще. Параллельно, так сказать, «наплывами», он подает тему противостояния, а затем и войны России с Наполеоном. Как было показано выше, по Ходасевичу, эмоциональный модус «Записок» напрямую связан с перипетиями указанного глобального конфликта.

Что хочет сказать Ходасевич данным сопоставлением фигур Державина и Наполеона? и как это сопоставление относится к изображению Державиным собственной служебной деятельности, в том числе, и во время пугачевщины?

Как было сказано выше, Державин мыслил себя борцом за правду. То есть, как намекает Ходасевич, как Россия сражалась за правое дело с непомерными амбициями Наполеона, поправшего, подобно Цезарю, все законы ради достижения мирового господства, так и Державин «воевал» с подобными «Наполеонами» в лице своих начальников, включая в их со-



став саму Екатерину. Ходасевич в данном эпизоде биографии вводит толстовский код, чтобы обозначить системность в изображении Державиным упомянутых персонажей по признаку объединяющего их «наполеонизма»: «Настала весна 1812 года. В предстоящей войне никто уж не сомневался. 9 апреля, взяв с собой Шишкова, государь выехал в Вильну. Державин лишь краем уха прислушивался к надвигающейся грозе. Он погружен был в свои Записки – воевал с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем. Перебрался на Званку – и там продолжал писание. Бонапарт перешел через Неман и вторгся в пределы России – Державин был занят Екатериной»<sup>286</sup> (Ходасевич 1988: 211).

Однако Державин, как было уже сказано выше в связи с обсуждением цезарского кода «Записок», часто добивался правды «цезарско-наполеоновским» попранием «права». Например, он открыл «враждебные действия» и шел «напролом» (Ходасевич 1988: 211), в указанном смысле слова, уже во время саратовских пререканий с Бошняком. В то время Державин пытался самовольно сместить своего противника с поста военного коменданта и взять на себя его обязанности по обороне города от пугачевской армии, то есть фактически узурпировать власть «на манер» Цезаря-Наполеона<sup>287</sup>. Ходасевич употребляет для характеристики данных действий Державина еще более жесткий термин «бунт», актуализирующий пугачевский код в поведении заглавного героя своей биографии: «1-го августа состоялось собрание всех бывших в городе офицеров. Принято было определение действовать по плану Лодыжинского – „несмотря на несогласие означенного коменданта“. Это уже был, в сущности, бунт. В качестве поручика лейб-гвардии (что весьма придавало ему весу в глазах армейцев) и члена секретной комиссии, Державин этим бунтом водительствовавал, причем грозился Бошняка арестовать» (Ходасевич 1988: 67). Ходасевич подчеркивает стихийность этого «бунта», который, хотя и состоялся в среде по определению законопослушнейшей части общества, а именно военного и гражданского чиновничества, носил главный признак народной революции, зафиксированный в бессмертном лозунге «Liberté! Égalité! Fraternité!»: «Настроенные собравшихся было самое повышенное; так спешили, что согласились подписываться без соблюдения старшинства» (Ходасевич 1988: 67). Конечно, как намекает Ходасевич, и в этом необыкновенном случае «революци-

---

<sup>286</sup> Екатерина в этом контексте, по-видимому, приведена в *pendant* (пара, парный предмет – *фр.*) к Элен Безуховой, как известно, выполняющей в «Войне и мире» функцию главной представительницы «наполеонидов» со стороны «слабого пола». В этой связи мы полагаем, что буквальное значение фамилии по мужу этой толстовской героини реализуется Ходасевичем в биографии для характеристики сущностной поэтической «глухоты» Екатерины. См., например, сцену чтения императрицей оды Державина «На взятие Варшавы» (1794), выдержанной Ходасевичем в подчеркнуто трагедийном тоне: Ходасевич 1988: 152.

<sup>287</sup> Подобные методы захвата власти Наполеоном практиковались уже в начале карьеры. См., например, сообщение, приведенное в энциклопедии Брокгауза и Ефрона по поводу попытки Наполеона приобрести военное и политическое влияние на Корсике: «В следующий свой приезд в Аяччио (1791-1792) он добился избрания в начальники батальона национальной гвардии, хотя для достижения этой цели ему пришлось действовать угрозами и насильем (конечно, вместе со своими единомышленниками)» (Брокгауз и Ефрон 2003: статья «Наполеон I»). Здесь же приводится характеристика Наполеона как «революционного узурпатора», которая была дана «представителями „старого порядка“».

онного» порыва «чиновническое братство» может проявиться только в адекватных для этого феномена рамках, например, в нарушении принятой служебной субординации при визировании документации<sup>288</sup>.

При характеристике борьбы заглавного героя «Записок» с гражданским чиновничеством Ходасевич привел более адекватный этому кругу пример «цезарско-наполеоновской» тактики. По словам Ходасевича, Державин в «Записках» шел даже на прямой оговор своих врагов. Например, обвинил Сперанского во взяточничестве, хотя, по словам Ходасевича, вряд ли верил в это сам (Ходасевич 1988: 213).

Таким образом, в «Записках», как и в «Объяснениях», Державин излагает перипетии своей служебной деятельности исключительно в предметном плане. Только если в «Объяснениях» «реальнейший», или символический план присутствует в качестве, так сказать, «задника», подчеркивающего абсурд происходящего на жизненной сцене, то в «Записках» этот план уходит в подтекст. В частности, о комической несообразности изображаемого Державиным собственного поведения во время пугачевщины читатель должен догадаться, так сказать, без подсказки в виде привязывания тех или иных событий и обстоятельств к соответствующим поэтическим образам.

Чтобы облегчить читателю эту задачу, Ходасевич указывает на «истинное», то есть «*sub specie aeternitatis*», отношение Державина к Наполеону и его деятельности, цитируя его стихотворение «На новый 1798 год»:

Кто весть, что галльский витязь, Риму  
Словами только вольность дав,  
Надеть боялся диадиму;  
Но что, гордыней обуяв,  
Еще на шаг решится смелый  
И как Сампсон, столпы дебели  
Сломив, падет под ними сам?

(Ходасевич 1988: 214).

То есть, по Ходасевичу, Державин предсказал падение Наполеона еще за 14 лет до этого события.

Согласно данному стихотворению Державина, деяния таких деятелей, как Наполеон, грандиозные только по «земным» меркам, – не более чем «суэта мирская» (Державин 2002: 261). Наполеон и ему подобные, обуянные гордыней мира сего, обречены на исчезновение. Им поэт противопоставляет христианское смирение и покорность воле Бога:

---

<sup>288</sup> Этот «гоголевский» комический штрих, а также указанное изображение Державина в качестве «главаря» чиновнического «бунта», на наш взгляд, должны указать читателю на пугачевский код в изображении автором «Записок» действий их главного героя. В самом деле, Державин акцентирует комическую симметрию его ситуации и ситуации Пугачева. Герой «Записок» стремится «поймать» Пугачева «в ловушку», то есть думает, что выполняет приоритетную роль «траппера», а на самом деле ему самому приходится уходить под Петровском от «облавы», возглавляемой Пугачевым. Он считает, что Пугачев боится «астраханских гусар» и малыковских крестьян, а сам должен спастись бегством от крестьянской толпы, возглавляемой одним-единственным «гусаром» (Державин 2000: 59), да и то его прежним слугой, принимавшим участие в походе под Петровск.

Но тот блаженнее, кто в тихом  
Заливе совести почив,  
Не загружен добром, ни лихом,  
Страстей ветрила опустив,  
Ума на якоре глубоко  
Стал в чолне, и спокойным оком  
На суету мирскую зрит.

Предавшийся Всевышней воле,  
Свой верно исполняя долг,  
Славнейшей не завидит доле;  
Он знает: что дает то Бог,  
Что Бог лишь светом управляет,  
Тех взводит, сих уничтожает;  
Тех милует, а сих казнит

(Державин 2002: 261).

В контексте биографии Ходасевича такого уровня понимания мирской славы Державин достиг уже к концу пугачевской кампании, в пору писания «Читалагайских од».

В это время, по Ходасевичу, Державин испытывает благотворный перелом в своем мировоззрении, повлекший за собой кардинальный пересмотр прежних субъективных ценностей и, в частности, «наполеоновского» честолюбивого стремления «сделать карьер» во что бы то ни стало.

Судя по книге Ходасевича, суть вновь обретенного Державиным взгляда на вещи можно описать в терминах еkkлeзиастова дискурса: *vanitas vanitatum et omnia vanitas*. Сравнить: «В конце февраля вновь увидел Державин места знакомые – Малыковку и колонии. Но какая разница! Год назад он приехал сюда любимцем Бибикова – теперь чуть не ссыльным; тогда манили его честолюбивые замыслы – теперь от них ничего не осталось; тогда он был в упоении властью – теперь обречен унижительному бездействию. В Малыковке управляют другие люди. Пугачевщина отшумела. Герой Бибиков умер, как и пройдоха Серебряков. В Москве, на Болотной площади, упала под топором голова Пугачева» (Ходасевич 1988: 79).

Вот это мировоззрение и отразилось, по Ходасевичу, в «Читалагайских одах» (Ходасевич 1988: 80). В качестве примера писатель приводит, в частности, прозаический перевод Державиным послания Фридриха к Мопертной с его темой мирской тщеты:

*«Жизнь есть сон. О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок дня того влечет тебя к разрушающей ночи... Это вы, которые существуете на то, чтоб исчезнуть, – это вы стараетесь о славе?.. Прочь, печали, утехи, и вы, любовные восхищения! я вижу нить дней моих уже в руках смерти. Имена, достоинства, чести, власти, вы обманчивы и яко дым. От единого взгляда истины исчезает весь блеск проходящей красоты вашей. Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства суть игралище непосто-*

янства... Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожестве! Сей есть предел нашей жизни» (Ходасевич 1988: 81).

В последующем повествовании Ходасевича тема «жизнь есть сон» из послания Фридриха к Мопертюи становится конструктивной. Она проходит через все самые значительные произведения Державина, которым Ходасевич посвятил страницы своей книги, – «На смерть Мещерского», «Бог», «Водопад» – и находит свое законченное воплощение в последнем шедевре поэта – незаконченной оде «Река времен в своем стремленьи...». Как подытоживал в концовке «Державина» эту тему Ходасевич: «... еще в ту пору, когда, при Читалагайской горе, рождалась его поэзия, он был пронзен мыслию о непрочности жизни <...> От смерти Мещерского до падения Наполеона он не переставал твердить о минутности дел человеческих» (Ходасевич 1988: 231). То есть, об этом же «твердил» Державин и в стихотворении «На новый 1798 год».

Памятуя об указаниях Ходасевича по поводу ракурса прочтения «Объяснений», мы полагаем, что и соответствующие эпизоды «Записок», где изображается «наполеоновская» деятельность их героя, корректно интерпретировать в таком же ключе: если в «Читалагайских одах» и им подобных стихотворениях «удрученный горестями Державин учился взирать на жизнь с высоты» (Ходасевич 1988: 81), то в «Записках» «возвращал на землю», «облекал прежней плотью» (Ходасевич 1988: 203) эту самую «жизнь», «вознесенную его парящей поэзией на страшные высоты» (Ходасевич 1988: 203). «Будил» «действительность» «грубовато и весело» (Ходасевич 1988: 203). То есть, по нашему мнению, Ходасевич намекает, что Державин трактовал «наполеоновский» момент в своей служебной деятельности (в том числе – во время пугачевщины) исключительно в предметно-бытовом плане ради акцентирования его комической окраски. Он изобразил себя «наполеоном», тяжущимся с другими «наполеонами», так сказать, «за место под солнцем». В гоголевском коде, очевидно, это ситуация «Чичиков и «мертвые души», вплоть до такой тонкости, как стремление героя «Записок» заполучить «астраханских гусар», то есть те же «мертвые души», дабы совершить «наполеоновское» деяние «по прикрытию Волги со стороны Пензы и Саратова». Между прочим, Державин в «Записках» считал это деяние достаточной мотивировкой приобретения им статуса владельца 300 (!) душ в Белоруссии (вариант херсонщины XVIII века).

Однако более актуален в это связи, как намекает Ходасевич цитированием упомянутого стихотворения «На новый 1798 год», библейский, самсоновский код. По Ходасевичу, как в «Объяснениях» к стихотворению «Лебедь» Державин травестировал «высокий» план пророческо-поэтического служения, обозначенный поэтическим образом «звезд», трансформированием его в план служебно-бюрократического функционирования, где «звездами» считаются «ордена», так в «Записках» он травестировал свое «назорейское» служение в плане «наполеоновских» замашек честолюбивого «подпоручика», а затем и чиновника,

«нагоняющего страх»<sup>289</sup> на региональное начальство в связи со своей функцией «государева ока», то есть как бы «ревизора», в «гоголевском» смысле этого слова<sup>290</sup>.

Как известно, Самсон вступил на путь, приведший его, в конце концов, к самоубийству (сдвинув «столпы дебели», поддерживавшие внутрихрамовые перекрытия), из-за произведенного им по собственной воле, так сказать, «перевода стрелки» с должного направления служения Богу на фактическое служение своему любострастию. Он подменил Бога земной женщиной. «Открыл ей все сердце свое» (Суд. 16: 17), в ущерб своему главному Долгу назорея.

К тому же, эта женщина, по имени Далида, принадлежала к филистимлянам, духовно чуждым «избранному Богом» народу. К тому времени, говорится в Библии, «Сыны Израилевы» были преданы Господом «в руки филистимлян на сорок лет» за то, что «продолжали делать злое пред <Его> очами» (Суд. 13: 1).

В конце концов, Самсон был выдан Далидой филистимлянам, своим врагам. Далида оказалась подвержена влиянию со стороны своих единоплеменников, побуждавших ее к этому поступку, и дала им себя подкупить.

Как показано в Библии, Самсона не научил даже его предшествующий опыт общения с другой женщиной, также филистимлянкой, на этот раз непоименованной, из города Фимиафа. Эта женщина, на которой Самсон собирался жениться вопреки мнению своих родителей, будучи утрачена угрозами своих единоплеменников сжечь ее и дом ее отца, выдала им тайну своего жениха, а сама вскоре вышла замуж за филистимлянина. Причем сам Самсон прекрасно понимал источник информации филистимлян. Он сказал своим противникам по поводу данного ими верного решения его загадки: «... если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки» (Суд. 14: 18).

По Ходасевичу, комический модус в изображении Державиным в «Записках» собственной служебной деятельности, может быть мотивирован его пониманием произошедшей подмены «путей» его пророческо-

---

<sup>289</sup> «Нагнать страх» на саратовского коменданта Бошняка призывал в свое время еще некий Свербеев, чиновник опекунской конторы. Ходасевич цитирует его письмо в соответствующем эпизоде своей биографии: «Некто Свербеев, чиновник опекунской конторы, писал: „Приезжай, братец, поскорее, и нагони на них страх“» (Ходасевич 1988: 66). Конечно, Свербеев имел в виду также и служебные полномочия Державина как члена секретной следственной комиссии.

<sup>290</sup> Во всяком случае, Державин имел право прямого доклада к императрице, чем и пользовался неоднократно. Как он восторженно писал по этому поводу в «Фелице»: «Еще же говорят не ложно, / Что будто завсегда возможно / Тебе и правду говорить» (Державин 2002: 77). По свидетельству А.В. Храповицкого, датированному 11 июля 1789 г., Екатерина при поднесении ей «Фелицы» вместе с «просьбой» Державина с удовольствием прочитала вслух эти стихи, тут же удовлетворила эту «просьбу» и озаботилась приисканием ему надлежащего «места» (*une place*) (Храповицкий 1990: 198). В конце концов, Державин был назначен на должность кабинетского секретаря при особе государыни. Он был обязан в личных докладах Екатерине доводить до ее сведения обо всех нарушениях закона со стороны Сената, то есть фактически выполнять «ревизорскую» функцию надзора над высшим судебным органом империи. Это решение Екатерины выглядит несколько парадоксально, если учесть что упомянутая «просьба» Державина была связана с его пребыванием под судом у того же Сената, точнее говоря, его московского департамента. Теперь сами сенаторы, по воле императрицы, оказались в «подсудном» положении.

поэтического «назорейства». Он обожествил «Фелицу». Она же оказалась обыкновенной «земной» женщиной, предпочитающей, так сказать, «синицу в руках», то есть прелести возможного в ее условиях «слишком человеческого» существования, – «журавлю в небе», то есть возможности воплощения в жизнь своих задушевных мечтаний, другими словами, реализации велений своего Гения. По Державину, в передаче Ходасевича, Екатерине оказалась не по силам роль «Фелицы»: «Не приняв житейского опыта для себя, он не принял его и для Екатерины. Составительница Наказа знала, какова должна быть Фелица, идеальная монархиня, – следовательно, и должна была стать ею, хотя бы не только люди, но и самые небеса были против. Если не стала – ее вина. Правда, за последние годы Державин много думал о ней и пришел к выводу, что в ее обстоятельствах ничего не оставалось, как или погибнуть, или стать такою, какою она была. Рассудив так, он по человечеству, снисходя к слабости человеческой, даже простил ее, но это прощение ощущал в себе тоже, как слабость и уступку. Перед лицом же *священной справедливости* он считал, что „сия мудрая и сильная Государыня в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя Великой“. Таково было его последнее заключение» (Ходасевич 1988: 212).

Таким образом, по Ходасевичу, Державин во время написания «Записок» окончательно уверился в том, что его «Фелица», воплощение Высшей Законности, ради которой он так истово, так сказать, «посамсоновски», служил как на государственном, так и на поэтическом поприще<sup>291</sup>, оказалась, в конце концов, всего лишь, так сказать, «телицей», на которой его враги-«филистимляне», вельможные нарушители Закона, по полновесному в своей грубости выражению духовного предка автора «Записок», «орали»<sup>292</sup>.

---

<sup>291</sup> По Ходасевичу, в духовном сознании Державина поприще государственной и поэтической деятельности объединялись под знаком служения Закону, высшее воплощение которого он видел в Наказе Екатерины: «„Друг царский и народный“ – вот, по его определению, истинный вельможа. Такими виделись ему Бибииков, И. И. Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут, именно в этой точке, поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обогаитель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонник *Закона* хотел стать его неколебимым блюстителем» (Ходасевич 1988: 103).

<sup>292</sup> Указание на адекватность стилю «Записок» этого «библейского» каламбура содержится в ходасевичевской характеристике «слога» их автора как «грубого и своевольного» (Ходасевич 1988: 210), а также – в упомянутой выше их неподцензурности. По словам Ходасевича, Державин при создании «Записок» руководствовался своим непосредственным чувством, и поэтому они, как никакое другое его произведение, носят на себе печать его личности: «Обдумав наперед фразу, он заносил ее на бумагу и делал не слишком много помазок. От этого своевольный и грубый слог его стал еще своевольнее и грубее. Порою фраза давалась ему с трудом, и самый смысл затемнялся. Но Державин спешил, быть может, намереваясь исправить слог в будущем, а вероятнее – не замечая его недостатков. Иные места Записок силой и меткостью удивительны; в иных не сразу добьешься толку» (Ходасевич 1988: 210). Характеристика же Ходасевичем интересующей нас стороны личности Державина дана в связи с его назначением на должность кабинетского секретаря Екатерины, когда он, собственно, и получил возможность узнать человеческие стороны своего «божества». Очевидно, она соотносится в контексте биографии Ходасевича с приведенным выше эпизодом, где обсуждается окончательный «вердикт» Державина по поводу «человеческой слабости» «Фелицы». Сравнить: «В частной жизни Державин был прям, подчас грубоват (мужицкой, солдатскою грубостью), но добр, благодушен, особенно с людьми бедными или ниже его стоящими» (Ходасевич 1988: 140). То есть, по Ходасевичу, Державин в пору создания «Записок» ощущал себя в духовном плане выше Екатерины. Поэтому и смог снисходительно отнестись к ее памяти. Кроме

Вообще говоря, «самсоновский» код акцентируется Ходасевичем в тех эпизодах биографии, где содержится описание взаимоотношений Екатерины и Державина.

«Филистимлянская» двойственность отношения императрицы к поэту отмечается Ходасевичем уже при подведении итогов первого серьезного «сражения» Державина с ее «одноплеменниками», представителем которых в данном случае явился наместник Архангельский и Олонецкий генерал-губернатор Т.И. Тутолмин. Екатерина разрешила спор олонецкого губернатора Державина с наместником характерным для нее «соломоновым», то есть мирным, или мировым, решением: первого перевела на тамбовское губернаторство, а второго, явно злоупотреблявшего своей властью, освободила от назойливого подчиненного-«правдолюбца» и закрыла глаза на его противоправные действия, доведенные до ее сведения этим подчиненным. То есть усилия Державина по наведению законного порядка оказались напрасными, а сам он, в сущности, это «сражение» проиграл. Как пишет по этому поводу Ходасевич, «Державин, выражаясь его же слогом, „донкишотствовал собой“ десять месяцев и оказался не только побежден, но и смешон, потому что его волшебный отлет из Петрозаводска при переводе на язык прозаический был не что иное, как бегство» (Ходасевич 1988: 120).

Ходасевич наводит читателя на вопрос: что же явилось главной причиной этого поражения? Почему Державин «со своими гражданскими добродетелями» (Ходасевич 1988: 115) оказался таким же посмешищем в глазах олонецких чиновников, «гоголевских» казнокрадов и плутов<sup>293</sup>, как Самсон, «забавлявший» (Суд. 16: 27) «филистимлян»?

Ответ дается писателем чуть ниже, при характеристике позиции Екатерины в этом вопросе. По словам Ходасевича, Державин, сражаясь за правду, был уверен в ней, как в Боге: «Кидаясь на борьбу с нарушителями закона, он всякий раз был уверен, что „щит Екатерины“ делает его неуязвимым“» (Ходасевич 1988: 121). В это время он еще верил в ее всемогущество. Нарушения Закона объяснял ее неведением по поводу происков «злых» вельмож, и свою главную задачу видел в том, чтобы открыть ей глаза на их противоправные действия: «Глубже гнева и вопреки самой логике, равно неподвластная доводам чувства, как и рассудка, в нем по-прежнему коренилась упрямая вера в Екатерину – добродетельную монархиню, окруженную злыми сановниками. Эта вера и оставалась главным двигателем его поступков» (Ходасевич 1988: 122).

На самом деле, как указывает Ходасевич, «... тот же щит покрывал и его врагов. Выходило, что Минерва Российская равно благоволит и к правым, и к виноватым, и к добрым, и к злым» (Ходасевич 1988: 121). То есть

---

того, следует напомнить, что, по выражению Ходасевича, Муза Державина «не чуждалась казармы» (Ходасевич 1988: 38) уже, так сказать, «с младенчества».

<sup>293</sup> Ходасевич характеризует олонецкое чиновничество в гоголевском коде: «Чиновничье население Петрозаводска было, можно сказать, вполне классическое. Все эти советники, прокуроры, заседатели, экзекуторы, судьи были предками тех, коим суждено было через пятьдесят лет явиться в творениях Гоголя» (Ходасевич 1988: 115).

Екатерине было так же далеко до «Фелицы», как «Минерве Российской» до афинско-римской богини правосудия и справедливой войны, покровительнице героев и неуклонной защитнице божественного мироустройства, беспощадной к его нарушителям<sup>294</sup>. Если рассуждать в актуальном для данного эпизода биографии «дон-кихотовском» коде, Державин оказался «смешон», потому что его «божественный» «доспех» оказался *посудиной общего назначения*, а владелица этого, так сказать, «начищенного до золотого блеска» предмета – такой же ловкой «цирюльницей», как Далида, лишившая Самсона его мужской силы и достоинства<sup>295</sup>.

Но сам Державин, подчеркивает Ходасевич, в то время «даже не отваживался» (Ходасевич 1988: 121) думать по поводу истинного характера императрицы. Почему?

Ответ писатель дает ниже, в связи с обсуждением кабинетского секретарства Державина, когда тот, увидев человеческий «оригинал» (Ходасевич 1988: 152) Фелицы воочию, «уже почти ненавидел прежний свой идеал» (Ходасевич 1988: 154). Тем не менее, по словам Ходасевича, он стремился спасти хотя бы «остатки мечты» (Ходасевич 1988: 152), «удалившись от дел» (Ходасевич 1988: 152), то есть от обязанности непосредственного лицемерия упомянутого «оригинала», бесцеремонно попирающего свой возвышенный «образец»<sup>296</sup>. «Уже это была ложь, – пишет Ходасевич по этому поводу, – Но он шел на это – ради былой любви, ради живущего в его душе идеала, наконец – ради гордости и упрямства, чтобы не показать себя побежденным, а *веру свою смешной* <выделено нами –

---

<sup>294</sup> Как известно, Афина, отождествляемая с Минервой, помогала Гераклу, греческому «Самсону», в его борьбе с титанами и гигантами, посягнувшими на самого Зевса. Вся сила ее беспощадности к подобным богоборцам видна в следующей передаче А.Ф. Лосева: «Вместе с Гераклом А. убивает одного из гигантов, на другого она наваливает остров Сицилия, с третьего сдирает кожу и покрывает ею свое тело во время сражения» (Лосев 1991: 72). Согласно Д.Н. Бантыш-Каменскому, после Архангельского наместничества еще в царствование Екатерины «Тимофей Иванович управлял вновь присоединенными к России Губерниями Польскими: Минскою, Волынскою, Брацлавскою, Подольскою и, перед кончиною Императрицы Екатерины II, будучи уже Генерал-Аншефом, находился Генерал-Губернатором Подольского и Волынского Наместничества, которое им открыто (1796 г.) и где начальствовал он также над войсками» (Бантыш-Каменский: 2006).

<sup>295</sup> Мотив «предательства» Екатерины, «выдачи» ею Державина «филистимлянам», будет обсуждаться также ниже, в ракурсе грибоедовского кода (Екатерина как София, выдавшая роковую «тайну» своего «рыцаря» враждебному «фамусовскому обществу» и тем самым обрекая его на гражданскую «смерть»). Ясно, что контаминируя в своей биографии грибоедовский и самсоновский коды, Ходасевич актуализировал архетипическое, вневременное, значение сюжета и конфликта «Горя от ума». Кроме того, следует сказать, что «самсоновская» тема травестируется Ходасевичем в сцене ухаживания Державина за любовницей бывшего директора казанской гимназии Веревкина (см.: Ходасевич 1988: 44). Державин «мстит» «филистимлянам», то есть паромщикам, за причиненное ими «красавице» (Ходасевич 1988: 44) огорчение. Он бросается на паромщиков с обнаженным тесаком и «носится с ним по деревне» (Ходасевич 1988: 44). Однако, в конце концов, оказывается ею, условно говоря, поскольку речь идет на самом деле о *девке*, «предан». Он получил отставку по причине своего «тощего кошелька» и «небольшого чина» (Ходасевич 1988: 44). Последнее заковыченное выражение принадлежит Державину. Ходасевич в целом акцентирует комический план этой «декамероновской» истории, более пространно рассказанной в державинских «Записках».

<sup>296</sup> Ходасевич пишет по поводу отношения Екатерины к обожествлению Державиным собственной персоны: «... от него требовали лжи полной, грубой, придворной: чтоб он неизменно видел одно – и все-таки пел другое. Чтоб он пел богиню, не сводя глаз с императрицы, которая изо дня в день, нарочно, упорно показывает ему, что она не богиня и быть богиней не хочет – разве только в его стихах» (Ходасевич 1988: 152).



**В.Ч.>»** (Ходасевич 1988: 152). То есть если бы Державин уже во время событий, связанных с его фактической отставкой с поста олонецкого губернатора, увидел бы несообразность своей веры в Екатерину как в Божество, он неизбежно признал бы и свою собственную борьбу за «правду» попросту смешной. А к этому Державин, по Ходасевичу, был духовно не готов даже гораздо позже, когда ему пришлось убедиться в ложности своей мечты. И только ко времени создания «Записок», когда решалась судьба Отечества и вместе с ней – его собственная, он созрел до совершенного смирения своей земной гордости перед представшим ему к концу жизни как никогда ясным ликом Бога. В это время ему должна была представляться смешной и никчемной не только вся его служебная деятельность во славу «Фелицы», даже поэзия, последняя его слава и гордость, как слишком земное искусство, подверженное власти времени, представлялась ему абсолютным ничем при трубных звуках Ангела, «покаявшегося, что *времени больше не будет*» (Ходасевич 1988: 231).

Так трактует Ходасевич последнее неоконченное стихотворение Державина «Река времен в своем стремлении...» (1816). В этом стихотворении Державин объявляет преходящими и тленными не только все земные деяния, в том числе предполагающие самые возвышенные честолюбивые помыслы и стремления, но и поэзию, то единственное дело, которое до сих пор он считал безусловно бессмертным. С точки зрения поклонников «здорового смысла», Державин признал свое полное фиаско на служебном и поэтическом поприще. Ходасевич же полагает, что Державин «отказываясь от исторического бессмертия», в продолжении стихотворения намеревался выразить «мысль о личном бессмертии – в Боге» (Ходасевич 1988: 232).

Итак, Державин не мог изображать в «Записках» в «высоком» плане свои «самсоновские» деяния, вдохновленные «Фелицей», так как сам идеал оказался ложным. Ясно, что в таком случае единственно адекватным «земному», «филистимлянскому» характеру «божества» было бы изображение упомянутых деяний в системе принятых «филистимлянами» ценностей. Но Державин относился к этим ценностям как к человеческим слабостям. Но он по-прежнему, как и в молодости, был настроен на борьбу за правду<sup>297</sup>, а в «Записках», предназначенных для потомков, хотел быть особенно правдивым.

В таком случае, и в связи с указанным выше духовным уровнем, которого Державин достиг к концу жизни, разве он стал бы скрывать всю комическую несообразность своей служебной деятельности, вдохновленной верой в божественность «Фелицы», с «дутым», чисто словесным характером этого своего «божества»? Поэтому он изобразил свою деятельность с беспощадной правдивостью по отношению к самому себе и своей

---

<sup>297</sup> Как пишет Ходасевич: «Всю тщетность своей многолетней борьбы он познал глубоко, но знания этого не принял. Обернись время вспять, начнись завтра все сызнова, старик действовал бы во всем точно так же, как действовал в молодости. По-прежнему был бы он резок и неуступчив, по-прежнему отвергал бы возможное ради должного, был готов сломиться, но не согнуться и с гордостью повторил бы жизненные свои ошибки – все как одну, с первой и до последней» (Ходасевич 1988: 211).

человеческой гордости в адекватном трагикомическом ключе<sup>298</sup>, благо, по-  
доспел свежий пример «погони» за «золотым тельцом». На этот раз в роли  
«траппера» на сцену мировой истории выступил император французов.

3.2. *Реализация установки Ходасевича на чтение «Записок»  
в «высшем плане» в биографии «Державин»  
(в рамках полемики с Пушкиным и Гротом)*

Общая установка Ходасевича в «Державине» на чтение державинских «Записок» в «высшем плане» проявилась и в изображении самарского и малыковского эпизодов военной карьеры Державина. На примере данных эпизодов биографии Ходасевича можно убедиться, каким образом писатель полемизировал как с наукологическим дискурсом Грота, не учитывающего фикциональный статус «Записок», так и с пародийным дискурсом Пушкина, этот статус тонко заметившего и обострившего комический эффект державинского повествования, однако проигнорировавшего план «sub specie aeternitatis» как его конструктивный прием.

**3.2.1. Самарский эпизод.** В биографии «Державин» упомянутый аргумент «историка» из статьи «Пушкин о Державине» по поводу чисто «политического» и «разведочного» характера обязанностей Державина содержится в развернутом виде как установочная преамбула к сцене аудиенции поэта у А.И. Бибикова, состоявшейся, как было отмечено выше, через два дня по прибытии того в Казань, то есть 28 декабря 1773 года. Сравнить: «Следует вникнуть в то обстоятельство, что Державин был взят Бибиковым в *секретную следственную комиссию*, т. е. в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. Правда, круг действий комиссии не был строго регламентирован, ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия о сообщниках Пугачева. Но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появления Державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях, по самому роду службы его, должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение Державина, как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера, заранее определяло его отношения и с гражданскими властями, и с начальниками войсковых частей, и даже с самим главнокомандующим» (Ходасевич 1988: 55-56). Мы полагаем, что последовавший затем повтор в статье «Пушкин о Державине» данной трактовки служебной деятельности Державина во время пугачевщины является не случайным и обозначает ключевой характер упомянутой аудиенции Державина у Бибикова для понимания, в конечном итоге, ходасевичевской концепции личности Державина.

---

<sup>298</sup> Видимо, именно этот вид пафоса имел в виду Ходасевич, когда определял эмоциональный модус «Объяснений», следовательно, и «Записок», как «горьковатые радости» (Ходасевич 1988: 203).

Ходасевич в биографии «Державин» в своем изложении данного разговора главного героя с Бибиковым не только педантически следует за текстом «Записок», но и обнажает мотивы, могущие вызвать у читателя впечатление потенциальной комичности этой сцены. Сначала приведем интересующий нас фрагмент биографии: «Тут произошла сцена, с первого взгляда не вовсе правдоподобная: отродясь не нюхавший порошу подпоручик заявляет заслуженному боевому генералу Бибикову, что „надобно делать какие-нибудь движения“, а главнокомандующий оправдывается:

– Я это знаю, но что делать? войски еще не пришли.

– Есть ли войски, или нет, но надобно действовать, – возражает подпоручик.

Бибиков сердится, но не прогоняет его. Напротив, схватив за рукав, тащит к себе в кабинет и там сообщает тайную и мрачную новость: Самара взята пугачевцами, а население и духовенство встретили мятежников колокольным звоном и хлебом-солью.

– Надобно действовать, – в десятый раз повторяет Державин» (Ходасевич 1988: 57-58).

Итак, Ходасевич подчеркивает колоссальную разницу, существовавшую между Державиным и Бибиковым в отношении веса их фигур в военно-стратегическом смысле этого слова: так сказать, «пешка» приказывает «ферзю».

Кроме того, писатель педалирует генетически «гамлетовский» мотив сомнения главнокомандующего, его неуверенности в собственных силах.

Абзац, содержащий описание анализируемого диалога, начинается предложением, в котором интересующий нас мотив выделен посредством «каденции»: «Бибиков приехал в Казань 25 декабря, ждал войск и нервничал»<sup>299</sup> (Ходасевич 1988: 56).

В ходе разговора, по словам Ходасевича, Бибиков «оправдывается». Очевидно, в данном случае писатель чересчур субъективно трактует описание Державиным реакции своего начальника, а именно: «Генерал с сердцем возразил» (Державин 2000: 40). Пожалуй, Грот в данном случае более корректно раскрывает подразумеваемое значение этого державинского эпитета: «возразил с некоторой досадой» (Грот 1997: 68).

Наконец, Ходасевич усиливает у читателя впечатление «глобальной» растерянности главнокомандующего посредством спаренных весьма «тяжелых» эпитетов – «тайный и мрачный», «присовокупленных» к только что полученной новости о взятии пугачевцами Самары и о восторженном их приеме со стороны горожан.

«Гамлетизм» Бибикова подан по контрасту с уверенностью и духовной силой его *vis-à-vis* – Державина. Ходасевич усиливает тройной повтор его предложения действовать посредством количественной гиперболы: «...

---

<sup>299</sup> Для сравнения, Грот употребил более нейтральное выражение для характеристики психологического состояния Бибикова по приезде в Казань. Сравнить: «Беспокойство нетерпеливого военачальника выражалось во всех его донесениях императрице и письмах к жене» (Грот 1997: 68). См. также приведенные нами свидетельства по поводу поведения Бибикова в Казани.

в десятый раз повторяет Державин» (Ходасевич 1988: 58). То есть, очевидно, что, по Ходасевичу, Державин, если бы понадобилось, и в сотый раз повторил требование «быть». Он неумолим, как Призрак отца Гамлета, точнее говоря, как символизируемая этим персонажем в трагедии Шекспира Совесть Гамлета, связывающая заглавного героя с Божественным Провидением<sup>300</sup>. Мы полагаем, что в данном эпизоде «Державина» обнажается пророческая сущность заглавного героя. Только «с первого взгляда», говорит Ходасевич, обсуждаемая сцена может показаться «не вовсе правдоподобной», то есть комичной. Если вдуматься в суть побудительных мотивов Державина, по-видимому, не ясных к тому времени даже для него самого, можно увидеть ее глубокую нетривиальность, мы бы даже сказали, судьбоносную значимость в жизни и творчестве поэта. Судя по тексту «Державина» в целом, поэт не раз становился «Совестью» власть имущих. Прежде всего, это наблюдение касается его взаимоотношений с императрицей, о чем подробнее еще будет сказано ниже.

Однако «высший», или «реальнейший» (*realioris*), в достоевско-ивановском смысле, план побудительных мотивов державинского поведения во время аудиенции у Бибикова Ходасевичем затушеван, то есть уходит в подтекст произведения и требует, так сказать, «реставраторской» работы. «Первый слой» созданного писателем повествовательного «полотна» «выписан» по так называемому принципу «психологических расшифровок». А.Л. Зорин, предложивший этот термин, таким образом объясняет его суть: «Известные эпизоды биографии Державина последовательно излагаются в книге в проекции на внутреннее состояние участвующих в них персонажей, их побуждения, переживания и реакции» (Зорин 1988: 17).

В данном эпизоде «Державина» Ходасевич мотивирует в указанном плане дерзкое поведение заглавного героя четким пониманием своих прямых служебных обязанностей в качестве офицера секретной следственной комиссии, и, так сказать, «истовостью» в исполнении этих обязанностей. По Ходасевичу, Державин не только *имел право*, но и обязан был требо-

---

<sup>300</sup> Вообще говоря, тема двойничества Бибикова и Державина релевантна для биографии Ходасевича. Так, писатель прямо говорит о сходстве характеров этих персонажей своего произведения в отношении восприятия действительности: «При всем различии положений и лет, у Бибикова с Державиным было в характерах общее: и начальник, и подчиненный легко увлекались; оба слегка были фантазеры» (Ходасевич 1988: 60). В контексте произведения Ходасевича эти качества Бибикова обозначают его поэтическую натуру. Так, в сцене агитации казанского дворянства главнокомандующий представлен как человек, сведущий в драматическом искусстве. При этом он действовал, как отмечает писатель, «по поручению Екатерины» (Ходасевич 1988: 59), перу которой, как известно, принадлежат в том числе и нравоучительные комедии. Между прочим, Державин принял в этой затее деятельное участие в качестве автора благодарственной речи Екатерине от казанского дворянства. Последние слова умирающего Бибикова, адресованные императрице, Ходасевич подчеркнуто передал на французском языке. В этом обращении Бибиков предстает как рыцарь, самой большой трагедией для которого является невозможность увидеть свою Даму, то есть Екатерину, в последний раз: «Si j'avais un seul habile homme, il m'aurait sauvé, mais hélas, je me meurs sans vous voir» (Ходасевич 1988: 63). Для сравнения, Грот передает эти слова порусски, не упомянув о существовании французского оригинала. Причем, в его передаче, выражение «sans vous voir», которое буквально переводится как «не увидев Вас» (ср. данный перевод в книге Ходасевича), звучит как «вдали от вас»: «Если б при мне был хоть один искусный человек, он бы спас меня; но увы, я умираю вдали от вас» (Грот 1997: 87). Как будет показано ниже, такое же отношение к Екатерине как к Божеству, было и у Державина.

вать от своего непосредственного начальника, взявшего, кстати сказать, его на службу в качестве сверхштатного офицера, исполнения прямых служебных обязанностей, в случае, если находил уклонение от них. Державин выполнял функцию «государева ока», и с этим вынужден был считаться сам начальник секретной комиссии<sup>301</sup>.

Что же касается совершенной Державиным военной экспедиции под Алексеевск, то Ходасевич считает нужным подчеркнуть, в соответствии со своей концепцией сыскных обязанностей заглавного героя, что в ней он участвовал «не в качестве «военной силы», а для того только, «чтобы увидеть в прямом деле г-на подполковника Гринева, его офицеров и команду» (Ходасевич 1988: 58). Цитируя данный фрагмент «Записок», Ходасевич тем самым акцентирует интересующий его мотив.

Таким образом, Ходасевич, как и Грот, с концепцией которого главным образом он полемизирует в данном месте своей биографии, дезавуирует комизм, потенциально содержащийся в той сцене «Записок» Державина, где излагаются обстоятельства аудиенции у Бибикова и последовавшей командировки в Самару. Однако для этой цели он использует другую стратегию: если Грот корректирует мотивы «Записок», могущие вызвать у читателя соответствующее впечатление, то автор «Державина» их обнажает, чтобы, так сказать, «задушить в самом корне» саму возможность подобной интерпретации. В самом деле, по Ходасевичу, поведение Державина в данном эпизоде его деятельности во время пугачевщины может пока-

---

<sup>301</sup> Искусственность (а, значит, художественная условность) данного построения Ходасевича, оттеняется тем фактом, что, насколько нам известно, подобные «идиллические» отношения между, условно говоря, «начальником» и «подчиненным» – шаблонная тема устных преданий из истории императорской (прежде всего – петровской) России. Так, Д.Н. Бантыш-Каменский, ссылаясь на *анекдоты о Петре Великом Гг. Голикова и Штелина*, рассказывает в своем «Словаре достопамятных людей Русской земли» о бесстрашном поведении И.А. Черкасова, ставшего уже при Елизавете бароном, по отношению к могущественному Меншикову: «... в Царствование Императора Петра Великого служил сначала в низших чинах, под начальством Тайного Кабинет-Секретаря Макарова. Он ненавидел Меншикова и, зная любовь к правде Государя, не страшился мщения Вельможи сильного, гордого, который при всяком случае оказывал ему явное презрение. Однажды Черкасов до того выведен был из терпения грубым приемом Меншикова, что осмелился сказать Фельдмаршалу: «Если бы о всех делах твоих узнал Государь; то не столько мог бы ты кичиться своею знатностию, не презирал бы так людей честных». — Взбешенный дерзостию Канцеляриста, первейший Сановник в России, которому поклонялись все Царедворцы, немедленно явился к Петру Великому и сказал: «Подъячий ваш разругал меня, мужика <так!> заслуженного, отличенного Вашею милостию». — Государь послал за Черкасовым: *Как смел ты*, — произнес Он гневным голосом, — *бранить Фельдмаршала?* — «Я не бранил его, Государь, — отвечал, без робости, Черкасов: — только, не стерпя оказанного им мне презрения — в чем признаю себя виноватым, — сказал ему: *что если бы Вы знали все дела его и не так его любили: то он не кичился бы своею знатностию*. — При сих словах Черкасов вынул из кармана давно составленную им выписку о всех злоупотреблениях и о корыстолюбии Меншикова и прочел оную Государю. С терпением великий Монарх выслушал донос Канцеляриста на Фельдмаршала и отпустил Черкасова без гнева; потом, при первом свидании, сказал Меншикову: *Ты сам презрением своим принудил Черкасова говорить тебе правду, и ежели, по исследованию, донос его окажется справедливым: страшись гнева моего*. — Тот же самый Меншиков, звавший Черкасова *подъячим*, дружески потом жал руку его, приветствуя сими словами: *все ли вы, друг мой, в добром здравье? <...>* К чести славного Меншикова, Черкасов, причинивший ему множество неприятностей при Петре Великом, не пострадал в Царствование Екатерины I и Петра II, когда кормило Государственное находилось в руках любимца счастья...». <При цитировании сохранена пунктуация подлинника – В.Ч.> (Бантыш-Каменский 2006: статья «Черкасов Иван Антонович, барон»). Любопытно, что этот же сюжет затем был утрирован в лениниане. Мы имеем в виду известный по советской детской литературе рассказ о бдительном кремлевском часовом, потребовавшем у Ленина пропуск.

заться смешным только, так сказать, «ужам», «рожденным ползать» (Горький 1991: 326), то есть, в данном случае, историкам à la Грот, строящим свои циклопические сооружения на позитивистском представлении об обусловленности достижения какой-либо цели имеющимися в распоряжении материальными ресурсами. Если продолжить наше рассуждение в горьковском романтическом коде, к слову сказать, далеко не случайном, по крайней мере, для данного эпизода книги Ходасевича, то подобные исследователи, мотивирующие героические порывы в небо, к свету, исключительно с точки зрения единственно доступной им «опоры живому телу» (Горький 1991: 326), просто не способны понять державинский гений, в прямом значении этого слова<sup>302</sup>, который скрыт в довольно непривлекательной по земным меркам оболочке «не нюхавшего пороху подпоручика».

На наш взгляд, для таких, так сказать, «широких читателей» и приготовил Ходасевич, учтя при этом опыт автора «Недоросля», версию о Державине-«государевом оке», как наиболее доступную их пониманию. А чтобы устранить подозрение в «хлестаковстве» «подпоручика», так сказать, удостоверить его настоящую должность посредством ее акцентирования.

Подведем итоги сделанных нами наблюдений по поводу интерпретации Ходасевичем как автором биографии «Державин» самарского эпизода военной карьеры Державина.

Двойным повтором установочного утверждения по поводу разведочного, а не военного характера служебной деятельности Державина во время пугачевщины Ходасевич выделил сцену его аудиенции у Бибикова как ключевую в его концепции фикционального статуса державинских «Записок». Очевидно некорректное с наукологической точки зрения данное положение «историка», выдвинутое в статье «Пушкин о Державине», призванное обратить внимание читателя на схематичность соответствующего дискурса в биографии «Державин», будучи употребленным в поэтологической функции, в качестве «указателя» «лирического», по определению Ходасевича, плана державинских «Записок», является приемом, с помощью которого писатель не только полемизирует с позитивистским подходом к этому тексту Державина либо откровенно пародирует «ученых историков», но, главное, обнажает конструктивный для «Записок» план «sub specie aeternitatis». Этой же цели служит обнажение интертекстуальных связей данного эпизода «Записок».

Теперь рассмотрим изображение Ходасевичем в биографии «Державин» малыковского эпизода служебной деятельности главного героя.

**3.2.2. Малыковский эпизод.** Ходасевич акцентирует мотив «разведочной» деятельности Державина в марте-апреле 1774 года.

Он пропускает приведенное в «Записках» свидетельство по поводу «истинной цели» пребывания Державина на Иргизе (то есть предотвращения пугачевского наступления в данном направлении). По Ходасевичу,

---

<sup>302</sup> См. определение В.И. Даля: «незримый, бесплотный дух, добрый или злой» (Даль I: 348).

Державин послал лазутчиков к Пугачеву исключительно для того, чтобы «разузнать о его делах, намерениях и силах» (Ходасевич 1988: 62).

Воинский отряд Державин просил у Кречетникова для поимки Пугачева. Во всяком случае, никакой другой мотивировки этой просьбы Ходасевичем не приводится. Сравнить соответствующий эпизод биографии: «Наладив целую сеть лазутчиков, Державин счел нужным обеспечить себе и чисто военную помощь, т. е. получить отряд в свое распоряжение. Для этого он отправился в Саратов к астраханскому губернатору Кречетникову...» (Ходасевич 1988: 62). Ходасевич даже не упомянул гротовской версии об угрозе нападения на колонии со стороны киргиз-кайсаков как о причине стремления Державина заполучить в свое распоряжение воинский отряд. Таким образом, Ходасевич идет даже на некоторую, на наш взгляд, немотивированность своего варианта решения вопроса о причине довольно странной просьбы о воинской помощи со стороны офицера, выполняющего исключительно конспиративное задание.

Далее, Ходасевич также не приводит мотивировки державинского требования военного отряда и от начальства саратовской опекунской конторы. По его словам, Лодыжинский (начальник этой конторы) пошел на встречу Державину и выделил в его распоряжение три роты артиллерийского фузелерного полка, исключительно в целях интриги против Кречетникова, с которым враждовал: «Начальник конторы Лодыжинский был с губернатором в плохих отношениях и, чтоб ему досадить, разрешил Державину, буде понадобится, брать эти роты» (Ходасевич 1988: 62). Ясно, что раз речь заходит об интриге, не жалко даже войск. Другими словами, Державину можно было и не мотивировать свою просьбу: достаточно было оказаться в числе «обиженных» со стороны губернатора, и, значит, по мысли опытного чиновника, стать потенциальным *средством*, или *рабочей лошадкой*, в борьбе с враждебной чиновнической партией.

Ниже, излагая обстоятельства, в которых оказался Державин после смерти Бибикова, Ходасевич пишет, что «Мансуров с Голицыным высоко ценили его разведочную работу...» (Ходасевич 1988: 63). Для сравнения. Согласно документам, эти генералы в ордерах от 28 апреля и 2 мая 1774 г., соответственно, на самом деле выражали свою озабоченность по поводу возможного укрывательства на Иргизе мятежников из недавно взятого Яицка и в связи с этим предписывали Державину провести силами имеющейся в его распоряжении воинской команды «зачистные» операции по их поимке<sup>303</sup>. Конечно, как уже отмечалось и выше, эти операции можно трактовать как «разведочную» работу.

---

<sup>303</sup> Цитируем соответствующее место из рапорта Мансурова от 28 апреля: «Имеющейся у вас военной команде весьма нужно Иргиз <примечание Грота к этому месту: «Кажется, тут есть пропуск: смысл очевидно тот, что на Иргизе нужна военная команда»>, где частые слободы, кои наполнены раскольниками, почему и первым беглых отсюда мятежников убежищем быть могут. Итак должно оных, кои там, может, уже и кроются, сделать от самой Мальковки вверх по Иргизу поиск, и от сего яду, как оные места, так и дорогу сызранскую, как весьма нужную для провозу безопасного транспорта в пропитании здешнего места, очистить» (Державин 1864- V: 66).

Однако Голицын в том же ордере приказывал Державину предпринять надлежащие меры против взбунтовавшихся калмыков, направляющихся в сторону Иргиза. Как было показано выше, с этими калмыками затем пришлось сражаться сначала саратовским фузелерам под началом капитана Ельчина, а затем команде майора Муфеля, специально командированной Мансуровым для этой цели. Здесь же генерал обращал внимание своего адресата на упомянутое выше письмо одного из руководителей яицких повстанцев Толкачова как на свидетельство возможного наступления в данном направлении крупных сил пугачевцев. Приводим интересный нас фрагмент ордера Голицына полностью: «... надеюсь, что еще не мало беглецов кинулись к Иргизу и прикосновенным селениям по реке Волге, как и первый из Калмыков бунтовщик Дербетев с своею семьею и с оставшими Калмыками; так не оставьте взять ваших примечаний, чтобы сии злодеи не могли в тех местах вреда какого сделать в колеблющихся мыслях тамошней черни и о поимке их употребить все старания. При сем приобщаю копию с одного письма от злодейского начальника к самозванцу Пугачеву, из которой увидите, что они полагают свою надежду на жителство тамошнее» (Державин 1864- V: 71). Очевидно, что Голицын имел в виду далеко не «разведочное» задание, как утверждает Ходасевич.

Благодаря такой стратегии автора «Державина», у читателя создается впечатление, что отряд саратовской опекунской конторы был изначально предназначен, максимум, для «зачистных» мероприятий, а не для более масштабных боевых операций против киргиз-кайсаков либо «толпы» пугачевцев, могущих прорваться через Иргиз во внутренние губернии за Волгу. Как мы полагаем, по мысли Ходасевича, читателя не должно смущать само упоминание воинской команды, имевшейся в распоряжении Державина как офицера секретной комиссии, выполнявшего конспиративное задание по поимке Пугачева в иргизских раскольничьих скитах. Солдат в этой команде было ровно столько, сколько нужно было для проведения «разведочной» работы, не более того.

Тем неожиданнее в этом контексте звучит сообщение Ходасевича, что именно с этим отрядом Державин предпринял «за свой страх и риск» (Ходасевич 1988: 63) «серьезную» боевую операцию под Яицк, чреватую многими опасностями. Правда, по Ходасевичу, сам Державин понимал, что имевшихся в его распоряжении войсковых ресурсов для этой операции явно недостаточно: он просил у Кречетникова помощи. Однако, в конце концов, получив от астраханского губернатора отказ, решил предпринять поход с имеющимися в наличии воинскими силами: «... Державин рассудил, что Мансурова должны задержать разливы рек, – и решился «сикурсировать» крепостцу, подойдя к ней с другой стороны. Вновь стал он требовать войск – и вновь губернатор ему отказал. Тогда Державин, послав Бибикову жалобу на губернатора (уже не первую), составил отряд из фузелеров и казаков опекунской конторы, прибавил сотни полторы малыковских крестьян, выпросил у Максимова провианта для яицкого гарнизона и 21 апреля двинулся в поход. Предстояло пройти верст 500» (Ходасевич 1988: 63).



На самом деле, как было показано выше в связи с обсуждением рапорта Бибикову от 21 апреля и соответствующего эпизода книги Грота, Державин получил отказ у Кречетникова по поводу этих казаков. Никакой другой воинской силы, как это можно понять из данного эпизода книги Ходасевича, Державин у губернатора не просил.

Таким образом, Ходасевич акцентирует незначительность воинских сил, имевшихся в распоряжении Державина в яицкой экспедиции: с отрядом, потребным разве что для проведения «разведочной» работы, поэт собирается конкурировать с опытным боевым генералом в освобождении крепости.

На наш взгляд, в данном случае, Ходасевич хочет сказать, что для человека такого калибра, как Державин, если он решился действовать «на свой страх и риск», не может существовать каких-либо, так сказать, «земных» ограничений в принципе, пусть если даже речь идет о потребном количестве войск. Какая разница, сколько было войск в распоряжении Державина! Он все равно сделал бы этот шаг, руководствуясь, прежде всего, своим духовным решением.

Таким образом, мы наблюдаем очередной пример ходасевичевского концепирования деятельности Державина в «реальнейшем» плане. В данном случае, Ходасевич обнажает в соответствующих эпизодах державинских «Записок» библейский код, актуальный для стихотворных текстов поэта.

Как известно, исход всех битв, описание которых содержится в Ветхом Завете, зависит не от количества войск, а от степени их боговдохновенности. Общеизвестный пример этого, с определенной точки зрения, парадокса – противостояние Давида и Голиафа. Но для нас показательнее сражение Гедеона с мадианитянами и амаликитянами. Последние, как сказано в Библии, «расположились на долине в таком множестве, как саранча» (Суд. 7, 12). Иудеев же, которых возглавлял Гедеон, по требованию Бога осталось всего триста человек против тридцати двух тысяч, собравшихся было для сражения. Как сказал по этому поводу Господь Гедеону: «... народа с тобою слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: „моя рука спасла меня“» (Суд. 7, 2). В результате, отряд под руководством Гедеона обратил в бегство своих противников, которых пало в общей сложности «сто двадцать тысяч человек, обнажающих меч» (Суд. 8, 10).

Державин вспоминал об этом событии, в ряду других библейских подвигов, в оде «На Мальтийский орден» (1798), призывая императора Павла сохранять твердость в борьбе с безверием, распространившимся в результате французской революции:

В броню незриму облеченна,  
Юдифь Олферна жнет главу,  
Сампсона мышца напряженна  
Дерет зубасту челюсть льву;  
Бег солнца Навин воспрещает,  
Труб гласом грады сокрушает;

Багрит стан ночью Гедеон,  
Давид из пращи мечет камень;  
Тряся Голиаф туманен  
Падет пред ним, как страшный холм  
(Державин 2002: 255).

Как подчеркнул Державин в объяснении к данным стихам, все эти события произошли только по воле Бога: «Все сии библейские чудеса Автор ввел предсказывая, что когда помощь Божия будет вспомоществовать оружию Россиян, то они верно победят, что и исполнилось тогда под предводительством Суворова» (Державин 2002: 607).

Соответственно, как намекает Ходасевич, и сам Державин, выступая в поход против богоотступников с небольшим отрядом, надеялся на помощь Бога; едва ли не мыслил себя равным Гедеону либо Пересвету, о подвиге которого также упоминается в оде «На Мальтийский орден».

«Реальнейший» план в действиях героя державинских «Записок» Ходасевич обнажает и в сцене малыковской казни.

В отличие от Грота, он подробно пересказывает эту сцену по тексту «Записок», акцентируя связь державинского повествования с поэтическим планом (в смысле обозначенного выше «самсоновского» кода). «Замечательна смесь воображения и расчета, с коими он <Державин> затем действовал», – пишет Ходасевич, предваряя рассказ о самой казни. Мы полагаем, что слово «воображение» и отсылает к поэтическому («реальнейшему») плану данного поступка Державина.

Кроме того, Ходасевич акцентирует мотив борьбы героя «Записок» именно с духовной «язвой» малыковцев, а не с их фактическим бунтом. Он обходит молчанием упомянутое свидетельство Вильгельми от 24 августа об установившемся внешнем спокойствии среди жителей того района, куда следовал Державин со своим отрядом, и определяет Малыковку как «беспокойную» (Ходасевич 1988: 71). Под этим эпитетом писатель имеет в виду брожение умов поселян. Дело в том, что тут же, характеризуя впечатление, произведенное на малыковцев казнями в Поселках и Сосновке, Ходасевич пишет: «... его <Державина> ждали с ужасом» (Ходасевич 1988: 71). Очевидно, что в таком состоянии было бы трудно или невозможно «буйствовать».

Итак, по Ходасевичу, в казнях, произведенных Державиным, действительно обнаруживается поэтический план. Однако для этого деяния никак не подходит дмитриевское определение «любопытство», принятое, как было показано выше, с точки зрения Ходасевича, и Пушкиным как автором «Истории Пугачева». Поведение Державина в данном эпизоде отнюдь не было жизнетворческим, но было вызвано острой практической необходимостью. Что поделать, если до сих пор человечество боролось с безверием именно таким, «негуманным», способом. И действия Державина в этом смысле не были исключением. Другими словами, по Ходасевичу, если

«поэтическая деятельность» Державина и «соприкасалась» «со служебной» (Ходасевич 1988: 103), то только в смысле равно присущей им боговдохновенности. В плане «четвертого измерения» разница между поэтом и человеком не релевантна. В эпизоде казней Державин мыслил себя, в ветхозаветном коде, как орудие Божией мести, и эта позиция соответствует духовному настрою его поэзии. В этом и только в этом смысле «слова поэта» были «претворены в дела»<sup>304</sup> (Ходасевич 1988: 103), как самовольная экспедиция под Алексеевск либо под Яицк явились реализацией призывов Державина к действию в сцене аудиенции у Бибикова.

В игнорировании «четвертого измерения» державинских «Записок» Пушкин неожиданно сходится с позитивистами Гротом, Фирсовым, Ануциным. Ни он, ни его «последователи», как охарактеризовал их ходасевичевский «историк», не учли, например, символический план «разведочной» работы Державина, акцентированный Ходасевичем, как было показано выше, в сцене аудиенции у Бибикова. Пушкинский комизм в изображении малышковской деятельности Державина оказывается, что называется, «завязан» на системе «земных» координат, – вопросах количества, меры, расстояния и т. д.. С этой точки зрения, Державин, действительно, преувеличил в «Записках» значимость своей персоны, приписав себе заслугу защиты Волги от пугачевцев. В «системе мер и количеств» этот его поступок дает повод Пушкину (и, как ни странно, Кречетниковым) лишний раз над ним «подсмеяться», а Гротам – стыдливо прикрыть «человеческие» слабости поэта, объяснив их, например, старческой амнезией, как буквально было сделано в «Жизни Державина». Однако по-настоящему шутка поэта, другими словами, высший художественный смысл «Записок» не был понят ни автором «Истории Пугачева», ни последующими историками, смотрящими на мир сквозь очки так называемого «здорового смысла».

Итак, мы показали стремление Ходасевича разрушить комический эффект пушкинского изображения действий Державина в Малышковке. Писатель опроверг мнение Пушкина о Державине как о человеке самовлюбленном, тщеславном и жестоком. Однако это еще не все черты характера Державина, затронувшие пародийную жилку Пушкина как автора «Истории Пугачева» и, соответственно, вызвавшие своим искаженным образом полемическую реакцию Ходасевича. К обсуждению этого вопроса мы переходим в связи с анализом полемики Ходасевича по поводу пушкинского изображения действий Державина в Саратове.

---

<sup>304</sup> Имеется в виду следующий фрагмент биографии Ходасевича: «„Друг царский и народный“ – вот, по его определению, истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, И. И. Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут, именно в этой точке, поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонник *Закона* хотел стать его неколебимым блюстителем» (Ходасевич 1988: 103).

## Раздел 2. Полемика Ходасевича с пушкинской концепцией личности Державина в биографии «Державин» (саратовский эпизод)

### § 1. Обнажение Ходасевичем фикционального статуса саратовского эпизода «Истории Пугачева»

Как было показано выше, в связи с обсуждением «корректности» «наукологической» полемики ходасевичевского «историка» в статье «Пушкин о Державине», его указания на неточности, якобы допущенные Пушкиным в державинском сюжете «Истории Пугачева» по причине незнакомства с текстом «Записок», следует реципировать в плане их «поэтологической» функции.

Такую же функцию должна, по-видимому, иметь и критика «историком» пушкинского изображения саратовских действий Державина. Приведем эту критику полностью: «Между прочим, оказался он глубоко несправедлив к Державину в изложении саратовских событий, о которых он судит, руководствуясь преимущественно донесениями коменданта Бошняка, державинского недруга. Изложив (не вполне точно) экспедицию к Петровску, Пушкин вслед затем в мягких выражениях повторяет жестокую напраслину, взведенную на Державина Бошняком, – будто Державин бежал из Саратова перед нашествием Пугачева. В действительности Державин покинул Саратов потому, что за ним прибыл посланный из другого места, где требовалось его присутствие, а также потому, что за несколько дней перед тем получил приказ губернатора Кречетникова – немедленно выехать из Саратова. Самый приказ этот был дан под давлением Бошняка» (Ходасевич 07.09.1933).

Итак, согласно ходасевичевскому «историку», главным источником информации у Пушкина по саратовскому эпизоду военной карьеры Державина были донесения Бошняка. Отсюда неточности, допущенные автором «Истории Пугачева» при изложении событий экспедиции в Петровск, отсюда же и напрасное обвинение Державина в бегстве из Саратова перед нашествием Пугачева. Ведь, как было сказано выше, согласно «историку», Пушкин не знал державинские «Записки» и поэтому в данном случае не имел возможности скорректировать показания Бошняка.

Чтобы проверить данные утверждения «историка» по поводу пушкинского изображения упомянутых действий Державина, обратимся к соответствующему эпизоду «Истории Пугачева» (из Восьмой главы). Вот как Пушкин передает события петровской экспедиции и последующий отъезд Державина из Саратова: «4 августа узнали в Саратове, что Пугачев выступил из Пензы, и приближается к Петровску. Державин потребовал отряд донских казаков, и пустился с ними в Петровск, дабы вывезти оттуда казну, порох и пушки. Но, подъезжая к городу, услышал он колокольный звон и увидел передовые толпы мятежников, вступающие в город, и духовенст-

во, вышедшее к ним навстречу с образами и хлебом. Он поехал вперед с есаулом и двумя казаками, и видя, что более делать было нечего, пустился с ними обратно к Саратову. Отряд его остался на дороге, ожидая Пугачева. Самозванец к ним подъехал в сопровождении своих сообщников. Они приняли его, стоя на коленях. Услыша от них о гвардейском офицере, Пугачев тут же переменил лошадь, и взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками поскакал за ним в погоню. Один из казаков, сопровождавших Державина, был заколот Пугачевым. Державин успел добраться до Саратова, откуда на другой день выехал вместе с Лодыжинским, оставя защиту города на попечение осмеянного им Бошняка» (Пушкин 1994- IX: 72). При этом в примечании (№ 7) к данному фрагменту Пушкин ссылается на показания казаков Фомина и Лепелина, которые принимали участие в петровской экспедиции, а также на донесение Бошняка: «Показания казаков Фомина и Лепелина. Они не знают имени гвардейского офицера, с ними отряженного к Петровску; но Бошняк в своем донесении именует Державина» (Пушкин 1994- IX: 116). Ни «показаний казаков Фомина и Лепелина», ни «донесения» Бошняка Пушкин не опубликовал<sup>305</sup>.

Итак, для Пушкина «донесение» Бошняка явилось единственным источником, указывающим на Державина как на руководителя экспедиции в Петровск.

Однако Ходасевич в биографии «Державин» утверждает, что Бошняк на самом деле заявлял именно о себе как о руководителе этой экспедиции. Тут же писатель передает его обвинение Державину в бегстве из Саратова. Сравнить: «По-ихнему <Бошняка вкупе с его начальником и покровителем астраханским губернатором П.Н. Кречетниковым – **В.Ч.** > выходило, <...> что экспедицию к Петровску совершил Бошняк, а не Державин (ложь грубая и наивная); что перед появлением самозванца Державин из города скрылся без надобности (главная и самая тяжелая для Державина ложь: он уехал по необходимости и лишь не успел вернуться; к тому же сам Кречетников перед тем *требовал* его удаления из города)» (Ходасевич 1988: 75).

При этом Ходасевич, конечно, прекрасно знал, что Бошняк, в принципе, не отрицал роли Державина в качестве руководителя петровской экспедиции, а также не обвинял его, по крайней мере, в прямой форме, в бегстве из города: он указывал лишь на сам факт отъезда Державина и на свое неведение относительно причины этого поступка. Сравнить рапорт Бошняка П.И. Панину от 11 октября 1774 г., опубликованный Гротом в 9 томе Собраний сочинений Державина: «... гвардии г. поручик Державин, взяв с собою еще того августа 4 числа от опекунской конторы всех Донских казаков, и с ними поехал в Петровск для забрания пороху и пушек, где те все Донские казаки, не доезжая еще до города Петровска, с повстречавшеюся разбойническою кучею соединились, а Державин принужден был с двумя казаками в Саратов

---

<sup>305</sup> Рапорт Бошняка в Военную Коллегию (без даты), в котором содержится информация о Державине, был обнародован в составе полного собрания сочинений поэта в 1938 году (см.: Пушкин 1994- IX: 673-675).

возвратиться, а по прибытии в Саратов, тот поручик Державин ночевал, уехал, а куда не знаю...»<sup>306</sup> (Державин 1864- IX: 81).

В чем тут дело? Почему Ходасевич «отвергает», казалось бы, очевидные вещи? Ответ тут, по-видимому, может быть только один, и получен в ракурсе антипушкинского полемического дискурса писателя: Ходасевичу важно было указать на двусмысленный, фикциональный характер примечания № 7 к главе Восьмой «Истории Пугачева».

В самом деле, если «донесение» Бошняка по поводу имени руководителя петровской экспедиции действительно существует, то бесполезно было бы искать «показаний» Фомина и Лепелина. У Ходасевича были все основания считать, что Пушкин под этими казаками подразумевал В.И. Малохова и И.Г. Мелехова, чьи показания были впервые опубликованы П.М. Щербальским в 1865 г. в виде приложения к своей книге «Начало и характер пугачевщины»<sup>307</sup>.

Дело в том, что в основном тексте «Истории Пугачева», который был написан якобы на основании показаний Фомина и Лепелина, содержатся факты из донесения Малохова и Мелехова. Приведем эти факты, а в скобках для наглядности процитируем соответствующие фрагменты основного текста «Истории Пугачева»<sup>308</sup>.

Малохов и Мелехов: «Тут увидели они войско Пугачева. Передние верхами входили с горы уже в город, а сзади шли повозки и остальные туда же. Духовенство встречало их с образами и с колокольным звоном и хлебом и солью». («История Пугачева»: «... подъезжая к городу, услышал он колокольный звон и увидел передовые толпы мятежников, вступающие в город, и духовенство, вышедшее к ним навстречу с образами и хлебом»).

Малохов и Мелехов: «И сам Пугачев с знаменами приехал, а они, став на колени, поклонились». («История Пугачева»: «Самозванец к ним подъехал в сопровождении своих сообщников. Они приняли его, стоя на коленах»).

Малохов и Мелехов: «Потом по распросам <так!> узнав, что есаул и 2 офицера бежали, сам Пугачев переменял лошадь, на буром коне взяв у казака дротик сам пят пустился в погоню». («История Пугачева»: «Услыша от них о гвардейском офицере, Пугачев тут же переменял лошадь, и взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками поскакал за ним в погоню».)

Малохов и Мелехов: «В сумерки приехал Пугачев, есаул и Гоголев ушли от него, а Шкуратов был заколот». («История Пугачева»: «Один из казаков, сопровождавших Державина, был заколот Пугачевым».)

Малохов и Мелехов: «5-го Пугачев пошел к Саратову (от Петр.<овска> 90 ве<рст>). Они нарочно оставаясь сзади видели всю его сволочь. Она состоит из 300 яицк.<их> каз.<аков>, остальные калмыки,

---

<sup>306</sup> См. также рапорт Бошняка Кречетникову от 12 сентября 1774 года, опубликованный Гротом в том же издании «с некоторыми сокращениями» (Державин 1864- IX: 74): «А по прибытии в Саратов (из-под Петровска) тот поручик Державин, ночевал уехал, куда не знаю...» (Державин 1864- IX: 75).

<sup>307</sup> Эти показания были затем напечатаны в «Материалах» к «Истории Пугачева» в девятом томе полного собрания сочинений А.С. Пушкина (1938).

<sup>308</sup> Показания Малохова и Мелехова цит. по: Пушкин 1994- IX: 676-679.

башкирцы, татары есачные, киргизцы, господские крестьяне, лакеи и проч. сброд. Знамен писаных и неп.<исаных> 20, пушек с 13, при них захвач.<енные> канониры – сволочи всей с 10000, из оных тысяч<и> 2 вооружены, прочие с вилами, чепушками, с крючьями и прочие безо всего». («История Пугачева»: «5 августа Пугачев пошел к Саратову. Войско его состояло из трехсот яицких казаков и ста-пятидесяти донских, приставших к нему накануне, и тысяч до десяти калмыков, башкирцев, ясачных татар, господских крестьян, холопьев и всякой сволочи. Тысяч до двух были кое-как вооружены, остальные шли с топорами, вилами и дубинами. Пушек было у него тринадцать».)

Итак, совпадений между показаниями Малохова и Мелехова и текстом «Истории Пугачева» достаточно, чтобы говорить о знакомстве Пушкина с этим документом.

Однако Пушкин значительно отступил от этих показаний при передаче событий петровской экспедиции в «Истории Пугачева». Эти казаки ничего не сообщают о том, что Державин непосредственно руководил их партией в походе на Петровск. Они были командированы Лодыжинским. Им передал есаул Фомин, что «гвардии поручик Державин <...> должен был быть за ними в Петровск». И далее: «Но он не приехал, а послал вместо себя поручика Гоголева» (Пушкин 1994- IX: 676). Соответственно, Державин не мог видеть толпы мятежников, въезжающих в Петровск, как это представлено в «Истории Пугачева». Самый, пожалуй, драматический эпизод едва ли не во всей военной карьере Державина, – погоня за ним самого Пугачева с дротиком в руках, опять-таки данным документом не подтверждается. От погони вместе с поручиком Гоголевым и есаулом Фоминым уходил другой офицер – прапорщик Шкуратов, который из всех троих единственный был заколот. *Державин не входил в непосредственный контакт с Пугачевым.*

Таким образом, у Ходасевича были также все основания считать, что Пушкин фикционализировал показания Малохова и Мелехова, выдвинув фигуру Державина в центр событий. В таком случае, донесение Бошняка о руководителе петровской экспедиции, могущее быть документально подтвержденным, выполняет функцию внушения читателю документализованности фикционального по своей природе повествования, так сказать, тем «реальным» штрихом, призванным удостоверить таковое же качество изображаемых в «Истории Пугачева» событий.

Теперь мы можем ответить на поставленный выше вопрос по поводу функции ходасевичевского приписывания Бошняку ложного указания на руководителя петровской экспедиции. На наш взгляд, Ходасевич этим приемом как бы хочет сказать следующее. В «Державине» я так же «ошибаюсь» в передаче рапорта Бошняка к Панину по поводу имени руководителя петровской экспедиции, как Пушкин «ошибается», ссылаясь на показания участников этой экспедиции казаков Фомина и Лепелина. Мне важно было подчеркнуть глупость и хамство Бошняка, принесшего столько зла Державину, и я акцентировал эти свойства его характера, приписав ему соответствующий поступок (по принципу: он не сделал, но мог сделать).

Точно так же и Пушкин, стремясь подчеркнуть те черты характера Державина, которые были актуальны для его концепции личности поэта, переработал, фикционализировал документ. А знаком фикционального статуса данного эпизода «Истории Пугачева» являются псевдонимы очевидцев событий<sup>309</sup>.

Какие же черты характера Державина выделил таким образом Пушкин? Какие указания Ходасевича на этот счет существуют?

Одно из таких указаний мы уже начали обсуждать, а именно – следует сопоставить источники Пушкина по петровско-саратовскому эпизоду карьеры Державина с основным текстом «Истории Пугачева» и сделать выводы из произведенных наблюдений.

Конечно, первое, что бросается в глаза при сопоставлении показания Малохова и Мелехова с основным текстом «Истории Пугачева», это изображение Державина подъезжающим к Петровску «с есаулом и двумя казаками» на расстояние, позволяющее увидеть невооруженным взглядом вступающих в город пугачевцев. Сама ситуация, а особенно такая деталь, как «два казака», сопровождающие Державина при сближении с мятежниками, заставляют вспомнить аналогичную сцену усмирения раскольничьего селения из Пятой главы и, соответственно, сопутствующий этой сцене мотив «богатырства» героя, акцентированный Пушкиным в комическом плане. Однако на этот раз Державин, в изображении Пушкина, ведет себя по-другому: он спасается бегством. Причем, за героем гонится сам Пугачев, то есть тот, за кем «охотился» он сам на Иргизе. О последнем обстоятельстве Пушкин говорит в самом начале «державинского» эпизода Восьмой главы, когда «напоминает» читателю о цели посылки героя в Малыковку («пресечь дорогу Пугачева в случае побега его на Иргиз» (Пушкин 1994- IX: 71)). По-видимому, от Пушкина не ускользнула некая «ирония судьбы», проявившаяся во время малыковской командировки Державина, и, возможно, он захотел этот момент подчеркнуть<sup>310</sup>. Но для нас важнее заметить, что Пушкин, столкнув Державина с реальной противоборствующей силой, обнажил чисто словесный характер его «богатырских» подвигов, подчеркнул комичность утверждения автора «Записок» по поводу эффективности блефа в борьбе с Пугачевым.

Второй момент, привлекающий внимание при сопоставлении показания Малохова и Мелехова и основного текста «Истории Пугачева», – это мотив погони Пугачева за Державиным. Если приближение Державина к Петровску не может быть подтверждено документально и, таким образом, остается, по-видимому, на уровне чисто фикционального приема, то факт погони зафиксирован, насколько нам удалось установить, в единственном источнике – державинских «Записках».

---

<sup>309</sup> В связи с этим представляется наивным мнение Г.П. Блока, автора «Алфавитного указателя» к IX тому полного собрания сочинений поэта, о том, что Пушкин допустил ошибку, употребив вместо имен В.И. Малахова и И.Г. Мелехова имена Фомина и Лепелина. См.: Пушкин 1994- IX: 871.

<sup>310</sup> Выше мы отмечали акцентирование комизма подобной ситуации («я ловлю – ты ловишь») в державинских «Записках».



Здесь Державин сообщает, что, узнав от едущего навстречу крестьянина о въезде пугачевцев в Петровск, решил послать к высланному вперед отряду казаков под началом есаула Фомина ординарца с приказанием возвращаться. Однако сопровождавший его майор Гогель вызвался сам исполнить данное поручение. Покамест Гогель отсутствовал, Державин послал лазутчика к графу Меллину. Далее цитируем: Державин «увидел скачущего во всю мочь Гогеля и за ним есаула Фомина, которые кричали, что казаки изменили и предались Пугачеву, покушались их поймать и с ним отвезть в толпу злодейскую; но Фомин, проникнув их умысл, остерег Гогеля, и по быстроте их лошадей к Державину ускакали. Пугачев сам с некоторыми его доброконными вслед за ними скакал; но порознь к ним, имеющим в руках пистолеты, приблизиться не осмеливались. Итак, их и Державина злодею поймать не удалось, хотя он чрез несколько верст был у них в виду» (Державин 2000: 58). В другом месте «Записок» Державин ответил на вопрос П.И. Панина, видел ли он Пугачева: «Видел на коне под Петровском» (Державин 2000: 67).

Следует сказать, что в показаниях Державина эпохи пугачевщины ничего не говорится о погоне Пугачева. Судя по рапорту П.И. Панину от 5 октября 1774 года, угроза исходила от изменивших казаков; именно от них Державину пришлось спасаться бегством. Вообще говоря, обстоятельства петровской экспедиции передаются в этом документе несколько иначе. Сравнить: «Отъехав пять верст, получил языка, что уж Пугачев вступает в город; тут я остановился, и казакам, едущим впереди, послал сказать, чтоб они возвратились, но они, все вдруг учинив бунт, хотели нас схватить, а по неудаче стрелглав предались варвару. Здесь признаться должно вашему сият., что я, Гогель и есаул до Саратова спаслись бегством...» (Державин 1864- V: 240). Согласно данному рапорту, лазутчика к Меллину Державин отправил тотчас по прибытии в Саратов, а не перед тем, как увидел скачущих навстречу Гогеля и Фомина.

О взбунтовавшихся же казаках как о главной угрозе свидетельствует рапорт Державина П.Н. Кречетникову, написанный по горячим следам произошедших событий, – 4 августа 1774 г., а также рапорт Меллина, пересказанный в так называемом «Военно-походном журнале» подполковника И.И. Михельсона. Сравнить рапорт Державина: «Известясь о воре, хотел я возвращаться, но бывший со мной из иностранцев господин майор Глен <так!> зделал предприимчивость, чтоб, не взирая на то, ехать в Петровск и Темников о злодеях проведать. Таким образом он, поехав, detaшировал от себя 4 человек, кои не возвратилися, а напоследок и вся моя сотенная команда, взбунтовавши, ушла к Пугачеву. Мы насилу жизнь спасли, а захвачен мною случайно гусар» (Крестьянская война 1973: 153). Сравнить выписку из журнала Михельсона: «Майор граф Меллин господин подполковника репортует, что злодей Пугачев, идучи ис Петровска, встречен был высланными ис Саратова в разъезд 60 казаками при порутчике Державине, которые, все изменя, предались вору Пугачеву, а порутчик Державин едва ускакал в Саратов...» (Крестьянская война 1973: 218).

Пугачев также ничего не сообщает о «гвардейском офицере» как об объекте преследования под Петровском. По его словам, захваченные четверо казаков, которых, как мы помним, послали на разведку в Петровск Гогель и Фомин, донесли о составе своей команды буквально следующее: «Шездесят-де человек нас донских, маеор, есаул и сержант» (Пугачев на следствии 1997: 205)<sup>311</sup>. А вот как Пугачев передает события, произошедшие после его приближения к команде саратовской опекунской конторы: «А как он приехал к ней блиско, то казаки тот час слезли с лошадей и наклонили знамя, сказав, что „мы тебе, государь, служить ради“. Помянутой же мазор, лишь только завидал ево, Емельку, идущаго с толпою, також есаул и сержант, поскакали во всю прыть от каманды прочь, за коими он, Емелька, послал погоню, ис коей сержанта, догнав, казаки убили до смерти, а мазор и есаул ускакали» (Пугачев на следствии 1997: 205). То есть Пугачев непосредственно не участвовал в погоне, и Державин, оставшийся далеко позади казацкой команды, никак не мог его видеть.

Итак, факт погони Пугачева за Державиным Пушкин мог почерпнуть только из державинских «Записок». Но как же быть с утверждением Грота, повторенным ходасевичевским «историком», о том, что Пушкин не знал «Записок»? Выше, при обсуждении пушкинского изображения малыковского эпизода военной карьеры Державина, мы имели возможность обойти этот вопрос, прибегнув к некоторым текстам-посредникам, наверняка Пушкину известным. Здесь же, по-видимому, без формулирования своего отношения к данной проблеме не обойтись. Ходасевич, указав на фикциональную стратегию Пушкина при работе с показанием Малохова и Мелехова, а также с донесениями Бошняка, поставил вопрос о степени знакомства Пушкина с державинскими «Записками» ребром.

## **§ 2. К вопросу о степени знакомства Пушкина с «Записками» Державина**

В современной науке этот вопрос стал актуальным благодаря прежде всего работам американского слависта Д.М. Бетеа.

В статье «Державин у Ходасевича», написанной совместно с А. Бринтлингер в 1995 году, Бетеа допустил знакомство Пушкина с «Записками» через их устные версии или рукописные варианты многочисленных слушателей Державина: «... несомненно, что основные факты державинской биографии были Пушкину известны, тем более что в старости Державин имел обыкновение читать с гостями свои произведения, в числе которых могли быть и „Записки“» (Бетеа, Бринтлингер 1995: 392). В самом деле, как известно, в пушкинскую эпоху многие произведения изящной словесности становились достоянием широкой общественности в рукописном варианте. Кстати, напомним, что Н.Ф. Остолопов, по его собственным словам,

---

<sup>311</sup> Здесь и ниже цитируется протокол показаний Е.И. Пугачева на допросе в Московском отделе Тайной экспедиции Сената 4-14 ноября 1774 года.

составил свое «Краткое описание жизни Г.Р. Державина» «из собственных его <Державина – В.Ч.> записок» (Остолопов 1822: Предисловие).

Однако во второй части новейшей монографии «Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь поэта» (2003), посвященной специально проблеме пушкинской рецепции жизни и творчества Державина, Бетеа все-таки отверг возможность знакомства Пушкина с державинскими «Записками». Ему показалось невероятным, что Пушкин, зная причину отъезда Державина из Саратова, не отметил бы этого в тексте «Истории Пугачева»<sup>312</sup>. Таким образом, Бетеа подходит к «Истории Пугачева» как прежде всего к научному труду, подразумевающему использование автором информации в полном объеме.

Однако и в наукологическом плане аргументация Бетеа, на наш взгляд, не безупречна. Как показывает история восприятия «Записок» Державина, даже зная доводы мемуариста, можно считать его поведение под Петровском и в Саратове трусливым. Мы имеем в виду, прежде всего, интерпретацию академика Н.Ф. Дубровина, данную с точки зрения профессионального военного.

Этот ученый полагает, что нарушение воинского долга со стороны Державина имело место быть уже в тот момент, когда он, узнав о нахождении пугачевцев в опасной близости от Петровска, вместо того чтобы самому ехать вперед к находящемуся под его началом казачьему отряду, послал вперед майора Гогеля<sup>313</sup>. Дубровин не может оправдать последовавшего бегства Державина соображениями количественного перевеса повстанческих сил. Фактически он обвиняет поэта в дезертирстве: «Оставаться при отряде и отступать вместе с ним от многочисленного неприятеля дело почетное, но бросить отряд и не явиться во главе его, когда сам затеял экспедицию, а затем рассуждать, благоразумно или нет вдаваться в опасность, в военном деле не допускается. <...> Беззаветное исполнение долга, не справляясь с числом противника, есть обязанность каждого военного, одинаково требуемая как в настоящем, так и в прошлом столетии» (Дубровин 1884 III: 179-180).

Точно так же, по мнению Дубровина, не может быть оправдан и отъезд Державина из Саратова. Донесение Герасимова (сподручного Державина) по поводу взбунтовавшихся крестьян, явившееся, по свидетельству

---

<sup>312</sup> «Трудно поверить, что если бы Пушкин читал „Записки“ Державина и понимал всю сложность стоявшего перед ним выбора, то он не отметил бы это в тексте своей „Истории“. Скорее всего, автор „Истории“ и „Капитанской дочки“ действительно считал, что в момент взятия Саратова Державин показал себя трусом» (Бетеа 2003: 224). «Капитанская дочка» упомянута здесь в связи с тем, что ученый находит определенный параллелизм между поведением Державина в «Истории Пугачева» и Швабрина.

<sup>313</sup> «Долг службы обязывал Державина, как человека сочинившего эту экспедицию и выпросившего себе казаков, ехать туда самому, но поэт предпочел не вдаваться в опасность и отказался показать саратовцам *пример решимости*» (Дубровин 1884 III: 177). По Дубровину, «пример решимости» – это собственные слова Державина из его формулировки цели петровской экспедиции. Сравнить эту формулировку в передаче Дубровина: «Команда была выслана по просьбе Г.Р. Державина, вызвавшегося ехать в Петровск, взять оттуда деньги, пушки, порох, узнать силы Пугачева и подать *саратовским властям пример решимости*» (Дубровин 1884 III: 177).

Державина, причиной его отъезда из Саратова<sup>314</sup>, как полагает ученый, послужило поэту «удобным случаем к тому, чтобы уехать из города» (Дубровин 1884 III: 206). Державин, по его словам, «уехал из Саратова по тем же соображениям, по которым он бежал из-под Петровска», то есть предпочел «сохранение собственной жизни защите города» (Дубровин 1884 III: 206). При этом Дубровин отметил чисто словесный характер «геройства» Державина во время саратовских событий, знакомый уже нам по «Истории Пугачева». «... Державину, бравшему на себя всю ответственность на словах, – пишет он, – следовало исполнить ее и на деле» (Дубровин 1884 III: 206).

Вообще говоря, Дубровин считал державинские «Записки» весьма уязвимыми с точки зрения фактической верности содержащейся в ней информации. Так, он заметил неоправданный с научной точки зрения контраст в противопоставлении фигур Бошняка и самого Державина: «В своих записках Державин употребил все средства, чтобы очернить Бошняка, сообщил несколько сплетен, которых мы повторять не станем, и напротив старался выставить свою деятельность в лучшем свете» (Дубровин 1884 III: 206). Дубровин оценивает как ложь утверждение Державина о том, что он видел Пугачева «на коне под Петровском»: «Державин солгал; он никогда не видел Пугачева, потому что близко к Петровску не подъезжал» (Дубровин 1884 III: 310). Ученый имел в виду показания Малохова и Мелехова<sup>315</sup>.

Таким образом, у нас нет твердых оснований считать, что Пушкину были не известны державинские «Записки», по крайней мере, в отношении петровско-саратовских событий<sup>316</sup>. С другой стороны, в пользу его знакомства с «Записками» говорит такой значительный факт, приводимый в «Истории Пугачева», как погоня Пугачева за Державиным. В конце концов, подход Пушкина к показанию Малохова и Мелехова, как было показано

---

<sup>314</sup> Эти крестьяне, мобилизованные по приказу Державина Герасимовым в Малыковке для обороны Саратова и находившиеся уже на подступах к городу, узнав об измене казаков под Петровском, отказывались продолжать движение без личного присутствия Державина. Последний, дабы избежать перехода взбунтовавшихся крестьян на сторону мятежников, как это обыкновенно случалось в эпоху пугачевщины, решил выполнить их требование. В пути Державин был задержан отсутствием лошадей и поэтому не смог быстро обернуться назад, в Саратов. См. данный эпизод: Державин 2000: 58-59.

<sup>315</sup> Кроме Дубровина, фактическую верность державинских «Записок» в изложении петровско-саратовского эпизода отрицал также Д.Л. Мордовцев, известный более как исторический романист. Сравнить: «Петровск был взят. Державин, выехавший против него из Саратова с отрядом, бежал, хотя и молчал об этом в „Записках“ о своей жизни» (Мордовцев 1868: 482). В следующей передаче событий петровской экспедиции Мордовцев подчеркнул мотив несоответствия слов Державина его действиям: «Поэт Державин, который в это время взял на себя защиту Саратовской губернии и, поэтому, полемизировал (впрочем, весьма язвительно и в литературном отношении безукоризненно) с саратовским комендантом Бошняком, вздумал было скакать с небольшим отрядом на защиту Петровска, но как увидел опасность лицом <так!> к лицу, то и ускакал обратно» (Мордовцев 1868а: 85). Излагая отъезд Державина из Саратова, Мордовцев в более острой форме цитирует пушкинскую формулировку: «Те, которые более всех кричали и язвительно издевались над Бошняком, как-то поэт Державин и Ладыженский – бежали. Остался один осмеянный Бошняк» (Мордовцев 1868а: 89).

<sup>316</sup> Таким основанием не может служить и собственное заявление Пушкина, приведенное в виде примечания к «Истории Пугачева»: «Державин написал свои Записки, к сожалению, еще неизданные» (Пушкин 1994- IX: 110). Как видно, такая формулировка не исключает факта знакомства Пушкина с содержанием «Записок». Как справедливо заметил по этому поводу Бетеа: «Это „к сожалению“ можно истолковать двояко: либо Пушкин сетовал на их недоступность, либо на то, что их нельзя процитировать» (Бетеа 2003: 223).

выше, тоже нельзя назвать корректным с научной точки зрения. Однако это не мешает нам утверждать, что это показание Пушкину было известно. И державинские «Записки», как мы полагаем, Пушкин также фикционализировал, дабы акцентировать интересующие его черты характера Державина. При этом, как видим, его интерпретация действий Державина под Петровском и в Саратове аналогична интерпретации Н.Ф. Дубровина, подошедшего к данной проблеме с военной точки зрения.

Таким образом, Пушкин, как мы видим, следуя указаниям Ходасевича, на самом деле был в курсе содержания «Записок». Однако он проигнорировал объяснение Державиным своего отъезда из Саратова, по видимому, посчитав его, подобно Дубровину, неосновательным, и ограничился показаниями Бошняка. Такой прием работы с источниками означает обвинение Державина в трусости и дезертирстве. Таков, на наш взгляд, смысл однозначной интерпретации ходасевичевским «историком» весьма обтекаемой формулировки отъезда Державина из Саратова, данной в «Истории Пугачева»<sup>317</sup>.

Остается еще не рассмотрен ближайший контекст петровской экспедиции Державина как героя «Истории Пугачева» и его последующего отъезда из Саратова, а именно пререкания Державина с саратовским военным комендантом И.К. Бошняком.

Ходасевичевский «историк», утверждая, что Пушкин совершил фактические ошибки по причине незнания державинских «Записок», ничего не сообщил об имеющихся в его распоряжении документах, использование которых могло бы скорректировать изображение саратовской деятельности Державина в «Истории Пугачева»<sup>318</sup>. Между тем, простая ссылка на один из этих документов могла бы указать на несостоятельность мотивировки «историком» отъезда Державина из Саратова перед нашествием Пугачева. Имеется в виду письмо Державина к Бошняку от 3 августа 1774 года, в котором поэт отказался подчиниться приказу Кречетникова покинуть Саратов и отправляться на Иргиз. Таким образом, Пушкин мог бы резонно возразить ходасевичевскому «историк», что, раз отказавшись исполнить приказ губернатора и при этом изложив этот отказ в письменной форме, Державин «перешел Рубикон». Если же «историк» считает, что поэт был бы способен уже через день<sup>319</sup> поменять свое решение на диаметрально противоположное, то, тем самым, он обвинил бы своего protégé в трусли-

---

<sup>317</sup> Мы полагаем, что Ходасевич указывает читателю на необходимость прочтения интерпретации Пушкиным отъезда Державина из Саратова, данной в «Истории Пугачева», в ракурсе его же однозначно негативной и жесткой оценки саратовской деятельности Державина, дошедшей до нас в устном сообщении П.В. Нащокина в записи П.И. Бартенева: «Поэта Державина Пушкин не любил, как человека, точно так, как он не уважал нравственных достоинств в Крылове. Пушкин рассказывал, что знаменитый лирик в Пугачевщину сподличал, струсил и предал на жертву одного коменданта крепости, изображенного в Капитанской Дочке под именем Миронова» (Бартенев 1992: 363). В этой связи представляется пронизательным замечание Бетеа по поводу сущностной тождественности указанного фрагмента из «Истории Пугачева» и приведенного воспоминания Нащокина. По словам исследователя, этот фрагмент «проливает свет на то, что запомнил Нащокин» (Бетеа 2003: 222).

<sup>318</sup> Имеются в виду два письма Державина к Бошняку от 30 июля и 3 августа 1774 г., которые Пушкин опубликовал в приложениях к «Истории Пугачева» (см.: Пушкин 1994- IX: 203-205).

<sup>319</sup> Державин уехал из Саратова в ночь на 6 августа.

вости и слабохарактерности, внушив читателю серьезные сомнения по поводу своей «адвокатской» квалифицированности. Мы полагаем, что данные гипотетические «возражения» Пушкина были предусмотрены Ходасевичем как эффективный прием для обнажения пародийности «наукологической» аргументации созданной им маски «историка». Во всяком случае, эти «возражения» вполне корректно вписываются в общий гротесковый характер «наукологического» «дискурса», выстраиваемого Ходасевичем в маске «историка».

Но для нас сейчас важнее предполагаемая за этим «дискурсом» «историка» поэтологически-полемическая функция обсуждаемой «негации» документов как «указателя» на такие художественные особенности саратовского эпизода деятельности Державина в «Истории Пугачева», которые оказались неприемлемы для Ходасевича-поэтолога. При этом данные художественные особенности должны быть напрямую связаны с содержанием писем.

Итак, каковы же принципы работы Пушкина с документами по эпизоду пререканий Державина с Бошняком, и какую художественную функцию эти принципы выполняют?

### ***§ 3. Пушкинская реконструкция действий Державина в Саратове: работа с документами***

В первом из упомянутых писем Державина Бошняку от 30 июля 1774 года, к которому Пушкин и отсылает читателя в основном тексте «Истории Пугачева», характеризуя его как «язвительное», в частности, сообщает о чрезвычайных полномочиях адресанта как члена секретной комиссии требовать от градоначальников полного себе подчинения («предписано по моим требованиям исполнять все» (Пушкин 1994- IX: 203)). Далее мы узнаем, что Державин приезжал в Саратов 16 июля с требованием подготовки к защите города; что 24 июля с общего согласия руководителей обороны (в том числе и Бошняка) было решено, ввиду отсутствия достаточного количества войск, не защищать весь город, а построив полевое укрепление и оставив в нем «для защищения людей и казенного имущества» (Пушкин 1994- IX: 204) малое число солдат, с основными силами атаковать противника в поле, и это решение было зафиксировано в рапорте Державина главнокомандующему князю Ф.Ф. Щербатову; что затем Бошняк в одностороннем порядке вышел из договора, решив защищать весь город, и, вследствие возникших разногласий, оборонительные работы были парализованы, и такое положение дел застал Державин, приехав в Саратов вторично 30 июля; что, наконец, Державина поддерживал в противоборстве с комендантом не только его союзник начальник опекунской конторы М.М. Лодыжинский, но и некоторая часть офицеров, и купцы.

Во втором письме от 3 августа 1774 года, представляющем собой, как было сказано, ответ Державина на присланный ему Бошняком приказ

астраханского губернатора П.Н. Кречетникова покинуть Саратов и отправляться на Иргиз, к месту службы, содержится, между прочим, информация о том, что он имеет право требовать от саратовских властей помощи для проведения порученных ему операций («... не по пустому требовал я в бытность его превосходительства в Саратове от Конторы опекунства иностранных команду, то апробовано от высших моих начальников, мне с похвалою») (Пушкин 1994- IX: 205).

В «Истории Пугачева» Пушкин, однако, ничего не сообщает о драматической предыстории августовских событий. При этом он игнорирует показания не только Державина, но и самого Бошняка. В «Истории Пугачева» совещание по поводу мер, необходимых для обороны города, впервые состоялось 1 августа, тогда как из рапорта Бошняка в Военную коллегию следует, что уже в июле по инициативе Опекунской конторы было начато строительство полевого укрепления, и что Державин вместе с Лодыжинским требовал от коменданта поддержки именно этой инициативы<sup>320</sup>.

Не сообщает Пушкин также о каких-либо особых полномочиях Державина, дающих ему право требовать помощи от городского начальства.

Из его текста никак нельзя догадаться о непоследовательном поведении коменданта, зафиксированном в упомянутом письме Державина от 30 июля 1774 года. Наоборот, в данном эпизоде Бошняк предстает твердым, хорошо знающим свои права и обязанности военачальником. Хотя Пушкин и называет его «упрямым» (Пушкин 1994- IX: 72), но, видимо, подразумевает под этой оценкой скорее положительную характеристику. Так, он расценивает как «слабость» (Пушкин 1994- IX: 73) уступки Бошняка купцам и майору Бутырину, которые заступились за предателей: уже изменившего Кобякова и впоследствии изменившего майора Салманова, соответственно.

Возможна и другая интерпретация этого эпитета – как отражающего точку зрения Державина, автора «язвительного» письма. В таком случае, показав, с одной стороны, разумную стойкость коменданта и, с другой, – безрассудную настойчивость его противника<sup>321</sup>, Пушкин переадресовал последнему собственное обвинение по принципу, который в другом месте назвал «сам съешь». Этот прием был, кстати говоря, весьма популярен в журналистике 20-30-х годов XIX века<sup>322</sup>.

Ниже Пушкин дважды называет Бошняка «храбрым»: при описании его вынужденного отступления с небольшим отрядом из Саратова<sup>323</sup> и по-

---

<sup>320</sup> См. донесение Бошняка: «А 1 августа ст.<атский> сове.<тник> Лодыжинской и гв.<ардии> поруч.<ик> Державин потребовали меня в ту контору, и предложили укрепляться где было начато, а не вокруг всего города, как я того хотел. На что уже и прежде отвечал я, что не внутри жила должно укрепляться, но с переди <так!>...» (Пушкин 1994- IX: 674).

<sup>321</sup> См. определение упрямства в словаре В.И. Даля: «Разумная стойкость не упрямство, а безрассудная настойчивость – упрямство» (Даль 2002 IV: 506).

<sup>322</sup> См.: Шоу 1999: 235. См. также письма Пушкина к П.А. Вяземскому от 13 и 15 сентября 1825 года (Пушкин 1994- XIII: 225-226), а также его «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) (Пушкин 1994- XI: 151-152).

<sup>323</sup> «Храбрый Бошняк с этой горстью людей выступил из крепости и целые шесть часов сряду шел – пробиваясь сквозь бесчисленные толпы разбойников. Ночь прекратила сражение» (Пушкин 1994- IX: 73).

следующей защиты Царицына. При этом, по Пушкину, действия Бошняка сыграли решающую роль в деле успешной обороны этого города. Сравнить: «В сем городе, хорошо укрепленном, начальствовал полковник Цыплетев. С ним находился храбрый Бошняк. 21 августа Пугачев подступил с обыкновенной дерзостью. Отбитый с уроном, он удалился за восемь верст от крепости. <...> На другой день Пугачев подступил к городу со стороны Волги, и был опять отбит Бошняком»<sup>324</sup> (Пушкин 1994- IX: 75).

Такая характеристика действий Бошняка очевидным образом работает на создание обозначенного контраста при изображении поведения Державина в подобных ситуациях. Если Бошняк, по Пушкину, не оставил своего отряда, несмотря на численный перевес противника, то Державин, как мы помним, спасая свою жизнь, проскакал мимо своих подчиненных. При столкновении с реальной угрозой Бошняк, в отличие от Державина, не бежит, но честно выполняет свой воинский долг<sup>325</sup>.

---

<sup>324</sup> Акцентирование Пушкиным «героизма» в поведении Бошняка заметили Д.Л. Мордовцев и Д.Г. Анучин. По наблюдению этих исследователей, это акцентирование противоречит документам. Мордовцев приводит в этой связи устный рассказ некоего Калмыкова, очевидца событий, умершего в 1825 году. Этот рассказ был записан саратовским старожилом Никитиным 2-м. Сравнить: «... воевода наш, видя дело свое совершенно потерянным, за полезное счел с своею свитою предаться бегству, а оставленное им войско соединилось с Пугачом. Тогда войско Пугача вломилось в город и начало грабить его без милосердия» (Мордовцев 1868а: 91). В этой связи, Мордовцев говорит о «пристрастном» изображении Пушкиным действий Бошняка, «которого везде выставляет героем». «Даже честь защиты Царицына, куда бежал Бошняк, он приписывает больше Бошняку, чем Цыплетеву» (Мордовцев 1868а: 91). Анучин также оспаривает изображение Пушкиным действий Бошняка в Царицыне. При этом он ссылается на рапорты Михельсона и царицынского коменданта И.Е. Цыплетева. Сравнить: «Говоря о защите Царицына, Михельсон честь его обороны прямо приписывает Цыплетеву. Пугачев, говорил он, „вчера числа подступил к Царицыну, где было набрано с линии и Дону немалое число донских казаков, из коих некоторые делали долг свой, а многие передались в злодейскую толпу, однако храбростию здешнего коменданта, господина полковника Цыплетева, от городу был удержан с уроном“. О Бошняке, которого Пушкин сделал защитником Царицына, не говорится ни слова ни Цыплетевым, распоряжавшимся защитой города и крепости, ни Михельсоном. Да и что мог сделать Бошняк со своими 35 солдатами? Без сомнения, он оставался в Царицыне частным человеком, а иначе Цыплетев непременно упомянул бы о нем, как упомянул о капитане Елчине и майоре Семанже, прибывших из Саратова с Ладыженским. Да сверх того, Бошняк был не того характера, чтобы самому не заявить о своих подвигах, а он этого не сделал» (Анучин 1869а: 649). Впрочем, Анучин ошибается в том, что Елчин и Семанж прибыли в Царицын вместе с Лодыженским. Они входили в состав отряда Бошняка, и поэтому Пушкин вполне мог переадресовать их заслуги непосредственному начальнику (о решающей роли артиллеристов в обороне Царицына см. выше в связи с обсуждением образа капитана Ельчина в державинских «Записках»).

<sup>325</sup> Данный аспект пушкинского противопоставления фигур Державина и Бошняка по признаку реальности совершенных деяний поразительно совпадает с оценкой действий Державина в эпоху пугачевщины, которую дал П.И. Панин в своем ордере от 12 октября 1774 года, написанном в качестве ответа на отчетный рапорт Державина от 5 октября. Сравнить: «В доказательство тому, что вы истинно желали положить и не щадить никак живота своего в службе Ея И. В-ва, вами воспринятой противу врага Ея и всей Империи, будут служить только одни слова; а комендант саратовский имеет то, что он не покидал своего города, защищал его не токмо до самой последней крайности, но и при сущей измене и предательстве к злодею его подчиненных, с оставшими при нем самыми вернейшими и усерднейшими к Ея И. В. из оных рабами, прошел с ружьем в руках сквозь всю столь много ужасающую злодейскую толпу, в такую опять крепость, на которую злодей по примечанию устремлялся ж, а не туда, где б он безопасен был; почему и представляется мне, что гораздо легче сему коменданту пред военный суд явиться, если б обстоятельство того потребовало, нежели вам по изъявлению вами желания военного суда: ибо регулы военные, да и все прочие законы приемлют в настоящее доказательство и вероятность более существительные действия, нежели сокровенность человеческих сердец, изъявляемых словами» (Державин 1864- V: 252). Здесь же Панин отмечает и «иронию судьбы» в деятельности Державина: на деле произошло прямо противоположное его «красноречивым» утверждениям, – Пугачев так и не был пойман; места, которые он был призван оборонять, «похищены и разорены» (Державин 1864- V: 251). У нас нет никаких



Далее. По Пушкину, Державин впервые оказывается в Саратове лишь 1 августа, то есть буквально за несколько дней до нашествия, и тут же требует от коменданта, причем не ясно, на каких основаниях, радикальных действий, явно для того неприемлемых, противоречащих прямому долгу военного градоначальника защищать *весь* город и церкви, в нем находящиеся. Далее Пушкин сообщает, что Державин угрожал коменданту арестом, призывал городской магистрат фактически к неповиновению властям. Причем, следует заметить, что в изображении Пушкина Державин является едва ли не единственным зачинщиком возникших беспорядков. В рапорте Бошняка имя Державина все-таки чаще фигурирует вкупе с именем Лодыжинского. На фоне логичного и обусловленного прямой необходимостью поведения коменданта, то есть официального лица, напрямую отвечающего за безопасность города, действия Державина, приезжего офицера без всяких полномочий, выглядят явно неадекватными, если не сказать – *сумасбродными*.

Таким образом, Пушкин, устранив из текста «Истории Пугачева» предысторию августовского противоборства Бошняка и Державина, а также указание на властные полномочия последнего, скрыл главную причину неадекватного поведения своего героя. Тем самым он поставил его в комическое положение.

Дополнительный комизм саратовским действиям Державина придает краткая предыстория, предпосланная Пушкиным вместо той, которой следовало бы ожидать, – об июльских договоренностях городского начальства по поводу оборонительных мероприятий. По своей временной протяженности эта предыстория охватывает почти весь период действий Державина в ходе пугачевской кампании, то есть с января 1774 года: «Он отряжен был (как мы уже видели)<sup>326</sup> в село Малыковку, дабы оттуда пресечь дорогу Пугачева в случае побега его на Иргиз. Державин, известясь о сношениях Пугачева с киргиз-кайсаками, успел отрезать их от кочующих орд по рекам Узням, и намеревался итти на освобождение Яицкого городка; но был предупрежден генералом Мансуровым» (Пушкин 1994- IX: 71-72).

Все эти формулировки деяний Державина во время пугачевщины объединяет один общий, и притом комический, мотив – «обманутых ожиданий». Державину, несмотря на все его усилия, видимо, не довелось еще, что называется, по-настоящему «понюхать пороху». Он не дождался Пугачева в Малыковке. Ему не удалось освободить Яицкий городок. Только успешные действия против киргиз-кайсаков, на первый взгляд, противоречат нашему наблюдению. Но это только на первый взгляд. На самом деле,

---

сведений по поводу знакомства Пушкина с данным ордером Панина. В материалах к «Истории Пугачева» он не приводится.

<sup>326</sup> Напомним, что выражение «как мы уже видели» отсылает к началу пятой главы, где Державин появляется впервые в качестве действующего персонажа. Здесь речь идет о первых распоряжениях по армии вновь назначенного главнокомандующего А.И. Бибикова, прибывшего в Казань, где находился главный штаб, 25 декабря 1773 года (Пушкин 1994- IX: 38). Судя по ближайшему контексту этой главы, Державин был послан в Малыковку в январе 1774 года, правда, с качественно другим заданием. Об этом подробнее см. выше.

данная формулировка довольно двусмысленна и обтекаема: на ее основании никак нельзя понять характер действий отряда, возглавляемого Державиным. Весьма вероятно, что оказалось достаточным одного его появления, чтобы киргиз-кайсаки оставили свои замыслы присоединиться к бунтовщикам.

Кроме того, как следует из всех письменных материалов, имеющих отношение к «Истории Пугачева» (в том числе из ее основного текста), киргиз-кайсаки никогда не были окончательно усмирены в течение всей пугачевщины<sup>327</sup>. Их набеги, по мнению одного из главных информаторов Пушкина академика П.И. Рычкова<sup>328</sup>, нельзя расценивать как результат союза с пугачевцами. Они происходили ежегодно и раньше, до начала мятежа<sup>329</sup>. Кроме Державина, в союз киргиз-кайсаков с пугачевцами серьезно верил только комендант Яицкого городка полковник И.Д. Симонов, к которому Пушкин относился иронически. По-видимому, в этом своем мнении он основывался на устном рассказе И.А. Крылова, который тот, в свою очередь, слышал от отца, активного участвовавшего в защите Яицкой крепости, о трусливом поведении коменданта в начале обороны<sup>330</sup>. Рычков считает нужным опровергнуть донесение Симонова о якобы имевшей место поимке яицкими казаками в декабре 1773 года посланцев от Пугачева к киргиз-кайсакам с подметными письмами (Пушкин 1994- IX: 284). Он же пишет о легковерии Симонова (Пушкин 1994- IX: 274).

Дополнительный комизм формулировка из Восьмой главы приобретает при сопоставлении ее с формулировкой из главы Пятой: «Державин, начальствуя тремя фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою» (Пушкин 1994- IX: 44). Если здесь Пушкин определенно говорит о воинских подвигах Державина, то в контексте Восьмой главы эта определенность снимается. Происходит это, мы думаем, вследствие того, что Пушкину перед изображением державинских действий в Саратове важно было показать воинскую неопытность своего героя, которая служила бы прекрасным контрастом к завышенной самооценке своих способностей.

В самом деле, как было сказано, в следующем эпизоде экспедиции в Петровск Пушкин показывает, как Державин, до сих пор столь героически настроенный, при виде врага бежит от него через Саратов в неизвестном направлении.

---

<sup>327</sup> См.: донесение астраханского губернатора Кречетникова из Саратова от 17 декабря 1773 года (Пушкин 1994- IX: 633), царицынского коменданта от января 1774 года (Пушкин 1994- IX: 640), Троицкой дистанции бригадира Фейервара от 20 февраля 1774 года (Пушкин 1994- IX: 642), оренбургского губернатора Рейнсдорпа от 23 августа 1774 года (Пушкин 1994- IX: 673).

<sup>328</sup> Его «Записки о Пугачевском бунте» были напечатаны Пушкиным в виде приложения к «Истории Пугачева».

<sup>329</sup> «... а что киргизцы в разных местах причиняют воровства и грабительства, то сие от них, по их к тому склонности, ежегодно случается...» (Пушкин 1994- IX: 274). (Примечание Рычкова на рапорт яицкого коменданта «подполковника» (так в тексте) Симонова о набегах киргиз-кайсаков).

<sup>330</sup> См.: Пушкин 1994- IX: 492.

Итак, очевидно, что Пушкину было важно столкнуть своего героя, еще «не нюхавшего пороху», но весьма самонадеянного, с реальной угрозой для собственной жизни. И герой не выдерживает этого испытания.

В целом, принципы работы Пушкина с документами по саратовскому эпизоду показывают, что писателю было важно выделить, прежде всего, фигуру Державина и затем противопоставить ее контрастной фигуре Бошняка, чтобы тем ярче обозначить фундаментальные, типологические качества биографической личности поэта. Державин предстает беспокойным, нервным, честолюбивым борцом за «общественное благо», которое понимается им, однако, весьма субъективно, с идеалистических позиций. Его принципиальное нежелание стать на точку зрения другого, принять в расчет обычаи и нормы поведения данного социума, в частности, законы служебной иерархии, неминуемо приводит к конфликтным ситуациям. Другими словами, биографический Державин, по Пушкину, обладал вздорным, конфликтным характером. Его таинственное исчезновение, похожее на бегство (о бегстве, тем не менее, Пушкин прямо не говорит!), является лишь средством создания комической ситуации, долженствующей выразить авторское отношение к данному типу характера. Пушкин как бы ставит своего персонажа на то самое место «осмеянного» человека, на которое тот было поставил «без вины виноватого» коменданта.

#### § 4. Антируссоистский дискурс Пушкина

Склад ума, представленный в образе Державина, Пушкин, как мы полагаем, связывал с именем Ж.-Ж. Руссо начиная, по крайней мере, с лета 1823 года, когда он трудился над первой главой «Евгения Онегина». В XXIV строфе этой главы появляется сниженный образ Руссо:

Руссо (замечу мимоходом)  
Не мог понять, как важный Грим  
Смел чистить ногти перед ним,  
Красноречивым сумасбродом.  
Защитник вольности и прав  
В сем случае совсем не прав

(Пушкин 1994- VI: 15).

Комизм в данной ситуации основан на искреннем непонимании философа, с жаром проповедующего права и свободы человека, что данный конкретный человек может иметь *свои* представления о вежливости, о достоинстве. При этом Руссо не только не понимает этой истины, но и пытается с ней бороться, осуждая и браня людей, не разделяющих его доктрины. Ничтожность повода для возмущения только подчеркивает комичность его фигуры<sup>331</sup>. Высокие, но теоретические представления Руссо обнаруживают в данном эпизоде всю свою эгоцентричность.

---

<sup>331</sup> Пушкин в примечании к данной строфе помещает отрывок из «Исповеди» Руссо, послуживший ему литературным образцом. По словам современного исследователя, «смысл обвинений, которые Руссо

И в следующей XXV строфе Пушкин, уже вполне серьезно, утверждает мудрость и законность установившихся социальных норм, в частности, обычая следить за текущими модами, в конечном итоге, следить за собой, за собственным внешним видом. *Пушкин утверждает право банальности, право пошлых истин на существование, поскольку они разделяются окружающими людьми.* Таков смысл следующих стихов:

Быть можно дельным человеком  
И думать о красе ногтей:  
К чему бесплодно спорить с веком?  
Обычай деспот меж людей

(Пушкин 1994- VI: 15).

В это же время (между июнем и ноябрем 1823 года) Пушкин набрасывает незаконченное стихотворение «<Мое> беспечное незнание...», в котором выражает потрясающее впечатление, испытанное им при осознании полной инородности своих идеалов и устремлений и интересов окружающих людей. Поэт не скрывает в этой связи своего к ним презрения, однако признает, что и сам может оказаться в комическом положении при навязывании им собственных понятий о правде и свободе.

Именно эта ситуация была отмечена Пушкиным в письме к А.А. Бестужеву от января 1825 года, в котором он дал свою оценку ума Чацкого: «Первый признак умного человека – с первого взгляду знать с кем имеешь дело и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб.» (Пушкин 1994- XIII: 138).

Пушкин обнаруживает слабую мотивированность конфликта произведения, исходя из собственного понимания умного человека, отвергнувшего в качестве возможной нормы поведения фундаментальный тезис Руссо «Я есть другой»<sup>332</sup> и осознавшего всю относительность восприятия истины<sup>333</sup>.

К слову сказать, пушкинская оценка только на первый взгляд противоречит авторской позиции А.С. Грибоедова. Самый факт постановки Чацкого в конце третьего действия комедии в комическое положение, да к тому

---

бросает в <этом фрагменте – В.Ч.> „Исповеди“ своему бывшему другу, заключается в том, что раз Гримм старательно следит за своей внешностью, чистит ногти и белится, то, значит, он лицедей в жизни и лицемер». «Спор идет не о внешнем виде, а о центральном положении светской культуры, неприемлемом для Руссо: благовоспитанный человек должен не „быть“ (être), а „казаться“ (paraître)» (Строев 2001). Пушкин заметил возможность для комического переосмысления упреков Руссо, которая содержится в «невязке» причины и следствия, и на этом построил сценку встречи двух философов, стилистически вполне вписывающуюся в общий комедийный дискурс Первой главы «Евгения Онегина» (Фомичев 2005: 51).

<sup>332</sup> Формулировка принадлежит Клоду Леви-Строссу (цит. по: Лотман 1967: 211).

<sup>333</sup> Свою позицию по поводу относительности истины Пушкин отчетливо высказал в поздней статье «Александр Радищев» (1836), в которой весьма невысоко оценил интеллектуальный уровень как Руссо, так и его последователя, – заглавного героя статьи: «Нам уже слишком известна французская философия 18-го столетия; она рассмотрена со всех сторон и оценена. То, что некогда слыло скрытным учением гиерофантов, было потом обнародовано, проповедано на площадях и навек утратило прелесть таинственности и новизны. Другие мысли столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник Молвы видит в них опять и цель человечества и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими» (Пушкин 1994- XII: 31). Вообще говоря, пушкинская позиция в данном вопросе подобна позиции основателя философского либерализма Джона Локка, который в своей книге «Опыт о человеческом разуме» (1690) писал о недостоверности наших мнений и о вытекающей отсюда необходимости принимать в расчет точку зрения другого. Подробнее см.: Черкасов 2003а: 128-129.

же еще и подчеркивание этой интенции ремаркой<sup>334</sup>, думаем, в достаточной степени убеждает читателя в скептическом отношении автора к складу ума своего протагониста. В нем же Грибоедов воплотил, прежде всего, «руссоизм»<sup>335</sup>. Это доказывается содержащимися в образе Чацкого, в тексте «Горе от ума» в целом многочисленными референциями к биографии Руссо, а также к его известному роману «Юлия, или Новая Элоиза» (1761)<sup>336</sup>.

Таким образом, ироническое изображение Пушкиным державинских действий основано на глубоком неприятии жизненной философии Руссо. Основанием же для подобной трактовки ему могли служить только документы, письменные и устные свидетельства, относящиеся ко всем этапам служебной карьеры Державина. Например, в державинских «Записках» содержится достаточно информации, на основании которой можно сделать вывод, что для биографической личности поэта были в высокой степени свойственны такие черты, как честолюбивая убежденность в себе как в единственном носителе истины, или боготворимого им «Закона», и, связанная с этой убежденностью, чрезвычайная конфликтность и неуживчивость как с сослуживцами, так и с начальством.

## **§ 5. Полемика Ходасевича с пушкинским изображением саратовских действий Державина**

### *5.1. Смысловая инверсия пушкинской диалогии «Державин-Бошняк»*

Как уже было сказано, Ходасевич предпринял развернутую полемику с пушкинским изображением действий Державина в Саратове в биографии «Державин».

Прежде всего, он считает нужным дать характеристику-сопоставление начальствующим в городе лицам, – военному коменданту И.К. Бошняку и начальнику опекунской конторы М.М. Лодыжинскому, выводя таким образом фигуру Державина из невыгодного сравнения с Бошняком. То есть уже сам выбор фигур для сравнения обнаруживает полемическую установку Ходасевича.

Сначала он сообщает об остро конфликтных отношениях Бошняка и Лодыжинского между собой, обусловленных их сугубо эгоистическим, тщеславным желанием показать, кто истинный хозяин в городе. Обозначив

---

<sup>334</sup> Имеется в виду авторская ремарка по поводу восприятия «фамусовским» обществом очередного «обличительного» монолога Чацкого о «французике из Бордо»: «(Оглядывается, все в вальсе кружится с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам)» (Грибоедов 1988: 108).

<sup>335</sup> Точнее говоря, заложенный в руссоизме принцип поведения, независимого от мнения других людей. Согласно этому принципу, человек должен руководствоваться в своих отношениях с обществом собственным стремлением к самовыражению и отвергать традиционные нормы поведения, могущие ему в этом помешать. Подробнее см. нашу работу «К проблеме ума в комедии А.С. Грибоедова „Горе от ума“» в издании: Черкасов 2003а.

<sup>336</sup> Подробнее см. нашу указанную работу: Черкасов 2003а.

характерологическое и ситуативное сходство этих персонажей (и тот и другой имели в своем распоряжении войска; и тот и другой имели основания требовать от противника подчинения: Бошняк по праву своей должности, Лодыжинский – по праву чина), Ходасевич затем переходит к характеристике их различия, причем акцент ставит на их общечеловеческих качествах: «Бошняк был порывист, переменчив и не умен; зато держался прямым солдатом и носил огромнейшие усы. Лодыжинский усов не носил, но превосходил противника хладнокровием и дальновидностью. Наконец, Бошняк был в хороших отношениях с губернатором, а Лодыжинский в плохих (что, как мы знаем, и сблизило его в свое время с Державиным)» (Ходасевич 1988: 65-66).

Пародийно-комическая «диада» как принцип расположения фигур, алогичность сравнения, возникающая вследствие приведения в качестве основания для сравнения необязательного признака подразумеваемого качества, указывают на введение гоголевского кода, а именно на следующие знаменитые противопоставления заглавных героев в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»<sup>337</sup>:

1. «Иван Иванович очень сердится, если ему попадетсЯ в борщ муха: он тогда выходит из себя – и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе».

2. «Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением» (Гоголь 1994 I-II: 359).

В первом примере противопоставляются, по-видимому, такие качества, как «вспыльчивость», «сварливость», с одной стороны, и «невозмутимость», «хладнокровие», с другой. Однако если в первой части этой антитезы означенные характеристики называются напрямую, да еще при этом и уточняются конкретными бытовыми примерами, то в ее второй части приводится необязательный, случайный признак подразумеваемого качества – он «любит купаться», из которого, самого по себе, никак нельзя заключить, не берЯ в расчет антитетичность всего периода, какое качество характера героя имеет в виду автор. Следующее уточнение – он любит пить чай в воде – является мнимым, так как только увеличивает недоумение читателя.

Во втором примере алогичность данного типа иллюстрируется еще ярче. Этот эффект возникает из прямого столкновения, посредством вводного оборота «напротив того», четко сформулированной характеристики (трусливость) со случайным признаком сравниваемого качества («шаровары в <...> широких складках»). Опять-таки только берЯ в расчет антите-

---

<sup>337</sup> Реминисценция этого произведения Гоголя в данном фрагменте «Державина» указана в диссертации Юсиф-заде Айгюн Фуаз Къези. См.: Юсиф-заде 2001: 148.

тичность периода, можно догадаться, что широкие шаровары являются знаком храброго, мужественного характера их владельца.

Ходасевич взял этот необходимый для построения алогичного сравнения необязательный признак, функцию которого выполняет, как мы видели, какая-либо деталь бытового характера, из письма служащего саратовской опекунской конторы Свербеева, адресованного Державину. Этот документ цитирует Я.К. Грот в своей биографии поэта «Жизнь Державина». Письмо Свербеева было вызвано отказом Бошняка от своих первоначальных обязательств по строительству полевого укрепления.

Приводим это письмо по книге Грота в ближайшем контексте: «Лодыжинский и его сторонники, не имея возможности без согласия Бошняка добыть работников, сочли нужным прибегнуть к энергической помощи Державина. Новосильцев и Свербеев тотчас же написали ему в Малыковку обо всем происходившем в Саратове. „Все здешние господа медлители, – сообщал Свербеев, – состоят в той же нерешимости, а пречестные усы (Бошняк), в бытность свою вчера здесь (т. е. в конторе), благоволили обеззаботить всех нас своим упрямством, причем некоторые с пристойностью помолчали, некоторые пошумели, а мы, будучи зрителями, послушали и, пожелав друг другу покойного сна, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх: авось, подействуют всего лучше ваши слова и тем успокоятся жители“» (Грот 1997: 108-109).

Ходасевич цитирует фрагмент из этого письма. Причем из троих человек, которые, судя по Гроту, имели отношение к извещению Державина о саратовских делах (Лодыжинский, Новосильцев и Свербеев), упоминает только имя Свербеева. Прочих же, вкупе со Свербеевым, именует, на наш взгляд, весьма двусмысленно – «саратовские друзья»: «Обо всем этом Державина тотчас же известили саратовские друзья. Некто Свербеев, чиновник опекунской конторы, писал: „Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх“» (Ходасевич 1988: 66). Уточнение «чиновник опекунской конторы» Ходасевич делает затем, чтобы подчеркнуть, что за Свербеевым стоит Лодыжинский, его прямой начальник.

Судя по ближайшему контексту ходасевичевского сравнения Бошняка с Лодыжинским, можно подумать, что под «огромнейшими усами» Ивана Константиновича Бошняка, как под «широчайшими шароварами» Ивана Никифоровича Довгочхуна, подразумевается храбрость. Сравнить: он «держался прямым солдатом и носил огромнейшие усы». Тем более что усы, как известно, являются традиционным символом мужественности, молодцеватости, особенно для военных, условно говоря, «пушкинской» эпохи, в стиле которой написан «Державин»<sup>338</sup>. И при этом не только и не столько в узком смысле этого слова – как обычное «использование пушкинской фразы» (М.А. Алданов)<sup>339</sup>, но, прежде всего, в смысле широком, идеалистическом – как отражение, что называется, «духа времени».

---

<sup>338</sup> См. примеры из Словаря Даля: «У нас в полку такие усачи, что люблю». «Я усáчек не люблю, они слишком мужественны» (Даль 2002 IV: 517).

<sup>339</sup> См.: Алданов 1931: 496.

Однако, в таком случае, если следовать принципу антитезы, лежащему в основе данного периода, получается, что антипод Бошняка – Лодыжинский, который не имел усов, имеет, употребляя гоголевское выражение, «боязливый характер». А этот вывод явно противоречит смыслу общей «положительной» характеристики Лодыжинского, которую дает ему Ходасевич, является едва ли не абсурдом<sup>340</sup>.

Основание для сравнения мы находим в цитированном письме Свербеева, где «усы» метонимически связываются с таким качеством характера коменданта, как «упрямство». Судя по дальнейшему изображению Ходасевичем действий Бошняка, именно «упрямство», то есть, по вышеприведенному определению Даля, «безрассудная настойчивость», является основной чертой его характера. Тогда как действия Лодыжинского и, соответственно, примкнувшего к нему Державина, продиктованы «разумной стойкостью».

В свете полемики с пушкинским изображением действий Державина и Бошняка находка из письма Свербеева как нельзя лучше отвечает намерениям Ходасевича. Посредством гоголевского алогичного сравнения он инвертировал исходную ситуацию «Истории Пугачева», представив именно Бошняка, а не Державина в комическом образе упрянца. Очевидно, Ходасевич понял эпитет «упрямый», отнесенный Пушкиным к Бошняку, в смысле «резюме» державинского отношения к коменданту, которое отразилось в его «язвительном» письме. Но об этом мы уже писали.

### *5.2. Державин-честолюбец: это не смешно*

Далее Ходасевич стремится разрушить комический ореол вокруг честолюбивых стремлений героя, возникающий в результате применения Пушкиным в саратовском эпизоде «Истории Пугачева» приема «обманутых ожиданий».

В.В. Гиппиус, анализируя в книге «Гоголь» (1924) особенности применения этого приема в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», проницательно заметил, что «отдаление желаемого предмета» только в ближайший промежуток времени вызывает комический эффект, а затем – прямо противоположное чувство бессмыслицы жизни. В качестве примера он привел «затяжку бессмысленного спора <Ивана Иванoviча с Иваном Никифоровичем> до бесконечности» (Гиппиус 1966: 81). «Это уже не чистый смех, – пишет исследователь, – а, как выразился по другому поводу Белинский, „смех растворенный горечью“ <так!>. Впечатление это доведено до конца эпилогом повести (не одной только заключительной фразой, как обыкновенно говорят)» (Гиппиус 1966: 81).

---

<sup>340</sup> Сравнить: «Он труслив, но хладнокровен и дальновиден». Согласно Словарю Ушакова, хладнокровие – это «спокойное состояние, при котором сохраняется ясность мысли и выдержка» (Ушаков 2004). «Выдержка», или «самообладание», и «боязливость», или «робость», являются взаимоисключающими понятиями.



По Ходасевичу, честолюбие является главным источником державинских действий во время пугачевщины. Мало того, фактически все его попытки «поправить свою фортуна», которые имели место быть до этого времени, также обусловлены этим чувством. Такая «затяжка» в реализации ожидаемого успеха уже сама по себе способна разрушить комический эффект, но Ходасевич к тому же изображает честолюбивые действия своего героя в другом, не сниженном, плане, исключая всякую возможность насмешки.

Державин предстает как стойкий борец с неблагоприятными обстоятельствами. Он может совершать ошибки, даже ввергаться в преступления, однако при этом неизменно находит в себе силы оценить свои поступки, исправиться и с прежней энергией продолжить свою деятельность. В своей самооценке он поднимается до нравственно-этического и даже метафизического уровней. «Низкие истины», продиктованные страстями, войдя в соприкосновение с высокой душой поэта, в конце концов «не выдерживают конкуренции» и как бы плавают под солнцем высшей правды. Так, по Ходасевичу, рождаются оригинальные стихотворения Державина, «в которых ни предмет, ни чувства не были позаимствованы» (Ходасевич 1988: 50).

Первым в ряду этих стихотворений стоит «Раскаяние», связанное с попытками Державина «исправить» свою судьбу посредством нечестной карточной игры. Здесь поэт красноречиво выражает собственное осознание неверно взятого им пути для развития таланта:

Повеса, мот, буян, картежник очутился;  
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,  
Порочной жизнью его я погубил...

(цит. по: Ходасевич 1988: 50).

Действия Державина в ходе пугачевской кампании, продиктованные честолюбивыми замыслами, также терпят фиаско: за свои заслуги он не только не получает награды, хотя бы наравне с прочими офицерами, сделавшими неизмеримо меньше его, но и оказывается на положении опального.

Однако его переживания по этому поводу существенно отличаются от *слишком человеческих* переживаний гоголевских героев, оказавшихся в аналогичной ситуации: в них нет ничего «жалкого». Державин явно не годится на роль пресловутого «маленького человека», который, как известно, не выдерживает душевных страданий и либо умирает, либо сходит с ума.

Вынужденное бездействие дает Державину возможность создать «Читалагайские оды».

Образцом ему служат «стоические оды» знаменитого короля Фридриха II. Однако, как подчеркивает Ходасевич, Державин не знает, кто автор этих од. Мы думаем, что Ходасевичу в данном случае важно было устранить всякую возможность обвинения Державина в честолюбивом подражании «великим» и, с другой стороны, показать, что его душа настроена в тон высокой мировой культурной традиции. Фридрих в данном случае сыграл роль случайного и, судя по ироническому к нему отношению Ходасевича, довольно бездарного «передатчика» этой традиции. Стоит только

удивляться способности Державина вдохнуть искренность и одушевление, сопровождающее открытие задушевной истины, в холодные и поверхностные вирши «беспечного философа», «насмешника и острослова». Даже в переводах Державин сумел преобразовать стихотворения Фридриха в истинную поэзию<sup>341</sup>.

Как было сказано выше, в биографии Ходасевича эпизод создания «Читалагайских од» является одним из ключевых: в этих одах отразилось новое мировоззрение Державина, родственное епископу *vanitas vanitatum*. В этой связи стих «Читалагайских од» характеризуется Ходасевичем как «суровый, глухой, погребальный» (Ходасевич 1988: 80).

Субъективность данной точки зрения Ходасевича становится особенно очевидной, когда обнаруживается его произвол в цитировании источников, а также игнорирование семантики циклической композиции «Читалагайских од».

Так, в качестве примера «погребального» стиха од писатель цитирует следующие фрагменты из ранней редакции оды «На смерть Бибикова»:

Не показать мое искусство,  
Я здесь теперь пишу стихи,  
И рифм в печальном слогe нет здесь...  
Пускай о том и все узнают:  
Я сделал мавзоль сим вечный  
Из горьких слез моих тебе

(цит. по: Ходасевич 1988: 80).

Произвол Ходасевича в цитировании данных стихов, иллюстрирующих его концепцию, обнаруживается в том факте, что между третьим и четвертым стихами допускается пропуск (обозначенный Ходасевичем отточием) строчек, в которых поясняется цель стихотворения:

Но вздох, но знак, но чувство лишь  
Того тебе благодаренья,  
В моем что неуместимо сердце,  
Я здесь изобразить хочу

(Державин 1864- III: 227).

«Чувство благодаренья» явно не вписывается в ходасевичевскую концепцию Державина, мыслящего в духе Епископа. К тому же, в своих «Объяснениях» Державин ясно дает понять вполне конкретную, земную причину своей благодарности покойному: «Автор изъявляет сим свою благодарность, что он, совсем его <Державина> не зная, взял с собою в комиссию

---

<sup>341</sup> Обсуждается следующий фрагмент биографии Ходасевича: «Дотоле ни одна книга не поражала Державина так, как эта. Здесь, подле пустынного Читалагай, на пепелище недавних надежд, стоические оды „беспечного философа“ отвечают чувствам Державина и помогают ему разобраться в мыслях. В этих стихах Державин находит и объяснение своему настоящему, и суровые, но возвышенные девизы для будущего. Его величество король прусский, насмешник и острослов, может быть, усмехнулся бы, если б увидел восторженный пыл дальнего своего поклонника. Но для Державина эти оды сейчас – евангелие. Кто их автор, он, кажется, еще и не знает. Он выбирает из них четыре и переводит, но с таким жаром, как если бы творил сам. Переводит прозой, потому что боится хоть чем-нибудь погрешить против подлинника» (Ходасевич 1988: 81).

по особым поручениям <...> по единому только с ним разговору, когда он без всякой рекомендации пришел его о том просить и самые важнейшие ему делал препоручения» (Державин 2002: 591).

Далее. Как показал Рональд Вроон, ода «На смерть Бибикова» составляет антитезу к посланию Фридриха к Мопертюи с красноречивым названием, генетически восходящим к книге Екклезиаста, – «Жизнь есть сон». «Мораль стихотворения Фридриха, – пишет ученый, – сводится к тому, что все жизненные успехи, дела и награды – бессмысленны перед лицом смерти. Державин, наоборот, восхваляя заслуги Бибикова, считает, что именно они сообщают ему бессмертие:

Твои заслуги и почтенье  
К тебе, от всей твоей страны,  
Уже стократно боле стоят,  
Как нежели тебя забыть.  
У всех, достоинства кто любит,  
Твой образ в мысли будет вечен...»

(Вроон 1995: 191).

Ходасевич игнорирует указанную антитетичность, проявляющуюся на уровне композиции цикла, согласуя смысл и эмоциональный тон державинской оды «На смерть Бибикова» и послания Фридриха к Мопертюи. Противовес мрачным мыслям à la Екклезиаст («девизы для будущего») Державин обретает, согласно Ходасевичу, не в собственных мыслях о заслугах перед отечеством, а в прославленных Фридрихом личной твердости перед лицом бед и непримиримости к порокам. Эти темы развиваются также в подобранных Ходасевичем одах Державина – «На знатность» и «На великость».

Как было сказано выше, в последующем повествовании биографии Ходасевича тема «жизнь есть сон» из послания Фридриха к Мопертюи проходит через все самые значительные стихотворения Державина, вплоть до последнего шедевра поэта – незаконченной оды «Река времен в своем стремленьи...». В этом стихотворении Державин объявляет преходящими и тленными не только все земные деяния, в том числе предполагающие самые возвышенные честолюбивые помыслы и стремления, но и поэзию, то единственное дело, которое до сих пор он считал безусловно бессмертным. Ходасевич полагает, что Державин «отказываясь от исторического бессмертия», в продолжении намеревался выразить «мысль о личном бессмертии – в Боге» (Ходасевич 1988: 232).

Таким образом, аутентичная державинская идея, согласно которой только заслуги перед отечеством могут обеспечить бессмертие, дезавуируются Ходасевичем на протяжении всего повествования.

В смысле игнорирования Ходасевичем семантики циклической композиции «Читалагайских од» также характерна его пренебрежительная оценка стихотворения, замыкающего цикл, а потому обладающего повышенной семантической нагрузкой, то есть «Оды на день рождения Ея Величества, сочиненной на время войны и бунта 1774 года». Этой оде Хода-

севич посвятил буквально несколько иронических слов: «В оде императрице по-прежнему больше слов, чем мыслей» (Ходасевич 1988: 80)<sup>342</sup>. Между тем, без этого стихотворения невозможно считать выполненной главную цель всего цикла – «начертание идеала, название тех черт, которыми должен обладать всякий, кому вручен жезл правления» (Вроон 1995: 196). Очевидно, что эта цель, как и панегирическая установка данного стихотворения, не вписываются в ходасевичевскую концепцию державинской поэзии как варианта еkkлезиастова дискурса.

В свете темы нашей работы следует обратить внимание на то, что фрагмент оды «На смерть Бибикова» цитировал и Пушкин в «Истории Пугачева». Однако он, в отличие от Ходасевича, выбрал цитату, адекватную основной идее «Читалагайских од», – концовку стихотворения, где перечисляются заслуги Бибикова, обеспечивающие ему бессмертие.

Мы думаем, что Ходасевич цитировал данные стихи из оды «На смерть Бибикова» не без задней мысли, суть которой сводится приблизительно к следующему. Пушкин представил Державина в «Истории Пугачева» честолюбцем в жизни и поэтом, ценящим превыше всего заслуги перед обществом. Однако он проигнорировал присутствующие в этом же стихотворении очевидные автореферентные мотивы, смысл которых противоречит его точке зрения. Державин знал высшую правду. В суете земных дел он никогда не забывал о ней и откликался на нее как умел в своей поэзии. В цитируемых Ходасевичем стихах очевидно полное самозабвение Державина перед лицом горя. Какое уж там честолюбие, какие там высокие мысли о бессмертии, когда близкий человек, друг и соратник в борьбе за Высшую Правду потерял навсегда. Пушкин обошел молчанием эту сторону характера и, соответственно, творчества Державина. Как писал Ходасевич в другом месте, «Пушкин недооценивал общее значение Державина» (Ходасевич 1991: 150). То есть не увидел в нем «родоначальника русского реализма», поэта, который «первым если не понял, то почувствовал, что поэзия должна отвечать реальным запросам человеческого духа» (Ходасевич 1991: 149).

## **§ 6. Полемика Ходасевича с пушкинским антирусоистским дискурсом**

### **6.1. Автореферентные мотивы в «русоистском» дискурсе<sup>343</sup> Ходасевича**

Прямота, нетерпимость и упрямство Державина, даже его сварливость, были явно симпатичны Ходасевичу. Об этом можно судить хотя бы по его статье «О Чехове» (1929), написанной в разгар работы над биографией о Державине.

---

<sup>342</sup> Может быть, писатель подразумевал, что зато в его оценке «больше мыслей, чем слов».

<sup>343</sup> В случае с Ходасевичем мы употребляем этот термин условно, в качестве проясняющей отсылки к тому аспекту державинского дискурса Пушкина, с которым критик был не согласен. На самом деле, как будет показано ниже, для Ходасевича в этой связи более актуален библейский «пророческий» код, лишь архетипически и даже, мы бы сказали, типологически связанный с кодом собственно руссоистским.

В ней упомянутые качества поэта противопоставлены по контрасту скромности, снисходительности, мягкости и доброжелательности Чехова. Тем не менее, последний явно изображается иронически, если не комически. За Державиным же – будущее: «... если нам суждено воплотиться вновь <...>, то наше будущее – не „чеховские настроения“, а державинское действие. Если России дано воскреснуть, то пафос ее ближайшей эпохи, пафос нашего завтра, будет созидательный, а не созерцательный, эпический, а не лирический, мужественный, а не женственный, – державинский, а не чеховский. Державин заранее должен нам стать ближе Чехова» (Ходасевич 1991: 250).

В критике не без оснований связывают симпатию Ходасевича к упомянутым качествам державинского характера с общим автореферентным дискурсом его биографики. Д. Бетеа осторожно замечает, что и Ходасевичу до некоторой степени были свойственны такие «державинские» качества, как нетерпимость и упрямство (Bethea 1983: 334). Ю.И. Левин пишет, что для Ходасевича было характерно «стремление плыть против течения» (Левин 1986: 127). Для иллюстрации этого тезиса ученый приводит ряд высказываний писателя из писем к Б.А. Садовскому, из которых выясняется его далекая от банального приспособленчества позиция к вновь установившейся власти большевиков. А. Радашкевич считает, что блестящему пониманию Державина, его эпохи и России способствовало главным образом то обстоятельство, что «Ходасевичу всю жизнь были близки просветительские представления о справедливости и неправоте, пороке и добродетели, естественности и жеманности, приподнятая и велеречивая серьезность (исключающая иронию и самоиронию), строгая личина рассудительности и нравственный дидактизм той эпохи» (Радашкевич 1986). Выше было показано, что все эти качества, перечисленные критиком под знаком плюс, предполагают конфликт с окружающими, особенно же так называемая «естественность», представляющая собой одно из центральных понятий руссоистского дискурса.

### *6.2. Конфликтный характер Державина в оценке современников*

В биографии Ходасевича ее заглавный герой, в целом, всегда выходит правым из всех конфликтов. В данном случае писатель следовал установкам, обозначенным самим Державиным в его «Записках». Это обстоятельство дало повод М.А. Алданову заметить, что Ходасевич «не всегда справедлив к врагам или к недоброжелателям Державина» (Алданов 1931: 496). Далее критик приводит конкретные примеры предвзятого отношения Ходасевича к противникам Державина: «Так Н.И. Панин, как почти все члены этой семьи, был человек выдающийся и независимый, – в книге он изображен не совсем таким. Выдающимся человеком был и П.В. Завадовский, которого автор определяет как „главного мошенника“ в деле Заемного Банка. Также и в столкновении Державина с Румянцевым по вопросу о вольных хлебопашцах, кажется, большинство историков основательно считает позицию министра-поэта мало выигрышной» (Алданов 1931: 496-497).

Сниженное и весьма жесткое изображение Ходасевичем генерал-прокурора князя А.А. Вяземского, который долгое время являлся главным врагом Державина, вызвало письменный протест графа С. Камаровского. В этой связи рецензент цитировал следующий фрагмент из статьи «Сватовство Державина»<sup>344</sup>, представляющей собой вариант соответствующего эпизода биографии «Державин»: «Князь А.А. Вяземский, генерал-прокурор Сената, обязан был возвышением своей глупости; он умел быть отличным служакой: угождая государыне, не забывал и себя, то есть воровал, но в меру, был неразборчив в средствах и деятелен, потому что завистлив. Никто его не любил, но все у него бывали» (Камаровский 1930). Хотя Камаровский спутал Александра Алексеевича Вяземского с князем Андреем Ивановичем Вяземским, отцом П.А. Вяземского (друга А.С. Пушкина), однако привел достаточно сильный аргумент в пользу честности генерал-прокурора, а именно выдержку из инструкции Екатерины II, в которой содержится ссылка на общественное мнение как на главную причину его избрания на данную должность. Сравнить: «Я слышу, что вас все почитают за честного человека, и я надеюсь вам опытами показать, что у Двора люди с сими качествами живут благополучно. Я весьма люблю правду, и вы можете ее говорить, не боясь ничего, и спорить против меня без всякого опасения, лишь бы только то благо произвело в доме» (Камаровский 1930). «Вот настоящая историческая правда о честном князе А.А. Вяземском, – заключал Камаровский, – и как далека она от правды у романиста. Весьма важно в интересах России и ее истории, чтобы правда о ее умерших честных сынах была одна и та же и у русских историков, и у русских романистов» (Камаровский 1930).

Свой ответ Камаровскому Ходасевич поместил тут же, в виде заметки «Об исторической правде». Этот ответ для нас интересен, между прочим, тем, что в нем Ходасевич откровенно дезавуирует авторитетность приведенного Камаровским мнения Екатерины по поводу честности Вяземского<sup>345</sup>. При этом он игнорирует ссылку императрицы на общественное мнение и акцентирует «аппаратные» соображения в качестве главной причины избрания Вяземского на искомую должность. «Цитата из екатерининской инструкции не может служить доказательством его <Вяземского> честности, – пишет Ходасевич, – Делая Вяземского генерал-прокурором (по настоянию Орловых), императрица, конечно, верила в его бескорыстие. Это не значит, что он таким и оказался. Напротив, история знает его не таким» (Ходасевич 23.01.1930). Далее Ходасевич приводит, в свою очередь, высказывания французского поверенного в делах Сабатье де Кобра, графа Н.И. Панина, самого Державина, в которых удостоверяется

---

<sup>344</sup> Эта статья опубликована в газете «Возрождение», № 1680, 7 января 1930 г.

<sup>345</sup> Как будет показано ниже, в биографии «Державин» Ходасевич последовательно опровергает распространенное мнение по поводу присущего Екатерине выдающегося понимания людей. По видимому, в разбираемой заметке Ходасевич подразумевает, что на самом деле императрица плохо себе представляла характер Вяземского, и поэтому ее мнение не может считаться авторитетным.

нечестность и даже подлость Вяземского<sup>346</sup>. При этом его, очевидно, не смущает, что оценки Панина и Державина могут быть и субъективными. Панин известен своими враждебными отношениями с Орловыми, ставленником которых, как отметил сам же Ходасевич, являлся Вяземский. Точно так же и Державин долгое время враждовал с Вяземским, о чем подробно рассказал в тех самых «Записках», которые цитирует Ходасевич.

Во второй половине заметки Ходасевич подробно останавливается на путанице с именами, допущенной Камаровским, и в этой связи окончательно развенчивает его критику указанием на ее дилетантизм: «В заключение позволю себе сообщить графу Камаровскому, что „интересы России и ее истории“ мне тоже не безразличны. Но именно по этой самой причине мне со своей стороны приходится пожелать, чтобы высказывания об этой истории несколько более основывались на знании дела и не вызывали улыбки» (Ходасевич 23.01.1930). Таким образом, Ходасевич представил критику Камаровского чем-то вроде курьеза, профессионально затушевав ее главный контраргумент: общественное мнение по поводу честности Вяземского, удостоверяемое первым лицом в государстве.

В этой же заметке Ходасевич уверял читателей в совершенной истине излагаемых им в биографии фактов: «Я вполне разделяю мнение гр. Камаровского о необходимом единстве правды у историков и у романистов. Для моего труда о Державине эта правда тем более обязательна, что это отнюдь не роман. В моей **биографии** Державина ничто не выдуманно. Даже диалоги, в ней заключенные, никогда не суть плод моего воображения, но всегда дословно заимствованы из источников исторических» (Ходасевич 23.01.1930).

Как видим на примере алдановской критики, квалифицированные читатели позволили себе не поверить заверениям Ходасевича и в свою очередь сослаться на исторические источники.

В самом деле, первое, что бросается в глаза при сравнении биографий Грота и Ходасевича, – это игнорирование последним свидетельств почти всех противников Державина по поводу его конфликтного характера. Исключение составляет лишь замечание А.А. Вяземского, высказанное по поводу назначения Державина олонеким губернатором. Однако Ходасевич его дезавуирует, подавая в качестве образца курьезного пророчества: «Узнав об его отъезде, Вяземский произнес пророчество, столь же странное по форме, сколь и по содержанию мрачное:

– Скорее черви ползут по моему носу, – сказал он, – нежели Державин долго просидит губернатором» (Ходасевич 1988: 112).

---

<sup>346</sup> «Французский поверенный в делах Сабатье де Кобр прямо называет Вяземского человеком подлым и невежественным. <...> Граф Н.И. Панин рассказывал Порошину о разных злоупотреблениях Вяземского и вообще удивлялся, „как фортуна его в такое место поставила“. <...> О произведенной Вяземским незаконной продаже 2000 казаков Штиглицу и о попытке утаить 8000000 рублей казенных денег рассказывает Державин в своих записках. <...> О низменном характере и недостойных происках князя Вяземского говорит вся история его отношений с Державиным» (Ходасевич 23.01.1930).

Между тем, Грот не один раз цитирует письмо упомянутого графа П.В. Завадовского графу С.Р. Воронцову от марта 1803 года, в котором дается отрицательная оценка государственным и административным способностям Державина-министра. Завадовский, занимавший в это время пост министра народного просвещения, отзывался о своем коллеге как о сумасброде, то есть как о человеке, в менталитете которого воображение преобладает над здравым смыслом. То, что хорошо для поэта, вредно генерал-прокурору (пост, который в это время занимал Державин): «Вовсе голова министра не по месту: школа Аполлона требует воображения, весы Фемисы <так!> держатся здравым рассудком» (Грот 1997: 537).

Это письмо было написано по поводу нашумевшего дела графа Северина Потоцкого. Для нас, впрочем, важны не столько обстоятельства этого дела, сколько поведение Державина во время прений в сенате, вызвавшее столь жесткую оценку Завадовского.

Все источники, цитируемые Гротом, согласны в одном: Державин столь грубо вел себя в сенате, что все присутствующие были оскорблены в своем личном достоинстве.

Всего по делу графа Потоцкого в сенате состоялось три заседания. Державин присутствовал на первом и на третьем заседании. Уже после первых прений, судя по Гроту, сенаторы были оскорблены речами Державина. Ученый цитирует в этой связи письмо графа Ф.В. Ростопчина князю М.Д. Цицианову: «в сенате явная война, почти все сенаторы в оппозиции, как-то: Трощинский, Васильев и, о чудо! – Строганов. Они входят от сената с докладом к государю, дабы положение сие отменено было, а притом и с жалобой на Державина, оскорбившего сенат языком своим» (Грот 1997: 533).

После того как Державин пустил в ход так называемый «петровский молоток», чтобы успокоить чрезмерно взволнованных сенаторов<sup>347</sup>, С.Р. Воронцов советует своему брату А.Р. Воронцову впредь не посещать заседаний сената: «Не сомневаюсь в том, что вы более никогда не поедете в сенат после того обращения, какое с ним позволил себе Державин» (Грот 1997: 534).

С.Р. Воронцов очень резко охарактеризовал Державина в письме к брату от 28 октября 1803 года. Он отвечает на известие своего корреспондента о доброжелательном отношении к поэту князя А.Н. Голицына, входившего в ближайшее окружение императора Александра I: «Вы удивляете меня, говоря, что Державин успел привязать к себе нашего маленького Голицына. Как мог этот молодой человек, у которого так много ума и нет не-

---

<sup>347</sup> Вот как передает Ходасевич обстоятельства заседания Сената, в ходе которого Державин вынужден был воспользоваться «петровским молотком»: «Во время третьего, самого бурного <заседания – В.Ч.>, сенаторы повскакали с мест, и Державин пустил в ход деревянный молоток, служивший Петру Великому вместо колокольчика; он хранился в особом ящике на генерал-прокурорском столе, и со смерти Петра никто не смел к нему прикоснуться. Державин ударил им по столу – „сие как громом поразило сенаторов: побледнели, бросились на свои места, и сделалась чрезвычайная тишина... Не показалось ли им, что Петр Великий встал из мертвых и ударил своим молотком?“ Однако же наслаждение сей поэтической и несколько горделивой минутой было непродолжительно: голосование состоялось против Державина» (Ходасевич 1988: 185).



достатка в рассудительности, дать ослепить себя человеку, нисколько не прикрывающему лицемерием того, что он делает, и всеми своими действиями выставляющему напоказ свой неуживчивый, бешеный и мстительный характер. Если б я узнал это от кого-нибудь другого, а не от вас, то никогда бы тому не поверил» (Грот 1997: 548).

Мнение С.Р. Воронцова по поводу характера Державина разделяла его сестра княгиня Е.Р. Дашкова. Об этом можно судить по ее сообщениям тому же А.Р. Воронцову о негативном отношении московских сенаторов к министерской деятельности Державина. Ее письма датируются ноябрем 1802 года: «Здесь очень смеются над нападками, с которыми Державин выступил против министров и сенаторов своими лживыми докладами». «Здесь иначе понимают организацию министерств, и уморительно слышать рассуждения по этому предмету. Доклады Державина неприятно поразили всех московских сенаторов» (Грот 1997: 549).

В целом, по-видимому, объективную характеристику Державина-министра оставил упомянутый князь Голицын, доброжелательно относившийся к поэту. Он считал главной причиной служебных неприятностей Державина нетактичное поведение. Именно оно обращало в ноль в глазах людей, с которыми Державин сталкивался в процессе исполнения своей министерской должности, все его заслуги и достоинства: «В минуту желчи гений блистал в его глазах; тогда с необыкновенной проницательностью он схватывал предмет; ум его вообще был положителен, но тяжел; память и изучение законов редкие, но он облакал их в формальности до педантизма, которым он всем надоедал. Олицетворенную честность и правдивость его мало оценивали, потому что о житейском такте он и не догадывался, хотя всю службу почти был близок ко двору» (Грот 1997: 548).

### 6.3. Грибоедовский код как полемический прием

Вышеприведенные отзывы Завадовского и С.Р. Воронцова о характере Державина отразились в контрвыпаде Ходасевича против их авторов. Он, что называется, *скопом* называет их, по сути, властолюбивыми честолюбцами со вздорным характером и циническими приемами по достижению своих низменных целей: «В Сенате сидели бабушкины вельможи: спорщики и дельцы. Все эти Воронцовы, Завадовские, Зубовы, Троцинские уже начали надоедать Александру. Конституция, о которой красноречиво мечтали в комитете, была делом отдаленного будущего, а бабушкины сенаторы требовали себе власти тотчас» (Ходасевич 1988: 179). Характерно уничижительное название Завадовского и А.Р. Воронцова, корреспондента С.Р. Воронцова и Е.Р. Дашковой, во множественном числе. В последнем случае именование во множественном числе имеет также контаминационный смысл: так сказать, «семья Воронцовых».

Далее Ходасевич пишет о сенаторах как о недалеких людях: ленивых, невежественных, лишенных чувства гражданского долга. Хотя он оговаривается, что имеет в виду большинство, «толщу» сената, но назван-

ных выше во множественном числе лиц специально из этого большинства не выделяет. Как следствие, складывается впечатление, что «Воронцовы, Завадовские, Зубовы, Троцинские» и есть, так сказать, «лицо» сената, его типичные представители: «Давно развращаемый собственным бесправием, Сенат в большинстве, в толще своей, состоял из людей невысокого уровня. Уважая идею сената, Державин не уважал сенаторов. Сам он работал не покладая рук, его память и знание законов были исключительны, честность он доводил до педантизма. Сенаторы этими качествами не обладали, потому что доселе с них спрашивалось одно послушание. Теперь, когда положение Сената было как будто поднято, Державин сразу потребовал от сенаторов труда, ума, знания, всевозможных гражданских доблестей» (Ходасевич 1988: 184).

По Ходасевичу, пресловутая «бестактность» Державина по отношению к сенату вызвана взятой им на себя благородной, даже рыцарственной ролью Чацкого – бескорыстного обличителя общественных пороков. Соответственно, в сенате просматривается «фамусовское» общество. «Державин <...> в воспитатели не годился: он не воспитывал, а обличал. „Сенат благоволит давать откупщикам миллионы, а народу ничего!“ – кричал он. Такими фразами он вскоре добился того, что сенаторы хоть и не стали лучше, но самолюбие в них пробудилось. Державина возненавидели и в Сенате, и это вполне обозначилось как раз к тому времени, когда поддержка Сената была бы всего нужнее» (Ходасевич 1988: 184).

Мотивируя резкость Державина в обращении с сенаторами его возвышенными, идеалистическими представлениями о службе, Ходасевич дезавуирует обвинения противников поэта в неуживчивости. Он как бы хочет сказать примерно следующее: Разве может благородный человек ужиться в обществе «полуевропейцев»? И что, в конце концов, предпочтительнее: вступить с таким обществом в конфликт либо «применяться» к нему? Ведь в первом случае ты спасешь честь, а во втором станешь подлецом. Мы полагаем, что это сконструированное нами рассуждение вполне в духе Ходасевича, который в своей литературно-критической деятельности, как и герой его биографии в своей служебной, предпочитал не «воспитание», а обличение, пусть и внушающее «отвращение, злобу и страх» («Перед зеркалом», 1924 г.).

Итак, Ходасевич изображает противников Державина, резко высказывавшихся по поводу его конфликтного характера, представителями фамусовского общества, которые озлоблены нелицеприятным поведением поэта и потому готовы распространять о нем грязные сплетни<sup>348</sup>.

Но кто же в произведении Ходасевича играет роль Софии? Где источник подобного вздорного представления о характере Державина?

Эту функцию выполняет Екатерина II<sup>349</sup>.

---

<sup>348</sup> Ниже мы рассмотрим подробнее сатирическое изображение Ходасевичем Воронцовых как лиц, входящих в ближайшее окружение А.Н. Радищева.

<sup>349</sup> Как известно, имя, данное Екатерине II при рождении, как раз и было София. Таким образом, Ходасевич обнажает в «Горе от ума» системную связь между образами Софии Фамусовой и Екатерины

Характеризуя «софийное» начало императрицы, то есть ее ум, Ходасевич цитирует, так сказать, «голос общественного мнения» (то есть того же «фамусовского» общества), называющий ее «несравненной прозорливостью» (Ходасевич 1988: 128). Иронический статус этой характеристики обозначается в ближайшем контексте, где речь идет о совершенном непонимании императрицею побудительных причин державинского истового рвения к государственной службе. По Ходасевичу, «буйства» Державина на служебном поприще были вдохновлены Наказом Екатерины. Она же сама считала их «вдохновительницей» тещу поэта – Матрену Дмитриевну Бастидонову, с которой у нее были свои личные счеты. В этой связи писатель приводит собственные слова императрицы в записи Храповицкого: «Подписывая сенатский указ и предавая Державина суду, Екатерина сказала:

– Он стихотворец, и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна» (Ходасевич 1988: 130).

Очевидно, что, стремясь дискредитировать ум Екатерины, придать ему черты узости и «бабской» мстительности, Ходасевич в данном высказывании переставил акценты. Екатерина могла себе позволить некоторые ни на чем не основанные, кроме субъективных эмоциональных переживаний, оценки, если они касались случайных, несущественных для дела деталей. В конце концов, не за податливость же тещиному влиянию она отдавала Державина под суд! Однако она как великий государственный деятель-практик *par excellence* глубоко схватывала суть существующей «здесь и сейчас» проблемы, требующей ее незамедлительного вмешательства. В данном случае, она решила проучить Державина за его вздорный и неуживчивый характер, несовместимый, по ее мнению, с постом губернатора. Кстати говоря, впредь она больше не назначала Державина на этот пост.

Данное ироническое изображение умственных способностей императрицы выполняет функцию установочной «преамбулы» к ключевому в смысле обсуждаемого вопроса эпизоду биографии, – известному диалогово-объяснению Державина с императрицей по поводу его частых конфликтов со своим непосредственным начальством. Как раз в связи с этой беседой Екатерина произнесла свою оценку характера поэта как неуживчивого и конфликтного: «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться; надобно искать причину в самом себе. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Il ne doit pas être trop content de ma conversation» («Он не должен быть очень доволен моим разговором») (Ходасевич 1988: 131).

Источником для данного эпизода Ходасевичу послужили «Памятные записки» Храповицкого и «Записки» Державина, а также переложение из книги Грота.

В контексте «Памятных записок» Храповицкого оценка Екатерины предстает не случайной и поверхностной, а обусловленной ее принципиальной мировоззренческой позицией, выработанной, в том числе, и в результате изучения «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха.

---

II, благодетельницы легендарного Максима Петровича. И та, и другая ненавидит «Чацких» и мечтает о «Молчалиных». Таковой же предстает Екатерина II в изображении Ходасевича.

Беседа Екатерины и Державина состоялась 1 августа 1789 года. А за день до этого, 31 июля, ей пришлось исправлять явно нетактичное распоряжение княгини Е.Р. Дашковой (совмещавшей в то время сразу две должности – директора Академии наук и художеств и президента Российской академии) выплачивать вдове умершего академика Якова Бернулли «мужнина жалованья только за два месяца» (Храповицкий 1990: 200). Эта бестактность, мы бы даже сказали, неблагодарность Дашковой, становится особенно очевидна, если учесть, что эта вдова была внучкой знаменитого Эйлера, которому княгиня, судя по ее запискам, была весьма обязана, – он поддержал ее своим авторитетом в непростое для нее время вступления в должность директора Академии наук и художеств. В этой связи Екатерина вспомнила о конфликтном характере Дашковой: «Она ни с кем не уживется». И затем противопоставила ее характер своему как более снисходительному: «Je reux m'accomoder de tous les caractères. Je suis comme Alcibiade à Sparthe et dans Athenes» («Я могу применяться ко всем характерам. Я как Алкивиад в Спарте и в Афинах») (Храповицкий 1990: 201).

Екатерина имела в виду прославленное Плутархом умение этого государственного деятеля и полководца применяться к людям, не теряя при этом идентичности собственной личности<sup>350</sup>.

Как видно, императрица отнесла Державина и Дашкову к одному типу, условно говоря, конфликтных, неуживчивых, людей. Может быть, при этом она вспоминала образец этого типа, данный Плутархом в лице антипода Алкивиада Гнея Марция Кориолана<sup>351</sup>.

Если в «Памятных записках» Храповицкого зафиксированы слова Екатерины по поводу состоявшейся беседы с Державиным, то в мемуарах последнего подробно излагается содержание самой этой беседы.

Из этого изложения, между прочим, становится ясно, в какой именно реплике императрицы может содержаться якобы данное ею своему собеседнику поучение «чин чина почитает» и на основании каких слов Державина она могла заключить о «горячности» как принятой им ведущей интонации разговора с нею.

---

<sup>350</sup> Вот это знаменитое место из плутарховой биографии Алкивиада: «... наряду с прочими дарованиями он обладал величайшим искусством пленять людей, применяясь к их привычкам и образу жизни, чтобы стать похожим на них; в искусстве менять свой облик он превосходил даже хамелеона, который, по общепринятому мнению, не может принять только одного цвета – белого; Алкивиад же, напротив, мог применить и подражать в равной мере как хорошим, так и плохим обычаям. Так, в Спарте он занимался гимнастикой, был прост и серьезен, в Ионии – изнежен, предан удовольствиям и легкомыслию, во Фракии – пьянствовал и увлекался верховой ездой; при дворе сатрапа Тиссаферна – превосходил своей пышностью и расточительностью даже персидскую роскошь» (Плутарх 1987 I: 371). Как бы для того, чтобы развеять сомнения читателя, имеющего иные понятия о правилах поведения в обществе (искренность, естественность и проч.), греческий писатель делает значимое добавление к своей характеристике: Алкивиад поступал таким образом ради тактичности, сохраняя единство своей личности: «Дело обстояло, однако, не так, чтобы он легко переходил от одной склонности к другой, меняясь при этом и внутренне, но, не желая оскорблять своим природным обликом тех, с кем ему приходилось иметь дело, он принимал облик, подобный им, скрываясь под этой маской» (Плутарх 1987 I: 371).

<sup>351</sup> По мнению С.С. Аверинцева, Плутарх представил этого легендарного древнеримского героя как «крайний пример политической бестактности и эгоцентрической неуживчивости, делающей государственного человека врагом собственного народа» (Аверинцев 1973: 186).

Таков ее вопрос: «... не имеете ли вы чего в нраве вашем, что ни с кем не уживаетесь?». Здесь и может подразумеваться требование неукоснительного соблюдения неписаных законов служебной иерархии.

Судя по «Запискам», Державин прекрасно понял «двойной смысл» этого вопроса своей августейшей собеседницы. Именно поэтому он характеризует свой ответ как «смелый»: «Я не знаю, Государыня, – сказал смело Державин, – имею ли какую строптивость в нраве моем, но только то могу сказать, что, зная, я умею повиноваться законам, когда, будучи бедный дворянин и без всякого покровительства, дослужился до такого чина, что мне вверялись в управление губернии, в которых на меня ни от кого жалоб не было» (Державин 2000: 127). То есть Державин фактически возразил императрице, противопоставив высочайше указанным *неписаным* законам законы *писанные*. По мнению Державина, если его судят за якобы допущенные им упущения в служебной деятельности, то пусть исходят не из тех или иных особенностей его личного характера, а из строгой проверки соответствия его действий законам, имеющим юридическую силу. А в этом, единственно важном, отношении он поступал безупречно.

Мы думаем, что именно в этом «смелом» ответе Екатерина могла усмотреть упомянутую «горячность», не допустимую в обращении с императорскими особами.

Ответ Державина-героя биографии Ходасевича лишен этой дерзостной «смелости». Герой объясняется с императрицей именно в желательном для нее смысле полного согласия с ее мнением. Писатель добивается этого эффекта, элиминируя ключевое слово «законам»: «Я служил с самого простого солдатства и потому, зная, умел повиноваться, когда дошел до такого чина»<sup>352</sup> (Ходасевич 1988: 131). Возникает впечатление, что он всегда «повиновался» своему начальству, чего от него, собственно, и требовала Екатерина, а не собственным принципам, как подразумевает Державин в «Записках».

Но в таком случае, не ясно, почему императрица все-таки оставила свое мнение при себе, хотя оно явно повисает в воздухе.

То же самое недоумение вызывает и ее упрек Державину в «горячности». Данный ответ героя Ходасевича выдержан в спокойном и деловитом тоне.

Из всех реплик героя Ходасевича эмоциональной можно назвать только одну: его ответ на вопрос по поводу конфликта с Вяземским. Ходасевич цитирует ее полностью по тексту державинских «Записок»:

– Для чего же не ужился с Вяземским?

– Государыня! Вам известно, что я написал оду Фелице. Его сиятельству она не понравилась. Он зачал насмеяться надо мною явно, ругать и

---

<sup>352</sup> По-видимому, цитируя данный ответ Державина Екатерине, Ходасевич воспользовался переложением Ф.П. Львова, помещенным в изданные им «Объяснения» Державина. Сравнить: «Я служил с солдатства и следовательно видно умел повиноваться, когда дошел до настоящего чина» (Львов 1834 II: 25). Львов помещает рассматриваемый диалог Державина с императрицей в качестве объяснения к тем стихам из оды «Изображение Фелицы» (1789), в которых прославляется упомянутая «прозорливость» Екатерины II: «Проникнуть мысли были скоры / И в самых скрытнейших сердцах». Тем ироничнее выглядит эта одическая похвала в контексте книги Ходасевича. См. об этом ниже.

гнать, придирается ко всякой безделице; то я ничего другого не сделал, как просил о увольнении из службы и по милости вашей отставлен (Ходасевич 1988: 131).

Однако читатель, воспринявший цитацию Ходасевича как указание на необходимость познакомиться с ближайшим контекстом данной реплики по ее источнику, обнаруживает, что в содержательном смысле она является образцом державинского хладнокровия и выдержки. В самом деле, из возможных вариантов ответа поэт выбрал как раз тот, который давал ему возможность избежать не только громкого скандала, но и обвинения в склочничестве и ябедничестве. А он мог бы рассказать императрице о беспорядках в управлении, которые были замечены им в ведомстве Вяземского и послужили истинной причиной его гонений.

Наконец, оценка Екатерины в изображении Ходасевича выглядит даже неискренней, если учесть, что как раз вскоре после этого разговора она посчитала нужным «приставить» Державина в роли педагога-наставника к своему любимцу Зубову. Разумеется, как намекает Ходасевич, она полагала при этом, что Державину удастся внушить «чернобровому шалуноу» не принципиальность и упрямство Кориолана, а жизненные принципы Альгаротти<sup>353</sup>, которому удалось снискать расположение такого деспотичного короля, как Фридрих II<sup>354</sup>, или алкивиадову тактичность в обращении с нужными людьми. Вся ироничность данного намека Ходасевича по поводу умственных способностей его августейшей героини выясняется при сопоставлении с упомянутым выше взглядом биографической Екатерины на тип державинского характера, который был отмечен в связи с анализом соответствующего фрагмента «Памятных записок» Храповицкого.

Таким образом, в контексте биографии Ходасевича указанная оценка императрицей характера Державина как конфликтного и неуживчивого выглядит предвзятой и надуманной. Она сама ведет себя как-то странно,

---

<sup>353</sup> Имеется в виду следующий эпизод биографии Ходасевича: «Общество Державина она <Екатерина – В.Ч.>, очевидно, считала полезным для маленького чернобрового шалуна; она вообще заботилась об образовании своих любимцев: читала с Ланским Альгаротти, с Зубовым Плутарха...» (Ходасевич 1988: 132). В «Британской энциклопедии» приводится яркий пример реализации этих принципов. Альгаротти, приехавший в Лондон ради карьерных соображений («to further his career») и добившийся для этой цели любви богатой и влиятельной леди Мэри Уортли Монтегю (1689-1762) (известной писательницы), «ничтоже сумняшеся» ее покинул, как только получил более выгодное в материальном смысле предложение от Фридриха II (см. статью «Algarotti, Francesco»).

<sup>354</sup> Для характеристики деспотичного нрава Фридриха II приведем несколько примеров. Вольтер поссорился с королем, потому что не желал делать ожидаемых от него уступок и подчиняться его «высшей воле и часто непонятым капризам». (цитируется статья «Вольтер» из энциклопедии Брокгауза и Ефрона). Бывали случаи, когда офицеры прославленной прусской армии уходили в отставку, посчитав выполнение приказов короля несообразным с их представлением о чести. Так поступил, например, полковник И.Ф.А. фон дер Марвиц (1723 – 1781). Надпись на его надгробии, которое находится в бранденбургском замке «Friedrichshof», гласит: «Er sah Friedrichs Heldenzeit und kämpfte mit ihm in allen Kriegen. Wählte Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte» («Он видел героическое время Фридриха и сражался под его началом во всех войнах. Однако выбрал немилость, когда послушание не приносило чести») (цит. по: Роте 1999: 253). Наоборот, известный авантюрист Казанова, который очутился в Берлине в 1764 г., после аудиенции с королем тут же получил место начальника кадетского корпуса. Современный исследователь пишет, что он «сумел понравиться Фридриху II, представ испуганным и покорным, мгновенно подлаживающимся к прихотливой монаршей воле, иными словами, сыграв роль женщины» (Стровев 1998: 318). Вероятно, и Альгаротти приобрел таким же образом благосклонность прусского короля.

мы бы даже сказали, «лунатично»: как героиня чеховского «Вишневого сада», игнорирует содержательную часть доводов своего собеседника; как грибоедовская София, обращает преимущественное внимание на интонацию его речи.

В контексте творчества Ходасевича содержится и другая аналогия поведению Екатерины в данной сцене биографии. Ее реплика по поводу неуживчивого характера Державина, зафиксированная Храповицким, соотносится, во-первых, с диалогами Дон Жуана и Лепорелло, героев пушкинской «маленькой трагедии» «Каменный гость»<sup>355</sup>; во-вторых, с допросами Дзержинским А.А. Виленкина<sup>356</sup>, одного из руководителей контрреволюционной организации «Союз защиты родины и свободы».

Поскольку упомянутые персонажи единого ходасевичевского текста углубляют наше понимание характера и функции образа императрицы в «Державине», остановимся на них подробнее.

По Ходасевичу, и Дон Жуан, и Дзержинский, как Екатерина в передаче Храповицкого, на самом деле бредили наяву. Другими словами, они не вступали в диалог со своими *vis-à-vis* – Лепорелло и Виленкиным, соответственно, – а монологизировали, поскольку их «собеседниками» на самом деле были худшие, «мещанские» (Ходасевич 1999б: 114) ипостаси их души.

Во вводимом Ходасевичем «достоевском» коде содержится ключ для понимания характеров и функций участников всех трех упомянутых «дуэтов» («Екатерина – Храповицкий», «Дон Жуан – Лепорелло», «Дзержинский – Виленкин»). Имеется в виду сравнение данных «монологов» с разговором Ивана Карамазова с чертом<sup>357</sup>.

Особенно подробно в соответствии с этим кодом Ходасевич характеризует Дон Жуана и Лепорелло, но выделенные им качества транспонируются по парадигматическому принципу и на другие упомянутые образы.

Так, в интерпретации Ходасевича, образ пушкинского Дон Жуана генетически родственен образам Ивана Карамазова, а также – Ставрогина и Раскольникову. Всех этих героев объединяет внутренний разлад между идеалистическим стремлением к Добру и неверием в конечное Благо этого стремления и, как результат, «замыканием» на собственном волевом хоте-

---

<sup>355</sup> См. ходасевичевский анализ «Каменного гостя» в издании: Ходасевич 1999б: 108-115.

<sup>356</sup> Имеется в виду следующий эпизод из статьи Ходасевича «Парижский альбом VII» (1926), которая представляет собой отклик на смерть Ф.Э. Дзержинского: «Покойного Виленкина Дзержинский допрашивал сам. Уж не знаю, что было при этом, только впоследствии машина стала давать перебои. Рассказывая одному писателю о допросе Виленкина, Дзержинский, по-видимому, галлюцинировал, говорил двумя голосами, за себя и за Виленкина. Писатель передавал мне, что это было очень страшно и похоже на то, как в Художественном театре изображается разговор Ивана Карамазова с чертом» (Ходасевич 1996- IV: 264).

<sup>357</sup> Пародийным вариантом, так сказать, «монологизирования с чертом», по Ходасевичу, является «стихотворение» Лебядкина «Отечественной гувернантке», «инспирированное» Липутиным, «лебядкинским Мефистофелем» (Ходасевич 1996- II: 201). Вообще говоря, в статье «Поэзия Игната Лебядкина» (10. 02. 1931), где была обозначена данная связь между образами Лебядкина и Липутина, присутствует мощный «державинский» подтекст. Как замечает Ходасевич, на «творчество» Лебядкина поэзия Державина, и, особенно, ода «Бог», оказала самое непосредственное влияние. Лиза Тушина имеет все черты Фелицы, в ее блоковском варианте Прекрасной Дамы. «Земные» же черты Фелицы воплотились, как было уже сказано, в образе Липутина, «подлеца просто, без всякой поэзии, одного из „бесов“» (Ходасевич 1996- II: 201).

нии. «Пушкина в легенде об испанском грешнике привлек не просто мотив возмездия за грехи, – пишет Ходасевич, – Здесь поразило его нечто другое: столкновение порыва к очищению и просветлению – с упрямою, самочинною волей, которая самый путь очищения хочет пройти автономно, не подчиняясь никакой высшей воле, не руководясь ничем, кроме собственного хотения» (Ходасевич 1999б: 114).

Лепорелло же, по Ходасевичу, носит все черты черта, явившегося Ивану Карамазову. Критик называет его буквально теми же бранными словами, которые употребил герой Достоевского по отношению к своему кошмару: «Лакей, смерд, пошляк, – он едва сдерживает злорадный хохот, видя унижение героя, поэта, мечтателя, заговорившего на одном языке с ним» (Ходасевич 1999б: 113).

Таким образом, по Ходасевичу, упомянутый «лунатизм» Екатерины во время диалога-объяснения с Державиным является внешним выражением ее неверия в конечное Благо всякого стремления к Добру, «замыкания» на собственном эгоистическом понимании этого Добра. Именно это качество является одной из главных причин непонимания ею побудительных мотивов административной деятельности Державина.

Если позволить себе контаминировать «достоевский» код с кодом грибоедовским, то можно сказать, что в предпочтении императрицею Храповицкого Державину по признаку «уживчивости» проявляются ее худшие черты. Ведь в образе ходасевичевского Храповицкого обнажается генетическое родство образов Молчалина и карамазовского черта<sup>358</sup>. Как София, незабвенная любовь Чацкого, державинская Фелица с ее Наказом и проповедью Закона, оказалась, в конце концов, зачарована болотистыми испарениями внешне приличных, а внутренне циничных так называемых «правил общежития». Говоря в терминах Достоевского, она превратилась в ту самую «семипудовую купчиху», в которую черту удалось-таки «воплотиться».

Как бы то ни было, Ходасевич опроверг прославленную «прозорливость» Екатерины в понимании людей. Тем самым он дезавуировал ее оценку державинского характера как несостоятельную.

Итак, Ходасевич использовал грибоедовский код в сатирико-полемических целях: как средство для опровержения свидетельств современников о неуживчивом характере Державина, послуживших источником для пушкинского изображения саратовских действий поэта как сумасбродных.

Очевидно, что при этом писатель игнорирует указанный выше «двойной смысл», заложенный драматургом в образ Чацкого. Сочувственно изображая руссоистский жизнетворческий дискурс заглавного героя

---

<sup>358</sup> «Александр Васильевич Храповицкий делал карьер свой умно и спокойно. Теперь он уже состоял при императрице „по собственным ее делам и у принятия прошений“. Каждый вечер, кратко, но дельно записывал он в дневнике, чему был свидетель в минувший день» (Ходасевич 1988: 130). Как известно, карамазовский черт гордился своим «уживчивым складным характером» (Достоевский 1970 II: 360). Выходки Ивана Карамазова вызывали в нем род негодования. Возможно, контаминация грибоедовского и «достоевского» кодов в образе Храповицкого является пародийно-полемической репликой Ходасевича по отношению к «Памятным запискам», в которых, действительно, теме конформизма отводится довольно значительное место.



своего произведения, Ходасевич дезавуирует пародийно-комический план действий его литературного прототипа, – Чацкого.

Несомненна полемическая направленность данного аспекта ходасевичевского дискурса против упомянутой пушкинской оценки руссоистского склада ума, представленного на примере Чацкого, а также, соответственно, против грибоедовского изображения протагониста «Горя от ума» как комического персонажа. Ходасевичу важно реабилитировать руссоистский склад ума, в высокой степени присущий Державину.

#### *6.4. Реабилитация «руссоистского» склада ума в очерке Ходасевича «Грибоедов»*

Литературно-критический комментарий к обозначенному аспекту художественно-полемического дискурса «Державина» содержится в очерке Ходасевича «Грибоедов», который был впервые опубликован в газете «Возрождение» 14 февраля 1929 года, то есть вскоре после начала работы над биографией<sup>359</sup>.

В этом очерке Ходасевич однозначно определяет «Горе от ума» как только сатирическую комедию. В жанровой иерархии писателя сатира занимает второстепенную позицию, так как в ней нет «второго, более углубленного, общечеловеческого и непреходящего смысла», нет «философских перспектив», в ней не может быть выражен «религиозно-творческий подвиг» (Ходасевич 1991: 154). Правда, всего этого достиг Гоголь в «Ревизоре». Но он гений. А Грибоедов, по утверждению Ходасевича, был лишен поэтического дара<sup>360</sup>. Отсюда следует, что «Горе от ума» по определению не может быть шедевром.

Концептуальность<sup>361</sup> данной точки зрения обнаруживается уже в ее акцентировании: критику не достаточно заявить в юбилейной статье о второстепенности «Горя от ума» как произведения искусства, ему еще нужно противопоставить эту комедию «Ревизору» как якобы начисто лишенную какой-либо религиозно-философской проблематики, как целиком и полностью ограниченную в своей тематике данным бытовым укладом фамусовской Москвы. «Все, что у Гоголя углублено и вознесено, – пишет Ходасевич, – у Грибоедова остается в плоскости данного бытового уклада. Гоголь свою комедию показал, как нашу общую до сего дня трагедию. „Ревизор без конца!“ – восклицает Гоголь. И он прав, потому что вечной остается

---

<sup>359</sup> Судя по рабочему дневнику Ходасевича, материалы о Грибоедове входили в круг стимулирующего чтения писателя непосредственно перед началом работы над «Державиным». Ходасевич занимался Грибоедовым 18 и 19 января 1929 года, а 21 и 22 января одновременно читал материалы о Державине. Уже 30 января он «начал писать» <так отмечено в дневнике – В.Ч.> биографию. С 8 по 11 февраля Ходасевич, видимо, работал над очерком «Грибоедов», и записи об этом как бы вклиниваются в заметки о работе над «Державиным» (см.: Ходасевич 2002а: 340-341).

<sup>360</sup> «... при обширном уме своем, при всем понимании поэзии, при огромной любви к ней – поэтического дара Грибоедов был лишен – и сознавал это» (Ходасевич 1991: 154).

<sup>361</sup> От слова *концепция*, *концептуальный*.

тема его комедии. О „Горе от ума“ мы отчетливо знаем, что оно кончилось с концом фамусовской Москвы» (Ходасевич 1991: 154-155).

Еще более ярко эта концептуальность проявляется при сопоставлении обсуждаемого вывода из очерка «Грибоедов» с другими высказываниями Ходасевича по поводу значимости и настоящего веса знаменитой комедии.

Например, его утверждению о временной ограниченности значения «Горя от ума» противоречит концовка автобиографического очерка «Книжная палата», который был опубликован в «Возрождении» двумя выпусками – 12 и 17 ноября 1932 года – с подзаголовком «Из советских воспоминаний». Дело в том, что она построена на реализации аллюзии из грибоедовской комедии, а именно – знаменитого афоризма Лизы:

Минуй нас пуще всех печалей  
И барский гнев, и барская любовь.

Другими словами, сам Ходасевич, вопреки собственному утверждению из очерка «Грибоедов» о том, что «Горе от ума» «кончилось с концом фамусовской Москвы», пережил в Москве 1920 года примерно такую же ситуацию, какую пережила Лиза сто лет назад.

В самом деле, вот как передает мемуарист интересующие нас события<sup>362</sup>.

В последнее время своего пребывания в родном городе Ходасевич вынужден был пойти служить в государственное учреждение – Московскую Книжную Палату. Его прямой начальник – «старый большевик» (Ходасевич 1996- IV: 239) Н.С. Клестов-Ангарский – оказался самодуром. Когда Ходасевичу понадобилось переехать в Петербург, тот не только не согласился дать ему отставку, но и пригрозил донести на него в компетентные органы как на саботажника.

Ирония ситуации заключается в том, что Ходасевич и в самом деле тайно саботировал те указания Клестова-Ангарского, которые ему казались неразумными, а то и противозаконными. Например, оказавшись между молотом и наковальней в разразившейся «войне» между Наркомпросом и Московским Советом за обладание Московской Книжной Палатой, он делал все от него зависящее, чтобы реализовались усилия центральной власти. Конечно, Ходасевичу приходилось действовать на свой страх и риск: узнай Клестов-Ангарский о манипуляциях его указаниями, тому пришлось бы в полной мере испытать «барский гнев», а центральная власть вряд ли бы защитила своего тайного благожелателя, да даже и спасибо бы не сказала (как это и произошло на самом деле в случае с библиотекой Книжной Палаты). Другими словами, в войне между ведомствами Ходасевич взял на себя рыцарскую роль защитника культуры и просвещения, воспрепятствовав стремлению своего начальника ради собственной прихоти сгноить книги, принадлежащие всему народу, в подвалах своего отдела.

---

<sup>362</sup> Очерк «Книжная палата» републикован, например, в следующих изданиях: Ходасевич 1991 и Ходасевич 1996- IV.

Итак, Клестов-Ангарский по странной прихоти, которую Ходасевич называет влюбленностью, ни за что не хотел расстаться со своим подчиненным даже после того, как Книжная Палата оказалась под угрозой расформирования. Вот тут-то и вспомнил Ходасевич слова Лизы, и применил их к самому себе.

Уже из данного примера становится ясной вся концептуальность утверждения Ходасевича из очерка «Грибоедов» по поводу сугубой «прикрепленности» темы «Горя от ума» к бытовому укладу фамусовской Москвы. Ведь на самом деле Ходасевич в концовке очерка «Книжная Палата» признает чуть ли не архетипичность, по крайней мере, данной ситуации «Горя от ума». А отсюда уже недалеко и до признания вневременной значимости всей комедии.

Далее. Афоризм Лизы является семантическим ключом не только концовки очерка «Книжная Палата», но и некоторых эпизодов биографии «Державин». То есть Ходасевич ассоциировал свое столкновение с Клестовым-Ангарским с биографией Державина.

Мы имеем в виду, прежде всего, эпизод олонецкого губернаторства Державина, сопровождавшегося конфликтом с наместником Тутолминым<sup>363</sup>.

Ходасевич вводит грибоедовский код в самом начале изображения второго этапа этого конфликта, когда Тутолмин «мобилизовал» на борьбу с непокорным губернатором чиновников Петрозаводска. Замечательно, что грибоедовский код, в отличие от установки очерка «Грибоедов», в данном случае контаминируется с кодом гоголевским: если петрозаводские чиновники как бы *вышли из гоголевской «Шинели» либо «Ревизора»*, то литературным прототипом прямодушного и честного, хотя и наивного Державина, так сказать, метеоритом залетевшего в карельские болота, очевидным образом, является Чацкий: «Чиновничье население Петрозаводска было, можно сказать, вполне классическое. Все эти советники, прокуроры, заседатели, экзекуторы, судьи были предками тех, кому суждено было через пятьдесят лет явиться в творениях Гоголя. Державин со своими гражданскими добродетелями был им непонятен, а то и смешон» (Ходасевич 1988: 115).

Ситуация «между молотом и наковальной», субъективное стремление к правде и попытки ее реализации, конечный проигрыш, ведущий к удалению со сцены, – все эти мотивы являются сюжетообразующими и в «Горе от ума», и в очерке «Книжная палата», и в данном эпизоде биографии «Державин».

В самом деле, в изображении Ходасевича, Державин буквально в одиночку пытается защищать Закон против явно превосходящих сил «тогдашнего российского быта» (Ходасевич 1988: 120), олицетворением которого является самодурская деятельность Тутолмина. Центральная власть не могла быть ему опорой. В конце концов, герой изнемогает в неравной борьбе и бежит в столицу.

---

<sup>363</sup> Ходасевич работал над воспоминаниями о Книжной палате 31 января 1930 года. В этот же день он как раз писал V главу «Державина», посвященную олонецкому губернаторству заглавного героя (начал над ней работать 9 января) (Ходасевич 2002а: 348).

Чтобы показать, сколь высоко на самом деле оценивал Ходасевич «Горе от ума», было бы достаточно указать на проведенную им контаминацию «на равных основаниях» грибоедовского кода с кодом донкихотовским<sup>364</sup> и библейским. Именно для характеристики государственной и административной деятельности Державина на посту олонекского губернатора писатель использовал столь мощную «смесь», разом обозначив потребную религиозно-философскую основу комедии Грибоедова.

Для этой контаминации Ходасевич использовал текст-посредник: знаменитую оду Державина «Фелица» (1782), где поэт, с одобрением отзываясь об уважительном отношении Екатерины к культурным традициям русского народа, употребил выражение «донкишотствовать собой»:

Храня обычаи, обряды  
Не донкишотствуешь собой

(Державин 2002: 74).

В тексте Ходасевича аутентичный смысл державинских «обычаев» и «обрядов» трансформировался. По его словам, Державин «донкишотствовал собой» на посту олонекского губернатора, борясь с неписаными законами служебной субординации и, потерпев поражение, должен был, как Чацкий, бежать: «Державин, выражаясь его же слогом, „донкишотствовал собой“ десять месяцев и оказался не только побежден, но и смешон, потому что его волшебный отлет из Петрозаводска при переводе на язык прозаический был не что иное, как бегство» (Ходасевич 1988: 120). Другими словами, Ходасевич иронически инвертирует положительный смысл державинской характеристики деятельности Екатерины: императрица на самом деле «хранила», то есть поощряла, как раз те самые противозаконные «обычаи» и «обряды» российской бюрократии, с которыми боролся Державин.

По-видимому, в ироническом ключе Ходасевич предлагает прочитать и знаменитую строфу из той же «Фелицы» с характеристикой поэтических вкусов императрицы:

Ты здраво о заслугах мыслишь,  
Достойным воздаешь Ты честь;  
Пророком Ты того не числишь,  
Кто только рифмы может плесть:  
А что сия ума забава,  
Калифов добрых честь и слава.  
Снисходишь ты на лирный лад;  
Поэзия тебе любезна,  
Приятна, сладостна, полезна,  
Как летом вкусный лимонад

(Державин 2002: 77).

---

<sup>364</sup> Наличие донкихотовского кода в «Горе от ума» было показано в работе современника Ходасевича А.Л. Бема «„Горе от ума“ в творчестве Достоевского», впервые появившейся в виде доклада, прочитанного 20 сентября 1930 года на V Съезде русских ученых в Софии. Кроме того, ученый доказал, что контаминация донкихотовского и грибоедовского кодов является конструктивным приемом для целого ряда произведений Достоевского. См. современную публикацию этой работы в издании: Бем 2001.

По Ходасевичу, Державин на самом деле прекрасно понимал двойственную позицию императрицы по отношению к боготворимому им Закону. Именно этими чувствами было вызвано появление обличительного стихотворения «Властителям и судиям» (1780-1787), которое представляет собой вольное переложение 81-го псалма. Буквально как в приведенной строфе из «Фелицы» Екатерина отказалась увидеть пророчески-обличительный смысл библейского дискурса «Властителям и судиям», сочтя это стихотворение якобинским. Однако удаление Державина от двора представлено в биографии Ходасевича как вариант изгнания пророка.

Таким образом, на примере олонецкого губернаторства Державина Ходасевич показал последствия «барского гнева». При этом писатель не ограничился бытовым аспектом данной ситуации. Контаминируя грибоедовский и донкихотовский код и возведя их к общему первоисточнику – Библии, он обозначил архетипическую основу заглавного героя своей биографии, выступающего за правду против сил зла. Соответственно, конфликт грибоедовского протагониста и противостоящего ему «фамусовского» общества оказывается одним из вариантов вечного противостояния пророка и косного окружения.

Печальные последствия «барской любви» также представлены в «Державине». Мы имеем в виду взаимоотношения заглавного героя с императрицей. По Ходасевичу, Державин вскоре после принятия на службу во дворец понял, что Екатерина в реальности очень сильно отличается от воспетой им Фелицы. Дабы окончательно не утратить идеал, питающий его поэзию, или, выражаясь в терминах Ф.К. Сологуба, не утратить способности «дульсинировать Альдонсу»<sup>365</sup>, он решил уйти в отставку. Однако императрица иначе представляла себе его судьбу: она удерживала его на службе и усиленно намекала на необходимость появления новых «Фелиц». Ходасевич полагает, что именно эта ситуация нашла свое выражение в следующем четверостишии поэта:

---

<sup>365</sup> Этот термин означает активное вмешательство художника в окружающий мир с целью его преобразования в согласии с эстетическим идеалом. Ходасевич с одобрением отзывался о данной жизнетворческой программе Сологуба, поскольку она касалась исконной задачи художника преобразования мира в творчестве. Об этом он писал в концовке некролога «Сологуб» (1928) по поводу создания поэтом в условиях советской России 1920-х гг. цикла стихотворений в стиле французских бержерет: «Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. <...> Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни „пролетарского искусства“ выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над „злою жизнью“... <далее следует образец одного из последних стихотворений Сологуба> (Ходасевич 1996- IV: 118). Однако к жизнетворческому вмешательству Сологуба в бытовые отношения между людьми Ходасевич относился с иронией. В мемуарной статье «Из петербургских воспоминаний» (1937) (см.: Ходасевич 1996- IV: 317-323) он изобразил Сологуба, играющего эту роль, как Передонова (главного персонажа романа «Мелкий бес»). По Ходасевичу, жизнетворческая установка «дульсинирования Альдонсы» привела к искажению личности и боготворимого им Державина: «Окруженный врагами, подвохами, клеветой и насмешкой, силы свои растрчивал он на борьбу. В пылу этих схваток порой помрачались или искажались его высокие качества; в мелочах жизни мельчал и он; рвение переходило в злобу, точность – в придирчивость, законолюбие – в формализм. Молва, в свою очередь, все это преувеличивала» (Ходасевич 1988: 186). Речь идет о деятельности Державина на посту министра юстиции.

Поймали птичку голосисту,  
И ну сжимать ее рукой:  
Пищит бедняжка, вместо свисту, –  
А ей твердят: Пой, птичка, пой!

(Цит. по: Ходасевич 1988: 144).

Очевидно, что данное проявление «барской любви» по отношению к поэту является таким же притеснением, как и упомянутое выше изгнание. И в том, и в другом случае поэт, единственным призванием которого является, по Ходасевичу, пророческое служение, подвергается остракизму: его заставляют замолчать, а, значит, умереть.

Весьма высокая оценка «Горя от ума» содержится также в других текстах Ходасевича.

Так, выходу очерка «Грибоедов» предшествовала публикация в газете «Возрождение» весьма содержательной аннотации, где «Горе от ума» не противопоставляется, а сопоставляется с «Ревизором». Без него, по мнению автора аннотации, шедевр Гоголя мог бы не состояться. По крайней мере, таким образом можно трактовать следующее заявление: «Комедия „Горе от ума“ навсегда вошла в русскую литературу. Она была необходимым и блестящим звеном от фон-Визина к Гоголю» (аннотация 11.02.1929). Правда, данная аннотация опубликована без имени автора. Однако есть основание атрибутировать этот текст именно Ходасевичу, поскольку в нем обозначаются проблемы, обсуждаемые в очерке, в частности, проблема неравноценности художественного наследия Грибоедова: «... молодые его литературные попытки никакими достоинствами не отличаются и преданы справедливому забвению. Литературной загадкой остается и то, что все произведения, написанные Грибоедовым после „Горя от ума“, не представляют художественной ценности» (аннотация 11.02.1929). Ясно, что автору аннотации был известен если не текст очерка, то его «форма плана».

Кроме того, Ходасевич считал «Горе от ума» не уступающим по своим художественным достоинствам «Душеньке» Богдановича, которую ценил весьма высоко. Тем замечательнее, что это сопоставление было сделано для опровержения слухов, подвергающих сомнению авторство Богдановича: безусловный авторитет Грибоедова-автора «Горя от ума», с точки зрения Ходасевича, способен защитить репутацию старшего поэта. По словам Ходасевича, эти слухи были основаны на том соображении, «что ни до ни после „Душеньки“ Богданович не писал ничего, равного ей». Этот довод он и опровергает ссылкой на пример Грибоедова: «Вряд ли, однако, такое соображение убедительно. Случаев такого рода в литературе не мало. Ближайший пример – Грибоедов, писавший слабые комедии до „Горя от ума“ и ничего не написавший после» (Ходасевич 29.10.1937).

Итак, на самом деле Ходасевич по достоинству оценивал качества «Горя от ума» как шедевра Грибоедова. В таком случае, его явно заниженную оценку этой пьесы в очерке «Грибоедов» мы можем объяснить только целями полемики с пушкинской оценкой ума ее протагониста. А именно:

мы полагаем, что, объявляя сатирическое изображение «фамусовского» общества единственным заданием Грибоедова, Ходасевич стремился не только вывести всю проблематику, связанную с линией Чацкого, из соприкосновения со «снижающим» материалом, но и показать всю красоту и значительность склада ума протагониста в приличествующем ему контексте.

В очерке «Грибоедов» Чацкий предстает лишь как резонер, выразивший продекабристские взгляды драматурга. Даже такой нарочито узкой трактовкой образа Чацкого Ходасевич решает, по крайней мере, две задачи: во-первых, он исключает какую-либо комическую интерпретацию поведения протагониста: Чацкий скорее героичен, как декабристы, чье мнение он представляет, но, во всяком случае – не смешон; во-вторых, уже здесь он дезавуирует низкую оценку Пушкиным умственных способностей протагониста: как заметил Г.В. Адамович, глупый герой не может быть полноценным обличителем «фамусовского» общества; в таком случае комедия превратилась бы в фарс (Адамович 2002: 146)<sup>366</sup>.

Однако настоящую глубину ума, носителем которого является Чацкий, Ходасевич освещает посредством контаминации этого героя с фигурой его создателя – Александра Сергеевича Грибоедова, притом стоящего перед лицом смерти.

Биографическая часть очерка Ходасевича построена на акцентировании мотива ясновидческого дара в отношении к собственной судьбе. Ключевой в этом смысле является следующая цитата из пушкинского «Путешествия в Арзрум»: «Он был печален и имел странные предчувствия. <...> Я было хотел его успокоить, но он мне сказал: *Vous ne connaissez pas ces gens-là! Vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux!* («Вы не знаете этих людей! Вы увидите, что дело дойдет до ножей!»)» (цит. по: Ходасевич 1991: 151). Далее Ходасевич не цитирует, но читатель, обратившийся к ближайшему контексту данного фрагмента, обнаружит, что эти слова Пушкин назвал пророческими. По словам автора «Путешествия...», Грибоедов ошибся в деталях, – причине собственной смерти, но саму смерть от руки персов предугадал точно: «Он полагал, что причиной кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства» (цит. по: Грибоедов в воспоминаниях современников 1980: 264).

В продолжение темы пророческого предчувствия Грибоедовым собственной гибели Ходасевич приводит также воспоминания его ближайших друзей – А.А. Жандра и С.Н. Бегичева.

Констатируя чудесную способность Грибоедова к иррациональному познанию, критик, тем не менее, ничего не говорит о практической целесообразности этого познания. Он только косвенно указывает на его абсо-

---

<sup>366</sup> Это наблюдение Адамович высказал в юбилейной статье «Смерть Грибоедова», опубликованной в газете «Последние новости» 7 февраля 1929 года (№ 2878, С. 2), то есть непосредственно перед выходом в свет обсуждаемого очерка Ходасевича. Конкурирующая газета «Возрождение» дважды отозвалась на указанную статью Адамовича. См.: Печать 08.02.1929; Печать 19.02.1929.

лютную чуждость официальным кругам, от которых зависела участь Грибоедова<sup>367</sup>: «Убийство полномочного посла, всех чиновников (за исключением одного) и всей охраны – дело совершенно необычайное, в истории неслыханное. Предсказать его логически, вполне отчетливо, как неизбежный факт, вытекающий из сложившихся дипломатических отношений, Грибоедов не мог. Если бы мог – своевременно доложил бы о том своему начальству и не получил бы злосчастного назначения, не поехал бы в Персию» (Ходасевич 1991: 151).

Кроме полемического выпада против распространенного в сознании широкого (преимущественно, советского) читателя представления о причастности царского правительства к заговору против Грибоедова, Ходасевич данным утверждением сразу же ставит заглавного героя своего очерка со своим иррациональным знанием один на один против Рока. Ведь только в этом плане, овеянном дыханием Вечности, это знание имеет какое-то значение. Здесь, перед лицом Рока, герой оказывается в полном одиночестве, и ему не могут помочь ни ближайшие друзья, ни любимая женщина.

Тем удивительнее представленное Ходасевичем духовное состояние Грибоедова, ожидающего Беды. Дело в том, что он даже *не пытается* ее избежать, но, раз осознав, следует по пути, обозначенному для него Роком.

Субъективность данной установки выясняется из проведенного критиком элиминирования свидетельств об усилиях биографического Грибоедова избежать смертельно опасной командировки. Например, в упомянутом воспоминании Бегичева сразу же вслед за цитированными Ходасевичем провидческими словами Грибоедова как раз и содержится информация такого рода<sup>368</sup>.

Неожиданно вспыхнувшая в самом преддверии смерти любовь изображается Ходасевичем как результат провидческого осознания Грибоедовым Высшей воли. Ее *нужно* было пережить так же, как предстоящую смерть. По крайней мере, таким образом мы склонны интерпретировать смысл следующих риторических вопросов критика, поставленных в скобках: «И вдруг в эти самые мрачные дни свои (забыв о предчувствиях смерти? или, может быть, как раз от того, что они прояснили, повысили, обострили все его чувства?) – он весь как-то внезапно расцвел» (Ходасевич 1991: 151). «Забывать о предчувствиях смерти» Грибоедов не мог даже в минуты медового месяца. Иначе не объяснить слова Нины, его жены, пытающейся заклясть будущее: «Как это все случилось! Где я, что и с кем!

---

<sup>367</sup> При желании, данную ситуацию можно рассматривать как вариант евангельского «несть пророка в своем отечестве...».

<sup>368</sup> «Старался я отделаться от этого посольства. Министр сначала предложил мне ехать поверенным в делах, я отвечал ему, что там нужно России иметь полномочного посла, чтобы не уступать шагу английскому послу. Министр улыбнулся и замолчал, полагая, что я, по честолюбию, желаю иметь титул посла. А я подумал, что туча прошла мимо и назначат кого-нибудь чиновнее меня, но через несколько дней министр присылает за мной и объявляет, что я по высочайшей воле назначен полномочным послом. Делать было нечего! Отказаться от этого под каким-нибудь предлогом, после всех милостей царских, было бы с моей стороны самая черная неблагодарность. Да и самое назначение меня полномочным послом в моем чине я должен считать за милость, но предчувствую, что живой из Персии не возвращусь» (Грибоедов в воспоминаниях современников 1980: 31).



*Будем век жить, не умрем никогда!* <выделено нами – **В.Ч.**>» (Ходасевич 1991: 152).

Итак, по Ходасевичу, Грибоедов, прекрасно зная о предстоящей ему участи, сознательно шел навстречу своей Судьбе.

Мы думаем, что Ходасевич проводит весьма высокую аналогию данной жизнетворческой установке заглавного героя своего очерка, когда приводит якобы для характеристики его способностей как лирического поэта так называемую «Эпитафию доктору Кастальди»:

Из стран Италии-отчизны  
Рок неведомый сюда его привел.  
Скиталец, здесь искал он лучшей жизни...  
Далеко от своих смерть близкую обрел

(цит. по: Ходасевич 1991: 153).

Концептуальность данного примера выясняется из сопоставления стиховедческого «комментария» Ходасевичем поэтических достоинств этих стихов и автокомментария их автора.

Ходасевич, надевая маску ученого-педанта, на этот раз, правда, другой специальности, пишет: «Это вовсе не худшее из тогдашних стихотворений Грибоедова. Но недостатки его очевидны, а достоинств у него нет. Меж тем это писал не мальчик: автору было уже двадцать шесть лет. И вот что замечательно: в это самое время он уже обдумывал „Горе от ума“» (Ходасевич 1991: 153).

Данная «эпитафия» содержится в письме Грибоедова кавказскому приятелю Н.А. Каховскому от 3 мая 1820 года, выдержанном в шутовском и совершенно непосредственном тоне<sup>369</sup>. Кроме фарсового описания похорон итальянца Кастальди, в связи со смертью которого и были сочинены приведенные стихи, здесь же говорится об увлечении карточной игрой, «маленькой de la Fosse», о последних персидских политических новостях (письмо написано из Тавриза) и т.д. Ясно, что ожидать «шедевра» в письме такого рода было бы уже несносным педантизмом.

Кроме того, сам Грибоедов в таком же «дурашном» стиле «оценил» низкое качество стихов своей «эпитафией», выразив готовность «заменить» ее, на наш взгляд, гораздо более удачной с литературной точки зрения, но уж совершенно неприличной «эпиграммой». «Длинно и дурно, – пишет Грибоедов по поводу «эпитафии», – но чтоб не вычеркивать, заменю ее другою, в ней же заключается историческая истина:

Брыкнула лошадь вдруг, скользнула и упала –  
И доктора Кастальдия не стало!»

(Грибоедов 1988: 474).

В комическом по стилю стихотворении Грибоедов выразил весьма нешуточные мысли. По-видимому, таков «фирменный знак» грибоедовского дискурса. В связи с данным наблюдением мы думаем, что, на первый взгляд, чисто внешняя «привязка» «Горя от ума» к «Эпитафии доктору

---

<sup>369</sup> См. текст письма, например, в издании: Грибоедов 1988: 472-475.

Кастальди», которую Ходасевич сделал по хронологическому принципу, на самом деле далеко не случайна: она как раз и отражает отмеченную особенность грибоедовского дискурса, генетически восходящего – через Державина с его «забавным русским слогом» – к шекспировскому: под шутливой маской говорить о важных вещах<sup>370</sup>.

В самом деле, уже в первых «восточных» письмах Грибоедова возникает вергилианская тема «fato profugus» («беглец по воле рока»). Он осмысляет свою судьбу в энеевом коде.

Так, в письме Бегичеву от 18 сентября 1818 года из Воронежа он, среди прочего, просит своего корреспондента позаботиться о некоей оставленной им женщине, которую символически именует «Дидоной»: «Еще моя к тебе просьба: справься через Аксицию, Амлихову любовницу, о моей Дидоне. Илья Огарев пришлет ей из Костромы деньги на твоё имя, а если уедешь в отпуск, препоручи это Жандру, да также заранее меня уведоми, куда к тебе адресовать письма» (Грибоедов 1988: 454). Конечно, сам по себе приводимый пример еще далеко не показателен. Ведь кроме очевидно шуточной интонации данного именованья, говорящей об отсутствии серьезного чувства по отношению к оставленной женщине, в нем отсутствует также мотив «противувольного» отказа от нее («Против воли я твой, царица, берег покинул» (VI, 460)<sup>371</sup>).

Но данная ситуация окажется трагической, совершенно как в «Энеиде», когда на месте любовницы окажется жена, а «государева служба»<sup>372</sup>, которую Грибоедов в интимном письме отождествляет с роковыми обстоятельствами, потребует отречения от нее. Эту ситуацию писатель пророчески предсказал в одном из своих самых душевных писем, которое было написано в адрес В.С. Миклашевича 3 декабря 1828 года из Тавриза, то есть ровно за шесть дней до его последней поездки в Тегеран: «И это кроткое, тихое создание, которое теперь отдалось мне на всю мою волю, без ропота разделяет мою ссылку и страдает самую мучительную беременность, кто знает: может быть, я и ее оставлю, сперва по необходимости, по так называемым делам, на короткое время, но после время продлится, обстоятельства завлекут, забудусь, не стану писать, что проку, что чувства мои во мне неизменны, когда видимые поступки тому противоречат» (Грибоедов 1988: 649).

Генетически восходящий к «Энеиде» мотив движения против воли по велению Рока зафиксирован также в письме Грибоедова Бегичеву от 30 августа 1818 года из Новгорода<sup>373</sup> и во французском письме С.И. Мазаровичу от 12 октября 1818 года из Моздока. Правда, в последнем случае этот

---

<sup>370</sup> Данная особенность грибоедовского дискурса глубоко родственна Ходасевичу с его обретенным «к середине странствия земного» умением «молчать и шутить» в ответ «на трагические разговоры» («Перед зеркалом», 1924).

<sup>371</sup> Данный стих «Энеиды» цит. по: Гаспаров 1997: 133.

<sup>372</sup> См. письмо Грибоедова своему прямому начальнику К.К. Родофиникину от 30 октября 1828 года из Тавриза: «Мало надеюсь на свое умение и много на русского Бога. Еще вам доказательство, что у меня государево дело первое и главное, а мои собственные ни в грош не ставлю. Я два месяца как женат, люблю жену без памяти, а между тем бросаю ее здесь одну, чтобы поспешить к шаху за деньгами в Тегеран, а может быть, и в Испаган, куда он на днях отправляется» (Грибоедов 1988: 626).

<sup>373</sup> «Прощай, мой друг; сейчас опять в дорогу, и от этого одного беспрестанного *противувольного* <выделено нами – В.Ч.> движения в коляске есть от чего с ума сойти!» (Грибоедов 1988: 449-450).

мотив передается в шутливом тоне, зато напрямую вводится вергилианский код посредством цитирования буколической II эклоги: «... нынче мы направляемся к Кавказу, в ужасную погоду, и притом верхом. Как часто буду я иметь случай восклицать: о Coridon, Coridon, quae te dementia caerit!...»<sup>374</sup> (Грибоедов 1988: 455)<sup>375</sup>.

Итак, контаминировав в образе Грибоедова библейско-пророческий и энеевский коды, Ходасевич продемонстрировал полный контроль за главным героем очерка над своей судьбой. Как человек, прежде всего, благочестивый (*pius* (благочестивый), то есть «преданный богам и судьбе», – таков постоянный эпитет Энея (Гаспаров 1997: 132)), Грибоедов видит свою задачу в полном подчинении Высшей воле. В этом смысле он не является простой игрушкой в руках прихотливой судьбы, но личностью, достигшей высшей точки своего духовного развития, другими словами, обретшей чудесную гармонию между стремлениями субъективной воли и требованиями Абсолюта. Таким образом мы склонны интерпретировать резюме биографической части очерка «Грибоедов»: «Мы потому так подробно остановились на истории грибоедовской любви и смерти, что это было не случайное трагическое заключение, механически прицепленное судьбой к его жизни. Здесь, в этом мрачном и романтическом финале, только отчетливей прозвучал общий лад грибоедовской жизни, богатой чувствами, впечатлениями и событиями. Грибоедов был человек замечательного ума, большого образования, своеобразного, очень сложного и, в сущности, обаятельного характера. Под суховатой, а часто и желчной сдержанностью хоронил он глубину чувства, которое не хотело сказываться по пустякам. Зато в достойных случаях проявлял Грибоедов и сильную страсть, и деятельную любовь. Он умел быть и отличным, хоть несколько неуступчивым, дипломатом, и мечтательным музыкантом, и „гражданином кулис“, и другом декабристов. Самая история его последней любви и смерти не удалась бы личности заурядной» (Ходасевич 1991: 153).

Ключевое слово в приведенном рассуждении – «личность». В его педальировании содержится и ответ на вопрос, поставленный в самом начале очерка, – в знаменитой эпитафии, начертанной женой поэта<sup>376</sup>, и полемическое отрицание фаталистской концепции гибели Грибоедова, которая просматривается в другом известном произведении 1920-х гг., посвященном последним месяцам жизни драматурга, – в романе Ю.Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».

---

<sup>374</sup> Даем этот стих в русском переводе С. Шервинского: «Ах, Коридон, Коридон! Каким ты безумьем охвачен!» (Вергилий 2000: 31).

<sup>375</sup> В связи с обсуждаемым житнетворческим мотивом «противувольного» движения весьма загадочно звучит также концовка данного письма Мазаровичу: «Простите мне мое маранье, у нас перья плохо очинены, чернила сквернейшие, и к тому же я тороплюсь, сам, впрочем, не зная почему <выделено нами – **В.Ч.**>» (Грибоедов 1988: 455). Речь идет о продолжении пути в Персию, к месту службы.

<sup>376</sup> «У м и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила тебя любовь моя?» <разрядка Ходасевича – **В.Ч.**> (Ходасевич 1991: 151).

Как показал А.В. Белинков, Тынянов в последней главке романа таким образом модифицировал пушкинскую характеристику личности Грибоедова из «Путешествия в Арзрум», что в ней появился смысл, отсутствующий в оригинале: в гибели поэта «виновно» роковое стечение обстоятельств<sup>377</sup>. Очевидно, что при такой интерпретации событий Грибоедов оказывается мертв как нравственная личность.

Полемика Ходасевича с тыняновской концепцией личности Грибоедова нашла свое отражение не только в очерке «Грибоедов», но и в целом ряде печатных выступлений в «Литературной хронике»<sup>378</sup>. Здесь он критикует автора «Смерти Вазир-Мухтара», в частности, за обезличенное изображение заглавного героя. Особенно характерен в этой связи следующий его отзыв: «Продолжение романа Ю. Тынянова „Смерть Вазир-Мухтара“ утомляет своими вывертами и парадоксами, состряпанными по рецепту Шкловского. Грибоедов-герой романа – кукла, переживающая угодные автору явления, наспех эффектно преподнесенные читателю» (Гулливёр 26.01.1928).

Контаминация тыняновского Грибоедова с В.Б. Шкловским не случайна. В другом месте Ходасевич их отождествляет: «Тынянов выдумал и Грибоедова, и Ермолова, и Паскевича, и всех их наделил чертами Шкловского» (Гулливёр 29.03.1928). В концепции Ходасевича, Шкловский совершенно лишен какого-либо нравственного чувства. Поэтому, в частности, он весьма далек от идейной проблематики русской литературы, религиозной по своей сути<sup>379</sup>.

Таким образом, Ходасевич показал абсолютную чужеродность тыняновского образа Грибоедова русской культурной традиции. Ведь русский поэт, прежде всего, пророк, сознательно идущий навстречу своей судьбе, а не какая-то соломинка, плывущая по воле первого подвернувшегося течения.

Очевидно, что отмеченные выше черты Грибоедова находят свое соответствие в пророческом статусе Чацкого.

Мотив ясновидческого дара Чацкого в отношении к собственной судьбе, который акцентирует Ходасевич в образе Грибоедова, содержится в том эпизоде «Горя от ума», где Чацкий, еще не зная о составленном против него заговоре и о предательстве Софии, признается в каких-то темных

---

<sup>377</sup> См. анализ работы Тынянова с грибоедовским эпизодом «Путешествия в Арзрум» в издании: Белинков 1960: 214-219. До Белинкова фаталистскую концепцию «Смерти Вазир-Мухтара» особенно акцентировал Л. Цырлин (см.: Цырлин 1935 и экстракт этой книги в: Цырлин 1935а). Он считал «идею личности, наделенной судьбой, но лишенной биографии» характерной для формалистов в целом. При этом под «судьбой» понимается «внешняя необходимость», а под «биографией» – «внутренняя закономерность развития личности» (Цырлин 1935: 29). См. также его формулировку источника сюжетной динамики романа: «... каждое лицо, с которым сталкивается Грибоедов, есть линия возможного выхода за пределы его собственной судьбы, и все развитие романа есть трагедия человека, не могущего избежать своей судьбы» (Цырлин 1935а: 242).

<sup>378</sup> Ходасевич внимательно следил за журнальной публикацией «Смерти Вазир-Мухтара». См. в этой связи: Гулливёр 17.03.1927; Гулливёр 21.04.1927; Гулливёр 05.05.1927; Гулливёр 26.01.1928; Гулливёр 08.03.1928; Гулливёр 29.03.1928; Гулливёр 21.02.1929; Гулливёр 07.11.1929. См. также резюмирующий отзыв в статье «Восковая персона» (1931) в издании: Ходасевич 1996- II: 203.

<sup>379</sup> См. характеристику личности Шкловского в статье Ходасевича «О формализме и формалистах» (впервые: Возрождение. 10.03.1927). Статья републикована в издании: Ходасевич 1996- II: 153-158.

гнетущих его предчувствиях: «Душа здесь у меня каким-то горем сжата...» (Грибоедов 1988: 107)<sup>380</sup>. И затем произносит монолог о «французике из Бордо», настоящий смысл которого – «я в своем отечестве иностранец» – точно соответствует, заметим, *только что* сложившимся отношениям с „фамусовским обществом“, то есть гражданской смерти героя.

Мужественному отношению Грибоедова в изображении Ходасевича к собственной участи соответствует и поведение Чацкого, намеревающегося во что бы то ни стало посмотреть в лицо своей судьбе открытыми глазами:

... Уж коли горе пить,  
Так лучше сразу,  
Чем медлить, – а беды медленьем не избыть  
(Грибоедов 1988: 122).

Итак, Чацкий, по Ходасевичу, прежде всего пророк.

Это означает, что он вступает в конфликт с «фамусовским» обществом не по причине своего вздорного и конфликтного характера, как считал Пушкин, и не потому, что был раздражен поведением Софии, как полагал И.А. Гончаров, но потому, что «не мог молчать» как вдохновленный высшими истинами<sup>381</sup>.

В конце проведенного анализа ходасевичевской контаминации фигур Грибоедова и Чацкого хотелось бы сделать отступление и привести ряд фактов, подчеркивающих ее концептуальность.

\* \* \*

Дело в том, что, судя по общему контексту творчества Ходасевича, тот хорошо понимал всю «разность» между биографической личностью Грибоедова и его героем.

Это понимание отразилось, например, в его возражении на утверждение автора книги «Знаменитые русские масоны» (1935) Т.А. Бакуниной, что Грибоедов якобы «умер в тот момент, когда начал остепеняться и мечтать о жизни серьезной». «Грибоедов скончался в 1829 году, – рассуждает Ходасевич, – Что же получается из сопоставления этих дат? <...> что „Горе от ума“ написано, по крайней мере, за шесть лет до того момента, когда Грибоедов решил стать серьезным человеком; <...> что вся замечательная дипломатическая деятельность Грибоедова принадлежала человеку, еще не начавшему серьезной жизни...» (Ходасевич 31.01.1935). Отсюда

---

<sup>380</sup> Как известно, комического двойника Чацкого – Репетилова – молва обвиняет в суеверии: «Вот фарсы мне как часто были петы, / Что пустомеля я, что глуп, что суевер, / Что у меня на все предчувствия, приметы...» (Грибоедов 1988: 111). В переводе в трагический план Чацкого суеверие и означает пророческий дар.

<sup>381</sup> Согласно Фомичеву, именно так понимали «высший смысл» комедии в кругах, близких к Грибоедову. «Близкий к Грибоедову В.Ф. Одоевский, – пишет ученый, – указывал, что автор изображает в Чацком человека, к которому можно отнести стих поэта „Не терпит сердце немоты“» (Фомичев 1988: 21). Далее приводится комментарий к этому стиху В.К. Кюхельбекера, ближайшего и душевнейшего друга Грибоедова: «... стих, которым бы должны руководствоваться все пишущие. Говори в печати, перед лицом стольких тебе незнакомых, только тогда, когда твое сердце не терпит немоты, и ты облагородишь звание писателя, твое авторство уже не будет ремеслом, твои слова, озаменованные вдохновением, будут живы, увлекательны, истинны» (Фомичев 1988: 21-22).

можно сделать вывод об идентичности, в представлении Ходасевича, литературной и биографической личностей Грибоедова, поскольку в созданном им тексте, так же как в результатах дипломатической деятельности в равной мере отразились его выдающиеся качества. Кроме того, исходя из презумпции неслучайности ходасевичевского монтажа главных достижений Грибоедова, которые обессмертили его имя, следует заключить, что критик вполне сознавал иронический подход драматурга-дипломата к складу ума Чацкого, но, тем не менее, оценил в полной мере его широкий взгляд на данный тип людей, глубоко уважительное отношение к ним, не подавленное укоренившимися профессиональными навыками.

В связи со сделанными наблюдениями возникает искушение атрибутировать Ходасевичу раздел «Печать» из газеты «Возрождение» от 19 февраля 1929 года, посвященный изложению основных выводов статьи Г. Прохорова «Грибоедов и декабристы»<sup>382</sup>.

Сам выбор именно этой статьи для ознакомления читателей «Возрождения» с юбилейной литературой о Грибоедове представляется не случайным. Ведь у автора этого раздела были в запасе хотя бы в той же «Красной газете», откуда взята статья Прохорова, по крайней мере, еще две работы: Вл. Лаврецкого «А.С. Грибоедов и его время (к столетию со дня смерти)» и А. Старчакова «А.С. Грибоедов (к столетию со дня смерти)», опубликованные, соответственно, 9 и 10 февраля<sup>383</sup>. Однако эти критики, в отличие от Прохорова, утверждавшего, что Грибоедов не разделял революционных взглядов декабристов, исходили в своих рассуждениях из прямо противоположной точки зрения.

Лаврецкий связывал угасание творчества Грибоедова с разгромом декабрьского восстания<sup>384</sup>, из чего можно заключить, что именно декабристские идеи, отразившиеся в обличительных монологах Чацкого, явились источником вдохновения драматурга. Очевидно, что при таком подходе двойственное отношение Грибоедова к образу Чацкого игнорируется.

Старчаков напрямую отождествил Грибоедова с Чацким. По мнению критика, последний является рупором либеральных воззрений драматурга. «В своей комедии Грибоедов раскрыл себя до конца, – пишет критик, – „Горе от ума“ вошло в историю как гневная и прекраснодушная исповедь либерала, восставшего на общество рабовладельцев. „Сокрушитель основ“ Чацкий был ненавистен крепостникам. Но для народа либерал был только иностранцем, непонятным и чуждым. Чацкий может только мечтать о том, „чтоб умный бодрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев“. Эта мечта осталась несбыточной. Отсюда то чувство глубокого одиночест-

---

<sup>382</sup> Прохоров Г. Грибоедов и декабристы // Красная газета. № 38 (2066). 11 февраля 1929, С. 2

<sup>383</sup> Лаврецкий Вл. А.С. Грибоедов и его время (к столетию со дня смерти) // Красная газета. № 36 (2064). 9 февраля 1929, С. 2; А. Старчаков А.С. Грибоедов (к столетию со дня смерти) // Красная газета. № 37 (2065). 10 февраля 1929, С. 2

<sup>384</sup> «Судьба его друзей-декабристов глубоко его потрясла и окончательно уничтожила „следы былых страстей“, как писал о нем поэт Е. Баратынский. Творчество его как будто померкло» (Лаврецкий 1929).

ва, тот пессимизм, который пронизывал жизнь и творчество Грибоедова» (Старчаков 1929).

Ходасевич как автор критического отзыва на упомянутую книгу Бакуниной мог с сочувствием отнестись только к упомянутому выводу Прохорова, подразумевающего нетождественность взглядов Чацкого и Грибоедова. В безымянной газетной рубрике он мог «забыть» о концептуальности очерка «Грибоедов» и с полным сочувствием резюмировать основную мысль Прохорова по поводу коренного отличия взглядов декабристов и Грибоедова в вопросе о смысле вооруженного восстания. «На эту тему, как известно, много ввали, – пишет автор обсуждаемой рубрики «Печать», имея в виду тему, заявленную в заголовке статьи Прохорова, – но факты говорят за то, что Грибоедов и в своем отношении к декабристам был выше всяких упреков, *хотя и не верил ни в смысл, ни в успех декабрьского восстания* <выделено нами – В.Ч.>» (печать 19.02.1929).

Особенно актуально в связи с нашей темой сочувственное цитирование автором рубрики следующей характеристики биографической личности Грибоедова, принадлежащей декабристу П.А. Бестужеву: «... характер живой, уклончивый, кроткий. Неподражаемая манера приятного, заманчивого обращения, без примеси надменности; <...> наконец, познание людей делает его кумиром и украшением лучших обществ» (печать 19.02.1929). Очевидно, что данные качества характера биографического Грибоедова не перешли к его созданию, – Чацкому.

\*\*\*

Все приведенные выше рассуждения о пророческом статусе Грибоедова-Чацкого относятся и к Державину как заглавному герою биографии Ходасевича. Концентрируя в его образе наряду с кодом Чацкого такие «харизматические» коды, как донкихотовский и энеевский<sup>385</sup> – вплоть до библейско-пророческого, писатель полемизирует с антирусоистским дискурсом Пушкина как автора «Истории Пугачева», как мы полагаем, примерно следующим образом. Да, положим, Державин был конфликтным человеком, но таковыми же были и пророки, и сам Христос, не один раз изгонявшийся обществом и, в конце концов, им же и убитый; таковыми же были, в конце концов, и такие трагические герои мирового уровня, как Дон-Кихот либо Эней. Что такое наша жизнь без таких, как они? – Прах. Только благодаря им наш дольный мир еще доступен небесному покровительству. Еще не омертвел навечно и безнадежно.

Ходасевич сталкивает оценку «русоистского» склада ума Чацкого-Державина, сделанную Пушкиным с точки зрения, так сказать, сугубо «земной», «социализированной», с заключенным в образе протагониста

---

<sup>385</sup> Наиболее яркий пример энеева кода в «Державине» – судьба Екатерины Яковлевны, первой и по-настоящему любимой супруги поэта. По Ходасевичу, она оказалась, в конце концов, жертвой служебного рвения своего супруга: «Еще в Тамбове, стоящем среди болот, схватила она лихорадку и в самую тяжкую пору тамошних неприятностей, после ссоры с Чичериною, слегла» (Ходасевич 1988: 146). Государственная служба для Державина была то же, что для Энея его долг, внушенный свыше.

«Горя от ума» библейским архетипическим значением пророка. Таким образом, Ходасевич показывает совершенную инородность пушкинского «земного» взгляда таким «небесным» по своей сути явлениям как «пророческая» деятельность Чацкого либо генетически с ним связанного героя «Записок» и «Объяснений» Державина к собственным стихам.

По Ходасевичу, «последователями» пушкинской концепции личности Державина были не только историки-позитивисты, но и критики 1860-х гг. во главе с Н.Г. Чернышевским. К рассмотрению этого вопроса мы обратимся в следующем разделе данной главы.



### Раздел 3. Концепция личности Г.Р. Державина в критике 1860-х гг. и полемика с ней в творчестве В.Ф. Ходасевича

#### § 1. Концепция личности Державина в критике 1860-х гг.

##### 1.1. Действия Державина в эпоху пугачевщины в рецепции критики 1860-х гг.

Первые рецензенты «Записок» Державина реципировали деятельность их героя в эпоху пугачевщины, в сущности, так же, как Пушкин и, в негативном плане, – Грот. Они иронизировали над ничем не оправданным честолюбием Державина и объясняли это свойство его характера невежеством, таким образом, модифицируя известную пушкинскую оценку грамматической и стихотворческой неграмотности поэта.

Пожалуй, самой показательной в этом отношении является оценка А.Ф. Писемского, сотрудничавшего в журнале «Библиотека для чтения» (главный редактор А.В. Дружинин). По его мнению, в пугачевщину впервые ярко проявилась такая характерная черта Державина, как высокое самомнение. Дело в том, что автор «Записок» выдвигает свою личность в центр событий. «Большим событием пугачевского бунта Державин воспользовался в своих Записках, единственно как материалом для составления себе эпопеи, – пишет Писемский, – и надобно согласиться, что эпопеи весьма посредственного достоинства. Он всюду на первом плане; Бибиков и Панин один за другим принимают звание главнокомандующего только так, для проформы, а делом орудует один только Державин. По его советам передвигаются целые корпуса войск; он распоряжается казенными суммами, рассылает и перехватывает лазутчиков, препятствует злодеям пробраться по Иргизу во внутренние, неогражденные никем провинции, защищает, так сказать, одним своим лицом <так!> от расхищения киргизами иностранные колонии, на луговой стороне Волги лежащие, чем совокупно спасает паки и империю и славу государыни императрицы» (<Писемский> 1860: 17). Таким образом, от внимания Писемского не ускользнула комическая составляющая деятельности героя «Записок» в эпоху пугачевщины, основанная на «невязке» находящихся в его распоряжении средств и полученных результатов.

Д.И. Маслов, чья статья была опубликована в журнале братьев Достоевских «Время»<sup>386</sup>, писал о тщеславии Державина, о его рисовке собственной деятельностью, доходящей «до смешного, до удивительной наивности и мелочности» (Маслов 1861: 110). По Маслову, эти свойства характера Державина являются выражением его искательной натуры. Сравнить: «С первых же дней этой командировки <в области, охваченные мятежом –

---

<sup>386</sup> О личности Д.И. Маслова и обстоятельствах публикации его статьи-рецензии о державинских «Записках» подробнее см.: Елизаветина 2007: 234.

**В.Ч.**> Державин, сильно возмечтав о себе, засуетился и завертелся около Бибикова: из желания выслужиться перед ним, он, основываясь на весьма отдаленных и смутных толках, доносит об измене, задуманной при встрече с Пугачевым частью войск, посланных для его усмирения... Как восхищается Державин своим новым положением!.. Как расплывается он в разговорах с Бибиковым, который, поручая сильный „ордер назойливому офицеру“, „хотел проникнуть, таков ли он рьян на деле, как на словах“... А на деле-то как рисуется Державин собою и какое значение придает он каждому своему ничтожному действию!.. То он „с почтением умалчивает“ о себе, то говорит, что всего более надеялись „на его ревность и рассуждение“... С каким полным самодовольством наслаждается он каждым своим распоряжением, каждым своим поступком, каждым движением, и какие эффектные сцены и обстановки придумывает он для них. Ясно, все это было слишком близко сердцу Державина, до того насыщало его тщеславную, честолюбивую душу, что за всем этим он уже не понимал другой жизни, других стремлений, кроме стремления быть представленному высшему начальству, тереться при дворе, около знати, среди шума, блеска и роскоши...» (Маслов 1861: 111).

Граф Е.А. Салиас, автор биографического очерка «Поэт Державин правитель наместничества (1785-1788)», опубликованного в журнале «Русский Вестник» (главный редактор М.Н. Катков), заметил комическое несоответствие между декларациями героя «Записок» и достигнутыми результатами его деятельности. Изложение Салиаса не корректно в отношении обстоятельств пререканий Державина с Бошняком (писатель считает, что Саратов некому было защищать), однако для нас в его оценке ценно общее эмоциональное впечатление комизма от «пугачевских» сцен державинских «Записок»: «Хотя Державин пространно говорит о своих подвигах в Пугачевщину и жалуется, что он не был достаточно награжден, но едва ли можно сказать, что сделано им было многое. Кроме смешного столкновения с комендантом города Саратова, Бошняком, которого он хотел заставить насильно возвести укрепления в городе, не имея никого для их защиты, мы не находим ничего интересного» (Салиас 1876 IX: 76).

Н.Г. Чернышевский в статье «Прадедовские нравы» (1860), опубликованной в некрасовском «Современнике», также отмечал акцентирование Державиным значимости собственной персоны в ходе подавления пугачевщины как немотивированное. Скорее всего, критик читал «Записки» «по диагонали» и поэтому нарушил хронологический порядок в изложении действий Державина, однако сам мотив единоличной защиты внутренних провинций от нападения мятежников отчетливо зафиксировал и основал на нем свое наблюдение. Чернышевский пишет: «Он <Державин – **В.Ч.**> очень подробно рассказывает о своих подвигах против мятежников: он чуть ли не считал себя спасителем всей страны; по крайней мере, только его распорядительность, по его словам, не допустила мятежу распространиться в то время, как Пугачев, преследуемый войсками императрицы, бежал через Саратов» (Чернышевский 1950 VII: 333). Между прочим, Чер-

нышевский тут же заметил, что Державин, судя по «Запискам», считал себя «отличным военным правителем и командиром» (Чернышевский 1950 VII: 333). Ни о каком «разведочном» задании поэта критик даже не упоминает. Таким образом, если ходасевичевскому «историку» нужно было указать на настоящих последователей Пушкина в трактовке военного характера малыковского задания Державина, то ими должны были стать, прежде всего, Чернышевский и, пожалуй, из упомянутых критиков-шестидесятников – Писемский<sup>387</sup>, а не историки-позитивисты Грот, Анучин и Фирсов.

Следует сказать, что в статьях Чернышевского и Писемского деятельность Державина в пугачевщину, как она представлена в «Записках», является только одним из примеров его неоправданного самовозвеличивания<sup>388</sup>. Критики неоднократно отмечали в ироническом плане подобные моменты в изложении Державиным других эпизодов своей служебной карьеры в целом.

### *1.2. Служебная карьера Державина в рецепции критики 1860-х гг.*

Писемский интерпретирует таким образом тот эпизод «Записок», где Державин вынужден был указать генерал-прокурору князю А.А. Вяземскому, в ведомстве которого в то время служил, на неучтенные доходы в государственную казну в размере 8 миллионов рублей.

По Писемскому, Державин представляет это дело так, будто его коллеги при составлении бюджета на новый 1783 год не приняли в расчет, исключительно по своей недогадливости, результаты только что произведенной переписи населения, показавшей значительное увеличение числа налогоплательщиков. Только Державину пришла в голову счастливая мысль, «что если внести в роспись о доходах тот податной оклад, который падает на новорожденные души, то общая сумма доходов увеличится на 8 миллионов рублей» (<Писемский> 1860: 25). Писемский по этому поводу иронизирует: «Открытие, очевидно, не требовало особенной гениальности; можно с уверенностью полагать, что в экспедиции о государственных доходах не было ни одного копииста, который бы не мог сделать его прежде Державина. Тем не менее, Державин с этой поры уже окончательно смотрел на себя, как на государственного человека» (<Писемский> 1860: 25). Державин «начал явно выдавать себя за первого человека по всему обширному ведомству, которым управлял Вяземский» (<Писемский> 1860: 24).

Только впоследствии, подчеркивает Писемский, Державин узнал, что его коллеги, составлявшие доходную статью бюджета, не учли число но-

---

<sup>387</sup> Мы посчитали возможным употребить термин «шестидесятник» в отношении А.Ф. Писемского и Е.А. Салиаса, поскольку не обнаружили существенной разницы их взглядов на личность и творчество Державина с расхожей идеологией собственно шестидесятнической критики, ассоциирующейся с именами Чернышевского и Добролюбова.

<sup>388</sup> Сюда же следует добавить мнение В.И. Водовозова, передающего в своей рецензии содержание служебной деятельности Державина в соответствии со следующей установкой: «Честолюбивый до крайности, он принимал на себя какие угодно обязанности и был необходим тем, что умел угодить влиятельным лицам <...>, или в опасных случаях нес на себе ответственность, какой другие избегали. Часто невольный страдалец за правду, в своей пламенной ревности чиновника, он наконец сделал из нее свою привычную праздничную одежду, что-то в роде официального мундира» (Водовозов 1860: 23).

ворожденных душ по приказанию Вяземского: генерал-прокурор таким способом хотел сохранить при себе резервную сумму на разные непредвиденные государственные расходы.

Таким образом, Писемский обнажил в данном эпизоде «Записок» мотив гордыни их героя по поводу своего умственного превосходства, трактованный самим Державиным в комическом плане: самомнение героя становится смешным в свете последующего знания настоящего положения вещей. Однако, подчеркнем, писатель рецепировал державинский текст как «сырой» документальный материал, без учета его фикционального задания.

По мнению Чернышевского, самовозвеличивание Державина в «Записках» было обусловлено субъективной установкой на внушение читателю значимости собственной государственной деятельности: «Непонятый, неоцененный (по его мнению) Екатериною II и Александром I, великий государственный муж, он писал с целью внушить потомству, что собственно ему следовало вручить управление судьбами отечества, если бы хотели оказать истинное благодеяние отечеству, а при таком намерении или, лучше сказать, при мнении о своих делах и достоинствах, внушавшем ему такое намерение, он не мог отличаться беспристрастием» (Чернышевский 1950 VII: 326). «... самодовольно считал он себя великим дельцом, чуть-чуть не ежегодно спасавшим государство от гибели...», – обозначает Чернышевский в самом начале своей статьи одну из главных тем «Записок», подлежащих его рассмотрению.

В этой связи Чернышевский, как и Писемский, прежде всего акцентирует внимание читателя на служебной деятельности героя «Записок» под началом князя А.А. Вяземского. Он отмечает другую комическую «невязку» в изложении Державиным этого эпизода своей карьеры: между невежеством мемуариста в сфере финансов и его утверждением об успешно исполненном поручении Вяземского составить устав финансового управления империи. При передаче этого эпизода «Записок» Чернышевский не скупится на иронию: «Державина назначили советником во второй отдел экспедиции: и как бы вы думали?.. Оказалось, что он, имевший о финансах ровно такое же понятие, как о французском языке <...>, – самый знающий человек не только в своей части, но и в целой экспедиции, то есть в целом управлении финансами русской империи. Каким образом успели набрать пятнадцать человек, еще менее Державина знакомых с финансами, это непостижимо; но не нашлось в экспедиции никого, кроме Державина, кому было бы поручить „написать должность экспедиции о государственных доходах“, то есть устав финансового управления целой империи. Способным к этому сочли его потому, что еще когда он был экзекутором, то „уже поручил ему генерал-прокурор следствие над сенатскими секретарями, что они ленились ходить на дежурство свое“. Итак, Вяземский приказал написать, и Державин написал устав» (Чернышевский 1950 VII: 336).

Следующие эпизоды «Записок», в которых, по мнению Чернышевского, проявилась тенденция Державина к самовозвеличиванию, будет нами рассмотрена несколько подробнее в связи с темой нашего исследова-

ния: интерпретация этих эпизодов Чернышевским и другими критиками 1860-х гг. нашла непосредственное отражение, в полемическом плане, в биографии Ходасевича «Державин».

Мы имеем в виду: 1) две взаимосвязанные сцены, объединенные именем Г.А. Потемкина: поручение императрицы Державину сочинить надпись для бюста адмирала В.Я. Чичагова и недовольство Потемкина державинским описанием торжества, состоявшегося в Таврическом дворце 28 апреля 1791 года; 2) сцену споров Державина с Н.Ф. Эминым в присутствии П.А. Зубова по поводу поэтических достоинств оды «На взятие Измаила»; 3) участие Державина в государственных преобразованиях, совершившихся в начале царствования Александра I.

### *1.3. Интерпретация Чернышевским уединенных бесед Екатерины II и Державина*

Согласно «Запискам», императрица, вскоре после приезда Потемкина из армии в Петербург, вызвала как-то Державина в присутствии придворных на разговор с глазу на глаз. «Он и все удивились, недоумевая, что сие значит» (Державин 2000: 133). Дело в том, что, как правило, этот жест императрицы мог означать значительное повышение по службе отличного ею лица. Однако во время аудиенции, вопреки ожиданию, она поручила Державину всего лишь сочинить надпись для бюста Чичагова. Как это приказание, не соответствующее по своей малой значимости форме обращения, так и таинственный вид, с которым императрица его отдавала, ввели Державина в еще большее недоумение. Как сам он говорит: «... Державин, приняв повеление, не мог, однако отгадать, к чему было такое ничего не значащее поручение и что при толь великом собрании отведен был таинственно с важностью в толь отдаленные чертоги, тем паче, что на другой день, истоща все силы свои и в поэзии искусство, принес он сорок надписей и представил чрез любимца государыне, но ни одна из них ею не апробована; а написала она сама прозою, которую и ныне можно видеть на бюсте Чичагова» (Державин 2000: 133). В конце концов, Державин объяснил странное поведение императрицы ее желанием уколоть Потемкина. Она, якобы, таким образом давала знать светлейшему, что «против его воли, хотела сделать своим докладчиком по военным делам Державина» (Державин 2000: 133). Екатерина достигла своей цели: «Князь, узнав сие, не вышел в собрание, и по обыкновению его сказавшись больным, перевязал себе голову платком и лег в постелю» (Державин 2000: 133).

Чернышевский считает комичной державинскую трактовку поведения императрицы и Потемкина в данной сцене, поскольку не видит в ней ничего, кроме выражения непомерного честолюбия поэта: «Если Потемкин сказался больным, если хотел показать, что рассержен, то уж наверное напрасно Державин приписывал огорчение князя „отличительному“ своему разговору: да наверное и государыня не имела мысли сделать его своим докладчиком по военным делам. Она просто хотела пошутить над при-

дворными, заставить их попусту ломать голову над содержанием таинственного разговора ее с Державиным. Бедняжка Державин не понимает, как смешно его ребяческое тщеславие, воображавшее, что Потемкин может позавидовать ему и что императрица в самом деле чуть не отдала Потемкина под его команду, когда она просто шутила, заказывая ему надпись, о которой едва ли вперед не знала, что он не сумеет написать ее. Итак, извольте видеть, Державин чуть-чуть не попал при дворе в такую силу, что Потемкин сказался больным от огорчения его успехами» (Чернышевский 1950 VII: 347). Итак, по Чернышевскому, Екатерина всего лишь шутила над собственными придворными, а Потемкин был рассержен на нее по другим причинам.

Ниже Чернышевский замечает по поводу данной сцены, что Державин так и не понял шутки императрицы и попадал впросак не один раз, считая знаком ее особого благоволения к нему подобные беседы с глазу на глаз. И всякий раз, по словам критика, Державин «заключал, что его хотят посвятить в важные государственные тайны, вручить ему великую власть. По своему простодушному тщеславию, он думал, что пользуется „таким императрицы уважением, которое обращало на него глаза завистливых придворных“» (Чернышевский 1950 VII: 350). Для нас важно в данном случае акцентировать внимание на цитате Чернышевского из державинских «Записок», в которой более откровенно, чем в сцене с бюстом Чичагова, передается манера обращения царицы с героем: «в публичных собраниях, в саду иногда сажала его подле себя на канаве, шептала на ухо ничего не значущие слова, показывая, будто говорит о каких-то важных делах» (цит. по: Чернышевский 1950 VII: 350).

Что касается того эпизода, где Потемкин выразил свое недовольство державинским описанием торжества в Таврическом дворце, то Чернышевский несколько парадоксально трактует отсутствие в нем льстивых похвал по отношению к светлейшему князю как один из приемов искательства. Сравнить: «Потемкин, прочитав описание, рассердился, сказал, что обедать дома не будет, и Державин ушел домой некормленный. О, простота, простота! и она тоже поднялась было на хитрости; Державин, как видно, хотел кольнуть Потемкина скупостью на похвалы ему, хотел поощрить его этим к ближайшему ознакомлению поэта с великодушными его качествами, но достиг только того, что остался без обеда» (Чернышевский 1950 VII: 348).

Теперь рассмотрим сцену споров Державина с Н.Ф. Эминым в присутствии П.А. Зубова по поводу поэтических достоинств оды «На взятие Измаила».

#### *1.4. Взаимоотношения П.А. Зубова и Державина в оценке критики 1860-х гг.*

Сам Державин полагает, что эти споры были спровоцированы Зубовым, так как тот якобы завидовал его поэтической славе. Дело в том, что ода «На взятие Измаила» удостоилась высочайшего одобрения, а сам поэт

был отличён особенной милостью императрицы в виде «богатой, осыпанной бриллиантами табакерки» (Державин 2000: 130) и знаменитого *вица*, произнесенного в присутствии придворных: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна» (Державин 2000: 130). Кроме того, сочинением оды «Изображение Фелицы» Державин обеспечил себе вход к самому любимцу императрицы, лично повелевшей тому принимать у себя поэта. Получается, что Зубов, несмотря на все свое могущество, оказывался бессилён перед поэтическим даром Державина и вынужден был укрощать истинные свои желания: до того поэт тщетно добивался себе приема у фаворита. Таким образом, предположение Державина о зависти Зубова выглядит достаточно мотивированным.

Теперь приведем обсуждаемый фрагмент «Записок»: «... казалось Державину, что неприятна ему <Зубову – В.Ч.> и самая пиитическая его слава; ибо часто желал он сравливать или ссорить с ним помянутого г. Эмина, который, как известно, также писал стихи. Он был до того дерзок, что в глазах фаворита не токмо смеялся, но даже порицал его стихи, а особливо оду „На взятие Измаила“, говоря, что она груба, без смысла и без вкусу. Вельможа, с удовольствием улыбаясь, то слушал, а Державин равнодушно отвечал, что он ни в чем не спорит; но чтоб узнать, кто из них искуснее в стихотворстве, то просит позволения напечатать особо, на свой кошт, на одной стороне листа его критику, а на другой – свою оду и предать на рассуждение публики – кому отдадут преимущество, говорил он, тот и выиграет тяжбу. Но Эмин не согласился» (Державин 2000: 136-137).

Из «Ключа» Н.Ф. Остолопова известно, что Державин прекрасно понимал всю подоплеку критики Эмина, а именно желание Зубова его унижить, хотя само имя фаворита, скорее всего, по цензурным соображениям, здесь не называется: «Сия Ода <«На взятие Измаила» – В.Ч.> принята была Императрицею очень хорошо; Автор получил за нее в подарок табакерку осыпанную бриллиантами. Однакож Г. Эмин написал на нее критику и читал Автору в Царском Селе, но нигде ее не напечатал, сколько Автор к тому ни убеждал его. Автор полагал, что это было чье-нибудь намерение рассердить его и сделать смешным, то есть, также поступить, как прежде бывало с старинными стихотворцами, которых зазывают к себе Бояра, напоят, и напустя на них кого-нибудь взбесят, а те для потехи между собою бранятся» (Остолопов 1822: 33-34). Заметим, что и в этом варианте обсуждаемого эпизода державинской карьеры при желании можно увидеть настоящую причину критики Эмина, – зависть некоего влиятельного лица к Державину по поводу высочайшего одобрения оды «На взятие Измаила».

Таким образом, по-видимому, следует отдать должное герою державинских «Записок», который, вопреки ожиданию Зубова, конечно, знавшему о его горячем характере, повел себя весьма сдержанно и не доставил фавориту удовольствия поставить себя в смешное положение.

Вообще говоря, в критике 1860-х гг. этот эпизод державинских «Записок» был одним из самых обсуждаемых. Кроме Чернышевского, его так или иначе интерпретировали Д.И. Маслов и А.Ф. Писемский.

И тот, и другой критик игнорируют независимую манеру поведения Державина, подчеркнутую им в данной сцене «Записок», и делают акцент на самой ситуации, в которой оказался поэт, как они полагают, по своей воле. Очевидно, по их мнению, этого оказывается достаточным, чтобы показать искательную раболепность в отношениях Державина к фавориту.

Маслов открыто пишет о «шутовстве» Державина: «В квартире Зубова поэт играет самую жалкую роль: в то время, когда он обивает пороги фаворита, сгибается перед ним, льстит ему, Зубов едва обращает на него внимание; он только по необходимости, по приказанию Екатерины II ласкает его изредка, но зато уж и вволю издевается над ним, стравливая его например с Еминым и нисколько не думая сделать для него что-нибудь более существенное... Какая незавидная, жалкая обстановка!.. Но в обстановке этой Державин не внушает к себе уважения, он не вызывает ни участия, ни сострадания к себе: сам, по собственной охоте напросился на эту роль, – на возмутительную роль шута в палатах царского фаворита, изредка только в виде подачи допускающего его до своих ужинов» (Маслов 1861: 113).

А.Ф. Писемский, по-видимому, читавший «Ключ» Н.Ф. Остолопова, трактует хладнокровное и независимое поведения Державина как притворство, напускаемое на себя в искательных целях: якобы Державин все прекрасно понимал, но делал вид, что ничего не происходит. Попутно рецензент иронизирует по поводу указанного выше мнения Державина о милости к нему императрицы за оды «На взятие Измаила» и «Изображение Фелицы» как настоящей причины зависти Зубова. При этом он представляет дело так, как будто Зубов завидовал собственно поэтическим достоинствам стихотворений Державина. Сравнить: «<Державин> принужден был притвориться, будто он вовсе не понимает ядовитых насмешек и даже просто издевания, которые Зубов позволял себе делать над ним, стравливая его с каким-то стихотворцем Эминым, и которые Державин, – с удивительной тонкостью и правдоподобием, – объяснял себе завистию Зубова к его дарованию» (<Писемский> 1860: 30).

Чернышевский, как и Писемский, иронизирует по поводу мнения Державина о зависти Зубова к его поэтическому дарованию. При этом повторяется тот же самый прием, который мы бы назвали «рокировкой акцентов», так что у читателя складывается впечатление, что речь идет о сальтерической зависти собственно к таланту, а не к вполне конкретным материальным благам, заработанным этим талантом. В результате, Чернышевский доводит до абсурда данное мнение Державина; соответственно, в очередной раз пытается продемонстрировать читателю свою любимую идею о недалекости поэта, явившейся следствием его необразованности. Сравнить: «Чего не приходило ему <Державину – В.Ч.> в голову по поводу скупости „любимца“, которому напрасно объяснял он свои заслуги: бедняк воображал между прочим, что Зубову „неприятна и самая пиэтическая его слава“, как будто Зубов был соперником ему по рифмоплетству. Основанием такого дикого предположения служили факты, о которых



Державин с своим обычным простодушием рассказывает следующее: <цитируется по «Запискам» приведенная выше сцена спора Державина и Эмина в присутствии Зубова > Во всем мы готовы верить Державину; в одном только (да простят нам почитатели великого поэта) никак не верим: не верим, чтобы он равнодушно отвечал Эмину; наверное он горячился до упаду. Зубов явно потешался над ним, а он чуть ли не воображал, что Зубов завидует его поэтической славе» (Чернышевский 1950 VII: 349).

В трактовке Чернышевского поведение Державина в данной сцене выглядит нелепым и, пожалуй, по-детски наивным, или, по собственной характеристике критика, «дикарским»<sup>389</sup>. Получается, что Державин был столь ограничен, что не разгадал зубовской ловушки. А позже, когда, наверное, ему объяснили всю смехотворность своего поведения, попытался столь же наивно скрыть истинное положение вещей от «потомков».

### *1.5. Участие Державина в реформах государственного управления при Александре I в интерпретации Чернышевского («Дело Н.А. Колтовской»)*

Тема самовозвеличивания Державина в статье Чернышевского достигает своей кульминации при освещении служебной карьеры поэта в Александровскую эпоху. По Чернышевскому, Державин в «Записках» представил себя, без достаточных на то оснований, ключевой фигурой в деле совершившегося преобразования государственного управления: «Читателю известно, что первые годы нового правления были ознаменованы преобразованием высшего государственного управления, но до сих пор никто не предполагал, что Россия должна благодарить за эти преобразования не кого-нибудь другого, а именно Державина: он с обыкновенною своею наивною объясняет, что дело было произведено только благодаря ему» (Чернышевский 1950 VII: 364).

Ниже критик приводит конкретный эпизод деятельности Державина в это время, послуживший, с его слов, мотивировкой поэту для столь величественных притязаний. По Чернышевскому, сама ничтожность этого эпизода должна обнаруживать их комическую несостоятельность: «Дело было очень просто. В сенате рассматривалась тяжба г-жи Колтовской с ее мужем о каком-то наследстве. Большинство сенаторов с генерал-прокурором постановили решение в пользу одной из тяжущихся сторон, а Державин говорил в пользу другой. Решение большинства было утверждено государем; но Державин увидел, что в докладе, представленном государю, не было упомянуто, что он не согласен с мнением большинства» (Чернышев-

---

<sup>389</sup> По словам Чернышевского, Державин был «дикарь с добрым от природы сердцем, по капризу судьбы поставленный довольно важным человеком в государстве, более всего нуждавшемся в избавлении от дикарства» (Чернышевский 1950 VII: 355). См. также заключительную характеристику Чернышевским интеллектуальных способностей поэта: «... его тщеславие было так простодушно, его ограниченность так недогадлива, что можно ему простить все его нелепости, тем больше, что они оставались безвредными для государства по его бессилию» (Чернышевский 1950 VII: 371).

ский 1950 VII:364-365). Далее критик пространно цитирует по тексту «Записок» сцену аудиенции Державина у Александра, которая состоялась по просьбе поэта в связи с нарушением генерал-прокурором его права сенатора на доведение до сведения государя выраженного им мнения. Александр согласился с доводами Державина. «Вслед за сим через несколько дней, — пишет Державин, — последовал именной указ, которым повелевалось рассмотреть права сената и каким образом оные сочинены, подать его величеству мнение сената. Вот первоначальный источник, откуда произошли министерства» (цит. по: Чернышевский 1950 VII: 365). Чернышевский подчеркивает в последнем утверждении Державина комическую «невязку» между причиной и результатом: «Вот оно как повернулось дело: из аудиенции Державина произошли министерства. Бедняжка не понимает, как смешны его легкомысленные претензии на имя государственного преобразователя. Он не воображал, что каждому известно, что над реформами работали тогда люди в тысячу раз умнее и в миллион раз образованнее его» (Чернышевский 1950 VII: 365).

Здесь же Чернышевский трактует в комическом плане горькое признание Державина, вынужденного уйти в отставку из-за интриг его врагов, в том, что он находил некое душевное утешение в печальных результатах их государственной деятельности, доведшей Россию до катастрофы 1812 года<sup>390</sup>. «Хорошо утешение для патриота, — иронически замечает Чернышевский по этому поводу, — что отечество доведено до гибели! И, конечно, читатель никак не предполагал, что опасность, какой подвергалась Россия в 1812 году, произошла, собственно, оттого, что Державин не заседал в государственном совете» (Чернышевский 1950 VII: 364).

Итак, мы привели достаточно примеров, которые могут служить доказательством исходного тезиса о тождественном восприятии деятельности героя державинских «Записок» в «Истории Пугачева» Пушкина и в критике 1860-х гг. (включая исследования Грота). Так же показательны в этой связи, что сами критики-шестидесятники часто ссылались именно на Пушкина как на высший авторитет в смысле оценки личности и творчества Державина.

Так, рецензент «Современника» считает оценку поэтической деятельности Державина, данную в критике его эпохи, тождественной оценкам А.С. Пушкина и автора энциклопедической статьи в словаре Плюшара (1839) князя Д.А. Кропоткина, в свою очередь ссылавшегося на мнение Пушкина (Современник 1864: 132). Чернышевский ссылается в указанной статье на пушкинское изображение саратовских пререканий Державина в

---

<sup>390</sup> Имеются в виду переживания Державина по поводу событий, последовавших вскоре после его исключения из государственного совета: «Некоторый подлый стиходей в угодность их не оставил насчет его пустить по свету эпиграмму следующего содержания: „Тебя в совете нам не надо: / Паршивая овца / Все перепортит стадо.“ Державину злобная глупость сия хотя сперва показалась досадною, но снес равнодушно и после утешился тем, когда избранными в совет членами, после его отставки, доведено стало государство до близкой в 1812 году гибели. Началось неуважение законов и самые беспорядки в сенате; осуждая правление императора Павла, зачали без разбора, так сказать, все коверкать, что им ни сделано» (цит. по: Чернышевский 1950 VII: 364).

«Истории Пугачева» как на исторически достоверное (см.: Чернышевский 1950 VII: 333). Дмитриевская оценка малыковской казни, приведенная А.С. Пушкиным в «Замечаниях о бунте», очевидно, повлияла на взгляды В.И. Водовозова, писавшего по этому поводу: «Но если поэзия исчезает в этом усердии искателя мест, то с другой стороны в делах Державина, как чиновника, порою проявляется особенная склонность к поэзии. Еще служив в секретной комиссии, в деревне Малыковке, он устраивает <так!> казнь трем преступникам и без крайней нужды, ради одной сцены, пугает давно раскаявшийся народ» (Водовозов 1860: 24). Наконец, Маслов, оценивая отмеченную им тенденцию Державина как автора «Записок» к преувеличению собственных заслуг в служебной деятельности, употребляет для этой цели пушкинскую оценку общего пафоса лирики поэта, данную в известном письме Дельвигу: «... не было в жизни Державина той энергической высокой деятельности, которая имела бы важное значение в истории развития нашей гражданственности, и цветистые фразы писавших о Державине, к сожалению – неверное, неосмысленное переложение приведенных нами заметок поэта о самом себе, этого „петушиного крика“, по справедливому выражению Пушкина» (Маслов 1861: 145).

Итак, все разобранные выше контраргументы Ходасевича в отношении пушкинской концепции неадекватности литературной и биографической личности Державина могут быть переадресованы также и критикам 1860-х гг. Однако в их рецепции державинских «Записок» содержится, по крайней мере, два аспекта, вызвавших полемическую реакцию Ходасевича, которым если и искать ближайшего соответствия, то отнюдь не в жизни и творчестве Пушкина, а в других культурно-исторических и литературных областях.

Мы имеем в виду значимость любовного чувства в деятельности героя «Записок» и в государственном управлении Российской империи, а также личность А.Н. Радищева, противопоставляемая в нравственном плане Державину как абсолютный идеал<sup>391</sup>.

Первый аспект в рецепции критики 1860-х гг. существует, так сказать, почти исключительно в негативном плане: он обойден молчанием, и ниже мы покажем ходасевичевское понимание этого феномена. А вот мимо «радищевских» моментов в биографии Державина не прошел, кажется, ни один из рассматриваемых нами критиков. Поэтому мы посвятим следующий параграф обзору их мнений по этому поводу.

### *1.6. Тема «Державин и Радищев» в интерпретации критики 1860-х гг.*

Критики 1860-х гг. были уверены в справедливости слухов по поводу якобы неблагоприятного поведения Державина в отношении к А.Н. Радищеву, приславшему ему в подарок экземпляр своей книги «Путешествие из

---

<sup>391</sup> Как известно, Пушкин весьма жестко оценил личность и творчество Радищева в статьях «Александр Радищев» (1836) и «Путешествие из Москвы в Петербург» (1835). Для нас важна однозначно негативная оценка, которую дал Пушкин поступку Радищева, приславшего Державину в подарок свое скандальное «Путешествие из Петербурга в Москву». См. об этом подробнее ниже.

Петербурга в Москву». Вот как в передаче Д.И. Маслова выглядит суть «претензий» шестидесятников к поэту: «Известно, что Державин в экземпляре *Путешествия*, присланного ему самим автором с полным доверием и расположением к нему, отметил карандашом все важнейшие места и книгу поднес потом на рассмотрение императрицы. Кроме того, стихотворная насмешка Державина над Радищевым:

„Езда твоя в Москву со истиною сходна,  
Не к стати лишь смела, дерзка и сумасбродна.  
Я слышу, на коней ямщик кричит: вирь, вирь!  
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь“.

Какое сильное негодование вызывала она у Репнина и у всех передовых людей времени» (Маслов 1861: 127). Маслов, судя по всему, разделял это «негодование» с современниками Радищева и Державина. Ниже он вновь возвращается к этой злосчастной эпиграмме: «... он <Державин> <...> талантом своим служил злу и неправде, осмеял, например, Радищева, вполне сочувствуя ссылке его в Сибирь ... пошлым образом осмеял человека, в лице которого восходила заря будущего России – пробуждалась русская мысль и, встряхнув с себя веками навеянный гнет рутинных понятий и привычек, взглянула на события, проходившие перед ней, взглядом глубоким, свободным и отрадным...» (Маслов 1861: 133).

Имя князя Н.В. Репнина Маслов упомянул здесь в связи с тем, что данными неблагоприятными поступками Державина им мотивируется холодный прием, оказанный тем нуждавшемуся в его помощи поэту.

В то время Державин оказался в немилости у Павла и искал вельможу, способного выступить посредником в деле его примирения с государем. «... по прославляемым столь много добродетелям и христианскому житию, – пишет Державин в «Записках», – казалось ему лучше всех прибегнуть к князю Николаю Васильевичу Репнину, которого государь тогда уважал, и что, как все говорили, он склонен был к благотворению...» (Державин 2000: 191). Однако Репнин заставил прождать просителя в своей приемной добрый час, а когда узнал, в чем дело, «показал презрение, и отворотившись, сказал: „Это не мое дело мирить вас с Государем“» (Державин 2000: 191). В связи с этим поступком Репнина Державин обвинил его в ханжестве: «... Державин поклонясь вышел, почувствовав в душе своей во всей силе омерзение к человеку, который носил на себе личину благочестия и любви к ближнему; а в сердце адскую гордость и лицемерие. Скоро после того низость души сего князя узнали и многие, и император его от себя отдалил. Таковы-то почти все святоши...» (Державин 2000: 191).

Маслов полностью оправдывает поведение Репнина в данном эпизоде: «Разумеется, во всем этом нет даже и тени вероятия. Что касается холодности и резкой невнимательности, которою встретил Репнин Державина, то она совершенно понятна и вполне законна. Гуманный и просвещенный покровитель Новикова, друг И.В. Лопухина, который эту дружбу считал лучшею для себя похвалою – какими глазами мог он смотреть на Державина после его поступка с известною книгою Радищева?» (Маслов 1861: 127).

С другой стороны, согласно Маслову, негативной оценке Державина нельзя и верить, ввиду ее субъективности. Возмущение поэта холодным приемом доказывает только чрезвычайную впечатлительность его натуры. В связи с этим Маслов напоминает, что в оде «Памятник Герою» Державин представил другой образ добродетельного Репнина. Соответственно, и одическому образу также верить нельзя. По мнению Маслова, во всех стихотворениях Державина «заметен неверный и пристрастный взгляд поэта, постоянный риторизм<sup>392</sup>, весьма резкие отступления от действительности, общие места, не прикрытые ни остротой, ни меткостью выражений...» (Маслов 1861: 131). Он считает, что «правда, беспристрастие и верный взгляд на вещи, гуманный и просвещенный» (Маслов 1861: 130), чужды стихотворениям Державина и противопоставляет им в этом отношении «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева<sup>393</sup>. Общий вывод критика: «Высокая нравственная деятельность, выразившаяся благотворным преобразованием общественной жизни России XVIII столетия, принадлежит не Державину. То были другие люди – Радищевы, Новиковы...» (Маслов 1861: 145).

Таким образом, Маслов связывает сцену приема Державина у Репнина с «радищевским» эпизодом биографии Державина. Ее обсуждение дает критику повод осудить сервилизм и неискренность поэта и, с другой стороны, выразить свое сочувствие Радищеву и другим «передовым людям», входившим в окружение автора «Путешествия...», отметив их правдивость и стремление к независимости.

Вообще говоря, «радищевский» подтекст сцены приема Державина у Репнина, по-видимому, был общим местом в критике 1860-х гг., и Маслов лишь его обнажил, так сказать, «не убоившись» цензуры. Судить об этом можно, прежде всего, по единодушной и однозначно положительной оценке личности Репнина в целом и его поведения в данной сцене в частности, которая сильно напоминает подход по принципу «партийной солидарности», конструктивному и для статьи Маслова.

Так, В.И. Водовозов намекает на указанный подтекст, стыкуя фрагменты с упоминанием имен Репнина и Радищева: «Сегодня гордый, чуть не самовластный распорядитель в сенате, завтра смиренно ждет он в передней у человека, в честь которого когда-то написал хвалебную оду и которого потом честит именем святоши (Репнина). Между тем почти на каждой странице своих записок он выставляет себя борцем <так!> за правду, и он действительно пользовался этой славой, раскрывая по сенатским делам множество злоупотреблений. Радищев доверчиво приносит ему свою кни-

---

<sup>392</sup> Очевидное влияние концепции Белинского, о которой см. выше.

<sup>393</sup> «... любителям исторического значения произведений Державина, охотникам до сличений его од, относящихся к царствованию Екатерины II, с современными историческими записками и другими историческими документами, не много найдется пищи в его стихотворениях (мы не упоминаем уже об одах, относящихся к царствованиям Павла I и Александра I – те из рук вон плохи). Сличите-ка их хоть например с Путешествием Радищева, с историческими заметками Щербатова или с рассказами иностранных писателей о царствовании Екатерины II: приговор выйдет не многословный, но зато решительный» (Маслов 1861: 130).

гу, стоившую автору ни более, ни менее как ссылки в Сибирь» (Водовозов 1860: 22-23).

Как видим, Водовозов также заметил разницу между поэтической и прозаической характеристиками Репнина у Державина и интерпретировал ее как знак неискренности лирики поэта. По Водовозову, Радищев оказался жертвой, так сказать, «риторической» позы правдолюбца, которую принимал Державин как в творчестве, так и в жизни. Однако эта жертвенность подчеркивает не столько наивность автора «Путешествия...», сколько его прямоту, искренность и веру в людей.

Чернышевский также обратил внимание на различие державинских характеристик личности Репнина в оде «Памятник Герою» и в «Записках» и сделал в связи с этим вывод о неискренности лирики поэта<sup>394</sup>. Кроме того, нужно ли говорить, что Чернышевский назвал Репнина «одним из самых благородных людей своего века» (Чернышевский 1950 VII: 358).

По Писемскому, Репнин холодным приемом выказал свое презрение по отношению к искательным видам Державина: «Он начал обивать пороги: но уж на этот раз решительно безуспешно: князь Репнин дал Державину такой урок, что сразу уронил себя во мнении поэта и попал в люди „самой низкой души“» (<Писемский> 1860: 34-35).

В статьях Чернышевского и Писемского содержится еще одно, более косвенное указание на факт обсуждения ими темы «Державин и Радищев». Мы имеем в виду негативный комментарий по поводу попыток Державина как министра юстиции воспрепятствовать введению в законную силу так называемого указа о вольных хлебопашцах, которым запрещалось продавать крестьян без земли<sup>395</sup>. Дело в том, что Радищев, находившийся в милости у Александра, мог быть автором этого законопроекта. Во всяком случае, уже в науке второй половины XIX века бытовало мнение, что А.Р. Воронцов, друг и покровитель Радищева, вместе с ним или не без его участия поставил на обсуждение в Государственном совете в марте 1802 года проект закона, запрещающего продавать крестьян без земли (Немировский 1991: 128)<sup>396</sup>. К тому же, как замечает современный исследователь, специально занимавшийся данной проблемой, содержащееся в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Городня») описание положения крестьян, проданных помещиком в рекруты, направлено против существующего права продажи крестьян без земли (Немировский 1991: 129). Эта генетически ради-

---

<sup>394</sup> По мнению критика, об этом же говорит сличение льстивой оды Державина «На новый 1797 год», написанной по случаю восшествия на престол Павла I, и одновременных негативных высказываний поэта об императоре в «домашнем кругу» (Чернышевский 1950 VII: 358), которые были зафиксированы в «Записках». Льстивой и сервильной данную оду считали также Писемский (см.: Писемский 1860: 35) и Маслов. Последний писал по этому поводу: «Никогда не появилось бы льстивой оды имп. Павлу (на новый 1797 год), если бы Державину не нужно было его прощение и право входа во дворец за кавалергардов» (Маслов 1861: 130).

<sup>395</sup> См. этот эпизод в «Записках» Державина: Державин 2000: 257-261.

<sup>396</sup> И.В. Немировский ссылается в этой связи, например, на книгу В.И. Семевского «Крестьянский вопрос в России», увидевшую свет в 1888 году. В начале XX века об этом же писали М. Туманов в статье «Радищев» (1904 г.), Н.П. Павлов-Сильванский в статье «Жизнь Радищева» (1905 г.), В.П. Семенов в книге «Радищев» (1923 г.) (Немировский 1991: 128).

щевская идея не могла не вызывать сочувствия в преддверии крестьянской реформы 1861 года, а позиция Державина, защищавшего права дворян («... что в конце концов стоило ему министерского портфеля» (Немировский 1991: 131)), должна была расцениваться как минимум реакционная.

В общем, Чернышевский и Писемский так ее и оценили. Для первого данный эпизод является кульминацией министерской деятельности Державина, со всей ее нелепостью и «путаницей». Сравнить: «Недолго пробыл он министром, всего тринадцать месяцев, но в это короткое время успел наделать <...> довольно попыток произвести путаницу в делах. Он противится всяким реформам, придумывает нелепые и свирепые планы, называет подкупленными людьми благонамеренных и умных сановников, бросающих эти планы, называет якобинцами всех министров, производящих какое-нибудь улучшение» (Чернышевский 1950 VII: 370).

Писемский, стремясь довести до абсурда действия Державина, вольно или невольно, но фальсифицирует значимость указа о вольных хлебопашцах, обходя молчанием его взрывоопасную суть, – запрещение продавать крестьян без земли<sup>397</sup>. Вот как он формулирует этот законопроект: «Сущность императорского указа <...> состояла в дозволении помещикам – отпускать крестьян на волю за выкуп. Если мы представим, что мера эта была только пригласительная и предлагалась одному только возвышенному чувству российского дворянства, а не другим каким-нибудь качествам его природы, то трудно вообразить, чтобы мог найтись какой-нибудь порицатель столь невинной во всех отношениях меры» (<Писемский> 1860: 42-43). Таким «порицателем» оказался Державин, что, по Писемскому, уже в достаточной степени характеризует его умственный уровень. К тому же, контраргументы Державина против этого «невинного» законопроекта, по мнению Писемского, иначе как «допотопными орудиями» (<Писемский> 1860: 43) не назовешь. Словом, для Писемского, как и для Чернышевского, гражданское поведение Державина<sup>398</sup>, боровшегося чуть ли не в одиночку против реформ, проводимых «сверху», представляется пределом «безалаберности» (<Писемский> 1860: 44) поэта, проявленной на посту министра юстиции.

При этом следует отметить, что государственная деятельность самого Александра I и его сподвижников-реформаторов (в число которых входил, как было показано и Радищев) оценивалась, очевидно, «по партийному принципу» и Чернышевским, и Писемским весьма высоко как мудрая и просвещенная, по контрасту с «дикими», так сказать, выходками Державина.

Вот как характеризует Чернышевский взаимоотношения Державина-министра со своими коллегами, а также позицию, которую занимал государь в этом вопросе (замечательно, что имя соратника Радищева А.Р. Воронцова выдвигается на первый план): «Скоро перессорился он со всеми

---

<sup>397</sup> Вероятно, именно поэтому его так никогда и не приняли, хотя «ставили на обсуждение еще много раз – и в александровское царствование, и позже» (Немировский 1991: 130).

<sup>398</sup> Таким образом оценивал свою позицию как сам Державин, так и дворянская оппозиция (Немировский 1991: 131).

своими товарищами, вероятно, потому, что впутывался не в свои дела, горячился из-за мелочей и не имел просвещенного взгляда на вещи, каким отличались тогда люди, пользовавшиеся милостью императора, и каковы были из числа министров, например, Воронцов, Чарторыйский, Кочубей, Мордвинов, Чичагов. Государь, конечно, скоро заметил, что человек отсталых понятий и недалекого ума не годится на месте министра юстиции, и „стал он скоро приходить час от часу у императора в остуду“...»<sup>399</sup> (Чернышевский 1950 VII: 366-367).

По Писемскому, начало царствования Александра было эпохой надежд «для людей более развитых и образованных, для тех мечтательных и беззаветных характеров, которыми изобиловало тогдашнее время в его лучших представителях» (<Писемский> 1860: 38). Ретроград Державин со всем его «усердием» оказался не у места: «Время и император требовали на эту пору людей не столько пламенных в своем усердии, сколько дельных и просвещенных» (<Писемский> 1860: 38). Просвещенность Александра проявляется, по Писемскому, в его деликатности и доброте по отношению даже к таким неспособным к государственной деятельности и невежественным в области этикета людям, каковым был Державин: «Замечательно, что Державин не умел даже принять с достоинством свою отставку: она была предложена ему в самых деликатных формах, к каким только был способен добрейший из государей; он ухитрился сделать ее жесткою, как его ода, шероховатую, как его характер» (<Писемский> 1860: 44).

Итак, в критике 1860-х гг. тема «Державин и Радищев» была одной из самых обсуждаемых. При этом оценки этих фигур давались в нравственном плане, за которым стояли «партийные» интересы разночинцев, стремившихся к радикальным государственным преобразованиям в преддверии крестьянской реформы 1861 года. Державин, с его консервативными убеждениями, по определению должен был вызвать резкое отторжение у поборников «перемен». Имя поэта оказалось знаменем «века минувшего», черты которого продолжали оставаться актуальным явлением во всех областях российской жизни и, по мнению разночинцев, ждали своего преобразования. Соответственно, в личности Державина эти черты были подчеркнуты и развенчаны. Низкопоклонник и льстец, поставивший свой поэтический талант (если он есть) на службу собственным искательным видам; беспринципный карьерист на государственной службе; невежда как в тех родах деятельности, которыми приходилось заниматься профессионально, так и в общечеловеческом плане, – таков Державин в рецепции критики 1860-х гг. Соответственно, Радищев и его «окружение» в лице «передовых людей» своей эпохи (включая сюда князя Н.В. Репнина, александровских министров-реформаторов и даже самого Александра I), как «предшественники» шестидесятников, приобретают прямо противополож-

---

<sup>399</sup> См. также следующее характерное выражение Чернышевского: «Император увидел, наконец, что нет никакой возможности иметь дело с таким диким человеком...» (Чернышевский 1950 VII: 368). Речь идет о предложенных Державиным проектах по переселению евреев и шляхты в малозаселенные южные, поволжские, уральские и сибирские губернии.



ные качества, по контрасту с низким моральным обликом и интеллектуальным уровнем Державина. Личность Радищева отождествляется с главным героем повести «Путешествие из Петербурга в Москву». Само это произведение рецепируется как документальное, или, говоря более корректно в актуальном для дискурса шестидесятников нравственном плане, – как «правдивое», «искреннее» и т. д.

Теперь рассмотрим полемику Ходасевича по поводу отмеченных, «специальных», аспектов в рецепции критиками 1860-х гг. личности и творчества Державина, генезис которых в концепции А.С. Пушкина непосредственно не обнаруживается.

## *§ 2. Полемика Ходасевича с концепцией личности Державина в критике 1860-х гг.*

### *2.1. Полемическая установка статьи Ходасевича «Лопух»*

Как уже говорилось выше, Ходасевич посвятил критике взглядов Н.Г. Чернышевского статью «Лопух» (1932)<sup>400</sup>. Непосредственным поводом для ее написания послужила публикация в Советском Союзе дневников одного из главных идеологов шестидесятничества.

Из всего многообразного материала, содержащегося в этих текстах, Ходасевич избрал для рассмотрения тему любви. Он полагает, что именно взгляды Чернышевского на эту тему служат источником нового социалистического мироощущения, когда считается возможным заключать брачные союзы «на основе общего служения заветам Ильича, следования директивам партии или предначертаниям заводского комитета» (Ходасевич 13.07.1932), и цитирует для доказательства своего тезиса два дневниковых фрагмента. Вот они:

1. «Надежда Егоровна (жена его приятеля В.П. Либедовского <так!>. **В. Х.**) сидела в открытом платье... Поэтому плечи были открыты, но был платок, и только середина груди была видна; я смотрел, чего, конечно, раньше не сделал бы; смотрел, должно сказать, решительно с братским чувством и собственно в надежде и желании убедиться, что Василий Петрович (муж. **В. Х.**) должен быть очарован этим, особенно когда она будет образована» (цит. по: Ходасевич 13.07.1932).

2. По словам Ходасевича, в следующем эпизоде изображается «объяснение самого Чернышевского с его будущей невестой и женой. Действие происходит на балу» (Ходасевич 13.07.1932). Далее следует дневниковый фрагмент: «Начну откровенно и прямо: я пылаю к вам страстную любовь, но только с условием, если то, что я предполагаю в вас, действительно есть в вас... Через несколько времени Палимпсестов (общий знакомый, играющий роль наперсника **В. Х.**) сказал мне: „Она демократка“... Я по-

---

<sup>400</sup> См.: Ходасевич 13.07.1932.

дошел к ней и сказал: „Мое предположение верно, и теперь я обожаю вас безусловно“» (цит. по: Ходасевич 13.07.1932).

«Этот человек состоял (да и до сих пор состоит для многих) в числе „властителей дум“» (Ходасевич 13.07.1932), – заключает Ходасевич свое выступление, видимо считая, что приведенные им дневниковые фрагменты не нуждаются в комментариях, говорят сами за себя по поводу мировоззрения их автора.

Очевидно, что в том и в другом фрагменте Чернышевский стремится заместить возникшее у него бессознательное чувство симпатии теоретическими представлениями о женской привлекательности, понимаемой в духе учения об эмансипации. Он убежден, что именно демократические убеждения либо соответствующее образование играют определяющую роль в создании семьи, а влияние женской красоты, возникающее отсюда иррациональное чувство любви, по его мнению, или ничего не значат, или отходят на второй план.

По Ходасевичу, такое отношение к любви столь же условно, то есть, как он выразился по поводу позиции сентименталистов, чуждо «реальным запросам человеческого духа» (Ходасевич 1991: 149), как и, например, романтическое. Эта мысль выражается сопоставлением «лопуха», символизирующего, по Ходасевичу, социалистическое мировоззрение «по Чернышевскому», и такого традиционного оценочного символа романтического мировоззрения, как «черемуха»<sup>401</sup>.

Мы полагаем, что Ходасевич акцентировал данную идейную установку Чернышевского по поводу места в человеческой жизни любовного чувства, имея в виду его статью «Прадедовские нравы», как наиболее показательную в этом отношении для взглядов шестидесятников в целом. Во всяком случае, как будет показано ниже, освещение эпизодов с участием Екатерины II, Державина и Потемкина, а также сцены аудиенции Державина у Александра I по поводу дела Н.А. Колтовской, как оно представлено в биографии Ходасевича «Державин», тематически связано со статьей «Лопух».

Ключевой в этом смысле в «Державине» является сюжетная линия Н.А. Колтовской. Во-первых, Ходасевич при изложении дела Колтовской, в отличие от Чернышевского, акцентирует мотив ее женских чар как одной из главных причин состоявшейся министерской реформы. То есть писателем подчеркивается как раз тот момент в общественных отношениях, который для людей типа Чернышевского, судя по рассмотренному фрагменту статьи «Прадедовские нравы», попросту не учитывался, а, судя по статье Ходасевича «Лопух», и не мог учитываться ввиду характерной аберрации их взглядов на место в человеческой жизни любовного чувства. Во-

---

<sup>401</sup> О теоретическом подходе к любви людей типа Чернышевского писал также сотрудник «Возрождения» Н. Чебышев, когда делился с читателями своими впечатлениями от книги Т.А. Богданович «Любовь людей 60-х годов» (1929): «У людей этого толка ускользала вся подсознательная сторона жизни. Они просто не хотели ее знать. Старались втиснуть жизнь в построенное от чистого разума учение. Туда же втиснуть и душу любимой женщины, сложные отношения мужа и жены, в большинстве случаев осложняющиеся еще детьми» (Чебышев 1929).

вторых, в системе персонажей биографии Ходасевича образ Колтовской в известной мере связан с образом Екатерины II. Внешним знаком этой связи являются такие постоянные портретные атрибуты этих героинь, как голубые глаза и вообще красота и привлекательность<sup>402</sup>. Через образ Колтовской можно выяснить ходасевичевскую трактовку взглядов Екатерины на роль женской красоты в общественных отношениях в самом широком смысле этого слова. А выяснение этих взглядов, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к полемике Ходасевича с Чернышевским по поводу интерпретации тем уединенных бесед императрицы с Державиным и реакции на них Потемкина. В связи с вышесказанным подробнее остановимся на анализе указанной сюжетной линии в биографии Ходасевича.

## *2.2. Сюжетная линия Н.А. Колтовской в биографии Ходасевича «Державин»*

Согласно Ходасевичу, во времена Державина, которые Чернышевский и его современники считали дикими, любовь способна была привести к деяниям государственного значения, так как ей были подвластны сами императоры. Другими словами, не «предначертания заводского комитета» определяли, кого любить, а сами эти «предначертания» определялись потребностями возникшей симпатии, служили знаками внимания по отношению к предмету обожания. И, судя по добродушному тону Ходасевича в биографии «Державин», такое положение вещей было по-человечески более понятным.

Следуя «Запискам» Державина, Ходасевич подробно останавливается на обстоятельствах дела Н.А. Колтовской, обнажая таким образом тенденциозность Чернышевского в его характеристике как мелкого и ничего не значащего. По Ходасевичу, Державину пришлось заняться опекой по делам Колтовской, только что разошедшейся с мужем, еще в прошлое царствование, по личному приказанию Павла, равнодушного к «молоденькой» двадцатилетней красавице (Ходасевич 1996- III: 318). При вступлении на престол Александра генерал-прокурор Беклешов, желавший угодить императору в его желании «на каждом шагу означить различие между собой и своим предшественником» (Ходасевич 1996- III: 318), попытался и в случае с опекой Колтовской отменить приказание Павла и назначить по этому делу других опекунов, державших сторону мужа. Державин, как было сказано, протестовал по этому поводу в Сенате, справедливо усмотрев в действиях Беклешова произвол, однако его мнение, также вопреки закону, не было учтено в докладе, подтвержденном Александром. Тогда Державин добился аудиенции у государя, где прямо поставил вопрос о границах пол-

---

<sup>402</sup> В портрете Колтовской Ходасевичем акцентируется цвет глаз посредством повтора. Что касается голубых глаз Екатерины, то это общеизвестная деталь портрета императрицы. Вспомним хотя бы пушкинскую точку зрения по поводу самых красивых черт во внешности Екатерины, выраженную в «Капитанской дочке»: «... голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую» (Пушкин 1994- VIII: 371).

номочий генерал-прокурора и о правах Сената. К мнению Державина присоединился авторитетный голос Трощинского, противника Беклешова, и Александр, замечает Ходасевич, «вынужден был уступить» (Ходасевич 1996- III: 319), издав указ о подтверждении прав Сената. Этот указ повлек за собой необходимость «пересмотреть всю систему управления» (Ходасевич 1996- III: 320).

По Ходасевичу, Державин в данном случае «действовал <...> по совести: он отстаивал справедливость, закон и достоинство Сената. Но *горячности* придавали ему два обстоятельства посторонних: Беклешова считал он одним из виновников своего устранения из Совета, а голубые глаза Колтовской заронили огонь и в его сердце» (Ходасевич 1996- III: 319). Последний мотив Ходасевич подчеркивает, повторяя его в качестве концовки всего эпизода: «Голубые глаза оказались не без влияния на ход истории» (Ходасевич 1996- III: 320). То есть в подтексте влияние женской красоты объявляется решающей причиной указа Александра о подтверждении прав Сената.

Ходасевич намекает, что всей горячности Державина и авторитета Трощинского оказалось бы не достаточно, чтобы перевесить чашу решения Александра в пользу Сената и вопреки действиям Беклешова, являвшегося верным орудием императора в деле отмены павловских указов. Ведь, незадолго до этого, поддержал же Александр своего генерал-прокурора в деле расторжения соляных контрактов, заключенных правительством Павла с откупщиками Перетцом и Штиглицем, хотя Державин и не менее горячо, чем в деле Колтовской, выступал против этого противозаконного акта?! Другими словами, по Ходасевичу, и Александр оказался равнодушен к чарам Колтовской и поэтому решил дело в ее пользу.

При этом вряд ли необходимость соблюдения законности руководила императором в данном случае. Как показывает Ходасевич в другом эпизоде своей биографии, ради чар М.А. Нарышкиной (урожденной Четвертинской) Александр готов был совершить и незаконный поступок в подобном деле по опеке имения графини Соллогуб<sup>403</sup>, и Державин, отказавшийся ему в этом содействовать, вызвал его неудовольствие (Ходасевич 1996- III: 330).

Подробнее о взаимоотношениях Державина и Колтовской Ходасевич повествует ниже, комментируя частые посещения летом 1808 года тридцатилетней «красавицей, модницей и богачкой» (Ходасевич 1996- III: 349) 64-летнего поэта в его имении Званка.

По Ходасевичу, чувства, которые испытывал Державин к Колтовской, были «мечтательные и нежные, почти молитвенные» (Ходасевич 1996- III: 349). Поэт «не смел перед нею явиться Анакреоном. Он смотрел

---

<sup>403</sup> Вот как излагаются обстоятельства этого дела в «Записках» Державина: «Государь в угодность своей фаворитке Нарышкиной, которая покровительствовала графа Соллогуба, против законов приказал от жены его отобрать имение, отданное им ей записью, и наложить опеку на оное без всякого в судебных местах о том производства. Как это было против коренных законов и самого его о министерстве манифеста, которым точно запрещено в Сенате производить дел, не бывших в суждении нижних инстанций, а также имений, кроме малолетних и безумных, в опеку не брать, то Державин выписал те законы и представил государю, сказав, что он долгом своим поставил оберегать не токмо его законы, но и славу» (Державин 2000: 256).

на нее снизу вверх и прелагал для нее сонеты Петрарки, те, в которых было наиболее меланхолии» (Ходасевич 1996- III: 349). Однако для его избранницы эти чувства были предметом забавы. «В конце концов, – продолжает Ходасевич, – во время уединенных прогулок, его воздыхания были вознаграждены: Колтовская не собиралась походить на Диану. Но чем сладостней и внезапнее было счастье, тем более мук оно в себе заключало. Державин каждый миг чувствовал всю его случайность и непрочность. Колтовская, наконец, уехала. Державин затосковал, кинулся следом за ней в Петербург, но здесь она не в пример была холоднее. Что было летом, то ни к чему не обязывало ее зимой. Державин мучился и с прощальной нежностью вспоминал блаженные те места, где

Воздух свежестью своею  
Ей спешил благоухать;  
Травки, смятые под нею,  
Не хотели восставать;  
Где я очи голубья  
Небесам подобно зрел,  
С коих стрелы огневая  
В грудь бросал мне злобный Лель.  
О места, места священные!  
Хоть лишен я вас судьбой;  
Но прелестны вы, волшебны  
И столь милы мне собой,  
Что поднесь о вас вздыхаю  
И забыть никак не мог;  
С жалобой напоминаю:  
Мой последний слышите вздох»

(Ходасевич 1996- III: 349-350).

Строки, которые цитирует Ходасевич, представляют собой фрагмент из стихотворения Державина «Водомет» (1808), входящее в цикл, посвященный Колтовской. По предположению Я.К. Грота, к этому же циклу относятся такие стихотворения, как «Альбаум» и упомянутые Ходасевичем переводы сонетов Петрарки «Посылка плодов», «Прогулка», «Задумчивость» (см.: Державин 2002: 682). Все эти произведения также датируются 1808 годом.

Однако Ходасевич, как мы полагаем, включает в данный цикл еще два стихотворения, которые хотя и были созданы в 1770 году, но окончательный свой вид приобрели как раз в 1808 году: «Всемиле» и следующее сразу за ним «Нине».

Вот наши аргументы.

Общий характер лирической героини цикла Ходасевич обозначил символическим именем Дианы – «девственницы и защитницы целомудрия» (Тахо-Годи 1991: 61). Наиболее отчетливо об этом говорится в концовке стихотворения «Альбаум»:

Но Гений, благ твоих свидетель,  
На белых листьях в блеске слов  
Покажет веру, добродетель  
И беспорочную любовь

(Державин 2002: 497).

Ситуация, представленная в стихотворении «Водомет», в передаче Ходасевича, является постскриптумом нечаянного счастья, обретенного поэтом с Колтовской, и, как таковая, несколько выпадает из общего контекста цикла, где только выражается стремление к обретению этого счастья. Однако и в нем поэт возводит пережитые им мгновения реализованной любви на прежний уровень чистого, платонического чувства.

Примерно в таком же отношении друг к другу, как прочие стихотворения из цикла Колтовской к «Водомету», находятся и стихотворения «Всемиле» и «Нине». В первом из них Державин воспекает рыцарственное чувство любви, в его идеальном, традиционном смысле. Поэт, между прочим, писал:

Так, красота владеет миром,  
Сердца ей трон и олтари;  
Ее чтут мудрые кумиром,  
И поклоняются цари.

Прочти деяния великих,  
Все к нежности склоняли слух;  
Причина подвигов толиких  
Их вкус к добру, их пылкий дух

(Державин 2002: 459).

Стихотворение завершается следующей сентенцией:

Так! Добродетелью бывает  
Сильна лишь – женщин красота

(Державин 2002: 459).

Его общая идея выражается в программе заставки, воспроизведенной на полях рукописи Державина: «Красота и добродетель на кубическом постаменте держат сферу» (Державин 1987а: 158 (вторая пагинация)). Иллюстратор И.А. Иванов поместил в качестве варианта державинской программы аллегорическое изображение Дианы (см.: Державин 1987а: 158 (вторая пагинация)).

Изображение заставки к стихотворению «Нине» точно соответствует ее программе: «Молодая женщина, опершись на рог изобилия, сыплющий цветы. При ногах ее сидит кролик, а от нее убегает с отвращением сорвавшийся с цепи Купидон» (Державин 1987а: 160 (вторая пагинация)). Главная тема этого стихотворения – печальные последствия для любовного чувства его реализации. Сюжет этого стихотворения почти параллелен сюжету взаимоотношений Державина с Колтовской, выстроенному Ходасевичем, и потому приведем его полностью:

Не лобызай меня так страстно,  
Так часто, нежный, милый друг!  
И не нашептывай всечасно  
Любовных ласк своих мне в слух;  
Не падай мне на грудь в восторгах,  
Обняв меня, не обмирай.

Нежнейшей страсти пламя скромно;  
А ежели чрез меру жжет,  
И удовольствий чувство полно:  
Погаснет скоро и пройдет.  
И ах! тогда придет вмиг скука,  
Остуда, отвращенье, к нам.

Желаю ль целовать стократно;  
Но ты целуй меня лишь раз,  
И то пристойно, так, бесстрастно,  
Без всяких сладостных зараз,  
Как брат сестру свою целует:  
То будет вечен наш союз

(Державин 2002: 459-460).

То есть Колтовская, в изображении Ходасевича, «не собиралась походить на Диану» (Ходасевич 1996- III: 350), лирическую героиню стихотворений «Всемиле», «Альбаум» и т. д. (кроме «Водомета»), и оказалась слишком доступной «молодой женщиной» с «рогом изобилия» в руках, небескорыстно, как мы видели на примере ее взаимоотношений с Павлом, Александром и Державиным, раздаривающей свою красоту. Колтовская, по Ходасевичу, на практике убедилась, что не «добродетелью» «сильна» женская красота, и сполна воспользовалась своим даром для устройства себе беззаботной и веселой жизни.

Теперь мы можем перейти к рассмотрению того аспекта в образе Екатерины II, героини биографии Ходасевича «Державин», который обозначен сюжетной линией Колтовской.

### *2.3. Колтовская в Екатерине II*

Выше, в связи с обсуждением библейского кода в поведении Екатерины по отношению к Державину, с одной стороны, и к вельможам-нарушителям закона, с другой, проводилось намеком указание на эротический подтекст, который присутствует в ходасевичевской интерпретации государственной деятельности императрицы. В связи с рассмотрением системных связей между образами Екатерины и Колтовской также можно вспомнить акцентирование Ходасевичем в стихах Державина мотива обожествления той и другой и их одинаковое нежелание походить на идеальных лирических героинь, для которых они послужили реальными прототипами.

По Ходасевичу, Екатерина прекрасно сознавала власть своей красоты и активно использовала этот дар для собственных, а, значит, и государственных целей.

Эротический момент подчеркивается уже в сцене первого появления Екатерины на страницах биографии «Державин», когда она лично возглавила поход на Петергоф полков, принявших участие в июньском перевороте 1762 года: «Наконец, появились всадники. Впереди, на белом коне Бриллианте, сидя верхом по-мужски, в сапогах со шпорами, в преображенском мундире, медленно ехала Екатерина. Опускаясь, вечернее летнее солнце, солнце Петербурга, светило ей прямо в лицо – ясное, благосклонное, с тонким носом, круглеющим подбородком и маленьким, нежным ртом. Распущенные волосы, лишь схваченные бантом у шеи, падали из-под треуголки до лошадиной спины. Ветер их шевелил. Маленькая ручка в белой перчатке поднимала вверх узкую серебристую шпагу. Полки кричали ура. Барабаны били. Такою впервые увидел ее Державин» (Ходасевич 1988: 40-41).

Так изображает Ходасевич зачарованность юного Державина – ему на днях должно было исполниться всего лишь девятнадцать лет! – образом будущей императрицы. В то время, по словам Ходасевича, Державин был «новичком в жизни и несмышленьшем в делах государственных, вряд ли он даже понимал смысл и необходимость переворота» (Ходасевич 1988: 40). К тому же, с низвержением Петра III он терял, как ему казалось, последнюю надежду вырваться из тисков солдатчины, стать офицером. Тем сильнее, в передаче Ходасевича, заметна искренность и чистота восторга Державина, увидевшего перед собой, прежде всего, прекрасную женщину, за которую, как казалось, не жаль отдать и жизни, а не то что добровольно принять участие «в разрушении своей мечты сделаться голштинским офицером» (Ходасевич 1988: 41). А ведь Державин был только одним из многих. Такое воодушевление придало действиям заговорщиков одно появление Екатерины.

Сам Державин в передаче П.Н. Львовой излагал события переворота гораздо прозаичнее. По словам поэта, его успех был обеспечен искусным руководством Орловых и самой императрицы, действовавших быстро и слаженно и просто не давших опомниться войскам, преданным Петру III. Проезд Екатерины на белой лошади состоялся не до похода на Петергоф, а после того как этот город был взят верными ей войсками и голштинцы добровольно принесли ей присягу на верность. Само изображение Екатерины выглядит довольно сухо и схематично: «...императрица, надев преображенский мундир и сев на прекрасную белую лошадь, с обнаженной шпагой в руках, вступила торжественно в Петербург» (Державин 1864- IX: 223). Таким образом, сопоставление с источником обнажает фикциональный статус данной сцены проезда Екатерины на Бриллианте в биографии Ходасевича «Державин», указывает на ее художественную функцию характеристики поведения императрицы при решении вопросов государственного значения.



Далее. Выше отмечалось двусмысленное значение, которое придал Ходасевич в своей биографии такому постоянному атрибуту образа Екатерины II в поэзии Державина, как «щит» правосудия «Минервы Российской». Столь же двусмысленно выглядит трактовка Ходасевичем другого постоянного атрибута образа императрицы в скульптурном изображении Ф.И. Шубина, а именно – рога изобилия, «из которого сыплются звезды и ордена» (Ходасевич 1996- III: 270).

Ходасевич вспомнил это аллегорическое изображение в связи с характеристикой методов государственного управления Екатерины и назвал его «простодушным» (Ходасевич 1996- III: 270). Почему? Мы полагаем, что этой оценкой писатель указывал читателю на то обстоятельство, что скульптор не учел древнего символического значения рога изобилия и невольно скаламбурил. Как известно, рог изобилия, в отличие от просто рогов, символизирувавших «мужской боевой дух и фаллическую силу, а также <...> плодородие, процветание и мужскую плодовитость» (Тресиддер 1999: 306), – это сосуд, символ как раз той самой женской власти, проявление которой мы заметили в связи с обсуждением образа действий Колтовской и Екатерины времени переворота 1762 года. «Считалось, что ритуальное питье из рога медовухи или вина сохраняет потенцию» (Тресиддер 1999: 306). Вообще говоря, рог изобилия в античной мифологии и в более позднем европейском искусстве – постоянный атрибут богов плодородия и виноделия, таких как Деметра (Церера), Дионис (Бахус), Приап и Флора (Тресиддер 1999: 307). Таким образом, рог изобилия в руках Екатерины II находит неожиданное соответствие в роге изобилия в руках анакреонтической красавицы «Нины»-Колтовской, «рассудительное сладострастие»<sup>404</sup> которой вызывает «отвращение» у бога любви.

Ниже Ходасевич намекает на каламбурное значение шубинской аллегории упоминанием «временщиков», с которыми Екатерина «делилась» «властью и Россией»; ее умения «пользоваться и слабостями человеческими, и самими пороками» (Ходасевич 1996- III: 270); наконец, – присущей ей «снисходительности» к этим человеческим слабостям и понимания «и умом, и сердцем» «людей самых обыкновенных, подверженных искушениям» (Ходасевич 1996- III: 271).

В качестве конкретного примера взаимоотношений императрицы с «временщиками» Ходасевич предлагает рассмотреть, по-видимому, как наиболее показательные, сцены последних встреч с нею Г.А. Потемкина. Дело в том, что перед шубинской статуей Ходасевич, не побоимся этого слова, ставит на колени именно светлейшего князя. Произошло это событие во время упомянутого торжества в Таврическом дворце, когда императрица посетила зимний сад. «Посреди сада возвышается храм; – повест-

---

<sup>404</sup> Так определил Ходасевич ведущий эмоциональный план анакреонтической поэзии XVIII века. Именно поэтому, по мнению писателя, Державин не воспользовался анакреонтической поэтикой для изображения своей любви к Екатерине Яковлевне. Сравнить: «Но рассудительное сладострастие анакреонтической поэзии ничего не имело общего с любовью к Пленире. Рано усвоив анакреонтические образы и приемы, Державин все же не применял их для изображения своей любви» (Ходасевич 1996- III: 301).

вует Ходасевич, – восемь колонн из белого мрамора поддерживают его купол; серые мраморные ступени ведут к жертвеннику, служащему подножием статуи, изображающей государыню в царской мантии, с рогом изобилия. Потемкин бросается на колени пред алтарем и изображением своей благодетельницы. Екатерина сама его поднимает и целует в лоб» (Ходасевич 1996- III: 263).

Я.К. Грот, которому в данном случае не было никакого резона каким-то образом «сглаживать» информацию, дает другое описание как статуи Екатерины II, так и поведения Потемкина. Сравнить: «В этом саду, против середины или выхода галереи, устроен был небольшой открытый храм с жертвенником, на котором высилась статуя Екатерины II из белого мрамора, в античной мантии» (Грот 1997: 393). То есть никакого рога изобилия не было. А Потемкин встал на колени перед самой императрицей (а не перед ее статуей в присутствии самого оригинала!) уже в самом конце праздника, непосредственно перед ее отъездом. Здесь Грот цитирует Державина: «По окончании последнего из них <хоров, сочиненных Державиным – **В.Ч.**> „хозяин, – как рассказывает поэт, – с благоговением пал на колени перед своею самодержицею и облобызал ее руку, принося усерднейшую благодарность за посещение“» (Грот 1997: 395).

Теперь обратимся к сценам державинских «Записок», с интерпретацией которых Чернышевским, как мы полагаем, полемизировал Ходасевич.

Согласно биографии «Державин», государственная деятельность Потемкина напрямую зависела от личных отношений с Екатериной. Все великолепие торжества в Таврическом дворце было устроено им едва ли не с единственной целью – «вернуть себе ее сердце» (Ходасевич 1988: 134). Вот этого-то, личного, момента и не учел, по Ходасевичу, Чернышевский, когда объяснял гнев Потемкина по поводу державинского описания торжества отсутствием похвал в его адрес.

Критик не понял намек Державина в «Записках» по поводу настоящей причины вспышки светлейшего князя, который, в свою очередь, раскрывает Ходасевич. Если бы Чернышевский внимательно прочитал стихи, посвященные Потемкину в описании торжества, то обнаружил бы сходство их тона с «Фелицей». Уже И.И. Дмитриев заметил некоторую шутливость этих стихов в характеристике Потемкина (см.: Дмитриев 1985: 488). Это замечание Дмитриева посчитал справедливым Я.К. Грот. Ученый подробно его развернул в своей «Жизни Державина»: «... Потемкин являлся в нем <описании торжества – **В.Ч.**> каким-то смешным селадомом; например, в стихах:

Нежный, нежный воздыхатель,  
позднее напечатанных под заглавием „Анакреон в собрании“, выставались „любовные искания“ Потемкина во время праздника. Уже Дмитриев поражен был в этом описании шутливою, хотя и довольно верною характеристикой вельможи, и ей-то приписывал он неудовольствие, с которым оно было принято последним. В стихах:

Он мечет молнию и громы...

не забыта привычка Потемкина вертеть („чистить“, как выразился поэт) пальцами брильянты, и тут же говорится о нем:

То крылья вдруг берет орлины,  
Парит к луне и смотрит вдаль;  
То рядит щеголей в ботины,  
Любезных дам в прелестну шаль,  
И естли б он имел злодеев,  
Согласны были б все они:  
Что видят образ в нем Протеев,  
Который жил в златые дни»

(Грот 1997: 397).

От себя добавим, что эти стихи, построены по тому же самому принципу, как и стихи «Фелицы»: на контрастном сочетании «высоких» и «низких» понятий.

Мы полагаем, что указанное сходство стихов из описания торжества с «Фелицей» имел в виду Ходасевич, когда писал, вопреки Дмитриеву и Гроту, о «торжествующем и счастливом Потемкине, представленном в описании» (Ходасевич 1988: 137).

«Фелица» была создана Державиным в то время, когда Потемкин находился на пике своего могущества. Оценивая подарок Екатерины Державину за «Фелицу» с точки зрения резко изменившегося социального статуса поэта, Ходасевич пишет: «... она разом ставила Державина очень высоко, как бы вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит» (Ходасевич 1988: 106). Но это означает также, что Потемкин в то время входил в этот круг людей. Таким образом, по Ходасевичу, подобными стихами в описании торжества Державин напомнил Потемкину то доброе старое время, когда он удостаивался «witz'ев» («шуток», «острот») императрицы (Ходасевич 1988: 106), ее человеческого, женского внимания. И вот теперь, несмотря на все его старание добиться прежнего расположения, тронуть сердце Екатерины, он не увидел ничего, кроме вежливого равнодушия «жестокой женщины» (Ходасевич 1988: 139). «Праздник не достиг цели и тем самым превратился для Потемкина в лишнее унижение. Державин невольно ему напомнил об этом» (Ходасевич 1988: 137).

Но если в момент создания стихов из описания торжества Державин, по Ходасевичу, только мог догадываться, какие глубокие душевные струны Потемкина будут ими затронуты, то уже в процессе работы над «Водопадом» (1791-1794) поэт ясно осознал «личную трагедию» князя, которой «отмечена» его смерть, и смог о ней «только намекнуть» (Ходасевич 1988: 138). Неразрывную связь судьбы Потемкина и его выдающихся подвигов с Екатериной здесь олицетворяет водопад, теряющий, в конце концов, свою мощь в «светлом сонме» (Державин 2002: 185) Онежского озера<sup>405</sup>.

---

<sup>405</sup> Так мы трактуем следующую ходасевичевскую формулировку одной из тем «Водопада»: «... об олицетворенном в Екатерине государственном эгоизме России, в который все личные судьбы и подвиги впадают, как водопадные реки в озеро...» (Ходасевич 1988: 139). По Ходасевичу, реальным поводом для этого олицетворения могло послужить одно из украшений сада при Таврическом дворце, специ-

Этот же намек, по Ходасевичу, содержится и в «Записках». Писатель цитирует ключевое в этом смысле указание мемуариста на положение Потемкина при дворе: «„Князю при дворе тогда очень было плохо...“» (Ходасевич 1988: 137). «Тогда» – это во время вспышки Потемкина по поводу державинского «Описания торжества...». А чуть ниже Державин вспоминает о миролюбивом отношении светлейшего князя к «Фелице» как о доказательстве присущего ему великодушия. Особенно выгодно это отношение выделяется на фоне недовольной реакции других вельмож, затронутых в оде: «Должно справедливость отдать князю Потемкину, что он имел сердце весьма доброе и был человек отлично великодушный. Шутки в оде Фелице насчет вельмож, а более на его, вмещенные, которые императрица, заметя карандашом, разослала в печатных экземплярах по приличию к каждому, его нимало не тронули или, по крайней мере, не обнаружили его гневных душевных расположений, не так, как прочих господ, которые за то сочинителя возненавидели и злобно гнали; но напротив того, он оказал ему доброхотство и желал, как кажется, всем сердцем благодворить, ежели б вышеписанные дворские обстоятельства не воспрепятствовали» (Державин 2000: 134-135). То есть неадекватная реакция Потемкина на стихи из «Описания торжества...» объясняется потерей расположения императрицы, о чем и писал Ходасевич, заметивший разницу между «торжествующим» лирическим героем стихов из «Описания торжества...» и читавшим их униженным и отвергнутым Потемкиным<sup>406</sup>.

Ниже Ходасевич педантирует мотив душевных мучений Потемкина, вызванных холодным отношением к нему Екатерины: «Потемкин метался. В те дни причудам и странностям его не было меры. При встрече народ кланялся ему с благоговением. На гуляньях он являлся, окруженный пленными генералами, офицерами и пашами. Но он знал, что подо всем этим – бездна, конец. Он пьянствовал и не находил себе места. Иногда, вырвавшись из дому, носился по городу, заезжал к малознакомым женщинам, ища утешения; открывал душу пред кем попало; слушателям казалось, что он бормочет нелепицу и сходит с ума. Потом силы его покинули – он изумлял окружающих необычайною кротостью, но ехать к армии все еще не решался: знал, что враги без него восторжествуют окончательно» (Ходасевич 1988: 140). В связи с нашей темой женской власти показательны эти безуспешные попытки Потемкина найти, может быть, замену Екатерине. Единственный человек, перед которым он мог бы открыть душу по-настоящему, оставался безжалостен.

---

ально сделанное к торжеству, а именно – искусственно созданный водопад. Во всяком случае, в описании приготовлений к торжеству писатель акцентирует эту деталь, цитируя статью «Потемкинский праздник из рукописи современника»: «... „прямым путем протекавшей речке дали течение извилистое и вынудили из ней низвергающийся водопад, который упал в мраморный водоем“» (Ходасевич 1988: 134). Характерно, что Грот, опубликовавший эту статью, в собственном описании торжества эту символическую деталь не упоминает.

<sup>406</sup> «Разница между торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем глубоко несчастным, который его читал, была нестерпима» (Ходасевич 1988: 137).

Очевидно, что в данном состоянии болезненной экзальтации всех чувств каждый даже самый малозначащий укол со стороны любимой женщины способен вызвать и не ту реакцию, которую описывает Державин в «Записках» в сцене поручения надписи на бюст Чичагова.

А императрица, по Ходасевичу, к тому же и не шутила, как полагал Чернышевский, в подобных уединенных сценах с Державиным, но испытывала всю мощь своей женской власти на непокорном секретаре и придворном поэте. Ходасевич контаминирует пример описания уединенных разговоров Екатерины и Державина, приведенный Чернышевским, с другим, им не учтенным, в котором отчетливо проявляется заинтересованность императрицы в своем собеседнике, целенаправленность приемов ее обращения с ним: «Это странное секретарство длилось почти два года. Они ссорились и мирились. Если ей нужно было его смягчить и чего-нибудь от него добиться, она нарочно при всех отличала его, зная, что ему это льстит: „в публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канаве, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая, будто говорит о каких важных делах... Часто рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит; начнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в изумлении сказал: – Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить; но вы против воли моей делаете из меня, что хотите. – Она засмеялась и сказала: – Неужто это правда?“» (Ходасевич 1988: 143). Показательно, что Державин говорит именно о женственной манере обращения с ним («кто может устоять против этой женщины?»); удивляется, что вся его решимость постоянно исчезает перед силой женского обаяния императрицы. И Екатерина прекрасно сознает свою неотразимость (ее добродушный смех и немного кокетливый вопрос) и всякий раз с успехом пользуется ею для своих целей.

Как человек Державин, по Ходасевичу, и был покорён Екатериной: «Он научился находить в ней обаяние, которого не знал прежде: обаяние ума, ласки, легкости, мягкости. Научился ценить ее доброту и великодушные» (Ходасевич 1988: 143). Однако всего обаяния императрицы оказалось не достаточно, чтобы заглушить осознание Державиным-поэтом разницы между созданным им идеалом и его воплощением в реальности: «Но все это было человеческое. Той богини, которую создал мечтою и воспевал двадцать лет, во имя которой стоило и прославиться, и страдать, он в ней не нашел» (Ходасевич 1988: 143). Напрасной оказалась лесть Екатерины по отношению к поэтическим способностям Державина: вместо желаемых ею новых «Фелиц» поэт написал «язвительное четверостишие» (Ходасевич

1988: 144) «Поймали птичку голосисту...» на тему свободы как необходимого условия существования искусства.

Итак, по Ходасевичу, Державин был не далек от истины, предполагая особенный интерес императрицы в его услугах. Так называемые Чернышевским честолюбивые мысли Державина только подчеркивают человеческую скромность поэта. В самом деле, чаемый им в сцене поручения надписи для бюста Чичагова пост «докладчика по военным делам» превращается в прах в свете величественного призвания поэта-пророка, которое Державин ощущал за собой и которому благоговейно следовал всю свою сознательную жизнь. Пророческое служение он завещал потомкам в «Памятнике» как единственную цель истинной поэзии. А силе женской красоты сам Державин отвел область своих человеческих, суетных желаний. Мы имеем в виду концовку упомянутого выше программного стихотворения «Признание», которое Ходасевич цитирует полностью как имеющее центральное значение в его концепции личности главного героя биографии «Державин». Вот эти стихи:

Если ж я и суетою  
Сам был света обольщен, –  
Признаюсь, красотой  
Быв плененным, пел и жен.  
Словом: жег любви коль пламень,  
Падал я, вставал в мой век, –  
Брось, мудрец, на гроб мой камень,  
Если ты не человек

(цит. по: Ходасевич 1996- III: 353).

Подробное рассмотрение Ходасевичем ясных и естественных взглядов Державина на любовь, женскую красоту и ее роль в общественной и государственной жизни объективно работает на обнажение лицемерности морали «новых людей» в эпоху Чернышевского и Добролюбова, морали, основанной не на традиционном обожествлении идеала женственности и красоты, а на удовлетворении «материалистических» потребностей «раскрепощенной» женщины, фактически потакании ее низменным инстинктам. Мы имеем в виду прежде всего практику *ménage à trois*, обычную среди шестидесятников<sup>407</sup>.

В 1923 г. были опубликованы воспоминания родственницы Чернышевского В.А. Пыпиной, из которых можно было узнать о явно ненормальной обстановке в семье главного идеолога шестидесятничества. Приведем только один яркий пример из приведенных Пыпиной признаний супруги Чернышевского Ольги Сократовны по поводу ее замужней жизни: «Ольга Сократовна предалась отдаленным воспоминаниям: как сиживала она здесь, окруженная молодежью, как перегонялась на рысаке с великим князем Константином Николаевичем, закутав лицо вуалью, иногда опускаая ее, чтобы поразить огненным взглядом, как он был заинтригован, как мно-

---

<sup>407</sup> Об этом можно прочитать в книге: Паперно 1996.

гие мужчины ее любили. „А вот Иван Федорович (Савицкий, польский эмигрант, Stella) ловко вел свои дела, никому и в голову не приходило, что он мой любовник... Канашечка-то знал: мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна“...» (Пыпина 1923: 105). В связи с этим название статьи Ходасевича «Лопух» приобретает дополнительное значение в качестве оценки положения мужчин-шестидесятников в заключаемых ими браках.

Однако, по Ходасевичу, генезис «новой» морали шестидесятников, точнее говоря, их лицемерия, оправдываемого идеологическими соображениями, можно обнаружить уже во взглядах их кумиров – А.Н. Радищева и его окружения. Рассмотрению этого вопроса мы посвятим следующий параграф.

#### *2.4. А.Н. Радищев и его окружение в биографии Ходасевича «Державин»*

**2.4.1. «Радищевский» эпизод в «Державине»: Яжелбицы – Валдаи – Зимогорье.** В биографии «Державин» Ходасевич прямо ссылается на повесть Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» при описании обстоятельств командировки Державина в Яжелбицы и Зимогорье, состоявшейся в начале 1767 года. Тот, под началом двух офицеров, братьев Лутовиновых, должен был надзирать за приготовлением лошадей по случаю проезда двора в Москву. Приведем полностью интересующий нас фрагмент «Державина»: «Один Лутовинов был послан в Яжелбицы, другой – в Зимогорье. То были две станции, расположенные вблизи знаменитого Валдая, о котором Радищев писал: „Кто не бывал в Валдаях, кто не знает Валдайских баранок и Валдайских развратных девок? Всякого проезжающего наглые Валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия“. Разумеется, Лутовиновы проводили все время в гостеприимном Валдае. Они либо играли в карты с проезжими, либо пьянствовали, иной раз на всю ночь запираясь в кабаке и никого, кроме девок, к себе не пуская. Державин волей или неволей делил забавы начальства. Правда, от вина он воздерживался, но карты мало-помалу его увлекли, он к ним пристрастился. Так жил он четыре месяца. Наконец, в конце марта, двор проехал, старший Лутовинов попал под суд за растраты и буйство, а Державин благополучно добрался до Москвы» (Ходасевич 1988: 45-46).

Прежде всего, обращает на себя внимание иронический комментарий Ходасевича по поводу ригористического осуждения Радищевым валдайских развратных нравов: «гостеприимный Валдай». Согласно словарю В.И. Даля, «гостеприимство» – это «радушие в приеме и угощении посетителей; безмездный <даровой – В.Ч.> прием и угощение странников или странноприимство». «*Гостеприимствовать*, быть гостеприимным, приглашать и угощать людей» (Даль 2002 I: 387). То есть, по Ходасевичу, валдайские

«девки», что называется, «даром» (очень дешево), «угощают» путешественников как в прямом смысле – баранками, так и в переносном – так сказать, своим «целомудрием»: иначе не понятно, почему братья Лутовиновы, в данном случае, «обыкновенные смертные», без всякого сомнения («разумеется») «кинулись в омут удовольствий». Вообще говоря, вряд ли дороговизна способствовала бы популярности валдайских «промыслов»<sup>408</sup>. В таком контексте сетования «печального путешественника»<sup>409</sup> на попытки «девок» «воспользоваться его щедростью», то есть, однозначно, кошелем, выглядят комично. В самом деле, Ходасевич своим ироническим эпитетом смещает акценты в радищевском тексте, представляет дело так, будто «путешественник» возмущается не распутством «девок», а дороговизной продаваемых ими баранок и сексуальных услуг. В таком же значении трактуется обвинение Радищевым «девок» в потере стыда, благодаря широте значения употребленной идиомы: «потерять стыд» можно и назначая чрезмерно высокую плату за свой товар. Мало того, ходасевичевская ироническая трактовка смысла радищевского текста оказывается, пожалуй, единственной более или менее приемлемой с логической точки зрения. В самом деле, если возмущение «путешественника» вызвано нравственными причинами, то почему с этой точки зрения торговля баранками должна подвергнуться остракизму?

Таким образом, Ходасевич доводит до абсурда моралистическую позицию Радищева, так сказать, оттеняя невольный каламбур, возникающий из употребления слова «баранки» в контексте осуждения половой распущенности<sup>410</sup>.

Описывая поведение братьев Лутовиновых, Ходасевич еще более акцентирует данный каламбур. Он показывает настоящие вкусы любителей валдайских увеселений: не из-за дороговизны же баранок, в собственном смысле этого слова, пострадала «щедрость» братьев! Зато в списке этих удовольствий в избытке присутствует то, что символически обозначается данным гастрономическим лакомством, плюс к этому – изобилие вина. Словом, Ходасевич контаминирует радищевские «баранки» с шубинским «рогом изобилия», дабы показать «простодушие», то есть, в данном контексте, обыкновенную безграмотность авторов этих образов в священном

---

<sup>408</sup> Кстати говоря, известно, что А.Н. Вульф (близкий приятель А.С. Пушкина и завязтый эротоман), называл валдайских бараночниц «дешевыми красавицами» (Набоков 1998: 615).

<sup>409</sup> Такой термин по отношению к герою «Путешествия из Петербурга в Москву» употребляет А.А. Архангельский, автор предисловия к современному школьному изданию произведений Радищева (см.: Радищев 2000: 5).

<sup>410</sup> Как известно, каламбурное значение слова «баранки», возникающее в контексте обсуждаемой филиппики Радищева, обыгрывал уже А.С. Пушкин в стихотворном послании С.А. Соболевскому от 9 ноября 1826 года. Здесь поэт описывал собственную поездку по маршруту радищевского «путешественника», употребляя гастрономические термины в непристойном значении. В последней строфе адресату послания рекомендуется при проезде через Валдай купить к чаю баранок «у податливых крестьянок» (Пушкин 1994- XIII: 303). Онегин во время своего путешествия купил в Валдае «у привязчивых крестьянок» «3 связки баранок» (Пушкин 1994- VI: 496). В этой связи В.В. Набоков в своем «Комментарии» к „Евгению Онегину“ пишет о «лукавой попытке Пушкина тайком протащить в „Путешествие Онегина“ тень Радищева» (Набоков 1998: 615). Характерно в связи с нашей темой, что советские комментаторы Н.Л. Бродский и Ю.М. Лотман обходят молчанием эротический подтекст указанной покупки Онегина.



языке символического искусства. Любопытно, что Державин, по Ходасевичу, оказывается равнодушен как к «баранкам», в прямом и переносном смысле этого слова, так и к вину. Другими словами, как уже говорилось, Державин был устойчив к влиянию женских чар, в их пошлом, «земном» варианте. Нравственность у поэта была в крови и не нуждалась в подстегивании посредством моралистических кликов либо ригористической позы «просветителя» народа.

Как раз этого не скажешь о самом Радищеве. В данном контексте биографии Ходасевича обнажается условность позы главного героя повести «Путешествие из Петербурга в Москву», или, в более корректной для нашего исследования терминологии Белинского – шестидесятников, – «риторизм», «неискренность», «лицемерие» и т. д. самого автора этой повести (поскольку в критике 1860-х гг. было принято, как мы видели, биографическое прочтение «Путешествия...»). Покажем это, обратившись к анализу автореферентных мотивов обсуждаемой филиппики Радищева.

**2.4.2. Автореферентные мотивы «валдайского» эпизода из «Путешествия...» А.Н. Радищева.** В композиции «Путешествия из Петербурга в Москву» цитируемый Ходасевичем фрагмент находится в начале главы «Валдаи», посвященной осуждению бытующих в этом селе развратных любовных отношений. Преамбулой к этой теме, по-видимому, следует считать сетования отца, винящего себя, по причине полученного им в молодости венерического заболевания, в смерти сына. Описанию встречи с ним «путешественник» посвятил главу «Яжелбицы», которая предшествует «Валдаям».

Известно, что биографическая интерпретация этого эпизода принадлежит одной из первых читательниц и критиков повести Радищева – Екатерине П. В частности, она заметила, что эти страницы из главы «Яжелбицы» «описывают следствия дурной болезни, которую сочинитель имел» (цит. по : Кулакова, Западов В.А. 1974: 159).

Это мнение свидетельствует об осведомленности императрицы в том образе жизни, которую вели Радищев и его товарищи во время обучения в Лейпцигском университете. Информация этого рода содержится, в том числе, в «Житии Федора Васильевича Ушакова» (1789), принадлежащем перу Радищева. Здесь писатель признавался, что главный герой его произведения, который являлся безусловным лидером их группы, «не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие неумеренности и злоупотребления телесных наслаждений» (Радищев 1949: 210) и что деньги, получаемые им и его товарищами из дома, «послужили к <их> в любострастии невоздержанию» (Радищев 1949: 218). В последнем Радищев обвиняет надзирателя майора Е.Ф. Бокума, с которым конфликтовала вся группа: «Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе смотрение были оногo корень, как то оно есть и везде, в чем всякий человек без предубеждения признается» (Ради-

щев 1949: 218). Известно, что Ф.В. Ушаков умер 7 июня 1770 года от венерического заболевания. Другой участник группы Радищева В.П. Трубецкой умер летом 1771 года в России, «по предположению А.И. Старцева<sup>411</sup>, от болезни, полученной в Лейпциге» (Кулакова, Западов В.А. 1974: 159).

В контексте биографии Ходасевича, при обнажении автореферентности яжелбицкого эпизода, филиппика Радищева против развратных валдайских «девок» приобретает дополнительный комизм.

Дело в том, что поведение «печального путешественника» оказывается травестированным вариантом любовной стратегии другого, так называемого «русского путешественника» – жизнетворческой маски Н.М. Карамзина. Ниже будет показана пародийная переадресация Ходасевичем Карамзину иронических девизов по поводу ханжеского отношения к светской морали, которые были выражены в стихотворении последнего «Исправление» (1797). Здесь же процитируем фрагменты этого стихотворения, необходимые для доказательства выдвинутого тезиса.

В начале лирический герой Карамзина призывает своих друзей «беспутство кинуть», забыть об «утехе» «беспечной юности». Далее эта установка уточняется в деталях:

<...>

Прямым раскаяньем докажем,  
Что можем праведными быть.

Простите, скромные диваны,  
Свидетели нескромных сцен!  
Простите хитрости, обманы,  
Беда мужей, забава жен!

Отныне будет все иное:  
Чтоб строгим людям угодить,  
Мужей оставим мы в покое,  
А жен начнем добру учить...

<...>

Искусство нравиться забудем  
И с *постным* видом в *мясоед*  
Среди собраний светских будем  
Ругать как можно злее свет;

Бранить все то, что сердцу мило,  
Но в чем сокрыт для сердца вред;  
Хвалить, что грешникам постыло,  
Но что к спасению ведет.

---

<sup>411</sup> Автор книги «Университетские годы Радищева», вышедшей в свет в издательстве «Советский писатель» в 1956 году.

Memento mori! Велегласно  
На балах станем восклицать  
И стоном смерти ежечасно  
Любезных ветрениц пугать –

Как друг ваш столь переменился,  
Угодно ль вам, друзья, спросить?  
Сказать ли правду?.. Я лишился  
(Увы!) способности грешить!

(Карамзин 1966: 238-239).

Очевидно, что обсуждаемый автореферентный сюжет в повести Радищева, прочерченный Ходасевичем, является буквальной реализацией фигурального дискурса «Исправления»: Радищев, вследствие приобретенного венерического заболевания «лишившийся способности грешить», то есть предаваться любимым «телесным наслаждениям», бросился в другую крайность и стал завзятым ханжой.

Следует сказать, что это не единственная связь между образами Радищева и Карамзина в системе персонажей биографии Ходасевича. Ниже мы еще остановимся на этом вопросе в связи с обсуждением жизнетворческого поведения Карамзина в сцене знакомства с Державиным.

Указание на комизм, присутствующий в ригористической позе «печального путешественника», является сопутствующим фактором при обнажении Ходасевичем глубоко серьезного, идеологического аспекта в радищевском подходе к теме эротики. Здесь мы вплотную приблизились к рассмотрению затронутого выше вопроса о генезисе социалистической морали.

Как видим, в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев предстает нравственным человеком, осуждающим собственные ошибки молодости. В этом же смысле писатель высказывается и в «Житии Федора Васильевича Ушакова», делая упор на возраст и, таким образом, в известной степени оправдывая как свое собственное развратное поведение, так и поведение своих товарищей. По Радищеву, если он и допускал безнравственные поступки, то все это – в прошлом, и потом, кто же не пробовал запретных плодов в юности? Так, описывая связь героя своего «жития» с некой разведенной дамой, имевшей виды на его довольно видное служебное положение, Радищев признается, что поступил бы на его месте и в его возрасте точно так же: «О если бы и мое пробуждение могло быть иногда таково же, если бы я паки имел не более двадцати лет! Мой друг, жалей, если хочешь, о моей слабости: но се истина» (Радищев 1949: 210).

Однако этим признаниям писателя несколько противоречат свидетельства его второй супруги Е.В. Рубановской и младшего сына П.А. Радищева. Последний писал о пристрастии своего отца к женщинам как о его постоянном качестве характера: «Он был среднего роста и в молодости был очень хорош, имел прекрасные карие глаза, очень выразительные, был пристрастен к женскому полу» (Биография А.Н. Радищева 1959: 98). А из

высказывания Е.В. Рубановской можно понять, что ее муж не оставлял своим вниманием «молодых девушек» и в Сибири. Сравнить этот эпизод в биографии П.А. Радищева: «В Илимске она не давала ему упасть духом, прилежно занималась хозяйством и чужда была всяких подозрений и капризов, свойственных многим женщинам. Однажды, когда разговор зашел о ревности жен к мужьям, она сказала: „Что мне за нужды, если моему мужу нравится какая-нибудь молодая девушка, если он ее любит. Он ее не может любить больше меня. О, если б он ее любил больше меня, вот это было бы мне больно“» (Биография А.Н. Радищева 1959: 86).

Итак, по Ходасевичу, биографическая и литературная личность Радищева в данном эпизоде филиппики против распущенных валдайских нравов не совпадают, и, таким образом, утверждения шестидесятников об «искренности» автора «Путешествия из Петербурга в Москву» обнаруживают свою идеологическую ангажированность. По Ходасевичу, если искать настоящего отношения Радищева к теме эротики, то, видимо, в том же «Житии Федора Васильевича Ушакова», где главный герой, умерший от венерического заболевания, изображается как чуть ли не святой, в соответствии с жанром этого произведения, обозначенным в заголовке<sup>412</sup>. Здесь Радищев оправдывает «шалости» своего друга ради проявленных им качеств, так сказать, «борца за права человека», что, в соответствии с нашей темой, напоминает об аналогичной житнетворческой стратегии Чернышевского, закрывавшего глаза на измены жены ради ее «демократических убеждений». В любом случае, и у Радищева, и у Чернышевского вопросы нравственности, в собственном смысле этого слова, отходят на второй план, точнее говоря, становятся темой, спекуляция на которой представляется эффективным идеологическим и политическим оружием.

В биографии Ходасевича рассмотренный валдайский эпизод является не единственным, где судьба Державина пересекается с Радищевым и его окружением. В освещении обстоятельств так называемого дела потемкинского комиссионера Гарденина писатель указывает на источник сатирических инсинуаций автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Здесь же еще раз обнажается идеологическая тенденциозность этого произведения.

**2.4.3. Круг Воронцовых как источник антипотемкинской сатиры в «Путешествии...» Радищева («Дело Гарденина»).** Вообще говоря, на тенденциозность радищевских обличений указывал еще А.С. Пушкин, когда писал о них как о «горьких, возмутительных сатирах» (Пушкин 1994- XII: 33), как о «карикатуре» (Пушкин 1994- XI: 256). Для нас особенно любопытен приведенный Пушкиным пример такой карикатуры из главы «Пешки», указывающей между прочим на небрежность Радищева в приведении фактов: «Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку

---

<sup>412</sup> По-видимому, именно этим парадоксом было вызвано обвинение Державина в адрес Радищева по поводу незнания русского языка. См. сноску 417.

жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: *и начала сажать хлебы в печь*» (Пушкин 1994- XI: 256-257).

Точно так же, как будет показано ниже, Радищев сгущал краски и в описании бедственного положения солдат потемкинской армии, участвовавших в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. По этому поводу он, в частности, писал (гл. «Спасская Полесь»): «Военачальник мой <Г.А. Потемкин – В.Ч.>, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почитались хуже скота. Не радели ни о их здравии ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялася; лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужные и безвременные строгости» (Радищев 1949: 66).

Державин, в качестве тамбовского губернатора, принимал непосредственное участие в снабжении продовольствием армии Г.А. Потемкина, и поэтому голод солдат, причиной которого, по Радищеву, была преступная нераспорядительность главнокомандующего, по-видимому, должен лежать и на его совести.

По Ходасевичу, упомянутый Гарденин был прислан Г.А. Потемкиным в Тамбовскую губернию для закупки провианта. Деньгами для этой цели его должна была снабдить казенная палата, однако ее начальник вице-губернатор Ушаков отказался это сделать, как подчеркивает Ходасевич, «имея в том свою выгоду» (Ходасевич 1988: 126). Тогда Гарденин обратился за помощью к губернатору, то есть к Державину, который формально не имел права вмешиваться в дела казенной палаты. Тем не менее, поэт считал своим долгом помочь Гарденину. Этими воспользовались его враги в лице того же Ушакова и покрывающего его генерал-губернатора Гудовича и послали жалобу в Сенат. Тот отреагировал в их пользу, и Державин получил выговор за превышение своих служебных полномочий. Помощь Гарденину послужила поводом для отрешения поэта от должности и предания суду.

В этом деле обращают на себя внимание, прежде всего, действия вице-губернатора Ушакова. Почему этот чиновник, вообще говоря, не только осмелился не исполнить ордера могущественного Потемкина по оказанию помощи его провиантскому комиссионеру, но и был уверен, что за этот поступок ему, так сказать, причитаются «дивиденды»? К тому же, вероятно, Ушаков был не единственным председателем губернской казенной палаты, противодействовавшим снабжению армии Потемкина продовольствием. То есть, на первый взгляд, безумный по своей смелости, поступок тамбовского вице-губернатора был заранее одобрен некой могущественной силой «сверху», заинтересованной, в конечном итоге, в подрыве авторитета Потемкина. Никакой Гудович, конечно, не мог бы обеспечить Ушакову полную безнаказанность в этом деле.

Державин в «Записках» называет в этой связи имена генерал-прокурора князя А.А. Вяземского и графа П.В. Завадовского, являвшегося другом и родственником Гудовича. Однако Ходасевич, излагая дело Гар-

денина, упоминает только одного «сильного» человека, которого, в данном контексте, можно причислить к высоким покровителям Ушакова-Гудовича – графа А.Р. Воронцова, соратника Радищева. Именно ему, по Ходасевичу, Гудович направил свою жалобу на действия Державина, где просил уволить поэта с занимаемой должности («„развода“» (Ходасевич 1988: 126)), «яко причиняющим „беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи“» (Ходасевич 1988: 126).

Мы полагаем, что акцентирование Ходасевичем участия Воронцова в обсуждаемой интриге против Потемкина является аллюзией на мемуарное свидетельство Л.Н. Энгельгардта, бывшего адъютантом у светлейшего князя, по поводу доноса на его патрона, исходящего из круга Воронцовых.

По словам мемуариста, в декабре 1783 года «княгиня Дашкова, бывшая в милости и доверенности у императрицы, довела до сведения ее через сына своего, бывшего при князе дежурным полковником, о разных неурядицах в войске: что слабым его управлением вкралась чума в Херсонскую губернию, что выписанные им итальянцы и другие иностранцы для населения там пустопорожних земель, за неприготовлением им жилищ и всего нужного, почти все померли, что раздача земель была без всякого порядка, и окружающие его делали много злоупотребления и тому подобное; к княгине Дашковой присоединился А.Д. Ланской» (Энгельгардт 1988: 234). Императрица, удостоверившись в клевете, «лишила милости княгиню Дашкову, отставила ее от звания директора Академии, а на место ее пожаловала г. Домашнева; князю возвратила доверенность» (Энгельгардт 1988: 234). Из последнего свидетельства Энгельгардта становится, между прочим, ясна кровная заинтересованность Дашковой (следовательно, ее брата), так сказать, в компенсировании Потемкиным понесенного ею материального и морального ущерба<sup>413</sup>.

Согласно «Памятным запискам» А.В. Храповицкого, подобный по содержанию донос на Потемкина был подан на высочайшее имя Н.А. Пассек в первых числах октября 1787 года, то есть в начале русско-турецкой войны: «Она писала о корыстолюбии графа Румянцева-Задунайского и что князь Потемкин-Таврический морит солдат» (Храповицкий 1990: 41)<sup>414</sup>. По логике ходасевичевского повествования в «Державине», подобные инси-

---

<sup>413</sup> Кстати говоря, по свидетельству того же Энгельгардта, сам полковник Дашков, командовавший полком в начале второй русско-турецкой войны, своими действиями довел солдат до крайности: «При командовании же полком князем Дашковым, солдаты во многом претерпевали нужды, для продовольствия провианта и фуража он принимал деньгами и задерживал их; то же случалось и с жалованьем; хотя через некоторое время оно и отдавалось, но не в свое время; лошади были худо накормлены, отчего в переходах в Польше бралось множество подвод, почему беспрестанно на полк были жалобы, а во время кампании к полковому обозу наряжались солдаты, чтобы в трудных местах пособлять взвозить на горы. Чтобы нижние чины не роптали, князь дал поползновение к воровству, чем по времени Сибирский полк получил дурную молву; полковник имел пристрастие к некоторым офицерам, зато другие были в загоне и претерпевали разные несправедливости» (Энгельгардт 1988: 253).

<sup>414</sup> Екатерина весьма жестко оценила эти инсинуации: «Говорено о Пассековой: „Она стоит того, чтоб ее запереть, но по старости ея лет, пусть свой век доживает.“» (Храповицкий 1990: 41). Этот разговор произошел 6 октября, а 14 октября императрица сказала по поводу доноса Н.А. Пассек: «„Она бы при Императрице Анне высечена была кнутом, а при Императрице Елисавете сидела бы в Тайной; есть такие письма, кои надлежало сжечь и не можно отдать Шешковскому“» (Храповицкий 1990: 43).

нуации против Потемкина исходили из круга Воронцовых. Очевидно, процитированное обвинение «печального путешественника» в адрес светлейшего князя является их вариантом.

По Ходасевичу, Державин, пекшийся в деле Гарденина о государственной пользе России, оказался жертвой антипотемкинской и, значит, антиимперской политики, которую вели Воронцовы в собственных эгоистических интересах и в интересах своей «партии»; и радищевский памфлет является частью этой политики<sup>415</sup>.

**2.4.4. Борьба Державина с окружением Радищева в царствование Александра I («Указ о вольных хлебопашцах»).** Аналогичная ситуация возникла в царствование Александра I: Державин в должности министра юстиции сразился с окружением Радищева за сильную государственную власть в России и за это поплатился своим портфелем.

Мы имеем в виду противодействие Державина проведению в законную силу так называемого указа о вольных хлебопашцах. Ходасевич полностью поддерживает позицию поэта в этом вопросе: «В Сенате он вслух критиковал указ о вольных хлебопашцах, говоря, что „в нынешнем состоянии народного просвещения не выдет из того никакого блага“ и что указ, сверх того, неисполним (что позже и было подтверждено событиями)» (Ходасевич 1988: 186).

Ходасевич стыкует в одном абзаце данный фрагмент своего повествования с упомянутым выше описанием твердой позиции, которую занял Державин как министр юстиции по отношению к самому Александру I, пытавшемуся противозаконно исполнить просьбу своей фаворитки М.А. Нарышкиной. При этом Ходасевич подчеркивает в поведении Державина с государем резкость и прямоту (тем более замечательные, что его положение на посту министра юстиции было крайне неустойчивым), как бы отвечая таким образом на обвинения шестидесятников в адрес поэта в низкопоклонстве и беспринципном карьеризме: «Когда государь, уступая чарам Нарышкиной, пожелал совершить незаконный поступок, Державин не только наотрез отказался ему содействовать, но и объявил с укоризною (почти слово в слово, как некогда Екатерине), что оберегает „не токмо Его закон, но и Его славу“» (Ходасевич 1988: 186).

Таким образом, в данном контексте указ о вольных хлебопашцах был столь же противозаконен, как и попытка Александра решить дело по опеке имения графини Соллогуб в пользу креатуры своей фаворитки. Ходасевич ясно намекает на взрывоопасную суть данного указа, подчеркивая его неисполнимость. В самом деле, по Ходасевичу, получается, что Александр собрался облагодетельствовать одну сторону за счет другой. Разница масштабов не меняет сути дела: «вольные хлебопашцы», как и мужья Колтов-

---

<sup>415</sup> Известно, что Екатерина в этой связи говорила о масонских взглядах Радищева. См. следующую запись Храповицкого, датируемую 26 июня 1790 года: «Говорено о книге П у т е ш е с т в и е и з П е т е р б у р г а д о М о с к в ы: тут рассеяние Французской заразы: отвращение от начальства; автор Мартинист...» (Храповицкий 1990: 226). Напомним, что А.Р. Воронцов также был масоном.

ской и графини Соллогуб, по данной логике, получают земли, а помещики и, соответственно, жены, обладающие этой землей по закону, лишаются средств к существованию.

По Ходасевичу, Александр в своих решениях почти полностью зависел от окружения: «Александр находился как бы в сердечном плену у людей, которые то открыто, то хитростью, из побуждений то вовсе низких, то более возвышенных, стремились ослабить единодержавную его власть. Он сам тяготился этим пленением, но еще не смел обнаружить истинных своих мнений» (Ходасевич 1988: 185). Дело с участием М.А. Нарышкиной, несмотря на свою кажущуюся незначительность, приводится писателем как один из примеров такой зависимости, подрывающей авторитет государя и, как результат, ставящей под угрозу само существование Российского государства как империи.

В таком же плане, по Ходасевичу, следует рассматривать и указ о вольных хлебопашцах, инициированный, как было показано выше, в кругу Воронцовых, вполне возможно, при ближайшем участии Радищева. Именно в связи с противодействием Державина данному указу Ходасевич пишет о «подвохах, клевете и насмешке», посредством которых преследовали Державина его «враги» (Ходасевич 1988: 186), то есть, прежде всего, заинтересованные лица: Воронцовы и стоящий за ними Радищев. Такой клеветой и были слухи о неблагоприятном поведении Державина по отношению к автору «Путешествия из Петербурга в Москву»<sup>416</sup>. Как раз в 1802-1805 гг., то есть в самый разгар полемики по крестьянскому вопросу, эти слухи получили наибольшее распространение (Немировский 1991: 128). А то, что они активно муссировались в кругу Воронцовых, однозначно свидетельствует письмо княгини Е.Р. Дашковой к брату, графу А.Р. Воронцову, датированное ноябрем 1793 года. Замечательна сама убежденность в представлении о Державине-доносчике: «... когда Козодавлева посадили в коммерцию, то Державин сказал при многих: „Вот какой я души человек, что я не сказал о Козодавлеве, что он участие имел в сочинении Радищева. Козодавлев против меня не благодарен, меня злословит.“ Державин меня и брата злословит: я имею де способ изобличить обоих и не хочу. Для чего, когда Державин, почувствовав ужас к следствиям преступного сочинения и зная прямых сочинителей, марал и клеветал честных людей? Вышеупомянутая речь мне пересказана от честного и неживого человека, от Богдановича, при котором он говорил»<sup>417</sup> (цит. по: Грот 1997: 459).

---

<sup>416</sup> В верности этой сплетни сам А.Н. Радищев был твердо уверен (Биография А.Н. Радищева 1959: 105). Сравнить комментарий Д.С. Бабкина: «Экземпляр книги, подаренный Радищевым Державину, был отобран от последнего Петербургской управою благочиния и передан в Тайную экспедицию Шешковскому» (Биография А.Н. Радищева 1959: 120). Он же свидетельствует, что среди автографов Державина цитированная выше эпитафия на Радищева не обнаружена (Биография А.Н. Радищева 1959: 120). Впрочем, эти данные, опровергающие достоверность слухов о неблагоприятном поведении Державина по отношению к Радищеву, приводил уже Грот в «Жизни Державина» (см.: Грот 1997: 457-460).

<sup>417</sup> Из этого же письма можно узнать о мнении Державина по поводу писательских способностей Радищева: «Однажды, когда мы были в Российской академии, Державин, говоря о том, что у нас вообще плохо знают русский язык и не вполне понимают значение слов, а все-таки хотят быть писателями, сказал мне, что недавно прочел глупую книгу Радищева об одном из умерших друзей его (Ушакове) и спро-



Характерно употребление «врагами» Державина нравственно-моралистических категорий в политических целях. Таким образом, раскрытие содержательной части их «клеветы», упомянутой Ходасевичем, приводит нас к источнику соответствующей особенности в дискурсе шестидесятников.

Чуть ниже Ходасевич обнажает в интригах «врагов» Державина источник и для такой «конструктивной» идеи в критике 1860-х гг., как утверждение о неспособности поэта исполнять должность министра юстиции. Вот как Ходасевич раскрывает происки ближайшего окружения Александра, его (окружения) мелочность и злопамятность: «Повторное предложение остаться в Совете и Сенате делалось с тонким умыслом, по наущению врагов его. Они побаивались мнения публики. Для них было бы наилучшим оправданием, если б Державин просил освободить его лишь от должности министра: тем самым признал бы он, что вообще служить хочет, но министерский пост ему не по силам. Подсылали людей и к жене его. Зная честолюбие Дарьи Алексеевны и ее любовь к деньгам, обещали Державину в виде пенсии полное министерское жалованье (16 000 руб. в год) и Андреевскую ленту – только бы он написал такое прошение. Но он подал краткую просьбу об увольнении от службы вовсе. За это убавили ему пенсии и лишили ордена.

Высочайший указ был дан 8 октября 1803 г., ровно через тринадцать месяцев после манифеста об учреждении министерств» (Ходасевич 1988: 186-187).

Таким образом, если вспомнить актуальность грибоедовского кода в биографии Ходасевича «Державин» для характеристики Воронцовых, то в разобранных эпизодах с их участием они выступили в амплу злобных сплетников, как типичные представители «фамусовского» общества. В связи с этим афиширование Радищевым своих вольнолюбивых взглядов и приобщение к ним через посылку скандальной книги Державина, находит парадоксальное соответствие в провокационном поведении Репетилова. Ниже будет показано, что в контексте биографии Ходасевича аналогично трактуется поведение другого «русского путешественника» – Н.М. Карамзина, который на обеде у Державина сочувственно говорил о французской революции в присутствии дамы, знакомой с М.С. Перекусихиной (конфиденткой императрицы).

В связи с разбором ходасевичевской концепции личности Радищева и его «сподвижников», представленной в биографии «Державин» и полемически направленной против взглядов шестидесятников, остается еще рассмотреть образ князя Н.В. Репнина.

---

сил, читала ли я эту книгу. Когда я отвечала отрицательно, но заметила, что едва ли она глупа, так как автор неглуп, то он послал за нею и дал мне ее. По прочтении книги я увидела ясно, что автор старался подражать Стерну, сочинителю „Чувствительного путешествия“, что он читал Клопштока и других немецких писателей, но не понял их, что он запутался в метафизике и сойдет с ума» (цит. по: Грот 1997: 459). См. также сноску 412.

**2.4.5. Концепция личности Н.В. Репнина в биографии Ходасевича «Державин».** В тексте биографии Ходасевича имя Н.В. Репнина упоминается однажды при описании придворных обстоятельств, сложившихся для Г.А. Потемкина крайне неблагоприятно и, в конце концов, послуживших причиной его безвременной кончины. «Зубов усиливался, – пишет Ходасевич, – Репнин, с согласия императрицы, вел с турками переговоры о мире, который должен был положить конец всем потемкинским замыслам» (Ходасевич 1996- III: 265). В данном контексте Репнин, известный прежде всего как человек из ближайшего окружения наследника престола<sup>418</sup> и, следовательно, по определению не могущий вызывать доверия у императрицы, довольно неожиданно предстает в качестве ее верного орудия в проводимой политике по усилению П.А. Зубова в ущерб влиянию Г.А. Потемкина. Каким качеством должен обладать человек, чтобы Екатерина, несмотря на его сомнительное положение при дворе, смогла доверить ему столь сложное и ответственное поручение, имеющее самое непосредственное отношение, прежде всего, к той же придворной политике? – вот первый вопрос, возникающий у читателя при знакомстве с данным фрагментом произведения Ходасевича. В поисках ответа на этот вопрос обратимся к рассмотрению действий Репнина по заключению мира с турками, которые были зафиксированы в исторических источниках.

Тот же Д.Б. Масловский сообщает о крайней спешке Репнина, опытного дипломата, в подписании мирного договора, вызванной необходимостью закончить дело до прибытия Потемкина из Петербурга. Этим обстоятельством ученый объясняет странные уступки Репнина противной стороне, идущие явно в разрез с интересами России: «... он, по выражению современника, „столь странно вел сию негоциацию, что не одними темными местами прелиминариев, но многими словесными объяснениями, на которые ссылались потом турки“, дал им повод „во всяком пункте что-нибудь для себя требовать“. Он согласился на 8-месячный срок перемирия,— „срок, ничем не вынужденный, так как самые доброхотствовавшие Порте дворы предлагали только 4-месячный“; по-видимому, он пошел на уступки и в вопросе о левом берегу Днестра» (Половцов 2006). Потемкин, разгневанный действиями Репнина, разорвал заключенный им Галацкий договор, «потребовав сверх заявленных <в нем> условий уплаты контрибуции в 20 миллионов пиастров» (Половцов 2006). Однако Репнин, согласно Д.Н. Бантыш-Каменскому, в ответ на «страшные упреки» и «угрозы» Потемкина в его адрес «с гордостью» отвечал: «Я исполнил долг свой, и готов дать ответ Государыне и Отечеству» (Половцов 2006).

---

<sup>418</sup> Д.Б. Масловский, автор статьи о Репнине в биографической энциклопедии А.А. Половцова, пишет по этому поводу: «Связь его с Павлом была давней и крепкой. Он был едва ли не первым советником Цесаревича по делам военным; он принимал деятельное участие в гатчинских экзерцициях, во время своих наездов в Петербург, не гнушаясь становиться в строй рядом с садовниками и камер-лакеями Павла. Их переписка поддерживалась постоянно и носила всегда сердечный характер. Еще незадолго до вступления на престол, будущий Император писал Репнину (13 февраля 1796): „О себе я буду говорить только с единственной целью просить Вас убедиться в чувствах, с которыми я есть и буду всю жизнь, даже если бы Вы и не желали этого от меня, Вашим искренним другом“» (Половцов 2006).

Д.Б. Масловский также сообщает, что Екатерина, в свою очередь, была удовлетворена действиями Репнина и потребовала от Потемкина передать ему свое высочайшее благоволение<sup>419</sup>, чем, конечно, окончательно раздавила гордость светлейшего князя.

Все же вмешательство в это дело Потемкина возымело свое действие: его ссора с Репниным состоялась 1 августа 1791 года, на следующий день после подписания Галацкого договора, а уже через несколько месяцев, в октябре-декабре, были начаты другие переговоры с турками, приведшие к заключению так называемого Ясского мирного договора. Документы, подписанные Репниным в Галаце, в последующей исторической литературе стали трактоваться как «предварительные условия мира между Россией и Портой»<sup>420</sup>. Сам же Репнин по окончании войны «оказался не у дел и поселился в своем подмосковном имении Воронцове, где и провел зиму» (Половцов 2006: статья Д.Б. Масловского о Репнине).

Итак, Репнин, как намекает Ходасевич, в своих действиях руководствовался прежде всего личными приказами Екатерины, даже если видел, что эти приказы наносят объективный вред его Отечеству. Если употребить, как мы полагаем, подразумеваемый в комментируемом месте ходасевичевского повествования грибоедовский код, то Репнин видел свой долг в молчалинском «прислуживании» конкретным вышестоящим лицам: в деле Галацкого договора – Екатерине, в других случаях – Павлу либо Н.И. Панину и т. д. Служба «делу», то есть здесь – славе России, как ее понимали Чацкий или, в интерпретации Ходасевича, Державин и Бибииков, для Репнина была не характерна. Он ни за что не стал бы противоречить императрице в случае нарушения ею своего монаршего долга быть гарантом законности и благосостояния государства, как это делал неоднократно Державин. Екатерина могла запомнить это, по Грибоедову, весьма для нее симпатичное свойство натуры Репнина еще по его действиям в Польше, где тот отличился в роли безукоризненного исполнителя ее инструкций, оказавшихся вредными по своим последствиям<sup>421</sup>.

---

<sup>419</sup> Д.Б. Масловский приводит в этой связи следующий письменный отзыв Екатерины по поводу заключенного Репниным мира: «С особливым удовольствием усматриваем, что помянутый генерал удовлетворил доверенности, от Вас на него возложенной, предохранением в полной силе всех тех условий, которые мы непременно в основание мира полагали; не меньше и в пунктах перемирия принял он осторожности, нужные на случай, буде бы, вопреки всякому чаянию, оказалось недобрые намерения турецкие, и потому поручаем Вам изъявить ему наше монаршее благопризнание» (Половцов 2006).

<sup>420</sup> См., например, статьи «Галац» в энциклопедии Брокгауза и Ефрона и «Ясский мирный договор» в Большой Советской энциклопедии.

<sup>421</sup> Вот как Масловский комментирует удаление Репнина из Польши: «Необходимость удаления его сознавалась одинаково ясно и им самим, и Императрицей, и Паниным. Но прямое отозвание было бы слишком явным — для поляков — проявлением слабости и слишком явной несправедливостью по отношению Репнина, деятельность которого в Польше явилась только точным выполнением предначертаний Императрицы, парализовать вредные последствия которых он был в полной мере бессилён, при всем своем искусстве и проницательности» (Половцов 2006). Например, известно, что Репнин оценивал план императрицы по уравниванию прав православных в католической Польше, ставший, в конце концов, одним из главных камней преткновения российской политики в этой стране, как вполне бесперспективный. Об этом он писал Н.И. Панину: «Повеления, данные по диссидентскому делу, ужасны; истинно волосы у меня дыбом становятся, когда думаю об оном, не имея почти ни малой надежды, кроме единственной силы, исполнить волю Всемиловейшей Государыни» (Половцов 2006). Тем не менее, Репнин взялся исполнить это дело, наводя порядок, что называется, «огнем и мечом». Результатом его усилий стал так

Еще очевиднее «молчалинство» Репнина, подаваемое по контрасту с независимой позицией Державина, проявляется в том эпизоде биографии Ходасевича, где описываются действия поэта, попавшего в немилость у Павла в результате своего нетактичного ответа. Напомним, что в критике 1860-х гг. этот эпизод оказался в числе наиболее обсуждаемых и приводился в качестве примера низкопоклонства и лести Державина по контрасту с высоконравственным поведением Репнина.

По Ходасевичу, Державин обратился за помощью к Репнину против своей воли, под давлением супруги Дарьи Алексеевны и друзей – Капниста и Львова. При этом адресат обращения поэта заменяется наречным образованием «туда-сюда», которое в контексте указанной двойственной позиции Репнина в отношении Павла и Екатерины может при желании рассматриваться как ее символическое обозначение: «Державин сунулся было туда-сюда, но нигде помощи не нашел» (Ходасевич 1988: 160).

Сам поэт даже в столь критическом положении был поглощен метафизическими размышлениями на тему, зафиксированную в названии его стихотворения «Бессмертие души». Ходасевич цитирует из него строфу, в которой ярко выражается отстраненное отношение лирического героя Державина к «делам житейским» (Ходасевич 1988: 160), то есть, в данном случае, – к поискам примирения с Павлом, актуальным для его близких.

Отколе, чувств по насыщенье,  
Объемлет душу пустота?  
Не оттого ль, что наслажденье  
Для ней благ здешних – суета,  
Что есть для нас другой мир, краше,  
Есть вечных радостей чертог?  
Бессмертие – стихия наша,  
Покой и верх желаний – Бог!

(цит. по: Ходасевич 1988: 160).

Ниже Ходасевич вступает в открытую полемику с критиками, обвинявшими Державина в лести в связи с написанием оды «На новый 1797 год», то есть в свете нашей теме – прежде всего с шестидесятниками: «За нее Державина ославили льстецом, – обвинение незаслуженное. Державин видел еще лишь начало царствования, ознаменованное, при всех резкостях, рядом великодушных поступков и благих начинаний» (Ходасевич 1988: 160). В ряду перечисляемых Ходасевичем «великодушных поступков» Павла, воспетых Державиным в этой оде, для нас особенно актуальна амнистия пленным полякам, в том числе их вождям Костюшко, Потоцкому и Немцевичу, а также – Радищеву и Новикову.

Свою настоящую остроту данный эпизод биографии Ходасевича приобретает с учетом негативной контрастной пары к образу Державина в лице князя Н.В. Репнина.

---

называемый Варшавский договор 1768 г., уравнивающий права диссидентов. Это привело к русско-польской войне и к последующему первому разделу Польши.

Как известно, Репнин был видным масоном, выделяющимся своей благочестивостью даже среди других членов ложи<sup>422</sup>. В процитированном выше стихотворении Державина выражаются как раз те общечеловеческие, христианские идеи, которые были особенно актуальны для масонов<sup>423</sup>. Державин, по Ходасевичу, если бы не давление со стороны супруги, реализовал бы их даже в ситуации опалы, точнее говоря, «бросил все это дело <поисков примирения с Павлом – В.Ч.>, стал бы писать стихи» (Ходасевич 1988: 160), подобные «Богу» либо «Бессмертию души». Какую же позицию в связи с этим занимал Репнин? неужели он добился расположения Павла своим благочестивым поведением и соответствующими размышлениями? но почему, в таком случае, Державин не смог ими достучаться до сердца императора? – к таким и подобным вопросам подводит Ходасевич читателя, воспринявшего замечание писателя по поводу знаменитой сцены аудиенции Державина у Репнина, явно несоразмерное по своей беглости значимости эпизода, как указание на необходимость учета «репнинского» подтекста в данном фрагменте биографии.

Вот как Д.Б. Масловский описывает поведение Репнина по отношению к Павлу (заметим от себя, что Репнин *так* поступает *добровольно*): «Зная непостоянный и подозрительный характер Павла, Репнин, однако, зорко следил за тем, чтобы закрепить за собой его милость. Находясь в Петербурге, он усердно посещал лекции тактики пресловутого Каннабиха, которыми справедливо гнушались остальные „Екатерининские“ генералы, до виртуозности усвоил гатчинские приемы, доведя свое умение салютовать эспантоном до такой степени, что достойным соперником ему в этом искусстве являлся лишь сам Император; тщательно сторонился всех, кто был неприятен Павлу или хотя бы мимолетно навлекал его гнев. Этими путями ему удалось не только сохранить расположение Государя, но даже приобрести некоторое на него влияние» (Половцов 2006).

Таким образом, Державин, навлекший на себя гнев Павла, был явно не ко двору у Репнина; оказался жертвой его придворной эгоистической политики. Репнин, в изображении Ходасевича, оказывается плохим миротворцем: он не примирил поэта с императором, и он же не до конца примирил Россию с Турцией, а еще раньше поссорил ее с Польшей. В последнем случае, как было сказано, он действовал скорее как боевой генерал в оккупированной стране, чем прославленный своим искусством дипломат, призванный воплотить в жизнь миротворческие проекты императрицы<sup>424</sup>.

---

<sup>422</sup> По словам другого известного масона И.В. Лопухина, Репнин «был один из тех великих мужей, истинных героев, любителей высочайшей добродетели, которых деяния читают в истории с восторгом удивления и коих величию не понимающие совершенства добродетели не имеют силы верить» (цит. по: Половцов 2006: статья о Репнине Д.Н. Бантыш-Каменского).

<sup>423</sup> См. об этом, напр., в работе: Кукушкина 2002. Исследовательница устанавливает тематические связи между такими религиозно-философскими стихотворениями Державина (по Ходасевичу, идеологически родственными «Бессмертию души»), как ода «Бог» и «Река времен в своем стремлении...» и масонской поэзией М.М. Хераскова.

<sup>424</sup> Согласно Д.Б. Масловскому: «Польша видела в нем не дипломата дружественной державы, а генерала вражеской армии в захваченной, но не покоренной еще стране. Борьба против него стала, в глазах шляхты, борьбой за свободу Польши, ради которой забыты были даже недавние религиозные рас-

Выше мы объясняли малоэффективную службу Репнина в Польше и в Галаце пониманием им своего долга как буквального выполнения инструкций императрицы, или в грибоедовском коде – его «молчалинской» «бессловесностью», понимаемой в прямом смысле этого слова. Однако проводимая Ходасевичем тематическая связь между «миротворческими» действиями Репнина в отношении Державина и Павла, с одной стороны, и в отношении Екатерины и ее ближайших соседей, с другой, заставляет нас взглянуть на его службу в ином свете, а именно – с точки зрения глубинной установки подобного «молчалинского» поведения, скрытого в нем «тартюфства» (ханжества).

В самом деле, судя по приведенному выше набору правил поведения Репнина в отношении Павла, чересчур высокомерное обращение с опальным Державиным стоит в одном ряду с такими явно утрированными жестами, как демонстративный интерес к лекциям Каннабиха, салютование эспантоном и нахождение в строю с садовниками и камер-лакеями Павла. То есть Репнин откровенно играл на человеческих слабостях императора, имея в том свою выгоду. Если следовать проведенной Ходасевичем аналогии, то точно так же он поступал и по отношению к Екатерине: играя на ее имперских мечтаниях, как-то соединенных с просвещенческими иллюзиями эпохи «Наказа», как в случае с Польшей, или – на ее поздней страсти к П.А. Зубову, как в случае Галацкого договора, подчеркнуто безукоризненным исполнением утрировал ее инструкции, делая очевидными для всех их вредные последствия.

В грибоедовском коде ходасевичевскую интерпретацию указанной установки поведения Репнина можно описать известным «молчалинским» правилом, согласно которому игра на человеческих слабостях «полезного человека» позволяет добиться его расположения и, в конечном итоге, приводит к жизненному успеху<sup>425</sup>.

Таким образом, Ходасевич посредством грибоедовского кода переадресует обвинение в низкопоклонстве, лести и лицемерии, выдвигаемое шестидесятниками в адрес Державина, их кумиру – князю Н.В. Репнину. В этой связи писателем обнажается тенденциозность их интерпретации оды Державина «На новый 1797 год». Оказывается, критики демонстративно проигнорировали позитивный аспект деятельности Павла в начале царст-

---

при» (Половцов 2006). В этой связи парадоксально, что А.И. Бибикову, известному прежде всего своим боевым искусством, пришлось исправлять дипломатические огрехи Репнина. Мы имеем в виду пушкинскую характеристику деятельности Бибикова в Польше, данную в «Истории Пугачева»: «В 1771 году он назначен был, на место генерал-поручика Веймарна, главнокомандующим в Польшу, где в скором времени успел не только устроить упущенные дела, но и приобрести любовь и доверенность побежденных» (Пушкин 1994- IX: 32). Между прочим, согласно М. Полиевктову, автору статьи о Бибикове в биографической энциклопедии А.А. Половцова, Бибикову также было не по душе возложенное на него поручение в Польше, тем не менее, в отличие от Репнина, он исполнил его со славой для своей Государыни и Отечества. В подтексте биографии Ходасевича обозначенное противопоставление фигур Бибикова (а через него – Державина) и Репнина, несомненно, играет конструктивную роль.

<sup>425</sup> Как известно, по Молчалину, у каждого свой «интерес»: служебная лень – у Фамусова, романтические мечтания – у Софии, у Хлестовой – это чуткое внимание к ее старости и одиночеству.

вования, который нашел отражение в данной оде Державина и, следовательно, обвинение в лицемерии может быть направлено и в их адрес.

Остается еще рассмотреть полемику Ходасевича с интерпретацией в критике 1860-х гг. поведения Державина в эпизоде его споров с Н.Ф. Эминым в присутствии П.А. Зубова. Этот разбор мы используем как своеобразный «пуант» ко всему данному разделу.

### *2.5. Взаимоотношения Зубова и Державина в оценке Ходасевича*

В общем контексте биографии «Державин» Ходасевич перераспределяет роли Зубова и Державина, которые были предложены Чернышевским и другими критиками 1860-х гг. («хозяин» и по-детски горячий поэт, соответственно). Писатель творчески переосмысливает характеристику Державиным собственного поведения как менторскую позу, принятую им ввиду своей целесообразности. Ведь даже Екатерина не могла придумать лучшего противоядия от «шалостей» своего любимца, который изображается Ходасевичем как инфантильный, избалованный и капризный ребенок, чем пропедевтико-педагогический «тренинг»: совместное чтение Плутарха, чьи книги считались настольными в эпоху расцвета европейской салонной культуры. Между прочим, как уже было упомянуто выше, по Ходасевичу, роль Державина при Зубове мыслилась Екатериной именно как воспитательная и образовательная<sup>426</sup>. К этой идее ее подтолкнула ода «Изображение Фелицы», которую поэт поднес Зубову, как подразумевает Ходасевичем, в качестве «наставления» о должном отношении к особе государыни. Так что педагогические установки Державина-автора названной оды императрица оценила сполна и, судя по менторскому поведению поэта хотя бы в сцене споров с Эминым, не ошиблась в своем расчете по поводу адекватной позиции его биографической личности<sup>427</sup>.

Итак, хотя Ходасевич пропускает в своем повествовании саму сцену споров с Эминым, однако таким образом ставит фигуры Державина и Зубова друг по отношению к другу, что исключает всякую возможность двусмысленного толкования и данной сцены. Изображение им Державина как ментора и Зубова как мальчишки-«шалуна» неминуемо приводит читателя, познакомившегося с трактовкой Чернышевским и другими критиками-шестидесятниками соответствующего эпизода «Записок», к следующему заключению. Очевидно, что взрослый и серьезный человек, к тому же выполняющий сложное и ответственное педагогическое поручение императрицы, не может забыться до такой степени, как это представляет автор «Прадедовских нравов». Этот автор либо плохо представляет себе пред-

---

<sup>426</sup> «Общество Державина она, очевидно, считала полезным для маленького чернобрового шалуна; она вообще заботилась об образовании своих любимцев: читала с Ланским Альгаротти, с Зубовым Плутарха...» (Ходасевич 1988: 132).

<sup>427</sup> Другой вопрос, что императрица, как было показано выше в связи с обсуждением сатирического изображения Ходасевичем ее «софийного» начала, очевидно, ошибалась в конкретном содержании деятельности Державина при особе фаворита.

мет, о котором судит, либо подходит к нему с какой-то предвзятой, невероятной и фантазмагорической точки зрения.

Подведем общий итог данного раздела.

Итак, Ходасевич показал тенденциозность Чернышевского и других критиков 1860-х гг., неизменно характеризовавших Александра I и его сподвижников-реформаторов, в число которых входил и Радищев, как мудрых и просвещенных государственных деятелей, а Державина – как «дикого» и необразованного человека. Писатель переадресует окружению Радищева то самое обвинение в клевете, которое в нем выдвигалось в адрес Державина. В интерпретации Ходасевича, Державин оказывается выше страстей в своем твердом соблюдении закона, в отличие от шестидесятников во главе с Чернышевским и их кумиров из окружения Радищева: те и другие мнили себя «просветителями» народа, а в своей личной жизни были в полной зависимости от капризов очаровавших их женщин. В упомянутом изображении «мудрого» Александра они выдавали желаемое за действительное, наводили «глянец» на реальные мотивы его поступков, приписывая решающую роль идеям «образованности» и «общественного служения», точно так, как Чернышевский в цитированных дневниковых фрагментах стремился заместить свою страсть идеей женского «раскрепощения». Но, в таком случае, кто же «дик» и «необразован» – Державин или его критики-разночинцы? К такому риторическому вопросу подводит Ходасевич читателя своей интерпретацией разобранных выше эпизодов служебной карьеры Державина.

Если распространить символическое значение названия ходасевичевской статьи о Чернышевском («Лопух») на шестидесятническую критику, занимавшуюся оценкой личности и творчества Державина и олицетворяемой ими эпохи Екатерины Великой, в целом, то можно прийти к следующему выводу. Ходасевич не только опровергает трактовку Чернышевским и другими критиками 1860-х гг. служебной и поэтической деятельности Державина как «дикой» и «невежественной», обусловленной карьерными соображениями, но и подвергает сомнению саму способность этих критиков правильно судить о жизни и разбираться в человеческих отношениях. Во всяком случае, по Ходасевичу, «лопуху» так же далеко до императорских парков, как социалистической жизнетворческой модели поведения, возникшей впервые среди шестидесятников, до «прадедовских нравов» державинской эпохи.

\*\*\*

Подведем общий итог данной главы.

Мы старались показать на конкретных примерах полемический дискурс Ходасевича по поводу традиционного представления о неадекватности биографической и литературной личности Державина. Одним из авторов этого представления был, по указанию Ходасевича, Пушкин как автор «Истории Пугачева».

Создав в статье «Пушкин о Державине» пародийную маску «историка», Ходасевич указал читателю на принципиальную «некорректность»



«наукологического» подхода к данному сочинению Пушкина. Посредством акцентирования художественных особенностей державинского сюжета «Истории Пугачева» Ходасевич обозначил его комический план. Пушкин, гротескно заостряет такие качества характера Державина, как тщеславие и самомнение, не соответствующие его реальному поведению в минуты смертельной опасности. По Пушкину, биографический Державин во время пугачевщины оказывается не более чем травестированным вариантом созданной им в поэзии «высокой» и «героической» литературной личности.

То же самое следует сказать по поводу акцентирования Пушкиным тех черт характера Державина, которые мы условно назвали «руссоистскими»: то есть, прежде всего, его неуживчивости и конфликтности, истекающих из нежелания руководствоваться в своем поведении в «быту» принятыми нормами. В конце концов, Пушкин показывает, что Державин как «Пророк» в своих стихах в плане реальном оказывается упрямым, непереносимым и не понятным окружающими людьми чудачком.

Таким образом, Пушкин ориентировался в своем изображении деятельности Державина во время пугачевщины на жизнетворческую модель личности поэта.

В нашем исследовании мы исходили из допущения, что Пушкин пародийно акцентировал в державинском сюжете «Истории Пугачева» соответствующие мотивы «Записок», созданных реальным прототипом его героя.

Историки-позитивисты и критики 1860-х гг. во главе с Чернышевским также заметили разницу между героями «Записок» и лирики Державина. Историки попытались «сгладить», по их мнению, негативный эффект, производимый от чтения мемуаров поэта. Критики 1860-х гг. этот эффект постарались усилить. По их мнению, Державин в своей лирике был не искренен, и автобиографические признания поэта служат лишним тому подтверждением. Мужество мемуариста, целенаправленно представившего свою деятельность в комическом плане, была не замечено ни историками, ни критиками. Данная позиция Державина как автора «Записок» мотивировалась внелитературными причинами: либо небрежным отношением к документальным источникам, либо наивностью, простотой, общей «дикостью» понятий.

Ходасевич полемизировал с данными представлениями, выдвинув тезис о существенном различии биографической и литературной личности Державина. При этом он воспользовался формалистским понятием «эволюция стилей», которое, в частности, подразумевает автономность понятий литературной и биографической личности писателя. Однако этим «приемом» Ходасевич решал не столько задачи, рассматриваемые в ракурсе «поэтики», дисциплины, как известно, «поднятой на щит» формалистами, сколько вопросы нравственного и, мы бы даже сказали, религиозно-метафизического порядка.

По Ходасевичу, литературная и биографическая личность Державина, при всем своем различии, по своей значимости были адекватны друг другу.

Об этом свидетельствует хотя бы высокая оценка писателем государственной службы заглавного героя своей биографии, совершенно равноправной по своему религиозному пафосу его поэтической деятельности<sup>428</sup>.

Пушкин и его «последователи», как показывает Ходасевич, не учли этого, так сказать, «четвертого измерения» служебной деятельности Державина, «Боговдохновенного поэта» и не менее «Боговдохновенного строителя» новой могучей России; проигнорировали высокий, трагический план, неизменно сопутствующий подобной деятельности Божьего избранника. «Пророк» в поэзии, обретший свой Дар от Бога, и «человек» в жизни, в своих поступках руководствующийся ее законами, установленными, в конечном итоге, тем же Богом, – такова позиция Державина в писательской иерархии Ходасевича. И эта позиция уникальна. В представлении Ходасевича, Державин буквально богоподобен, в пределах, доступных смертному человеку и гениально обозначенных в самой знаменитой оде поэта «Бог». «Божественное сыновство человека» (Ходасевич 1988: 109), – так определяет Ходасевич открывшуюся Державину в поэтическом парении гармоническую связь между его биографической и литературной личностями, выражаясь в других терминах, связь между поэтической и человеческой ипостасями цельной и неделимой личности.

---

<sup>428</sup> См. рассуждение Ходасевича на тему соотношения государственной и поэтической деятельности Державина в издании: Ходасевич 1988: 100-103.

**КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ Н.М. КАРАМЗИНА И И.И. ДМИТРИЕВА  
В ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
ХОДАСЕВИЧА**

*§ 1. Концепция личности писателей-сентименталистов  
в очерке Ходасевича «Дмитриев»*

Ходасевич выразил свои взгляды на соотношение литературной и биографической личности писателей-сентименталистов в очерке «Дмитриев» (1937). Заглавный герой этой работы является типичным представителем названного типа писателей. В тексте его фигура контаминируется с фигурами его литературных соратников: Н.М. Карамзина, В.Л. Пушкина и «других – вплоть до юного Вяземского» (Ходасевич 1991: 148).

Очерк предваряет *curriculum vitae* И.И. Дмитриева. Из него следует, что в жизни поэт был серьезным и умным человеком. «... все современники, включая Пушкина, – пишет Ходасевич, – отмечали в Дмитриеве именно острый ум. О уме свидетельствуют его письма и в особенности составленная им автобиография „Взгляд на мою жизнь“» (Ходасевич 1991: 147).

Отсылка к автобиографии не случайна: таким образом Ходасевич приглашает читателя сравнить предлагаемую им концепцию личности Дмитриева с собственными утверждениями заглавного героя очерка и сделать вывод как об основных качествах его литературной и биографической личности, так и об их соотношении.

В самом деле, по крайней мере, в одном эпизоде *curriculum vitae* Ходасевич рассказывает по-иному о поведении Дмитриева, чем это зафиксировано в автобиографии поэта. Мы имеем в виду казнь Пугачева, на которой Дмитриеву четырнадцатилетним подростком довелось присутствовать.

По словам мемуариста, в самый момент приведения приговора в исполнение он притворился, что зажмурил глаза, а на самом деле жадно следил за преступником. Им двигало любопытство, «желание видеть, каковым бывает человек в столь решительную, ужасную минуту» (Дмитриев 1988: 185). По-настоящему чувствительным при виде такого «позорища» оказался старший брат Дмитриева: он зажмурил глаза (Дмитриев 1988: 184).

По Ходасевичу, именно Дмитриев «зажмурился в то мгновение, когда палач взмахнул топором» (Ходасевич 1991: 147). То есть он изобразил Дмитриева более чувствительным, чем тот был на самом деле, в соответствии с основной характеристикой концептируемой в очерке литературной личности поэта. С другой стороны, Ходасевич акцентирует внимание читателей на таких качествах биографической личности Дмитриева, проявленных им уже в юном возрасте, как любопытство к смертной казни и умение притворяться. Если в этом заключается «острота» ума, то духов-

ность, человечность для него явно исключены. Замечательно, что Дмитриев отвергал возможный упрек в жестокости ссылкой именно на чисто интеллектуальный характер своего интереса к смертной казни. Для его ума не существовало в тот момент нравственных запретов, вернее, его ум почитал возможным эти нравственные запреты обойти.

Таким образом, по Ходасевичу, если биографический Дмитриев и обладал умом, то поверхностным. Во всяком случае, данный склад ума не гарантирует человеческой, душевной привлекательности.

После изложения *curriculum vitae* Ходасевич приводит основной тезис очерка: если биографический Дмитриев умен, то его литературная личность – наивный, простодушный и чувствительный поэт – оказалась собственноручной карикатурой и профанацией.

Для доказательства этого тезиса Ходасевич приводит апологи Дмитриева, нарочитая тривиальность которых вызвала в свое время пародии Н.М. Языкова и, возможно, Пушкина. Именно в связи с этими стихотворениями, последний, по Ходасевичу, назвал Дмитриева «старым вралем» (Ходасевич 1991: 148)<sup>429</sup>.

Но почему Дмитриев опубликовал эти стихи, приписав к ним «достоинство поэзии»<sup>430</sup>? По Ходасевичу, он был движим ложными эстетическими представлениями, которые были характерны для всех сентименталистов: в искусстве нужно уметь применяться к принятым условным формам, в данном случае, «притворяться стократ более чувствительным, чем был на самом деле». «Притворное чувство требовало притворной формы, форма давила на содержание, и в результате воображаемый поэт, от имени которого выступил наш министр юстиции, оказывался во столько же раз глупее его самого» (Ходасевич 1991: 148).

Соответственно, почитатели Дмитриева восхищались его стихами, приняв условную маску чувствительного читателя, ум которого во столько же раз был ниже их действительных ментальных способностей.

Сентименталисты боролись с условными формами русского классицизма и стремились ввести в поэзию непосредственное чувство. Однако, в конечном итоге, лишь заменили устарелые условности новыми. Дмитриев «чувство реальное <...> подменил выдуманной чувствительностью, столь же (если не более) поддельной, как „поэтическое парение“ классиков» (Ходасевич 1991: 150).

Новый лирический герой, введенный в литературу сентименталистами, в данном смысле ничем не отличается от героя классицистов: он столь же условен, выдуман, далек от реальных человеческих переживаний: «Как классики „бряцали“ за несуществующих бардов, так Дмитриев „стонал“ за

---

<sup>429</sup> Ходасевич приводит дмитриевские «Апологи» в качестве примера одного из видов так называемой «нечаянной пародии». Имеется в виду тот случай, когда «... слишком простая мысль, общеизвестная или очевидная истина, выраженная с известной степенью глубокомыслия, становится смешна...». «В его <Дмитриева> „Апологах“, – пишет критик, – сложные „поэтические“ параллели часто строились для подкрепления простеньких жизненных поучений» (Ходасевич 26.04.1928).

<sup>430</sup> См. примечание Дмитриева к изданию «Апологи и четверостишия» (1826): «Желаю только, чтоб они <апологи> достигли цели своей и сохранили достоинство поэзии» (Дмитриев 1967: 441).

„сизых голубочков“, от настоящих голубей отличавшихся несомненным знанием французской литературы» (Ходасевич 1991: 150).

Гонясь за новыми условностями в поэзии, сентименталисты проглядели Державина, «родоначальника русского реализма» (Ходасевич 1991: 149). Державин «первый дерзнул видеть мир по-своему и изображать его таким, каким видел, и первый если не понял, то почувствовал, что поэзия должна отвечать реальным запросам человеческого духа» (Ходасевич 1991: 149). Отсюда следует, что, в отличие от сентименталистов, литературная личность Державина должна быть адекватна его биографической личности.

Тезис о соотношении литературной и биографической личности писателей-сентименталистов лежит в основе образов Карамзина и Дмитриева в биографии «Державин».

## **§ 2. Соотношение литературной и биографической личности Дмитриева в биографии Ходасевича «Державин»**

### *2.1. «Он не видит дальше своего носа»: Дмитриев знакомится с Державиным*

Дмитриев впервые появляется в тексте биографии в сцене знакомства с Державиным. Он изображен как чувствительный, робкий и застенчивый молодой поэт, в соответствии с основными чертами литературной личности поэта-сентименталиста: «... он робел и косил глаза на конец длинного, тонкого своего носа. Поговорив о словесности, о войне, он хотел откланяться. Хозяева стали его унимать к обеду. После кофья он опять поднялся, но еще был упрощен до чая...» (Ходасевич 1988: 133).

В передаче Ходасевича две попытки Дмитриева попрощаться с гостеприимными хозяевами мотивируются его робостью. Но в таком случае он как-то уж чересчур робок, чуть ли не до искусственности. В самом деле, допустим, что он испытывает чувство застенчивости в присутствии знаменитого поэта, но если этот самый знаменитый поэт лично, да еще вместе с супругой, упрасивает его остаться и ведет себя с ним не просто по-дружески, но и чуть ли не по-родственному, то каковы должны быть причины робеть?

В данной ситуации мы усматриваем символическую реализацию следующей портретной детали Дмитриева: он «косил глаза на конец длинного, тонкого своего носа». То есть он столь застенчив и углублен в себя, что буквально *не видит дальше своего носа*. Поскольку Дмитриев изображается типичным поэтом-сентименталистом, его человеческая, душевная *близорукость* становится характерологическим признаком данной группы писателей.

Только через две недели Державиным удалось «оживить» Дмитриева, раскрепостить его, другими словами, познакомиться с Дмитриевым-человеком: «... потом в две недели стал своим человеком в доме. Имел он суждение здравое, разговор острый, стих легкий» (Ходасевич 1988: 133).

К данному портрету литературной личности Дмитриева Ходасевич добавляет одну, на первый взгляд, противоречивую деталь. По его словам, тот пришел знакомиться с Державиным в «неурочный час» (Ходасевич 1988: 132), то есть, нарушая приличия. Как в таком случае сочетается робость и застенчивость молодого человека с невежливым поведением? Мы усматриваем здесь намек на щегольскую форму поведения Дмитриева, которая культивировалась в ближайшем окружении Карамзина. Как известно, именно щеголи позволяли себе поведение, выходящее за рамки приличия.

Биографический Дмитриев решился придти в гости к Державину только после того, как тот со своей стороны письменно выразил желание познакомиться. До этого Державин несколько раз говорил об этом общему знакомому П.Ю. Львову. Но Дмитриеву казалось неприличным «представиться знаменитому певцу в лице мелкого и еще никем не признанного стихотворца» (Дмитриев 1985: 487). Дмитриев пришел в гости не один, а в сопровождении упомянутого Львова. Хотя до встречи с Державиным он действительно несколько робел, однако первые же слова любезных хозяев внушили ему уверенность. Он собирался несколько раз откланяться не по причине робости, а ради соблюдения приличия.

Таким образом, биографический Дмитриев, в отличие от своего литературного двойника, представленного в произведении Ходасевича, соблюдает принятые нормы поведения и поступает адекватно ситуации: в ответ на искреннее дружеское участие отвечает взаимностью.

Поведение Дмитриева в изображении Ходасевича вписывается в обозначенную выше концепцию сентименталистского литературного дискурса и, как таковое, является житнетворческим. В самом деле, Дмитриев в данной сцене биографии «Державин» нарушает одни условные формы поведения в обществе, чтобы следовать другим. Он ломится в открытые двери: Державины рады ему в любом случае. Надетая маска чувствительного поэта скрывает от него настоящее человеческое чувство. Если принятые формы поведения в обществе регулируют поведение людей, то робость, напущенная на себя героем (откуда бы ей взяться у человека, приходящего в гости в «неурочный час?»), безнадежно отчуждает его от реальности.

## *2.2. «Футлярный» дискурс русской классической литературы и житнетворческое поведение писателей-сентименталистов*

Житнетворческое поведение Дмитриева (соответственно, всех сентименталистов) вписывается в «футлярный» дискурс русской классической литературы<sup>431</sup>. Этот дискурс был намечен Гоголем в комедии «Ревизор»,

---

<sup>431</sup> Об «антифутлярном» дискурсе в поэзии и эстетике Ходасевича см.: Левин 1986: 91-101. В этой работе ученый констатирует актуальность «футлярного» дискурса русской классической литературы для философской мысли XX века. «Одним из ведущих лейтмотивов в философской мысли новейшего времени, – пишет он, – является мысль об ущербности, дефектности любой „закрытости“, „замкнутости“,

повести «Нос» и развит Чеховым в знаменитой трилогии, которую составили рассказы «Человек в футляре», «О любви» и «Крыжовник».

Собственно само слово «футляр», приобретенное впоследствии терминологическое значение, впервые употребил Гоголь в «Ревизоре». В ремарках к монологу Городничего, который только что получил известие о прибытии ревизора и, потеряв голову от страха, собирается посетить его, дважды упоминается странный жест героя: вместо шляпы он собирается надеть *футляр* (Гоголь 1994 III-IV: 218). Этот жест символически трактуется как знак перехода Городничего в мир условных ценностей, где его природный здравый смысл, знание людей, огромный житейский опыт ничего не стоят. Магическое звание ревизора зашоривает глаза многоопытному герою, и он предпочитает им не верить, считая собственные трезвые наблюдения чем-то вроде сна. Наоборот, фантазмагорическое поведение Хлестакова, прикрытое, однако, священным званием – «*футляром*», принимается за явь.

Точно так же зависим от условных общественных ценностей главный герой повести «Нос» майор Ковалев. Особенностью его характера является обостренное чиновничество. «Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек, – сообщает рассказчик повести, – Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральные пьесы можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать» (Гоголь 1994 III-IV: 50). Данная особенность характера Ковалева не имеет никакого отношения к настоящему человеческому достоинству. Гоголь указывает, что тот «мог простить все, что ни говорили о нем самом». В сцене разговора с частным приставом герой является робким, едва ли не трусливым. Он предпочитает скрыться, ответив откровенно хамящему приставу оборванной фразой à la Акакий Акакиевич Башмачкин.

Мотив обидчивости в гоголевском понимании развивает Чехов в рассказе «Человек в футляре». Его главный герой – Беликов беспокоится по поводу всякого нарушения приличий, касаются они служебной деятельности или нравственности. Характерно его недопонимание словесной угрозы Коваленко и переадресация ее начальству. В его сознании как бы стерто малейшее понятие о чувстве собственного достоинства. Когда Коваленко спустил Беликова с лестницы, тот нисколько не был оскорблен лично. Единственной причиной его озабоченности был страх лишиться места: «... как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели – и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, – ах, как бы чего не вышло! – рисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку...» (Чехов 1979 II:

---

„самодостаточности“» (Левин 1986: 94). В качестве примера он приводит творчество Карла Поппера, Клайва С. Льюиса, Мартина Бубера. В русской традиции эта идея занимала умы Ф.И. Тютчева, Н. Федорова, В.С. Соловьева, Вяч. Иванова и М.М. Бахтина (Левин 1986: 95).

264). Кстати говоря, в фамилии обидчика Беликова, а также в первом жесте героя после падения с лестницы – он «потрогал себя за нос» (Чехов 1979 II: 263), чтобы проверить сохранность очков, – мы усматриваем знаки гоголевского кода.

Условные формы, культивируемые сентименталистами в литературе и в жизни, представляют собой род такого «футляра». Они отчуждают человека от происходящего вокруг, замыкают его на себе, делают, как было сказано выше, душевно *близоруким*. В связи со сказанным представляется, что «длинный и тонкий нос» в качестве портретной детали Дмитриева является таким же знаком гоголевского кода, как и в рассказе Чехова «Человек в футляре».

### 2.3. Кто же смеется исподтишка на самом деле? *Полемика Ходасевича с Дмитриевым*

В следующем эпизоде биографии Ходасевич полемизирует с Дмитриевым как пересказчиком анекдотического мнения о ехидном характере Державина. В процессе полемики выясняется характер биографической личности Дмитриева.

Согласно Дмитриеву, Державин написал в свое время пародию на эпиграмму Сумарокова, чем взбесил раздражительного поэта. Вскоре он познакомился с Сумароковым, и, присутствуя на его обеде, «мысленно утешался <то есть «потешался», «забавлялся»<sup>432</sup> – **В.Ч.**> тем, что хозяин ниже подозревал, что против него сидит и пирует тот самый, который столько раздражил желчь его» (Дмитриев 1985: 495)<sup>433</sup>.

Имеется в виду эпизод биографии Ходасевича, условно нами названный «Второй обед Карамзина у Державина». Здесь поэт невольно поставил своего гостя в неловкое положение. Однако, как подчеркивает Ходасевич, при этом он действовал «по простоте сердца», «из побуждений чистейших» (Ходасевич 1988: 226). Другими словами, он не способен исподтишка смеяться над другими.

С другой стороны, Ходасевич показывает, что позиция Дмитриева по отношению к «Беседе» и к Державину была двусмысленной. Внешне он занимал почетную должность попечителя одного из четырех беседных разрядов и поэтому присутствовал на ее заседаниях. Однако Ходасевич подчеркивает, что «Дмитриев попал в попечители именно в качестве министра, а не поэта...» (Ходасевич 1996- III: 361). Выше он приводит характерную в этой связи цитату из «Записок современника» С.П. Жихарева: «из москвичей один И.И. Дмитриев здесь <в «Беседе»> в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер. Карамзиным восхищается один

<sup>432</sup> См. значение слова «утешать» в словаре Даля: Даль 2002 IV: 523.

<sup>433</sup> Пушкин, видимо, со слов Дмитриева, передавал этот эпизод более остро: «Державин из подтишка <так!> писал сатиры на Сумарокова и приезжал, как ни в чем не бывало, наслаждаться его бешенством». Цитируется беловая редакция статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» (1834-1835) (Пушкин 1994- XI: 253).



только Гаврила Романович и стоит за него горою» (Ходасевич 1996- III: 336). Почему Ходасевич педалирует чисто формальное отношение Дмитриева к «Беседе»? Потому что как поэт тот – соратник Карамзина, разделяющий его взгляды и, видимо, ироническое отношение к «Беседе».

Дмитриеву как поэту должны быть чужды и непонятны стихи Державина, самого яркого представителя «Беседы». Во всяком случае, по Ходасевичу, он понимал их искаженно, в частности, видел смешное и двусмысленное там, где его не может быть в принципе.

В самом деле, во-первых, Дмитриев несколько раз упоминается в биографии Ходасевича как правщик стихов Державина. Причем его имя ставится в один ряд с именами Львова и Капниста буквально по образцу распределения имен в эпиграмме Пушкина «Угрюмых тройка есть певцов...» (1815). Впервые Дмитриев упоминается в указанной роли в связи с подготовкой рукописной книги стихов Державина, предназначенной для императрицы: «Львов, Капнист, Дмитриев наперебой предлагали свои поправки...» (Ходасевич 1996- III: 285). (Сравнить у Пушкина: «Угрюмых тройка есть певцов – / Шихматов <соответственно, Львов>, Шаховской <Капнист>, Шишков <Дмитриев>...»). Затем Ходасевич возвращается к этому эпизоду в связи с подготовкой Державиным собственного собрания сочинений в четырех томах, вышедшего в 1808 году. Обратит внимание на распределение указанных трех имен: «Когда-то Дмитриев, Капнист, Львов исправляли его стихи» (Ходасевич 1996- III: 346) (Сравнить: «Уму есть тройка супостатов – / Шишков наш <соответственно, Дмитриев>, Шаховской <Капнист>, Шихматов <Львов>»). Тут же Ходасевич продолжает: «Теперь Дмитриев был в Москве, Львов в могиле, а с Капнистами у Державиных года четыре тому назад вышла ссора». (Сравнить: «Но кто глупей из тройки злой? / Шишков <опять же Дмитриев>, Шихматов <Львов>, Шаховской <Капнист>!»).

Таким образом, налицо полное совпадение в порядке перечисления имен у Ходасевича, с одной стороны, и у Пушкина, с другой. При этом двойником Дмитриева оказывается А.С. Шишков, Капниста – А.А. Шаховской, Львова – князь С.А. Ширинский-Шихматов.

Конечно, игровое перечисление имен правщиков державинских стихов не случайно. Этот прием в русской литературе освящен именем Пушкина и поэтому хорошо известен. Кроме того, именно по признаку шуточного перечисления трех имен Ходасевич нашел возможный литературный образец эпиграммы Пушкина. При этом он писал: «... их <стихов> форма настолько своеобразна и столь точно повторена в пушкинской эпиграмме, что случайное совпадение вряд ли можно предположить» (Ходасевич 07.09.1933а).

Имеется в виду французская эпиграмма на святых Панкраса, Мамера и Жерве. Дни празднования, посвященные этим святым, приходятся, соответственно, на 11, 12 и 13 мая, когда часто происходит снижение температуры. Ходасевич обнаружил эти стихи в метеорологической заметке, опу-

ликованной в газете «Энтрансижан» от 13 мая 1927 года (то есть незадолго до начала работы над «Державиным»):

Les trois saints au sang de navet  
Pancrace, Mamert et Gervais.  
Sont bien nommeés les saints de glace,  
Saints Mamert, Gervais et Pancrace,  
Au printemps ramenant l'hiver  
Pancrace, Gervais et Mamert<sup>434</sup>.

Ходасевич назвал заметку, в которой сообщил о данной находке, «Ледяные святые» («Saints de glace»)<sup>435</sup>. Как эти святые соотносятся с правщиками державинских стихов? Напрямую. Как они замораживают жизнь, которую традиционно символизирует весна, так Дмитриев, Львов и Капнист своими стилистическими и грамматическими поправками ослабляют «первобытную» мощь державинского языка, для которого характерна «абсолютная творческая свобода» (Ходасевич 1996- III: 348). Другими словами, Дмитриев и другие писатели-сентименталисты, в данном случае, Львов и Капнист, стараясь «загнать» естественную, живую поэзию Державина в условные рамки «науки поэзии», в конечном итоге, убивают ее мощный и глубокий дух. Как восклицал Державин по поводу деятельности правщиков своих стихов: «Что ж, вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?» (Ходасевич 1996- III: 348).

Кстати говоря, если считать отождествление жизни и стихов лейтмотивом биографии Ходасевича, то сравнение деятельности Львова по «починке» державинских стихов с устройством служебных дел Хемницера<sup>436</sup> служит яркой иллюстрацией к сделанному выводу о роковом результате такой правки. Хемницер, сам того не ведая, был влюблен в Машу Дьякову, тайно уже повенчанную со Львовым. Счастливые супруги об этом знали и относились к его чувствам «бережно» (Ходасевич 1996- III: 210). И вот, благодаря хлопотам «счастливого» Львова, Хемницер был назначен в «чужую, далекую Смирну» (Ходасевич 1996- III: 247) генеральным консулом, где вскоре умер. Ходасевич допускает, что причиной смерти могла быть любовная тоска («меланхолия»), усилившаяся на чужбине. В таком контексте «благоденствие» Львова приобретает двусмысленный характер, который усиливается отнесением к нему, более удачливому в любви сопернику

---

<sup>434</sup> «Три святых из рода репы / Панкрас, Мамер и Жерве. / Точно названные ледяными святыми, / Святые Мамер, Жерве и Панкрас, / Весной возвращающие зиму / Панкрас, Жерве и Мамер».

<sup>435</sup> В советской пушкинистике вопросу о литературном образце пушкинской эпиграммы «Угрюмых тройка есть певцов...» были посвящены заметки Г. Коровина и Б.В. Томашевского (Коровин Г. 1929; Томашевский 1929). До них Тынянов привел свои соображения по этому поводу в одной из сносок к своей статье «Архаисты и Пушкин» (1926). (См. републикацию этой сноски в издании: Тынянов 2001: 52). Томашевский резонно считает, что Пушкин создавал свою эпиграмму, руководствуясь законами хорошо ему известного французского эпиграмматического жанра *contre-petite* <так!> (Томашевский 1929: 69). Другими словами, говорить о непосредственной зависимости Пушкина от какого-либо литературного образца, по-видимому, не приходится. Об этом же писал и Тынянов, когда указывал, что форма пушкинской эпиграммы «и вообще канонична для старинной французской эпиграммы» (Тынянов 2001: 52). Тем концептуальнее звучит утверждение Ходасевича об аутентичности именно его находки.

<sup>436</sup> «Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с тою же дружеской хлопотливостью, с какой он устроивал служебные дела Хемницера и Капниста» (Ходасевич 1996- III: 212).

Хемницера, эпитета «счастливый». Получается, что хлопотливая деятельность Львова по устройству служебной деятельности Хемницера оказалась роковой. Таковой же могла оказаться дружеская правка стихов Державина, если бы поэт не оказался более неподатливым для чуждого вмешательства в свою жизнь (поэзию), чем хрупкий Хемницер.

Выше были указаны двойники правщиков державинских стихов из эпиграммы Пушкина. Почему Ходасевич соединил в пары именно данные лица? Этот весьма любопытный вопрос заслуживает отдельного исследования. В свете же нашей темы бросается в глаза сопоставление Дмитриева с Шишковым. Как известно, в пушкинской эпиграмме имена «угрюмых певцов» объединяются по признаку принадлежности к «Беседе». Ходасевич переадресует насмешку представителям враждебного литературного направления – сентименталистам (поскольку Львов и Капнист выступают в биографии Ходасевича в роли непосредственных предшественников карамзинистов). В таком случае, Дмитриев приобретает двусмысленный статус какого-то «сентименталистского Шишкова». Впрочем, этот статус, кажется, как нельзя лучше подходит для характеристики его отношений с «беседчиками», с одной стороны, и «карамзинистами», с другой. Но об этом было сказано выше.

Во-вторых, Ходасевич в своей биографии показывает, что такое фундаментальное свойство державинской поэзии, как сочетание высоких, «поэтических», понятий с низкими, «прозаическими», сочетание, выраженное соответствующими стилистическими средствами, оказывается выше понимания Дмитриева.

В другом месте нашей работы уже упоминалась оценка Дмитриевым стихов из «Описания торжества, бывшего по случаю взятия города Измаила в доме Генерал-Фельдмаршала Князя Потемкина-Таврического в присутствии Императрицы Екатерины II», которые были построены по данному принципу. Показательно само допущение Дмитриева, что подобные *шутливые* стихи могут быть оскорбительными для Потемкина. По Ходасевичу, он не учел, что иные *вицы* приносят счастье их адресату. В биографии «Державин» предположения главного героя и Дмитриева по поводу причины бурной реакции Потемкина на стихи из «Описания торжества...» Ходасевичем контаминированы и равным образом опровергнуты<sup>437</sup>. Однако если Державин, как было сказано, вскоре понял настоящую причину вспышки Потемкина, то Дмитриев так и остался при своем мнении.

Известен также другой подобный случай неверного толкования Дмитриевым стихов Державина, построенных на сочетании «высокого» и «низкого». Судя по письму к нему Карамзина от 23 июня 1791 года, он считал двусмысленной концовку стихотворения «Прогулка в Сарском се-

---

<sup>437</sup> «Долго потом Державин с Дмитриевым ломали головы, отгадывая, что могло оскорбить Потемкина. Все их предположения были неосновательны; в державинском описании нет никаких неловкостей, ни тем паче обид Потемкину. Случись то или другое – на неловкости он указал бы автору, не приходя в бешенство, а прямых обид никогда не простил бы. Он же, напротив, спустя несколько дней, сам старался заглаживать обиду, нанесенную им Державину» (Ходасевич 1988: 137).

ле»: «Какого quirgoquo ты боялся, по своей дружбе ко мне?» (Карамзин 1982: 166). В этой концовке Державин употребляет по отношению к Карамзину (который, как известно, весьма ценил прозаизированные стихи и сам стремился их писать) традиционно «поэтическую» метафору поэта («соловей»). Таким образом, он приветствовал творческие искания своего коллеги<sup>438</sup>:

Пой, Карамзин! – И в прозе  
Глас слышен соловьи

(Державин 2002: 190).

Quirgoquo в понимании данных стихов может произойти только в случае полного непонимания державинской поэтики.

Самый интересный для нас случай – отношение Дмитриева к оде Державина «На кончину благодетеля» (1795), которая была посвящена памяти И.И. Бецкого. Судя по письму Карамзина от 6 ноября 1796 года, Дмитриеву некоторые стихи в ней показались смешными: «Г.Р. Державин прислал мне пиес десять, из которых на смерть Бецкого самая лучшая. Один стих рассмешил меня, и я вспомнил, что ты мне сказывал» (Карамзин 1982: 171).

Этот эпизод в переписке двух друзей послужил Ю.Н. Тынянову-автору романа «Пушкин» источником для реконструкции отношения Карамзина и его окружения к поэзии Державина, и эта реконструкция представляется нам актуальной также для концепции Ходасевича.

Имеется в виду сцена посещения Карамзиным Пушкиных по случаю крестин Александра. Согласно Тынянову, в карамзинском кругу поэзия Державина считалась устаревшей и смешной. Однако это не мешало Карамзину извлекать из печатания его стихов коммерческую выгоду. В этой связи Тынянов пишет о «дипломатической дружбе» со стороны Карамзина к поэту, то есть о его двуличном поведении: «... старик посылал ему для напечатания свои стихи, а Карамзин скрепя сердце печатал и посмеивался» (Тынянов 1988: 30). Чтобы сделать приятное почетному гостю, Василий Львович шутливо, с намеренным искажением, процитировал следующие стихи из упомянутой оды, в которых речь идет о смерти Бецкого: «Погас, пустил приятный / Вкруг запах ты...» (Тынянов 1988: 30). Комментарий Тынянова: «Державин сравнивал старика Бецкого с ароматным огнем лампы, но без упоминания о лампаде стих становился двусмыслен и даже неприличен»<sup>439</sup> (Тынянов 1988: 30).

Шутка удалась: Карамзин остался доволен. Его, по выражению Тынянова, «тонкое» замечание обнажает ее пародийный характер и прием, на котором построена эта пародия: преобразование сравнения в метафору по-

---

<sup>438</sup> Как писал Ходасевич по поводу отношения Державина к творческим исканиям Карамзина: «Своих законов он никому не навязывал, признавая за всеми право на ту же вольность, какую сам пользовался. Потому-то он защищал и Карамзина» (Ходасевич 1996- III: 347-348). Кстати говоря, правщики стихов Державина, и Дмитриев в том числе, поступали прямо противоположным образом, навязывая поэту свои правила.

<sup>439</sup> Ср.: «Как огонь лампы ароматный, / Горел, погас, пустил приятный / Вкруг запах ты...» (Державин 2002: 310).

средством устранения основания для сравнения: «— Так наш Гаврило Романович любит ладанный дым, — тонко сказал Карамзин, улыбаясь тому, как Василий Львович осмелел при женщинах» (Тынянов 1988: 30).

Автор пародии обнаруживает глубокое понимание формального принципа создания державинских метафор, построенных на сочетании «высокого» и «низкого»: он оказывается в состоянии подобные метафоры создавать. Однако, как мы полагаем, его формальное мастерство никак не соотносится с глубинным пониманием данного державинского приема: он упражняет свое остроумие на чрезвычайно неуместной для такого рода упражнений теме смерти. Получается обыкновенное передразнивание, которое ставит в смешное положение самого автора пародии.

Вряд ли Василий Львович был автором этой пародии: в романе он выполняет функцию карамзинистского «шута горохового», переносчика новостей и сплетен à la Бобчинский-Добчинский. Собственно, Тынянов и показывает это, когда описывает реакцию Карамзина на шутку Василия Львовича: очевидно, для того она была не новостью. Он бросает отточенное замечание явно не экспромтного характера, улыбается не на содержание шутки, а на поведение Василия Львовича в присутствии дам. В этой связи его характеристика Василия Львовича как «старого бригаана, разбойника с галеры» (Тынянов 1988: 30) приобретает значение «плагиатора», «переносчика вестей».

Такова роль, согласно сатирическому замечанию И.А. Крылова, щеголей: «Многие франты совсем забыты от света, не имея дарования переносить вести; а это жалкая участь щеголя, если о нем помнят одни его заимодавцы» (Крылов 1984 I: 358). Этому правилу светского общежития их научили французские «разбойники с галеры»: «... эти прекрасные правила не моей выдумки <...> мы обязаны оными тем снисходительным французам, которые, кончив на галерах свой курс философии, приехали к нам образовать наши нравы» (Крылов 1984 I: 358)<sup>440</sup>.

Таким образом, Василий Львович в данном эпизоде романа Тынянова играет пародийную роль щеголя-сплетника. А Карамзин обнаруживает свою осведомленность по поводу истинного автора данной пародии. Судя по упомянутому письму Карамзина, им был Дмитриев.

И здесь обнаруживается еще одна неприятная черта характера биографического Дмитриева: он не только исподтишка смеялся над поэзией Державина, оказывая поэту внешнее почтение, он еще свои насмешки и распространял: передать что-либо Василию Львовичу означает передать всему московскому светскому обществу.

Таким образом, очевидно, что в изображении Тынянова биографические личности Карамзина и Дмитриева предстают в неприглядном виде лицемеров. В данном случае Тынянов только описывал реальную позицию, которую занимали Дмитриев и Карамзин по отношению к Державину. В

---

<sup>440</sup> Цитируется сатира Крылова «Мысли философа по моде, или Способ казаться разумным, не имея ни капли разума» (1792), которая была опубликована в антикарамзинистском журнале «Зритель».

частности, Дмитриев, подсмеиваясь над стихами Державина, одновременно выполнял издательские задания Карамзина: через него тот поддерживал деловые связи с поэтом. Для нас же особенно важно подчеркнуть, что поводом для насмешек Дмитриеву (соответственно, Карамзину) служили стихи Державина, построенные на сочетании «высоких» и «низких» понятий, и что он смеялся над ними втайне от Державина.

Гоголь назвал обсуждаемый прием державинской поэтики «крупным слогом». Он писал по этому поводу: «Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть, как гостью, ожидает,  
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе!» (Гоголь 1994 VI: 152).

Ходасевич сочувственно цитировал гоголевское определение державинского слога, тем самым как бы приглашая читателя сопоставить мнения Дмитриева и Карамзина с оценкой Гоголя по поводу «поэтичности» данного приема Державина. Как мы полагаем, Ходасевич внушает читателю примерно следующую мысль: какой же душевной черствостью и литературной близорукостью должны были обладать писатели-сентименталисты, чтобы при чтении стихов Державина, посвященных смерти, вместо требуемого «меланхолически-глубокого чувства» не испытывать ничего, кроме иронии<sup>441</sup>!

Исходя из всего сказанного, следует заключить, что Дмитриев скрывал свое истинное отношение к убеждениям «беседчиков» и к поэзии Дер-

---

<sup>441</sup> Мы полагаем, что в рассмотренном эпизоде романа Тынянова «Пушкин» за фигурами Дмитриева, Карамзина и В.Л. Пушкина стоит А.С. Пушкин, который в своей «мемуарной» заметке «Державин» (1835) употребил аналогичный «непочтительный» каламбур, травестирующий контрастную образность знаменитой державинской оды «Водопад». Как говорится в этой заметке, друг Пушкина Дельвиг, который был большим почитателем творчества Державина, узнав об ожидаемом прибытии поэта на лицейский экзамен, решил дождаться его на лестнице и «поцаловать ему руку, руку, написавшую „Водопад“». (Пушкин 1994- XII: 158). Однако, когда Державин прибыл, то первыми его словами, которые услышал Дельвиг, был следующий вопрос, заданный швейцару: «Где, братец, здесь нужник?» (Пушкин 1994- XII: 158). «Этот прозаический вопрос, – пишет Пушкин, – разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу» (Пушкин 1994- XII: 158). Американский славист Сергей Давыдов, заметивший данное гротескное снижение «Водопада» в «нужник», предполагает, что, «в сущности» (in nature), оно «сходно» (similar) с «дефляцией Пушкиным (Pushkin's deflation) державинского поэтического канона в его прозе» (Davydov 1985: 46). Исследователь имеет в виду прежде всего новеллу «Гробовщик» (1830), убедительно им проанализированную в указанном аспекте. Все же проводимая Давыдовым аналогия между пушкинской оценкой контрастной образности Державина (из письма к Дельвигу от начала июня 1825 года (см. сноску 191)) и приведенным выше высказыванием Гоголя по этому поводу представляется субъективной, поскольку при этом не учитываются эмоциональные планы этих отзывов, диаметрально противоположные друг другу (от резкого отрицания к благоговению, соответственно).

жавина. Только поэтому он мог посещать заседания этого общества и играть роль друга Державина. Грубо говоря, он обедал вместе с «беседчиками», обязанный своим положением, скорее всего, протекции Державина, а сам в это время втайне, пожалуй, подсмеивался над присутствующими (как будет показано ниже, также поступал Карамзин в сцене второго обеда у Державина). Это ситуация дмитриевского анекдота о Державине и Сумарокове. Таким образом, Ходасевич переадресовал Дмитриеву упрек в двуличии, который тот высказал Державину.

### **§ 3. Соотношение литературной и биографической личности Карамзина в биографии Ходасевича «Державин»**

Еще более характерно в связи с рассматриваемой темой изображение Ходасевичем Карамзина. Образ этого героя, так же как и образ Дмитриева, вводится в роман по контрасту с фигурой Державина. Этот прием в творчестве Ходасевича повторится затем в рассмотренном выше очерке «Дмитриев».

#### *3.1. Поведение Карамзина во время знакомства с Державиным: свидетельства очевидцев*

Впервые Карамзин появляется в биографии Ходасевича в сцене знакомства с Державиным. В дом последнего его вводит Дмитриев.

Существует несколько свидетельств относительно облика Карамзина во время этого обеда.

Д.Н. Бантыш-Каменский, со слов Дмитриева, описывает его таким образом: «Возвратясь в Петербург осенью 1790 года в модном фраке, с шиньоном и гребнем на голове, с лентами на башмаках, Карамзин был введен И.И. Дмитриевым в дом славного Державина и умными, любопытными рассказами обратил на себя внимание. Державин одобрил его намерение издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочинения. Посторонние лица, посещавшие Державина, гордясь витиеватым, напыщенным слогом своим, показывали молчанием и язвительною улыбкою пренебрежение к молодому франту, не ожидая от него ничего доброго» (цит. по: Лотман 1987: 193).

Вот как излагает данный эпизод Я.К. Грот: «Когда Карамзин, возвращаясь из своего заграничного путешествия, три недели оставался в Петербурге (в сентябре 1790 года), то Дмитриев ввел его в дом Державина. Поэт пригласил приезжего к обеду. За столом Карамзин сидел возле любезной и прекрасной хозяйки. Между прочим речь зашла о французской революции; Карамзин, недавно бывший свидетелем некоторых явлений ее, отзывался о ней довольно снисходительно. Во время этого разговора Катерина Яковлевна несколько раз толкала ногою своего соседа, который однако ж никак не мог догадаться, что бы это значило. После обеда, отведя его

в сторону, она ему объяснила, что хотела предостеречь его, так как тут же сидел П.И. Новосильцев, петербургский вице-губернатор (некогда сослуживец Державина). Жена его, рожденная Торсунова, была племянницей М.С. Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника могли в тот же день дойти до сведения императрицы» (цит. по: Лотман 1987: 204).

Лотман указывает на адекватность гротовского пересказа своему первоисточнику – пересказам Блудова и Сербиновича. Ученый также предположил, что эти пересказы, в свою очередь, восходят к самому Карамзину (Лотман 1987: 204).

### *3.2. Интерпретация Лотманом поведения Карамзина во время знакомства с Державиным*

Итак, согласно сообщению Дмитриева, Карамзин явился на званый обед к Державину в экстравагантном щегольском костюме. По мнению Лотмана, этим костюмом он стремился «скандализировать определенные общественные и литературные круги» (Лотман 1987: 194). Ученый имеет в виду, прежде всего, ближайших друзей Карамзина – масонов. Остается, однако, не ясным, каким образом в этом кругу оказался Державин. Зачем Карамзину понадобилось эпатировать человека, пригласившего его в гости по рекомендации общего друга?

Ничего не объясняет и комментарий, приведенный Лотманом чуть ниже, – по поводу необдуманных речей Карамзина о французской революции, речей, поставивших хозяев в неловкое положение: «... Карамзин сознательно шокировал своих собеседников, следуя избранной им методе независимого поведения» (Лотман 1987: 206). По Лотману, костюм и речи Карамзина на званом обеде у Державина составляют единое целое в его жизнетворческой стратегии щеголя.

В самом деле, о какой независимости может идти речь, когда одной из целей визита Карамзина, согласно упомянутому сообщению Дмитриева, являлось обеспечение планируемого им журнала авторитетом имени Державина? Лотман обходит молчанием наблюдаемое в поведении биографического Карамзина противоречие между скандальностью и положением просителя.

Ученый также игнорирует коммерческую цель визита Карамзина. Он представляет его усилия по созданию «Московского журнала» как следствие культивируемого им щегольского жизнетворческого поведения. Карамзин якобы эпатировал общественное мнение своим стремлением издавать журнал, не прикрываясь каким-либо общепринятым авторитетом, – ситуация, неслыханная в журналистике того времени. Хотя Лотман полностью цитирует объявление Карамзина о новом журнале и, в том числе, похвалы Державину, с которых, собственно и начинается объявление, но не делает отсюда никаких выводов (Лотман 1987: 196-197).



А ведь именно эти похвалы, согласно Гроту, дали повод современникам распустить сплетни, что настоящим издателем журнала будет Державин. Карамзин должен был письменно объясняться с поэтом по поводу своего нетактичного поведения (Грот 1997: 403).

Получается, что Карамзин демонстрировал свою независимость за счет державинского авторитета. Только благодушием поэта мы можем объяснить его снисходительное отношение к «шалостям» своего молодого друга.

### 3.3. «Уж не пародия ли он?»: Карамзин в изображении Ходасевича

Если Лотман пытается объяснить возвышенными соображениями скандальное и неблагодарное по отношению к Державину поведение Карамзина-щеголя, – Ходасевич к нему беспощаден. Он употребляет всю мощь своего язвительного ума, всю силу своего искусства сатирика, чтобы развенчать щегольской жизнетворческий дискурс Карамзина и, заодно, Дмитриева и прочих сентименталистов.

Ходасевич рисует образ Карамзина по образцу героя «Писем русского путешественника»: «чувствительного вояжера, легко скользящего по поверхности трагических европейских событий 1789-1790 гг.» (Лотман 1984: 625). Рисует он его не точно, а искаженно, в качестве пародии на этого «вояжера». По сравнению с последним, Ходасевич усиливает легкомыслие своего героя. В его образе концентрируются пародийно-сатирические варианты типа «путешественника»: например, галломана-щеголя Иванушки из комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир» с его «этурдери» (легкомыслием) и вытекающей из нее «неосторожностью»<sup>442</sup>; «чувствительного вояжера» В.Л. Пушкина из сатирического стихотворения Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж и Лондон» с его восторженным отношением ко всему парижскому и хвастовством по поводу того, что был представлен разным знаменитостям – от Бонапарта до актрисы Жорж; Хлестакова с его модным костюмом, предметом поклонения обывателей города N.

Последнее замечание нуждается в комментарии.

Ходасевич из всех деталей щегольского наряда Карамзина оставляет один модный фрак. Мы вспоминаем, что именно модный петербургский костюм, необходимой частью которого являлся фрак, способствовал успеху другого «вояжера» – Хлестакова. По крайней мере, именно так думал он сам. «... по моей петербургской физиономии и по костюму, – пишет он «душе Тряпичкину», – весь город принял меня за генерал-губернатора» (Гоголь 1994 III-IV: 279). Следуя ходу рассуждений Хлестакова, заключаем, что продвижение по служебной лестнице, достигнутое благодаря кос-

---

<sup>442</sup> См. диалог Иванушки и щеголихи Советницы: «С ы н. <...> Признаюсь, что мне этурдери свойственно; а инако худо подражал бы я французам. С о в е т н и ц а. <...> нескромность твою я ничем бы не могла экскузовать, если б осторожность не смешна была в молодом человеке, а особливо в том, который был в Париже» (Фонвизин 1959 I: 68). В «Державине» Фонвизин упоминается, в том числе, как автор «славного „Бригадира“» (Ходасевич 1988: 97).

тьюму, покорило и сердца женщин. «И я теперь живу у городничего, – продолжает герой, – жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, – думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги» (Гоголь 1994 III-IV: 279).

К сказанному следует добавить, что, создавая образ литературной личности Карамзина, Ходасевич учитывал богатую сатирическую традицию русской литературы XVIII века в изображении щеголей и петиметров, в частности, наблюдения того же Фонвизина в «Письмах из Франции», а также замечания И.А. Крылова, высказанные им на страницах таких журналов антикарамзинистской направленности, как «Зритель» или «С.-Петербургский Меркурий». Конкретные примеры использования Ходасевичем данного сатирического кода приводятся ниже, в процессе анализа того или иного аспекта «сентименталистского» сюжета в биографии «Державин».

#### *3.4. «Глупее глупого»: политический дискурс Карамзина в изображении Ходасевича*

Все видимое легкомыслие Карамзина проявляется в его речи.

В пересказе Грота, биографический Карамзин «отзывался о <французской революции> довольно снисходительно». Можно только догадываться, о чем именно он говорил в доме Державина. Парижская часть «Писем...» была опубликована только в 1801 году, когда политические взгляды Карамзина изменились. Но наверняка он говорил не в консервативном, монархическом духе, в котором выдержаны «Письма...». Иначе нельзя объяснить реакцию Екатерины Яковлевны, которая попыталась предупредить Карамзина о возможной опасности.

Однако известна конспективная запись Карамзина, в которой дается высокая оценка французской революции. Эта запись вошла в состав его обзорной статьи «Несколько слов о русской литературе», опубликованной на французском языке в журнале «Spectateur du Nord» в октябре 1797 года. Здесь Карамзин говорит о значительности, эпохальности этого события в истории человечества. Он восхищается пророческим даром Руссо, который предсказал революцию в «Эмиле». Хотя Карамзин не дает прямого ответа в том, что касается притяжения либо непритяжения революции, тем не менее, он предсказывает ее продолжение: «Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море; а люди уже хотят рассматривать революцию как завершенную. Нет. Нет. Мы еще увидим множество поразительных явлений. Крайнее возбуждение умов говорит за то» (Карамзин 1984 II: 96-97).

Очевидно, что подобная речь могла вызвать предупредительные меры со стороны Екатерины Яковлевны. И дело здесь не только в заботе о безопасности Карамзина. Она, как верная супруга и хранительница домашнего очага, наверняка думала о крупных неприятностях, грозящих мужу в том случае, если неосторожные речи «молодого путешественника», бравирующего своим вольнодумством, дойдут до сведения императрицы.

Державин только что едва избежал приговора суда. Это стоило ему много крови. (Ходасевич замечает, что в это время у него «стали сильно лезть волосы» (Ходасевич 1988: 132)). Общественное положение поэта было неустойчивым: хотя ему платили жалованье, но не поручали какой-либо должности. Это опять-таки сильно его беспокоило.

Ко всему этому добавился безрассудный поступок еще одного «молодого путешественника» – А.Н. Радищева, который, не любя поэзии Державина<sup>443</sup>, зная, что поэт резко отрицательно относился к его творчеству, в частности, «с большим неодобрением» отзывался о «Житии Федора Васильевича Ушакова» (Биография А.Н. Радищева 1959: 59), посчитал возможным прислать тому экземпляр скандальной книги «Путешествие из Петербурга в Москву»<sup>444</sup>. Выше уже говорилось, какие последствия арест Радищева имел для репутации Державина.

И вот, когда имя поэта было запачкано грязными сплетнями, когда он находился на подозрении у правительства и у вольнодумцев, к нему нависает в гости следующий «молодой путешественник» и компрометирует его своим восторженным отношением к революции!

Выше было сказано, что биографический Карамзин поступает столь бестактно, конечно, не по причине своей простоты и наивности, как обычно интерпретируют его поведение в этом эпизоде<sup>445</sup>. Он, надевая литературную маску щеголя, намеренно эпатирует присутствующих.

Ходасевич, реконструируя подробности речи Карамзина по «Письмам русского путешественника», пародирует литературную маску автора и, тем самым, обнажает ее условность. Словом, Карамзин в его изображении представляется не только глупее своего реального прототипа, – особенность, характерная для отношения между автором и героем в литературе сентиментализма (см. выше разбор очерка «Дмитриев»), – но и глупее героя, созданного этим самым прототипом, – «русского путешественника».

Вот как передает Ходасевич «снисходительное отношение» «русского путешественника» к французской революции. При этом он следует тексту «Писем...»: «... после 14 июля во Франции все твердят об аристократах и демократах, о нации; революция была неизбежна, еще Рабле предсказал ее в LVIII главе „Gargantua“; земля освободится от сего бедствия не иначе, как упившись кровью...» (Ходасевич 1988: 133).

В первой половине этого периода ходасевичевский герой говорит о всеобщей политической сознательности. В тексте «Писем...» речь идет, наоборот, о темноте широких масс. «Русский путешественник» приводит

---

<sup>443</sup> См. свидетельство П.А. Радищева: «Он <А.Н. Радищев> не любил Державина и находил, что в его поэзии (кроме „Фелицы“ и „Бога“) есть часто бессмыслица» (Биография А.Н. Радищева 1959: 76).

<sup>444</sup> Как известно, этот поступок Радищева весьма жестко оценил Пушкин. Он назвал писателя беспечным, а его намерение разослать свою книгу ко всем своим знакомым и, в частности, к Державину – «странной мыслью». Радищев, по словам Пушкина, поставил Державина «в затруднительное положение» (Пушкин 1994- XII: 33).

<sup>445</sup> См. свидетельство Лотмана: «Обычная интерпретация этого эпизода такова: молодой путешественник, привыкший за границей не сдерживать язык, не сориентировался в обстановке и попал в смешное положение» (Лотман 1987: 205).

два анекдота, смысл которых состоит в том, что народ, как бессмысленное дитя, затвердил упомянутые понятия, ничего в них не понимая (Карамзин 1984 I: 315).

Утверждая неизбежность революции и ссылаясь при этом на «пророчество» Рабле, ходасевичевский герой следует пародийному дискурсу биографического Карамзина. Автор «Писем...» иронически снизил свои представления о неизбежности революции и восхищение по поводу удивительного пророчества Руссо, которые выразил в упомянутой французской статье «Несколько слов о русской литературе». Поиском предсказаний произошедшей революции занимается в «Письмах...» некий аббат Н\*, знакомый «русского путешественника». Он находит подобное предсказание у Рабле в «Жизни Гаргантюа» (см.: Карамзин 1984 I: 316-317). Ссылка на Рабле в «Письмах...» носит комический характер, так как в оригинале данное предсказание является всего лишь пародией на соответствующий род текстов. В другом месте герой Карамзина изображает Рабле иронически, а по поводу «Гаргантюа» и «Пантагрюеля» презрительно пишет, что эти романы наполнены «остроумными замыслами, гадкими описаниями, темными аллегориями и нелепостями» (Карамзин 1984 I: 390).

Кроме того, в «Письмах...» дается страстная отповедь всем «бунтовщикам», выступающим против законной власти. Эта отповедь исключает всякую мысль о «неизбежности» революции.

Ходасевич доводит до абсурда указанное ироническое снижение. Карамзин в его изображении вполне «серьезно» мотивирует свой радикальный вывод о неизбежности революции ссылкой на роман Рабле. Он даже цитирует наиболее «ударное» выражение из пародийного предсказания, выдавая его за свое собственное (цитата не закавычена; точка с запятой отсекает ее от названия источника)<sup>446</sup>. Желая пустить пыль в глаза своей «ученостью», он по-хлестаковски заврался. Его не смущает осведомленность Екатерины Яковлевны во французской словесности (об этом он мог услышать от Дмитриева<sup>447</sup>). По-видимому, в ответ на ее возможное недоумение он может процитировать гениальную фразу своего литературного двойника-прототипа: «Ах да, это правда: это точно Рабле; а есть другой „Gargantua“, так тот уж мой» (Гоголь 1994 III-IV: 241)<sup>448</sup>.

---

<sup>446</sup> В соответствующем месте «Писем...» «русский путешественник» дает собственный прозаический перевод, по его словам, со старофранцузского языка (Карамзин 1984 I: 317), одного из фрагментов так называемой «Пророческой загадки», «высеченной на медной доске, которая была обнаружена в фундаменте <Телемской> обители» (Рабле 1981: 113). Приводим перевод «русского путешественника» полностью: «Объявляю всем, кто хочет знать, что не далее как в следующую зиму увидим во Франции злодеев, которые явно будут развращать людей всякого состояния и поссорят друзей с друзьями, родных с родными. Дерзкий сын не побоялся восстать против отца своего, и раб против господина так, что в самой чудесной истории не найдем примеров подобного раздора, волнения и мятежа. Тогда нечестивые, вероломные сравниваются властью с добрыми; тогда глупая чернь будет давать законы и бессмысленные сядут на место судей. О страшный, губительный потоп! Потоп, говорю: ибо земля освободится от сего бедствия не иначе, как упившись кровию» (Карамзин 1984 I: 317).

<sup>447</sup> «... она <Екатерина Яковлевна> по выходе в замужество пристрастилась к лучшим сочинениям французской словесности» (Дмитриев 1985: 493).

<sup>448</sup> Тип лгуна-плагиатора, к которому относится, судя по данному эпизоду «Державина», Карамзин, Ходасевич подробно охарактеризовал на примере своего знакомого «московского старожила» Ивана

### 3.5. Карамзинская тема запретной любви в изображении Ходасевича

Речь ходасевичевского героя вызвала неожиданный для него самого эффект: «Но тут рассказчику показалось, что молодая и прекрасная хозяйка коснулась ногою его ноги. Потом еще и еще, сомнения быть не могло. Не смея себе изъяснить сие чрезвычайное обстоятельство, он смешался, красноречие его покинуло...» (Ходасевич 1988: 133).

Почему герой смутился? Ответ содержится, по-видимому, во-первых, в его собственных мыслях, выраженных несобственно-прямой речью: «молодая и прекрасная хозяйка», «сомнения быть не могло»; во-вторых, в авторском искажении гротовского пересказа в сторону интимно-эротической окраски эпизода: «коснулась» ноги, а не «толкнула»; у Грота Карамзин ничуть не смутился и продолжал говорить как ни в чем не бывало.

Таким образом, ходасевичевский герой скорее всего подумал, что жена Державина с ним откровенно флиртует, поняв по-своему его восторженное отношение к любви без «мещанских» предрассудков.

Это отношение красноречиво выражено в «Письмах...» и отразилось также в тексте Ходасевича. Но, конечно, не в том фрагменте, где его герой говорит о политике.

Сначала приведем несобственно-прямую речь героя, которая оказалась неотразимой, как он, возможно, подумал, для *нежного сердца прекрасной хозяйки*, а затем попытаемся показать литературный источник этой речи в тексте «Писем...».

«В его разговоре <ходасевичевского героя – **В.Ч.**> были приятно смешаны важное и забавное, ум и чувствительность. Он говорил о парижских театрах, для коих не находил довольно похвал; о физиогномии Мармонтеля; об уличных цветочницах; о прекрасной Версалии, о сельских красотах Трианона; об академиях и о том, что вино в деревеньке Anteuil, некогда славное, ныне уж никуда не годится; о том, что в придворной церкви он видел короля и королеву (король был в фиолетовом кафтане; королева подобна розе, на которую веют холодные ветры); дофина видел он

---

Александровича Т. в статье «Летучие листы: О лгунах» (см.: Ходасевич 26.09.1929). По словам критика, для Ивана Александровича Т. было характерно полное отсутствие воображения при страстном стремлении представить свою биографию более яркой, чем она была на самом деле. Он нашел выход в изобретении собственной литературной личности как героя разнообразных устных преданий, исторических анекдотов, необычных случаев, произошедших с другими людьми. Замечательно, что Ходасевич, представляя примеры рассказов Ивана Александровича, подбирает их по тематическому принципу, заставляющему читателя вспомнить об обсуждаемой речи Карамзина-персонажа «Державина». В самом деле, тот охотно представляет себя «путешественником» и столь же охотно рассуждает о смерти, правда, в духе приключенческой литературы, послужившей ему источником для рассказов: «Он пережил все кораблекрушения XIX столетия; замерзал на Монблане; едва не погиб от самума; шаровидным молниям, скользившим по его платью, потерял счет; стрелка его компаса вертелась волчком при магнитных бурях». Подобное педальирование мотива «смертельной угрозы» отвечает вкусам Дмитриева – заинтересованного слушателя рассказов Карамзина о французской революции (подробнее см. ниже) и любопытствующего созерцателя казни Пугачева. Следует добавить, что над статьей «О Лгунах» Ходасевич работал 16 и 17 сентября 1929 года (Ходасевич 2002а: 345). В это время он писал IV главу «Державина», где содержится анализ оды «На смерть князя Мещерского», тематически связанный с обсуждаемым эпизодом визита Дмитриева и Карамзина к Державину (подробнее см. ниже).

в Тюльери – младенец прыгал и веселился, прекрасная Ламбаль вела его за руку...» (Ходасевич 1988: 133).

«Русский путешественник», говоря о Версальском саде («прекрасной Версалии», по выражению ходасевичевского героя), цитирует близкого ему по мировосприятию Жака Делиля, который жалеет о срубленных старых высоких деревьях, в частности, потому, что с ними исчезли укромные места для тайных любовных свиданий, своеобразный памятник знаменитым фавориткам Людовика XIV. В этой связи французский поэт обращается к Амуру в характерном аффектированном стиле: «Амур! Амур! Где прелестные сени, в которых нежно томилась гордая Монтеспан и где милая, чувствительная Лавальер ненарочно открыла тайну своего сердца счастливому любовнику? Все исчезло, и пернатые орфеи, уstraшенные стуком разрушения, с горестию летят из мирной обители, где столько лет в присутствии *царей* пели они любовь свою!» (Карамзин 1984 I: 395).

О герцогине Лавальер «русский путешественник» пишет с особенной экзальтацией. Он шесть дней подряд рассматривал картину Шарля Лебрена «Кающаяся Мария Магдалина», так как реальным прототипом героини послужила Лавальер (Карамзин 1984 I: 372-373). Гоголь спародирует аффектированное поклонение «русского путешественника» перед знаменитой фавориткой, сделав ее имя знаком внебрачных связей Ивана Ивановича Перерепенка и Афанасия Ивановича Товстогуба<sup>449</sup>.

Под «сельскими красотами Трианона» ходасевичевский герой имеет в виду так называемый *маленький Трианон*, любимый сад Марии-Антуанетты. В его глубине находился *храм любви*, где королева уединялась со своими фаворитами и фаворитками. Этот *храм* украшен в соответствии со своим прямым назначением. «Там искусный резец Бушардонов изобразил Амура во всей его любезности, – пишет «русский путешественник», – Нежный бог ласковым взором своим приветствует входящих; в чертах лица его не видно опасной хитрости, коварного лукавства. Художник представил любовь невинную и счастливую» (Карамзин 1984 I: 397).

В таком же идиллическом, на первый взгляд, тоне ходасевичевский герой изображает саму королеву, сравнивая ее с розой, «на которую веют холодные ветры».

Сравнение красавицы с розой – традиционный прием во французской эротической поэзии второй половины XVIII века. В качестве примера можно привести элегию ХХХІХ Андре-Мари Шенье:

Какая благодать, коль вы еще успели  
Красавицу застать в неубранной постели,  
В тот самый миг, когда, очнувшись ото сна,  
При свете солнечном прищурится она;  
Вся отдохнувшая, вся свежая – такая,  
Как роза пышная среди цветенья мая  
(Фривольная поэзия 2002: 535).

<sup>449</sup> См. комментарий В.А. Воропаева и И.А. Виноградова в издании: Гоголь 1994 I-II: 489-490.

Однако в данном контексте это сравнение становится весьма двусмысленным. Королева находится в церкви рядом со своим супругом, одетым в траурный «фиолетовый кафтан». Двор в это время носил траур в связи с казнью маркиза Фавраса, произошедшей в феврале 1790 года<sup>450</sup>.

Фаврас участвовал в заговоре, имевшем целью похищение короля и его семьи, но был схвачен и взял всю вину на себя. В числе руководителей заговора была и королева. До последней минуты Фаврас надеялся на ее высокое покровительство, будучи, по-видимому, убежден обещаниями. Однако тщетно. Ему пришлось взойти на эшафот.

Ходили слухи, что королева обманула Фавраса. Этим грязным сплетням тем более верили, что ее репутация была безнадежно подмочена после скандального дела, вошедшего в историю под названием «ожерелье королевы». В связи с этим делом говорили, что кардинал Роган, ставший невольным исполнителем мошеннической аферы, был любовником королевы. Вероятно, в такой же роли видели и Фавраса. Вообще говоря, сплетники обвиняли Марию-Антуанетту, кажется, во всех смертных грехах. Особенно популярна была тема блуда. Между прочим, считалось, что в упомянутом Трианоне проходят оргии, в которых королева играет главную роль.

Педалирование эротической символики на траурном фоне, которое делает ходасевичевский герой, намекает на все эти темные слухи и, в свете обсуждаемой темы, как нельзя более ярко иллюстрирует тему запретной любви.

По сравнению с «русским путешественником» ходасевичевский герой представляется еще большим любителем посплетничать. В самом деле, в тексте «Писем...» королева, по крайней мере, в трауре, хотя скупому упоминанию об этом обстоятельстве предшествует красноречивое и весьма пространное описание ее женственной красоты, ее безмятежности и некоторого легкомыслия в поведении, явно не соответствующего ситуации. Именно в этом описании употребляется сравнение королевы с розой, «на которую веют холодные ветры» (Карамзин 1984 I: 313), сравнение, которое цитирует ходасевичевский герой. Чувствительный «русский путешественник» склонен объяснять спокойствие Марии-Антуанетты ее необыкновенной душевной выдержкой. Однако его мнение можно рассматривать как полемическую реплику, призванную дезавуировать распространенные представления о порочности королевы.

Итак, в тексте ходасевичевского героя, который по возможности точно следовал «Письмам русского путешественника», содержится достаточно информации, могущей соблазнить женское сердце удалиться с возлюбленным, как выражался Хлестаков, вольно цитируя «русского путешественника», «под сень струй» (Гоголь 1994 III-IV: 265). В таком случае, гость Державиных предстает как опытный соблазнитель, который ставит ни во что ценности брака. Но, если это верно, почему он «смешался» и потерял дар речи, когда желанная *дичь* сама просится ему в руки?

---

<sup>450</sup> См. комментарий Лотмана к соответствующему эпизоду «Писем русского путешественника» в издании: Лотман 1984: 649.

И здесь в поведении ходасевичевского героя проявляется тема «футлярности».

### *3.6. «О любви», или почему карамзинский герой обречен на одиночество*

Как уже было сказано, Ходасевич рисовал своего Карамзина по образу героя, созданного им в своей прозе и поэзии.

Согласно кодексу поведения этого героя, прекрасная женщина для него только предмет для эстетического любования. В этом смысле она ничем не отличается от любого неодушевленного, но эстетически совершенного предмета. Как пишет по этому поводу «русский путешественник: «Прекрасный лужок, прекрасная рошица, прекрасная женщина – одним словом, все прекрасное меня радует, где бы и в каком бы виде ни находил его» (Карамзин 1984 I: 111). Поэтому он со спокойствием невинности может встречать зовущий взгляд красавицы-саксонки (между прочим, замужней) и любоваться ею, «как молодой ваятель любит Микель-Анджеловою статуею или живописец Рафаэлевою картиною» (Карамзин 1984 I: 110).

Если герой влюбляется, то чисто платонически. Как пишет Карамзин от имени одной дамы в «Мыслях о любви» (1797): «Физическое удовольствие не значит ничего в истинной любви; предмет ее слишком свят, слишком божествен в наших глазах и не может возбуждать желаний: чувства спокойны, когда сердце взволновано, – а оно всегда в волнении при этой страсти» (Карамзин 1982: 173).

Разумеется, реализация запретной любви для карамзинского героя также исключена. Он может восхищаться ею, усматривая здесь яркий пример обожествляемой им чистой стихии любви, разрывающей путы традиционных общественных условностей. Но сам ни за что не переступит черты, воздвигнув в своем сознании новые условности, столь же нерушимые, как и отвергаемые им.

По отношению к замужней женщине он выступает в изобретенной им роли «нежнейшего друга» («Послание к женщинам», 1795 г.). «Друг» воспитывает душевные качества женщины, прививает ей вкус к изящному и, в результате, постепенно подготавливает ее к сложной и ответственной роли арбитра эстетической красоты, законодательницы мод.

Если женщина начнет испытывать к «другу» ответные чувства, он считает себя достаточно сильным противостоять ее зову (см. выше эпизод с саксонкой) и контролировать ситуацию в желаемом для него тоне. Как шуточно оценил самого себя лирический герой стихотворения Карамзина «Исправление» (1797), он лишился «способности грешить» (Карамзин, Дмитриев 1958: 203).

«Письма русского путешественника» были посвящены супругам Плещеевым. С Настасьей Ивановной Плещеевой биографического Карамзина связывала длительная и прочная дружба, на границе с платонической



любовью. Разумеется, поднося ей страницы, посвященные теме запретной любви, Карамзин и в мыслях не держал какого-либо намерения соблазнить. Он только развивал ее вкус, так сказать, расширял кругозор. То же самое относится и ко всем «милым» читательницам, к которым обращался писатель в своих произведениях.

Ходасевич проиллюстрировал данную особенность любовного дискурса писателей-сентименталистов на примере Дмитриева: в жизни тот был гомосексуалистом, хотя в стихах воспевал женские прелести: «... чувствительный в стихах, был он вполне бесчувственен к женским прелестям, во всех отношениях предпочитая мужское общество...» (Ходасевич 1996-III: 65)<sup>451</sup>.

Из сказанного следует, что Карамзин в изображении Ходасевича, следуя жизнетворческому образцу своего реального прототипа, никак не рассчитывал соблазнить Екатерину Яковлевну. Его естественные человеческие чувства были так же надежно спрятаны в «футляр» вновь изобретенных условных отношений между женщиной и мужчиной, как и чувства еще одного «футлярного» чеховского героя – помещика Алехина из рассказа «О любви». Алехин не смог стать выше распространенных представлений о приличии и предпочел лицемерную роль друга семьи Лугановичей реализации своего чувства. В результате, он разбил сердце и своей возлюбленной, и, похоже, свое собственное.

### *3.7. Любовный дискурс Карамзина в кривом зеркале сплетен и слухов*

Сложная и необычная жизнетворческая позиция биографического Карамзина по отношению к теме запретной любви вызывала сплетни. Из «Записок» А.М. Тургенева, которые создавались в тридцатые годы XIX века, известны анекдоты, представляющие в смешном виде «менторскую» позу Карамзина-«друга женщин».

Один из них представляет собой пародию на «Бедную Лизу» и стихотворение «Исправление». Карамзин читает княгине П. Ю. Гагариной и ее наперснице девице Морозовой эту повесть на берегу того самого пруда, где Лиза утопилась. Как известно, до этого печального конца берег пруда был излюбленным местом свиданий Лизы и Эраста. Неожиданно появляются, по закону умножения литературных кошмарных снов и порнографических произведений, восемь купеческих сидельцев и, потребовав от писателя молчания, начали «учить»<sup>452</sup>, то есть насиловать княгиню и ее подружку<sup>453</sup>. Карамзин оставался безмолвным свидетелем этой безобразной сцены.

---

<sup>451</sup> Глава «Дядюшка-литератор» из неоконченной книги Ходасевича «Пушкин», откуда цитируется данная характеристика биографической личности Дмитриева, была впервые опубликована в газете «Возрождение» 9 июня 1932 года (№ 2564).

<sup>452</sup> Напомним данный девиз из «Исправления»: «Чтоб строгим людям угодить, / Мужей оставим мы в покое, / А жен начнем добру учить...» (Карамзин, Дмитриев 1958: 202).

<sup>453</sup> Этот анекдот цитирует по «Запискам» А.М. Тургенева В.П. Степанов. См.: Степанов 2002: 417-418.

Так в анекдоте преломился роман биографического Карамзина с княгиней Гагариной, который относится к девяностым годам. Этой женщине поэт посвятил два лирических стихотворения «К верной» и «Неверной», «овеванные, – по словам В.П. Степанова, – надеждой на счастливый конец его любовного увлечения» (Степанов 2002: 415-416). Исследователь датирует окончание близких отношений Карамзина с Гагариной апрелем 1799 года. Именно в это время Карамзин писал Дмитриеву: «... в семи верстах от города, там, где я третьего года писал <...> стихи „К верной“ давно неверной» (цит. по: Степанов 2002: 416).

В другом анекдоте Карамзин становится свидетелем супружеской измены княгини Е.А. Трубецкой, однако уверяет мужа в ее невинности<sup>454</sup>.

### 3.8. «Друг женщин» или лицемер? Соотношение литературной и биографической личности Карамзина в оценке Державина

На распространенные негативные представления о скандальном жизнетворческом поведении Карамзина по-своему ответил Державин.

Известно, что в письме к Дмитриеву от 5 августа 1796 года он написал эпиграмму на концовку упомянутого программного стихотворения Карамзина «Послание к женщинам», которое посвящено опять-таки Н.И. Плещеевой:

Что с таковыми жен друзьями  
Мужья с рогами<sup>455</sup>

(Державин 1987: 417)

Фривольное замечание, видимо, вызвало недоумение адресата Державина, и поэт должен был объясниться в письме от 6 октября 1796 года: «... примечание мое, шутя, не для того сообщил я вам, что подозреваю чье развращение, а вот ради чего:

В замужней женщине прекрасной  
Себе кто дружбу приобрел,  
Для толков, для молвы напрасной  
Он лучше бы ее не пел.

Как хладный ветерок – чума для нежных роз,  
Так при муже и друг вмиг отморозит нос.

Не погневайся <так!>: это истина; но прошу меня не поссорить с Николаем Михайловичем; я его люблю. Его привязанность к добродетели и восторг поэта побудили похвалиться дружбою дамы; но благоразумие в сем случае друга, то есть ваше, должно было остеречь его в сей нежной материи. Но оставим ссору. И то и другое прошу знать только про себя» (Державин 1987: 418).

<sup>454</sup> См. указанную работу Степанова: Степанов 2002: 418.

<sup>455</sup> Вот эта концовка: «Что истина своей рукой / Напишет над моей могилой? Он любил: / Он нежной женщины нежнейшим другом был!» (Карамзин, Дмитриев 1958: 181). Курсив принадлежит Карамзину.

Ссылаясь на ответ Державина в октябрьском письме, Степанов справедливо заключает, что ему «был известен адресат стихотворения <...> и какие-то скандальные слухи, добравшиеся до Петербурга» (Степанов 2002: 414).

Из цитированных писем видно, что Державин, по крайней мере, допускал невинность намерений Карамзина, чисто платонический характер его отношений с замужними дамами. Однако он протестует против афиширования чувств, считающихся предосудительными с точки зрения общепринятой морали. Как заметил по этому поводу Степанов, именно из «слухов» в итоге и складываются <...> репутации» (Степанов 2002: 417). «Нежные друзья» могут быть субъективно чисты, однако их высокомерное отношение к общественному мнению способствует распространению сплетен, в конечном итоге, губит репутацию замужней женщины. «Нельзя играть с огнем!» – по-отечески предупреждает Державин своего молодого друга.

Кажется, никто до сих пор не отметил, что в цитированной эпиграмме Державина «В замужней женщине прекрасной...», которая датируется 1796 годом, предпоследняя строчка («Как хладный ветерок – чума для нежных роз») аналогична упомянутому сравнению Марии-Антуанетты с «розой, на которую веют холодные ветры», сравнению, употребленному «русским путешественником» в парижской части «Писем...», впервые опубликованной в 1801 году. Что это? Простое совпадение? Сознательная реминисценция, употребленная «русским путешественником», либо, наоборот, державинская цитата из устного рассказа Карамзина о французской революции?

Эпиграмма Державина весьма фривольна. Ставя существование «носа» друга замужней женщины в зависимость от ее мужа, поэт обнажает традиционное символическое значение этого слова: «нос» – это penis<sup>456</sup>. «Розы» рифмуются с «носом», а «муж», носитель угрозы разоблачения шашней и наказания любовников, метафорически соотносится с «хладным ветерком». Общий признак для сравнения – холод. В таком контексте слово «розы» приобретает символическое значение vagina. Это значение встречается во французской эротической поэзии второй половины XVIII века. В качестве примера можно привести красноречивое описание «цветка наслаждения», которое сделал Дефорж де Парни в поэме «Война богов»:

Не смей шалить! Сокровища любви  
Не трогай и цветка ее не рви!  
Под алебастром там эбен таится  
И розы распускается бутон...  
Пока еще не раскрывался он,  
И гибкий пальчик ищет наслажденья  
В запретном для него прикосновеньи...

(Фривольная поэзия 2002: 525).

---

<sup>456</sup> Данное значение было освежено корифеем сентименталистской литературы Лоренсом Стерном в носологическом этюде своего знаменитого романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760-1767).

Если «русский путешественник» рецепировал данное сравнение из эротической эпиграммы Державина, то он представил французскую королеву в еще более двусмысленном виде, чем было отмечено выше. «Холодные ветры», означающие грозные для нее обстоятельства, будучи модифицированы, в соответствии со смыслом державинской эпиграммы, в эротическом плане, приобретают значение угрозы, спровоцированной ее собственным, согласно сплетням, безнравственным поведением.

Если же Державин воспроизвел в эротико-эпиграмматическом плане данное сравнение, употребленное Карамзиным в его устном рассказе о французской революции, то тем самым он выразил свое негативное отношение к щегольскому поведению своего гостя. До него не только доходили слухи о скандальном поведении Карамзина (как предполагает Степанов), он оказался его свидетелем.

Но как бы ни расценивать это удивительное совпадение, похоже, что Ходасевич выбрал третий из предлагаемых нами вариантов. Он использовал данное совпадение для реконструкции рассказа Карамзина о французской революции на званом обеде. Именно поэтому созданный им герой выделил в рассказе сравнение королевы с розой, «на которую веют холодные ветры», устранив упоминание о трауре. Ходасевичевский герой откровенно восхищается вызывающим поведением королевы. В соответствии с подразумеваемым менторским дискурсом, он как бы ставит ее поведение в пример присутствующим дамам.

С другой стороны, это совпадение было использовано Ходасевичем для реконструкции отношения Державина к рассказу Карамзина.

В упомянутом октябрьском письме Дмитриеву Державин заверил своего адресата, что верит в добродетельность Карамзина. Однако у него, согласно Ходасевичу, было веское основание сомневаться в абсолютном единстве литературной и биографической личности своего молодого друга.

В самом деле, в эпизоде встречи с прекрасной саксонкой и ее старым и уродливым мужем «русский путешественник» признался, что смущение в ответ на кокетство женщины означает его нечистые помыслы. Карамзинский герой остался верным себе, уклонясь от возможного *ménage à trois*.

Однако Карамзин в изображении Ходасевича в ответ на неверно им толкуемые знаки Екатерины Яковлевны поступает именно так, как будто у него были нечистые помыслы: он смущается.

Если Державин слушал историю встречи с саксонкой, а именно на это намекает Ходасевич, изобразив Карамзина, вопреки фактам, смущенным, то он соотнес указание своего гостя с реальным поведением. Отсюда и могли последовать эпиграммы о рогатых мужьях, простуженных «розах» и отмороженных «носах».

### *3.9. Второй обед Карамзина у Державина: от рокировки масок суть не изменяется*

Следующий эпизод биографии Ходасевича, в котором Карамзин является одним из главных действующих лиц, – это званый обед у Державина, состоявшийся в середине февраля 1816 года.

Поэт пригласил Карамзина вместе с А.С. Шишковым как руководителей противоборствующих литературных объединений, надеясь, согласно Ходасевичу, примирить их друг с другом. Тем самым он добился бы прекращения полемики между Беседой и Арзамасом, которая была ему «не по душе» (Ходасевич 1988: 226).

В композиции биографии Ходасевича данный эпизод связан со сценой знакомства Карамзина с Державиным, которая была разобрана выше: поведение Карамзина образца 1816 года соотнесено с поведением Карамзина образца 1790 года; его личность более откровенно, чем в сцене знакомства, противопоставлена личности Державина.

В 1816 году биографический Карамзин был уже далеко не тот, что в 1790-м. Изменился его жизненный и литературный статус: вместо никому не ведомого «молодого путешественника», эпатирующего щегольским поведением общественное мнение, образовался маститый литератор, глава влиятельной литературной школы; придворный историограф, советник царя. Собственное щегольство Карамзиным было давно забыто и осмеяно в повести «Моя исповедь» (1802). Теперь он предпочитал культивировать традиционные условные формы светского поведения с его девизом: «казаться», а не «быть».

Именно поэтому два таких разных современника Карамзина, как адмирал Шишков и мадам де Сталь, оценивая с разных точек зрения его поведение в первые десятилетия XIX века, называли писателя «французом». Для нас особенно актуален в этой связи отзыв де Сталь, который датируется 1812 годом: «Сухой француз – вот и все» (цит. по: Лотман 1987: 18). Согласно комментарию Лотмана, писательница, будучи поклонницей романтизма в жизни и литературе, не могла простить Карамзину «сухости хорошего тона, отточенности сдержанной речи, всего, что отдавало слишком известным ей миром парижского салона» (Лотман 1987: 18).

Таким образом, Карамзин как бы отодвинул в тень прежнюю маску щеголя и выдвинул на свет, так сказать, хорошо забытую старую и весьма традиционную маску светски воспитанного человека. Будучи щеголем, он ее отвергал, с ней боролся, эпатируя общественное мнение экстравагантным поведением. Но от этого, как было показано выше, он не приблизился к единству своей личности. Жизнетворческое поведение Карамзина-щеголя приблизило его к реальным человеческим чувствам «разве только на волосок», как писал Ходасевич в очерке «Дмитриев» по поводу условной поэзии заглавного героя (Ходасевич 1991: 150). Биографическая личность Карамзина жила своей жизнью, а литературная – своей, и между ними трудно было найти точки соприкосновения. Однако «новая» условная

маска «француза», как показывает Ходасевич в сцене второго обеда у Державина, только подчеркнула существенное несовпадение литературной и биографической личности Карамзина.

Этому акцентированию способствовало весьма счастливое для историка обстоятельство: по поводу этого обеда сохранились письменные свидетельства Карамзина, и, таким образом, мы имеем возможность сравнить его реальные мысли и чувства с внешним поведением, то есть биографическую личность писателя с ее житнетворческим двойником.

Ключевой для понимания данной сцены биографии является характеристика, данная Карамзиным Державину и Шишкову в письме к жене. Он назвал их «смешными неприятелями». Ходасевич выделяет эту характеристику курсивом, чтобы акцентировать ее особенное семантическое значение. К ней он присовокупляет очевидный галлицизм «шармировать» (Ходасевич 1988: 226) и тем самым оттеняет иностранное происхождение эпитета «смешной» – буквальный перевод французского «ridicule».

Согласно Фонвизину, понятие «ridicule» составляет основу этического кодекса, по которому жило французское светское общество, по крайней мере, до революции. Это понятие касается необходимости соблюдать приличия, сколь бы они ни были нелепы, до мелочей. Нужды нет, что человек нравственен с точки зрения естественной морали: если он оказывается «ridicule», его все избегают. Французы особенно остро замечают все *смешное*, однако, с другой стороны, никто, как они, не бывают слепы в отношении *смешного* в самих себе. Происходит это по причине их поверхностного ума, интересующегося не сутью явлений, а их внешностью<sup>457</sup>.

Внешне Карамзин в изображении Ходасевича ведет себя как истинный «француз», стремящийся соблюдать приличия, чтобы не оказаться в *смешном* положении. «Карамзин при всех обстоятельствах, – пишет Ходасевич, – умел себя держать с любезностью и достоинством» (Ходасевич 1988: 226). Однако это не более чем маска. Его настоящее отношение к собеседникам видно в лукавом взгляде («он не без лукавства поглядывал»), в характеристике их как «смешных неприятелей». Даже стремление героя Ходасевича найти тему для беседы, могущую быть интересной для сотрапезников – «он их старался забавить грамматикой, синтаксисом, этимологией» (Ходасевич 1988: 226) – в данном контексте приобретает двусмысленное значение. Герой высокомерно относится к их интеллектуальному уровню: «забавляют» малых детей или женщин, чтобы им понравиться<sup>458</sup>.

---

<sup>457</sup> «Разум их никогда сам на себя не обращается, а всегда устремлен на внешние предметы, так что всякий, обращая на смех другого, никак не чувствует, сколько сам смешон» (Фонвизин 1959 II: 474). Цитируется упомянутое парижское письмо Фонвизина Панину.

<sup>458</sup> Употребляя слово «забавить», Ходасевич цитировал Карамзина (см.: Грот 1997: 622). Однако, как мы полагаем, он не мог не помнить, что именно это слово употребил Пушкин, когда передавал мысли Онегина по поводу предстоящих обязанностей по уходу за больным дядей-стариком: «Полуживого забавлять» (I: I). К тому же, цитата из «Евгения Онегина» как нельзя более уместна для данной сцены «Державина»: собеседники Карамзина годились ему в «дяди», а лицемерное намерение Онегина соблюдать приличия, дабы получить наследство, аналогично двуличному поведению ходасевичевского героя. Данное совпадение оттеняет лицемерие Карамзина в обсуждаемой сцене биографии Ходасевича.

Итак, Карамзин в изображении Ходасевича, сохраняя внешнее приличие, исподтишка смеется над Шишковым и Державиным. Так же поступал, как было показано выше, и Дмитриев.

Судя по реакции Шишкова на видимую любезность Карамзина, который провозгласил его ни много ни мало как своим учителем, адмирал ей не поверил: «Шишков был смущен, насупился и, наклонясь над тарелкой, несколько раз повторял сквозь зубы: „Я ничего не сделал. Я ничего не сделал“» (Ходасевич 1988: 226). У Шишкова были основания для такого отношения: если Карамзин, по его мнению, «француз» (см. выше), то его слова не более чем светские комплименты. Однако преувеличение, допускаемое в этом жанре, ставило Шишкова в смешное положение. Вместо того чтобы обратить внимание на форму и ответить Карамзину подобной учтивой фразой, Шишков, скорее всего, вник в суть комплимента. Этим объясняется его смущение. Подобное отношение не вписывается в рамки приличий, считается смешным. Поэтому Карамзин в письме к жене назвал Шишкова «тупым» (Ходасевич 1988: 226).

Однако Державин в изображении Ходасевича, по-видимому, принял любезности Карамзина в буквальном смысле и посчитал, что его цель – примирить Шишкова и Карамзина – почти достигнута. Чтобы поставить точку в этом деле он заметил, что «пора Николаю Михайловичу стать членом Российской Академии» (Ходасевич 1988: 226). Другими словами, предложил Карамзину пойти под начало Шишкова, который в это время был президентом Российской Академии: занять такую же подчиненную позицию по отношению к Шишкову, какую занимает ученик по отношению к учителю.

Невозможно было придумать насмешки более тягостной для самолюбия Карамзина, чем это предложение Державина. В самом деле, Державин одним естественным движением вдруг обнажил всю условность позиции Карамзина, его лицемерие, допускаемое правилами хорошего тона, но, вне рамок светского салона, обнаруживающее свою непривлекательную суть. Так некогда Екатерина Яковлевна невольно обнажила условность поведения Карамзина-щеголя – агитатора запретной любви и поставила его в смешное положение. Так и Державин, невольно, как было показано выше, сделал смешным Карамзина, тайно подсмеивающегося над ним и его гостем – А.С. Шишковым.

### *3.10. Обеды у Карамзина и у Державина как характеристика их литературной и биографической личности*

Реакцию Карамзина на предложение Державина реализовать комплиментарное заявление и стать членом Российской академии под началом Шишкова Ходасевич передает в гастрономических терминах. По его словам, Карамзину все-таки удалось сыграть свою роль до конца и соблюсти внешние приличия. Он ответил на сокрушительное для его самолюбия заявление Державина ничего не значащей «светской» фразой: якобы он «до

конца своей жизни не назовется членом никакой академии» (Ходасевич 1988: 226). Условность этого ответа показал Грот, когда заметил, что через два года Карамзин был избран почетным членом Академии наук, а чуть позже «попал и в действительные члены Российской академии» (Грот 1997: 622). Однако, по словам Ходасевича, «от державинского обеда остался у него неприятный осадок. Вяземскому он жаловался, что ничего есть не мог – горчица была невозможна» (Ходасевич 1988: 226).

На самом деле, согласно Гроту, Карамзин сообщал Вяземскому о своем неудовольствии по поводу низкого качества блюд на обеде у Державиных в другое время (Грот 1997: 623). Ходасевич, отнеся данный отзыв писателя к обеду с Шишковым и представив его как реакцию на неуместное предложение Державина, поставил Карамзина в смешную ситуацию: реализация нравственной «тошноты» в грубую картину желудочного расстройства призвано в произведениях фарсового жанра вызывать соответствующую реакцию у зрителей.

Упоминание имени Вяземского помогает понять смысл данного приема Ходасевича. Этот автор в своей так называемой «Старой записной книжке» употребил гастрономические термины для характеристики жизнетворческого поведения Карамзина. «У него был свой слог и в пище, – пишет Вяземский, – нужны были припасы свежие, здоровые, как можно более естественно изготовленные. Неопрятности, неряшества, безвкусыя не терпел он ни в чем. Обед его был всегда сытный, хорошо приготовленный и не в обрез, несмотря на общие экономические порядки дома. В Петербурге два-три приятеля могли всегда свободно являться к обеду его и не возвращались домой голодными» (Вяземский 2000: 178). Другими словами, с точки зрения Вяземского, как в жизни, так и в литературе Карамзин сохранял целостность своей личности. Его жизнетворческое поведение, построенное по законам собственной поэтики (экономность в средствах; внешняя прозаичность в бытовом поведении, не исключая, а скорее подчеркивающая глубокую духовность избранного образа жизни и т.д.) заслуживает высших похвал.

Далее Вяземский противопоставляет своего кумира Державину. У последнего обеда были «очень плохие» (Вяземский 2000: 178). Следует отсылка к известному рассказу Карамзина о дурной горчице. Отсюда Вяземский заключает, что литературная личность Державина не совпадала с личностью биографической, превосходя ее, как идеал превосходит свою корявую земную копию: «Державин был более гастрономом в поэзии, нежели на домашнем очаге» (Вяземский 2000: 178).

Мы видели, что в контексте сцены второго обеда Карамзина у Державина поведение первого изображается Ходасевичем как образец искусственности. Наоборот, Державин – воплощение естественности. Соответственно, и обед Державина отражает означенный характер хозяина. «Державинские обеды были обильны и превосходны», – утверждает Ходасевич в пику Карамзину и Вяземскому (Ходасевич 1988: 145), а последнего изо-



бражает в фарсовом виде «молодого человека с длинейшими ногами и маленькой головой» (Ходасевич 1996- III: 379).

Данное утверждение является частью комментария Ходасевича к следующим строчкам из стихотворения Державина «Гостю» (1795):

Сядь, милый гость, здесь на пуховом  
Диване мягком, отдохни;  
В сем тонком пологу перловом,  
И в зеркалах вокруг, усни;  
Вздремли после стола немножко:  
Приятно часик похрапеть

(Ходасевич 1988: 145).

Ходасевич цитирует не точно. После «вздремли» в оригинале стоит запятая; после «немножко» – также запятая, а не двоеточие, как у Ходасевича. Самое важное, Ходасевич обрывает цитирование первой строфы и вместо двоеточия ставит точку. Далее у Державина следуют такие стихи: «Златой кузнечик, сера мошка / Сюда не могут залететь» (Державин 2002: 434). То есть для Державина «приятность» сна заключается в том, что его не могут перебить надоедливые насекомые, тогда как в интерпретации Ходасевича «приятность» сна является следствием «превосходного обеда», как бы его чудесным продолжением и, наоборот, этот обед и «сказочная» обстановка являются точным соответствием «приятного» сна.

Стихотворение «Гостю» Державин посвятил своему душевному другу П.Л. Вельяминову. В объяснении к стихотворению «Зима» (1803-1804), также посвященному Вельяминову, поэт характеризует его как любителя «народной поэзии» (Державин 2002: 635-636). Между прочим, Державин отмечает, что Вельяминов сочинил «простонародную песню» на гастрономическую тему: «Ох, вы славные кислы щи, вы медвяные щи пузырьные» (Державин 2002: 636). Таким образом, по крайней мере, в поэзии Вельяминов оказывается таким же любителем народной кухни, как и Державин, прославивший «зелены щи с желтком» в послании «Евгению. Жизнь Званская» (1802). Однако Ходасевич в упомянутом комментарии к стихотворению «Гостю» утверждает, что эти «щи» существовали в реальности, и, следовательно, Вельяминов, наслаждавшийся ими на «приятных» обедах у Державина, точно отразил свои впечатления в своей песне, проявив при этом целостность своей литературной и биографической личности.

Сложная система отсылок к стихотворению «Евгению. Жизнь Званская» указывает на ту строфу, в которой Державин объясняет суть своих гастрономических предпочтений. По словам поэта, «зелены щи с желтком» вкупе с другими подобными блюдами и напитками народной кухни

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус,  
Но не обилием иль чуждых стран приправой,  
Но что опрятно все и представляет Русь:

Припас домашний, свежий, здоровой

(Державин 2002: 386).

Эти стихи в контексте полемики Ходасевича с гастрономическим дискурсом Вяземского служат хорошим полемическим средством. Державин как бы сам возражает Вяземскому, утверждая, какие продукты (читай, «слог») на самом деле вкусны и питательны. К тому же Ходасевич намеренно искажает характеристику обедов Карамзина, данную Вяземским. Он не говорит о том, что эти обеды были «сытные»; из конкретных блюд и напитков, перечисленных Вяземским (суп, рис, рюмка портвейна и стакан пива за обедом, два печеных яблока вечером), он оставляет лишь рис и яблоки, добавляя при этом, что Карамзин «в еде и питии был крайне воздержан» (Ходасевич 1988: 226). В таком изображении обеды Карамзина выглядят условными, а утверждение Вяземского об их сытности – противоречащим действительности.

Итак, по Ходасевичу, для простых и честных людей, тесно связанных с народной культурой, таких как Вельяминов, национальные блюда державинской кухни так же здоровы и «приятны», как «слог» его поэзии. Наоборот, обед Карамзина так же тощ и искусственен, как его «слог».

### 3.11. «Месть» Карамзина, или «хлестаковское» письмо Державину

На эпизоде второго обеда Карамзина у Державина история взаимоотношений этих писателей в биографии Ходасевича не заканчивается. Ходасевич связывает этот эпизод со сценой несостоявшегося авторского чтения в доме Державиных «Истории государства российского».

Карамзин сам вызвался прочитать свой труд, назначил время. Державин созвал гостей. Однако чтец так и не явился. Только через час Карамзин прислал записку с извинениями. Ее содержание Ходасевич цитирует по пересказу С.Т. Аксакова: «Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать и потому промешкал и что просит Гаврилу Романовича назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра» (Ходасевич 1988: 227). По форме «записка была исполнена глубокого сожаления и деликатности» (Ходасевич 1988: 227). Как пишет по этому поводу Аксаков: «В семи или восьми строчках этой записки Карамзина дышала такая простота, такое кроткое спокойствие, такое искреннее сожаление, что он не мог исполнить своего обещания! Казалось, не было возможности, прочтя эти строчки, сохранить какое-нибудь неудовольствие в сердце...» (Аксаков 1985: 526). Однако Державин оказался глубоко оскорблен поступком Карамзина. Цитируем Ходасевича: «Но Державин остолбенел от полученного *афронта*. Потом стал он шагать по комнате и ни с кем не говорил ни слова, но таково было выражение лица его, что „все гости в несколько минут нашлись вынужденными разъехаться“» (Ходасевич 1988: 227).

Ходасевич считает, что таким образом Карамзин «отомстил жестоко» Державину за ту неловкость, какую испытал на предыдущем обеде с Шишковым. Однако он это сделал «неумышленно» (Ходасевич 1988: 226).

В этом эпизоде остается не ясным поведение Державина: почему он оскорбился запиской Карамзина? Аксаков считает, что всему причиной «нетерпение, вспыльчивость и неумение владеть собою престарелого поэта» (Аксаков 1985: 525). В содержании самой записки он не увидел никаких поводов для обиды, скорее, наоборот, оно должно было бы удовлетворить любого менее вспыльчивого человека. Однако мемуарист не обратил должного внимания на то обстоятельство, что собственно *причины* своей неявки Карамзин в записке не приводит. По крайней мере, это следует из его пересказа. Ходасевич и Грот, следуя за Аксаковым, также не приводят этой причины.

Между тем, Ходасевич мог ее узнать хотя бы в книге того же Грота, где приводится свидетельство Карамзина из письма к жене от 10 марта: «Я обещал ныне в 7 часов к Державину для чтения, но получил зов к великой княгине Марии Павловне» (Грот 1997: 227). Мы думаем, что Ходасевич, не общая настоящей причины манкирования Карамзиным собрания у Державина, тем самым намекал на ее фактическое отсутствие в указанной записке.

В самом деле, мог ли Карамзин сообщить Державину о приглашении Марии Павловны как обстоятельстве, оправдывающем его поведение в данном эпизоде? Ответ на этот вопрос зависит от решения следующего вопроса: знала ли сама Мария Павловна о том, что Карамзин давал обещание читать у Державина, и если знала, почему не отменила свое приглашение, как поступил бы на ее месте всякий воспитанный человек? Если бы Мария Павловна узнала от Карамзина об ожидавших его в другом месте известных и уважаемых людях и, тем не менее, не отпустила бы его, то она бы поступила как деспот, предпочтя удовлетворить свою прихоть за счет достоинства подданных российской империи. Невероятно, чтобы Мария Павловна, достойная наследница своего великого свекра – знаменитого мецената герцога саксен-веймарского Карла-Августа, личный друг великого гуманиста Гете, который называл ее «одной из лучших и наиболее выдающихся женщин нашего времени» (Брокгауз и Ефрон 2003)<sup>459</sup>, поступила бы таким образом. Остается предположить, что Карамзин и не сообщал ничего Марии Павловне о назначенном чтении у Державина. Отсюда следует заключить, что и Державину, который, конечно, прекрасно был осведомлен о гуманном характере Марии Павловны, Карамзин не мог сообщить о приглашении великой княгини. В этом случае он только подчеркнул бы всю неблагоприятность своего поведения по отношению к уважаемому собранию и при этом, самое главное, фактически взял бы всю ответственность в его оскорблении на себя. Ведь получается, что только по собственной прихоти, а не в связи с какими-либо обстоятельствами, биографический Карамзин позволил себе поглумиться над Державиным и его гостями.

Видимо, биографическому Карамзину те семь или восемь строк, составивших весь текст записки, дались не просто, если он думал над ними целый час. Однако, судя по реакции Державина, ему не удалось завуалиро-

---

<sup>459</sup> Цитируется энциклопедическая статья *Мария Павловна, дочь императора Павла I*.

вать изящными выражениями оскорбительную суть своего письма. В самом деле, получается, что Карамзин, по инициативе которого Державин собрал гостей, заставив предварительно прождать себя целый час, даже не посчитал нужным сообщить причину своей неявки. Мы полагаем, что акцентированием данного мотива Ходасевич внушает читателю примерно следующие мысли по поводу тех чувств, которые испытывал Державин, переживая полученный *афронт*. Этот поступок Карамзина беспрецедентен в биографии Державина. Так с поэтом не поступали даже императоры, даже его гонитель генерал-прокурор князь Вяземский ясно давал понять причины своих интриг, и вот от него отмахнулись словно от мухи. И кто же это сделал? Поборник «личной независимости», как характеризует Карамзина Лотман (Лотман 1987: 202-203), «гуманнейший» и «образованнейший» Николай Михайлович?

Но почему Карамзин посчитал возможным «ничтоже сумняшеся» поступить так некрасиво по отношению к Державину и его гостям?

Мы думаем, что, по Ходасевичу, в данном эпизоде проявилась «футлярная» суть личности Карамзина, взятой в ее литературной и биографической ипостасях.

Биографический Карамзин мог, по-видимому, «показать нос» Державину потому, что для него, как и для майора Ковалева или Беликова, чины и звания значат гораздо больше, чем уважение человеческого достоинства. В самом деле, что такое Державин и все его гости по сравнению с приглашением ко двору!

Ходасевич педалирует «футлярный» дискурс введением гоголевского кода. В частности, в первой реакции Державина по прочтении карамзинской записки очевидны реминисценции знаменитой «немой сцены» из «Ревизора». Таковы «остолбенение» Державина<sup>460</sup> и его молчание («ни с кем не говорил ни слова» (Ходасевич 1988: 227)). Для сравнения: Аксаков сообщает, что Державин «беспрестанно ходил», хотя и «ни с кем не говорил» (Аксаков 1985: 526). Городничий был обманут воплощением «футляра», самим «футляром» в человеческой маске – Хлестаковым. В минуту прозрения он точно обозначил данный феномен «сосулькой» и «тряпкой» (Гоголь 1994 III-IV: 281-282). Таким образом, и Державин оказался обманут «внешностью» Карамзина: его костюмом, речами и маской светской вежливости. Конечно, в его реакции актуализированы трагические аспекты катастрофы, постигшей городничего и его семью.

Гоголевский подтекст дает возможность для интерпретации упомянутого утверждения Ходасевича: якобы Карамзин в данном эпизоде оскорблял «неумышленно» (Ходасевич 1988: 226). В самом деле, можно ли сказать, что Хлестаков, между прочим, применивший в своем письме к особе городничего поговорку «глуп как сивый мерин», говорил «умышленно»? Нет. Ведь он обычно, как подчеркивает Гоголь, «говорит и действует без всякого соображения. <...> Речь его отрывиста, и слова вылетают

---

<sup>460</sup> Ср.: «Городничий посередине в виде столба...» (Гоголь 1994 III-IV: 283).

из уст его совершенно неожиданно» (Гоголь 1994 III-IV: 205). Так и Карамзин в изображении Ходасевича «не соображал» что говорил и делал, манкируя собрание у Державина, шармируя «смешных неприятелей» или «уча добру жен» (в сцене знакомства с Державиным).

Таким образом, Карамзин в изображении Ходасевича, несмотря на вновь приобретенные привычки светского поведения, на почтенный возраст и почетное положение в обществе, остался тем же легкомысленным «вояжером», что и на заре своей юности. Его грандиозный успех объясняется вечным поклонением людей перед внешним блеском, перед «футляром». Похоже, что его литературная маска в определенной мере все-таки срослась с его биографической личностью (несмотря на их сущностное несовпадение), придала ей некоторые специфические черты. Парадоксальным образом эти черты делают личность Карамзина симпатичнее, чем она, возможна, была на самом деле. В данном эпизоде хлестаковское легкомыслие набросило покров на, в изображении Ходасевича, по-человечески непривлекательную биографическую личность Карамзина.

#### **§ 4. Карамзин-Дмитриев и Державин: отношение к смерти и единство литературной и биографической личности**

Написание «Карамзин-Дмитриев» значит, что Дмитриев составляет pendant Карамзину. В результате, он делит вместе с ним ироническую авторскую оценку. Нужно сказать, что в двойничестве этих персонажей Ходасевич пародийно отразил представления современников о биографических личностях их прототипов. Например, известно, что В.А. Жуковский называл Дмитриева «второю ипостасью незабвенного Николая Михайловича» (Карамзин 1982: 293).

Педалирование Ходасевичем в рассказе Карамзина о французских событиях мотива сплетен о шашнях королевы, которое призвано указать читателю на этот мотив в «Письмах русского путешественника», имеет еще один аспект несовпадения литературной и биографической личности Карамзина. В самом деле, «русский путешественник», пародируемый Ходасевичем, намекая на эти сплетни, действует не как «чувствительный путешественник», а как заправский журналист. Ведь муссирование слухов – в журналистике обычный прием. Известно, что биографический Карамзин весьма рассчитывал поправить свое состояние за счет издания периодики и в этом преуспел за короткий срок. Демонстрация Ходасевичем журналистских приемов Карамзина во многом объясняет его «секрет успеха».

Отношение к смерти, столь ярко сказавшееся в рассказе героя Ходасевича, к тому же, поданное на фоне державинского дискурса на эту тему, еще более подчеркивает указанное несовпадение и, тем самым, обнажает условность маски «русского путешественника».

Легко заметить, что герой Ходасевича говорит на званом обеде у Державина на любимую тему (согласно концепции биографии) хозяина

дома: о соотношении смерти и жизни. Он строит свой рассказ на приеме контраста, типичном для державинской поэтики, чуть ли не реализуя ставшую крылатым выражением метафору из оды «На смерть князя Мещерского»: «Где стол был яств, там гроб стоит».

В самом деле, его рассказ отчетливо делится на две части. В первой речь идет о прелести парижской жизни; здесь подаются крупным планом, в нарочито идиллическом тоне, фигуры короля и королевы, дофина и мадам Ламбаль. Во второй – предсказывается скорая гибель старой «веселой» парижской жизни и этих людей, воплощающих эту самую жизнь. Скрытое цитирование шутовского «пророчества» из романа Рабле отбрасывает à geboirs<sup>461</sup> зловещий багровый свет на то обстоятельство, что двор носит траур по поводу казни *первого* аристократа – маркиза Фавраса. «Кто следующий? Не сам ли король, его семья и приближенные?» – как бы спрашивает герой Ходасевича. Тем самым он опять-таки по-журналистски пускается в область уличных домыслов и слухов, проявляя нецеломудренное отношение к самому таинству смерти, накликав беду на еще живых людей.

В данном случае в монтаже героя Ходасевича только акцентируется основная интонация соответствующего изображения, выполненного «русским путешественником».

Когда парижская часть «Писем...» была опубликована, король был казнен; были известны страшные подробности гибели принцессы Ламбаль и безобразный суд, который устроили якобинцы над королевой, суд, где главным свидетелем обвинения выступил ее восьмилетний сын. Тем не менее, биографический Карамзин не проявил целомудренного отношения к памяти погибших, оставив двусмысленное описание королевской семьи.

Конечно, «русский путешественник» в 1790 году еще ничего не знал о будущих событиях. Но это обстоятельство только подчеркивает особенность его подхода к трагическим событиям французской революции: он оперирует не фактами, а слухами и толками. Описав королевский двор в трауре по поводу казни Фавраса, а затем, по контрасту, простых людей, любующихся дофином, «русский путешественник» аффективно восклицает: «Народ любит еще кровь царскую!» (Карамзин 1984 I: 314). Наречие «еще» в данном контексте приобретает зловещий смысл, аналогичный только что отмеченному в рассказе героя Ходасевича в связи со скрытым цитированием шутовского «пророчества» из романа Рабле: *до сих пор, пока* жизни королевской семьи ничего не грозит, но надолго ли? и кто знает, может быть, ее ждет судьба Фавраса?

В следующем письме «русский путешественник» приводит уже известное «пророчество» из книги Рабле. Между прочим, фраза о том, что земля «упьется кровью», является пуантом этого письма и, как таковая, приобретает дополнительную семантическую нагрузку. Это «пророчество» работает на обнажение зловещего смысла предшествующего описания королевской семьи.

---

<sup>461</sup> В обратном порядке (буквально: против шерсти, против ворса) (*фр.*).

«Русский путешественник» проявляет предельное легкомыслие, когда помещает описание королевской семьи среди рассказов об уличной парижской жизни, анекдотов и проч.

В рассказе ходасевичевского героя хорошо отражена эта особенность дискурса карамзинского героя. Так, он говорит в одинаково восторженном тоне о трауре королевской семьи и об «уличных цветочницах» (Ходасевич 1988: 133), которые требовали от прохожих поцелуев (Карамзин 1984 I: 365); о нравственной «физиогномии» Мармонтеля (Ходасевич 1988: 133), женившегося в шестидесятилетнем возрасте на «молодой красавице» (Карамзин 1984 I: 347), и о качестве отёльского вина (и заодно, видимо, забавный анекдот о несостоявшемся коллективном суициде Буало, жителя Отёля, и его гостей: Расина, Лафонтена, Шапеля (Карамзин 1984 I: 399)).

Создается впечатление, что «русский путешественник», пародируемый Ходасевичем, говорит, как типичный француз в сатирическом изображении Фонвизина: для него важно не «что́ сказать, а о том, как сказать». «Я часто примечал, – пишет Фонвизин по этому поводу, – что иной говорит целый час, к удовольствию своих слушателей, не будучи ими вовсе понимаем, и точно для того, что сам себя не разумеет. Со всем тем по окончании вранья называют его *aimable et plein d'esprit*» (Фонвизин 1959 II: 473)<sup>462</sup>. Крылов в этой связи иронизировал, что главным критерием достоинства речи щеголя является не ум, который делает молодого человека только смешным в большом свете, а способность быть забавным в глазах женщин. «Умей говорить, не думая; – советует сатирик щеголю, желающему добиться успеха в свете, – думать прилично ученому, а учение не пристало щеголю, и ты должен остерегаться, чтоб не сказать чего умного <...> большая часть женщин любит попугаев; хочешь ли и ты теми же самыми женщинами так же быть любим, старайся говорить, как попугай, и ты прослывешь остряком»<sup>463</sup> и т.д. (Крылов 1984 I: 357). Кстати говоря, своим жизнетворческим поведением Карамзин заслужил от А.М. Кутузова прозвище Попугай Обезьянин (Лотман 1987: 24). Пожалуй, Гоголь, сочиня знаменитый монолог-вранье Хлестакова, имел в виду данные наблюдения Фонвизина и иронические советы Крылова.

Ходасевич опять-таки показывает, как из-за литературной маски «русского путешественника» выглядывает лицо биографического Карамзина-журналиста, для которого потребно все, что может привлечь внимание широкой публики. С этой точки зрения, смерть известного человека и какой-нибудь анекдотический случай имеют равный вес и находят одинаковое отражение на газетной полосе.

В биографии Ходасевича рассказ Карамзина находит свое ближайшее соответствие в оде Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

---

<sup>462</sup> Цитируется парижское письмо Фонвизина к П.И. Панину от 14/25 июня 1778 года. В «Державине» Ходасевич весьма высоко оценил письма Фонвизина из Франции, поставив их в один ряд с «Бригадиром». См.: Ходасевич 1988: 97.

<sup>463</sup> Цитируется упомянутая сатира Крылова «Мысли философа по моде, или Способ казаться разумным, не имея ни капли разума» (1792).

Тему этого стихотворения Ходасевич определяет как «владычество смерти» (Ходасевич 1988: 99). При этом он игнорирует его концовку, в которой содержится моралистический вывод в духе горацанского *carpe diem*<sup>464</sup>. Тем самым он подчеркивает высказанный им ранее по поводу «Читалагайских од» тезис о «суровом, глухом, погребальном стихе» как характерно державинском (Ходасевич 1988: 80).

Анализируя эту оду, Ходасевич считает нужным опровергнуть мнение Дмитриева, что зрелище смерти было для Державина в эпоху пугачевщины предметом простого «поэтического любопытства» (Ходасевич 1988: 99). Он как бы обращает внимание читателя на скорбную интонацию этого стихотворения, на его глубокую философию, исключая какое-либо легкомысленное отношение к данной теме, чтобы спросить: в самом деле, может ли человек, написавший *такие* стихи, болтать, как Карамзин, на эту тему с первыми встречными, перемежая ее разными анекдотами, слухами и непристойными намеками, по-журналистски хлестко распространяться о вероятной печальной участи еще живых людей, как бы смотреть на них в театральные бинокль, показывая пальцем для пущего эффекта?

Напомним, что как раз Дмитриев оценил рассказы Карамзина на званом обеде у Державина как «умные и любопытные». В связи с анализом очерка «Дмитриев» было показано, что любопытство к смертной казни у его главного героя было, что называется, в крови. В биографии «Державин» отношение Дмитриева к смерти ярко характеризуется в той сцене, где Державин, в присутствии гостей погруженный в воспоминания о своей умершей любимой жене, чертит вилкой ее вензель.

Ее источником является устный рассказ Дмитриева, зафиксированный в мемуарах С.П. Жихарева «Записки современника». Вот как она здесь передается: «Наблюдательный Иван Иванович <Дмитриев – В.Ч.> рассказывал, что Гаврила Романович по кончине первой жены своей (Катерины Яковлевны, женщины необыкновенной по уму, тонкому вкусу, чувствам приличия и вместе по своей миловидности) приметно изменился в характере и стал еще более задумчив и хотя в скором времени опять женился, но воспоминание о первой подруге, внушавшей ему все лучшие его стихотворения, никогда его не оставляет. Часто за приятельскими обедами, которые Гаврила Романович очень любит, при самых иногда интересных разговорах или спорах, он вдруг задумается и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной, драгоценные буквы К. Д. Это занятие вошло у него в привычку. Настоящая супруга его, заметив это ежедневное, несвоевременное рисование, всегда выводит его из мечтания строгим вопросом: „Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?“. – „Так, ничего, матушка“, – обыкновенно с торопливостью отвечает он, вздохнув глубоко и потирая себе глаза и лоб как будто спросонья» (Жихарев 1955: 107).

---

<sup>464</sup> Сравнить формулировку основной идеи этой оды, которую сделал Д.С. Святополк-Мирский: «На смерть князя Мещерского – никогда горацанская философия *carpe diem* (пользуйся сегодняшним днем) не была высказана с таким библейским величием» (Святополк-Мирский 2005: 110).



Ходасевич предваряет данную сцену раскрытием душевного состояния Державина. Другими словами, писатель как бы показывает, какие именно представления и чувства поэта скрываются за заветными буквами К. и Д. В это время Державин намеревался жениться второй раз на Дарье Алексеевне Дьяковой (Милене) и, как мог, старался ухаживать за невестой. «Он старался не подать виду, – повествует Ходасевич, – но на душе у него было нелегко: память Пленеры тревожила его совесть. Ища себе оправдания, он написал замечательные стихи – „Призывание и явление Пленеры“. Глубокая личная правда здесь выражена сквозь нарядную куплетную форму, подсказанную поэтикой XVIII века...» (Ходасевич 1988: 149). Далее Ходасевич полностью приводит указанное стихотворение как наиболее адекватно передающее душевное состояние поэта:

Приди ко мне, Пленера,  
В блистании луны,  
В дыхании зефира,  
Во мраке тишины!  
Приди в подобьи тени,  
В мечте иль легком сне  
И, седши на колени,  
Прижмися к сердцу мне;  
Движения исчисли,  
Вздыхания измерь  
И все мои ты мысли  
Проникни и поверь:  
Хоть острый серп судьбины  
Моих не косит дней,  
Но нет уж половины  
Во мне души моей.

Я вижу: ты в тумане  
Течешь ко мне рекой,  
Пленера на диване  
Простерлась надо мной, –  
И легким осязаньем  
Уст сладостных твоих,  
Как ветерок дыханьем,  
В объятиях своих  
Меня ты утешаешь  
И шепчешь нежно вслух:  
«Почто так сокрушаешь  
Себя, мой милый друг?  
Нельзя смягчить судьбину,  
Ты сколько слез ни лей;  
Миленой половину  
Займи души твоей»

(цит. по: Ходасевич 1988: 149).

Далее следует непосредственно обсуждаемая сцена: «31 января 1795 года Державин ввел новую хозяйку в дом свой. Но воспоминание о Пленере не оставляло его. Часто за приятельскими обедами, которые он так любил, среди шумной беседы или спора, внезапно Державин задумается и станет чертить вилок по тарелке драгоценные буквы – К. Д. Дарья Алексеевна, заметив это, строгим голосом выведет его из мечтания:

– Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?

– Так, ничего, матушка! – обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая глаза и лоб, как будто спросонья» (Ходасевич 1988: 150).

В ходасевичевском переложении данной сцены для нас важно отметить следующие разночтения с источником: 1) вместо «самых интересных разговоров» – «шумная беседа»; 2) вместо «заметив это ежедневное, несвоевременное рисованье» – «заметив это». На этих примерах отчетливо видна разница между взглядами Дмитриева и Ходасевича по поводу обсуждаемой ситуации. Можно интерпретировать замеченные разночтения и как сознательную установку Ходасевича на акцентирование характерологических моментов для личности очевидца событий.

Дмитриев, конечно, был в курсе, какого рода раздумья вызывает у Державина образ умершей подруги: упомянутое стихотворение «Призывание и явление Пленеры» было опубликовано, скорее всего, через его посредничество, в 1797 году во второй книжке альманаха Карамзина «Аониды». Казалось бы, человек, считающий себя другом Державина, должен в благоговении замереть перед столь высоким проявлением горя, а именуемый себя почитателем таланта поэта – постараться со своей стороны сделать все для того, чтобы не помешать рождению «замечательных», по оценке Ходасевича, стихов. Что может быть значительнее таинства смерти, запечатленного в отрешенном облике великого поэта-духовидца, возможно, именно в данный момент общающегося с призраком умершей возлюбленной? – как бы хочет сказать Ходасевич. Но ничуть не бывало: Дмитриеву, оказывается, «интереснее» посторонние застольные разговоры, которые Ходасевич оценил как «шумную беседу».

В этой оценке писатель контаминировал известную державинскую характеристику деятельности шишковской «Беседы», – «Переливают из пустого в порожнее» (Ходасевич 1988: 192), – и знаменитый риторический вопрос Чацкого, являющийся, в свою очередь, вариантом известной поговорки «много шума из ничего»: «Шумите вы? и только?» (Грибоедов 1988: 114). Дело в том, что Ходасевич, раскрывая в соответствующем эпизоде своей биографии содержание собраний «Беседы», употребляет тот же самый прием реализации упомянутой поговорки «много шума из ничего», на котором построена репетиловская характеристика «шумных» «заседаний» некоего «Секретнейшего союза» (Грибоедов 1988: 113). Причем, прежде чем приступить собственно к описанию собраний «Беседы», Ходасевич специально подчеркивает, опять-таки через посредничество С.П. Жихарева, факт присутствия на них Дмитриева: «Свежий человек <т. е. Жихарев – В.Ч.>, попадая в собрания, выносил такое впечатление, что „из москвичей

один И.И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер, а Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горю» (Ходасевич 1988: 191).

Первоначально «Беседа» была организована в качестве сугубо литературных «еженедельных собраний» (Ходасевич 1988: 191) для поощрения талантливой молодежи. По Ходасевичу, на ее первом заседании обсуждению и оценке было подвергнуто сугубо военное и политическое событие: «Это было 2 февраля. В тот день получилось известие о кровопролитном сражении с Бонапартом у Прейсиш-Эйлау. Бенигсен, недавно назначенный главнокомандующим, доносил, по обыкновению преувеличивая, что „неприятель совершенно разбит“. Об этом событии много говорено. Наконец, уселись, и началось чтение» (Ходасевич 1988: 192). То есть для большинства участников собрания, как указывает Ходасевич, темой для обсуждения послужили преувеличенные толки о якобы решительной победе русской армии над Бонапартом. К тому же они как ни в чем ни бывало, уже через несколько дней после сражения, посчитали возможным провести первое заседание своего «литературного» объединения. Вероятно, акцентированием данных мотивов, Ходасевич внушает читателю представление, что среди участников собрания не было должного отношения к факту совершенно чудовищных потерь в этом сражении личного состава с той и другой стороны: в течение двух дней (26 и 27 января 1807 года) погибло в общей сложности 50 тысяч человек! (Брокгауз и Ефрон 2003: статья «Прейсиш-Эйлау»)<sup>465</sup>. А вот единственное по-настоящему значительное и в литературном, и в общественном смысле событие, происшедшее во время этого заседания, – чтение И.А. Крыловым пацифистского, в данном контексте, произведения – басни «Крестьянин и смерть», так и не дождалось, по-видимому, настоящей оценки со стороны собеседников Дмитриева, как ни вглядывался в их лица по-гениальному наблюдательный поэт: «Между прочим, Крылов, сочинитель стихов и комедий, человек лет сорока, толстый и неопрятный, с неподвижным лицом и лукавым взором, прочитал свою басню „Крестьянин и Смерть“. На поприще баснописца вступил он недавно. Читая с притворным равнодушием, он зорко поглядывал, каково впечатление, им произведенное» (Ходасевич 1988: 192). Таким образом, глубоко гуманистическое, философское произведение на тему смерти, скорее всего, оставило равнодушными как «беседчиков» (кроме Державина как автора басни «Старик и смерть», написанной на тот же сюжет), так и тем более Дмитриева, по Ходасевичу, «*карамзинистского Шишкова*», то есть, в данном случае, – *перводвигатель* характерного для карамзинистов интеллектуализированного и, как такового, легкомысленного отношения к смерти, воспринимаемой как простой предмет для *любопытства*.

---

<sup>465</sup> Мы полагаем не напрасным упоминание здесь имени Бенигсена. «Кровожадность» этого генерала зафиксирована Л.Н. Толстым в хрестоматийной сцене «Совета в Филях» в «Войне и мире», где он поставил на кон само существование русской армии. О соответствующем же качестве Наполеона, бросающего целые армии, говорить не приходится.

По Ходасевичу, ситуация не изменилась и на других собраниях, хотя и посвященных собственно литературным делам: их участники по-прежнему «много шумели из ничего». В этой связи особенно показательна деятельность А.С. Шишкова в передаче Ходасевича: «Шишков огласил новую поэму Шихматова „Пожарский, Минин и Гермоген“, божился, что вещь гениальная, но ему не поверили». «Само собою, Шишков то и дело принимался громить москвичей, но никто, в том числе и он сам, не знал толком, что делается в Москве. Там нарождались новые поэты: Мерзляков, Жуковский, кн. Вяземский (юный шуринок Карамзина). Здесь о них едва слышали и ими не любопытствовали. Порою Шишков заводил любимые разговоры о слоге, высказывая суждения мелочные, придирчивые, безвкусные» (Ходасевич 1988: 192). Настоящего качества перевода Н.И. Гнедичем 7-й песни «Илиады», употребившего для этой цели александрийский стих, никто не оценил: дельное замечание переводчика Галинковского о том, что «лучше переводить Гомера экзаметром» (Ходасевич 1988: 192), которым впоследствии и воспользовался Гнедич, утонуло в «общем восторге» (Ходасевич 1988: 192). Гнедич читал, как будто реализуя репетитовское «кричим – подумаешь, что сотни голосов!»: «Неприятно было лишь то, что переводчик, на один глаз кривой и весь какой-то нахохленный, безо всякой нужды напрягал свой голос до крику. Казалось, того и гляди, начитает себе чахотку» (Ходасевич 1988: 192).

По Ходасевичу, в оценке «шумной» «Беседы» Крылов, как известно, предложивший в «Квартете» собственный вариант темы «много шума из ничего», и Державин оказываются единодушны: «Крылов, слушая, ухмылялся, Державин ворчал:

– Переливают из пустого в порожнее» (Ходасевич 1988: 192).

Вот такими «шумными беседами» и «интересовался» по-настоящему Дмитриев. В этой связи характерно также акцентирование Ходасевичем дмитриевской оценки «рисования» Державиным вензеля Екатерины Яковлевны как «ежедневного» и «несвоевременного». Сколько досады чувствуется в этих оценочных эпитетах! Поэтические размышления Державина оказываются всякий раз помехой для «интересных» разговоров! Показательна полная солидарность Дмитриева с довольно-таки бесцеремонным поведением Дарьи Алексеевны, кстати сказать, не отличающейся и поэтическим вкусом. То есть для Дмитриева, как «футлярного» человека, и для второй супруги Державина, так и не поднявшейся, судя по изображению Ходасевича, выше своего мещанского кругозора<sup>466</sup>, соблюдение внешних приличий является высшим и безусловным законом человеческих отношений, а всякое естественное проявление чувств вызывает безусловное осуждение и, так сказать, последующее агрессивное вторжение под флагом «демократических» преобразований в область этого проявления.

---

<sup>466</sup> См. в этой связи лапидарную характеристику Ходасевича: «... ее <Дарья Алексеевны – В.Ч.> стихией были дела житейские» (Ходасевич 1996- III: 295).

В следующем эпизоде биографии Ходасевича «Державин» демонстрируется еще один аспект рассматриваемого отношения Дмитриева к смерти. Мы имеем в виду посещение Державина Д.И. Фонвизиним 30 ноября 1792 года, то есть за день до кончины. Источником этого эпизода является также рассказ Дмитриева, приведенный в его мемуарах «Взгляд на мою жизнь»; и Ходасевич в передаче этого рассказа употребляет тот же самый прием обнажения в тексте-доноре акцентов, характерологических для личности очевидца события, который уже был рассмотрен выше, в связи с обсуждением сцены с рисованием вензеля Екатерины Яковлевны.

Согласно Дмитриеву, Фонвизин специально приехал к Державину, чтобы иметь возможность познакомиться с ним, тогда еще начинающим поэтом. «По возвращении из белорусского своего поместья он <Фонвизин – В.Ч.> просил Гаврила Романовича познакомить его со мною» (Дмитриев 1988: 195), – пишет Дмитриев. Следует иметь в виду, что Фонвизин к этому времени был давно уже, по словам Ходасевича, «полуразбит <...> параличом и раздавлен <...> немилостью императрицы» (Ходасевич 1996- III: 258). То есть маститому писателю, пожалуй, было совсем не до знакомств с новыми дарованиями: впору подумать о своей душе. Тем лестнее для Дмитриева выглядит желание Фонвизина с ним встретиться. И мемуарист, поставивший пуантом всего эпизода эффектную фразу в духе *emento mori*<sup>467</sup>, в своем портрете Фонвизина не скупится на детали, подчеркивающие не столько тщету и бренность земной жизни, сколько значимость собственной персоны! В самом деле, каков же должен быть талант поэта, чтобы в том состоянии, описание которого следует, знаменитый писатель вознамерился увидеть его носителя: «В шесть часов пополудни приехал Фонвизин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами из Шкловского кадетского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали» (Дмитриев 1988: 195).

Далее Фонвизин ведет себя в соответствии с означенным сценарием: с места в карьер приступает с расспросами к Дмитриеву. Для него, оказывается, важно было узнать перед смертью мнение Дмитриева по поводу литературных достоинств собственных сочинений. Особенное удовольствие у Фонвизина вызвала высокая оценка Дмитриевым «Душеньки» И.Ф. Богдановича, поскольку, как можно понять из контекста, он нашел одинаковые взгляды у собеседника, мнением которого весьма и весьма дорожил. Сравнить: «Разговор не замешкался. Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я „Недоросля“? Читал ли „Послание к Шумилову“, „Лису Кознодейку“, перевод его „Похвального слова Марку Авре-

---

<sup>467</sup> «Мы расстались с ним <Фонвизиним – В.Ч.> в одиннадцать часов вечера, а наутро он уже был во гробе» (Дмитриев 1988: 196).

лию“? И так далее; как я нахожу их? Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства ума моего и характера. Наконец спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю об „Душеньке“? – Она из лучших произведений нашей поэзии, – отвечал я. – Прелестна, – подтвердил он с выразительною улыбкою» (Дмитриев 1988: 195).

Теперь приведем переложение этого эпизода Ходасевичем и затем отметим важные для нас разночтения: «Между прочим, к одному из них <обедов у Державина – В.Ч.>, по просьбе Державина, зван был Фонвизин, которого Дмитриев никогда не видел. То было 30 ноября 1792 года. Фонвизин приехал, или, лучше сказать, его привезли. Он владел лишь одною рукой; одна нога также одеревенела. Два молодых офицера ввели его под руки, усадили. Он говорил диким, охриплым голосом, язык плохо повиновался ему. Однако ж он тотчас завладел беседой и пять часов кряду говорил почти что один – о самом себе, о своих комедиях, о своих путешествиях, о своей славе. В одиннадцать часов его увезли. Наутро он умер» (Ходасевич 1996- III: 276).

По Ходасевичу, Фонвизин посетил Державина по личной просьбе поэта. То есть Фонвизин просто не мог отказать Державину, и все его уважение, которое Дмитриев приписывал собственной персоне, следует отнести, таким образом, к личности Державина. Дмитриев был только очевидцем события, – таков смысл вступления в ходасевическом переложении.

В его концовке Ходасевич педалирует мотив единоличной заинтересованности Фонвизина в собственной жизни и творчестве. При этом ни слова не упоминается о желании драматурга познакомиться с Дмитриевым, что было зафиксировано в мемуарах последнего. Мы полагаем, что этим приемом Ходасевич хочет сказать примерно следующее. Умиравший Фонвизин в гостях у Державина подводил итоги своей жизни и творчества. Может быть, в предчувствии близкой смерти использовал одну из последних возможностей высказаться в присутствии равного себе по достоинству писателя (в широком значении этого слова), подвести последнюю черту в своих достижениях. Неужели ему в таком душевном расположении было до знакомства с каким бы то ни было начинающим автором? Дмитриев стал невольным очевидцем встречи гигантов отечественной словесности. Если Дмитриев подразумевает своим подчеркиванием интереса Фонвизина к его «свойствам ума и характера» некую иницирующую сцену по типу «передачи лиры» Державиным Пушкину, то все его творчество, а не то что сделавшие его недавно известным публикации в карамзинском «Московском журнале» либо сказка «Модная жена» (см.: Песков 1992: 123), все-таки не стоят того, чтобы Фонвизин смог увидеть в нем своего «преемника».

Итак, Ходасевич обнажает неуместность проявленного Дмитриевым честолюбия, не постеснявшегося ради «красного словца», то есть ради контрастного подчеркивания значимости собственного поэтического таланта, показать «крупным планом» умирающего писателя. По Ходасевичу, получается, что смерть Фонвизина стала предметом «поэтического любопытства» со стороны Дмитриева. Таким образом, Ходасевич переадресует

Дмитриеву упрек, сделанный им Державину по поводу легкомысленного и какого-то бездушного отношения к смерти, якобы вызванного жизнетворческим поведением (казнит именно потому, что поэт).

Карамзин и Дмитриев, по-видимому, были единомышленны в своей интерпретации темы смерти в творчестве Державина. Они были не склонны ее соотносить с реальными переживаниями поэта. Во всяком случае, в письме Карамзина Дмитриеву от 18 июля 1816 года эта тема трактуется как не более чем литературный прием: «Наш Пиндар готовился дать сельский пир друзьям своим и пал в могилу, которая часто бывала рифмой в его стихах!» (Карамзин 1982: 183-184). По Карамзину, эпикурейский образ жизни Державина контрастен ведущему пафосу его лирических стихотворений и поэтому исключает мысль о единстве литературной и биографической личности поэта.

С этим представлением Ходасевич полемизирует в анализе оды «На смерть князя Мещерского».

Он считает, что внешне благополучный образ жизни Державина глубоко связан с его внутренними размышлениями о смерти. И в жизни, и в стихах его привлекали резкие контрасты: чем больше он испытывал счастья и довольства, тем охотнее предавался размышлениям о смерти (Ходасевич 1988: 99-100).

Таким образом, Ходасевич утверждает адекватность литературной и биографической личности Державина и противопоставляет этой адекватности иронически трактуемое жизнетворческое поведение Карамзина-Дмитриева и прочих писателей-сентименталистов.

Делая вывод из всего вышесказанного в данной главе, посвященной Карамзину и Дмитриеву, следует заключить, что литературная и биографическая личности этих писателей оценивались Ходасевичем весьма низко: если в реальности Дмитриев и Карамзин и были умнее своих литературных двойников, это обстоятельство не делало их более привлекательными и симпатичными в человеческом плане. Низкая оценка Ходасевичем личности этих писателей связана не только с его общим негативным отношением к разным вариантам жизнетворческого поведения, но и с собственными критериями «истинного» творчества, обозначенными в другом месте нашей работы. Карамзин и Дмитриев в своем литературном творчестве, в отличие от Державина, которого Ходасевич ставил очень высоко, были далеки от «реальных запросов человеческого духа» (Ходасевич 1991: 149), то есть от «религиозности». Отсюда культивирование ими условных форм в литературе и в быту, притворство и лицемерие вместо искренности и естественности.

Фигуры Карамзина и Дмитриева были, по-видимому, не единственными в выстраиваемой Ходасевичем иерархии писателей из тех, кто заслужил низкую оценку своей личности согласно обозначенному критерию «безрелигиозности» творчества. Об этом мы подробнее скажем ниже, подводя общие итоги диссертации и намечая перспективы в дальнейшем исследовании биографического творчества Ходасевича.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 20-30-е годы XX века в русской науке и литературе существовала весьма сильная антибиографическая тенденция. Она возникла вследствие глубокой неудовлетворенности традиционным методом «вычитывания» биографических фактов из художественных высказываний писателя, который в своей крайней форме проявился в трудах М.О. Гершензона. Такие ученые и писатели, как Б.М. Эйхенбаум, В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, В.В. Вересаев – в советской России, М.Л. Гофман, Ю.И. Айхенвальд, В.В. Набоков – в эмиграции, в большей или меньшей степени разделяли методологическое убеждение в недопустимости отождествления литературных героев с биографической личностью их творца.

Эйхенбаум, Шкловский, Тынянов и другие участники ОПОЯЗа высказывались по этому поводу в наиболее радикальной форме, отрицая какое-либо биографическое значение художественных произведений, в том числе и лирики.

Антибиографический радикализм опоязовцев оказался неприемлем для таких ученых, как В.М. Жирмунский и Б.В. Томашевский, которые опирались в своих исследованиях на некоторые методологические установки формалистического характера, не отрицая при этом достижений традиционного академического литературоведения. В принципе, и тот и другой ученый признавали художественные произведения в качестве возможного источника для биографии писателя. Однако при этом ограничивали субъективный произвол в толковании текстов, обладающих фикциональным статусом, который допускали, по их мнению, представители «гершензоновской» школы, требованием критической проверки содержания этих текстов. Ключевые в этом смысле тезисы содержатся в монографии Томашевского «Пушкин: Современные проблемы историко-литературного изучения» (1925).

Вересаев трансформировал антибиографическую установку опоязовцев в художественный прием при создании своих книг «В двух планах» (1929) и «Пушкин в жизни» (1926-1927). Этот прием позволил писателю развенчать традиционные представления о личности А.С. Пушкина, сложившиеся благодаря трудам ученых-пушкинистов, практиковавших биографический подход при изучении художественных произведений поэта. Кроме того, он оказался весьма действенным в деле создания концепции «двупланного Пушкина».

В социологизирующем литературоведении 1920-1930-х гг. также существовали свои «партии» «биографистов» и «антибиографистов». Однако полемика велась в другом ракурсе: вопрос ставился о целесообразности изучения личности писателя в принципе. При этом презумпция каузальности между художественным произведением и явлениями внелитературного ряда не отвергалась представителями ни той, ни другой противоборствующей группы.



В эмиграции декларативные антибиографические заявления опозовцев нашли отклик в теоретических трудах М.Л. Гофмана. Однако в своих конкретных историко-литературных исследованиях ученый, как правило, следовал традиционной практике «вычитывания» биографических фактов из художественных произведений писателя. В нашей работе мы предположили, опираясь на выводы и наблюдения В.Ф. Ходасевича, что это противоречие было обусловлено конфронтацией между теоретическими и историко-литературными интересами, которая существовала в сознании ученого.

Более характерной для эмигрантской историко-литературной ситуации была антибиографическая тенденция в подходе к художественным произведениям, которая возникла еще на рубеже XIX-XX веков в творчестве символистов и в типологически родственной этому творчеству критике Ю.И. Айхенвальда как реакция на господствовавшую в сфере гуманитарных наук позитивистскую методологию с ее игнорированием фикционального статуса художественных текстов.

Айхенвальд критиковал «биографистов» за эмпиризм исследований, по его мнению, препятствующий главной цели при изучении личности писателя – ее духовного аспекта. При этом критик в своей практике портретирования «силуэтов» той или иной писательской индивидуальности исходил из презумпции эмпатического «вживания» в данную индивидуальность как наиболее действенного «метода» для достижения указанной цели. Такой подход, по нашему мнению, способствовал субъективности биографического творчества Айхенвальда, так как «истинная» личность того или иного портретируемого им писателя могла отходить на второй план, уступая место его собственному, «читательскому», восприятию этой личности. В этом заключается особенность «антибиографической» позиции Айхенвальда.

Генетически символистский, мифопоэтический подход к личности писателя нами был рассмотрен на примере программного эссе В.В. Набокова «Пушкин, или правда и правдоподобие» (1937). Положительные взгляды Набокова на проблему биографии писателя выясняются в результате анализа его полемики с авторами «романизированных биографий» и, прежде всего – с В.Ф. Ходасевичем-пушкинистом. Акцентируя пушкинский код в вопросе о достоверности «поэтической правды», Набоков обнажает методологическую некорректность жизнетворческой пушкинистской модели Ходасевича. Он доводит до абсурда установку Ходасевича на сбор и обработку информации о жизни поэта, в том числе носящей интимный характер, посредством переадресации этой установки на личность своего оппонента. По Набокову, «объективная правда» в принципе не познаваема: к ней можно только приближаться. Необходимым условием для этого приближения является духовное сродство исследователя и изучаемого им писателя. По крайней мере, если исследователь намеревается познать личность, например, Пушкина, он должен исходить в своих умозаключениях из собственных указаний поэта на этот счет, а не вступать с ним в полемику, настаивая

на абсолютном статусе своей, на самом деле, субъективной «правды». Итак, автобиографические указания поэта, творчески развитые в воображении духовно родственного ему биографа, – вот, по Набокову, единственная гарантия «истинности» жизнеописания этого поэта.

В историко-биографических произведениях Ходасевича концепции личностей таких писателей XVIII века, как Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, А.Н. Радищев парадигматически связаны с указанными разновидностями антибиографического дискурса, характерного для русской науки и литературы 20-х-30-х годов XX века. В отличие от Тынянова, который реализовал в своих историко-биографических романах теорию «литературной личности» в эволюционном плане, Ходасевич рассматривал данное научное открытие как эффективный, но далеко не самодостаточный прием для создания полноценной концепции личности писателя. Для Ходасевича, в конечном итоге, решающую роль в познании «истинной» личности писателя играет анализ его мировоззрения *sub specie aeternitatis* – «с точки зрения вечности», с точки зрения его отношения к Богу. На наш взгляд, именно этот ракурс исследования является наиболее адекватным в применении к биографическому дискурсу Ходасевича в целом.

Положительные взгляды Ходасевича на проблему концепирования личности писателя выясняются в процессе анализа его полемики с А.С. Пушкиным как автором державинского сюжета «Истории Пугачева», с историками второй половины XIX-начала XX вв., прежде всего – с Я.К. Гротом, с критиками 1860-х гг., рецензировавшими «Записки» Державина, а также с писателями-сентименталистами – И.И. Дмитриевым и Н.М. Карамзиным.

Суть своего несогласия с пушкинской концепцией личности Державина критик обозначил в предметно-логической форме в таких текстах-«спутниках» художественной биографии «Державин», как статьи «Пушкин о Державине», «Прежде и теперь», «Война и поэзия», «Дмитриев».

В первой из перечисленных работ Ходасевич обнажает некорректность прочтения «Истории Пугачева» в наукологическом плане. С другой стороны, указания его пародийного героя – педантичного «историка», на чисто лишенного литературного вкуса, примененные в поэтологической функции, призваны акцентировать внимание читателя на чисто художественных средствах создания образа Державина. Кроме того, эти указания обозначают те аспекты в пушкинской концепции личности Державина, с которыми Ходасевич полемизировал как в биографии «Державин», так и в работах, тематически примыкающих к данному произведению.

Здесь же Ходасевич указывает на последователей пушкинской концепции неадекватности литературной и биографической личности Державина в лице историков второй половины XIX-начала XX вв. Я.К. Грота, Н.Н. Фирсова, Д.Г. Анучина. Сопоставлением их оценок деятельности Державина в эпоху пугачевщины, изложенной в автобиографических «Записках» поэта, с ее интерпретацией в «Истории Пугачева» Ходасевич указывает читателю, прежде всего, на факт знакомства Пушкина с этими ме-

муарами. По Ходасевичу, автором «Истории Пугачева», как и названными историками был замечен комический план в образе действий главного героя державинских «Записок». Первый его акцентировал в плане пародирования художественных особенностей «Записок», Грот и Фирсов попытались дезавуировать, исходя из собственной убежденности в их документальном статусе. Однако в любом случае герой «Записок» отождествлялся с биографической личностью их творца.

Еще более очевидным, по Ходасевичу, выглядит совпадение пушкинских взглядов на личность Державина с концепцией критиков-материалистов 1860-х гг. во главе с Н.Г. Чернышевским.

По мнению Ходасевича, данное совпадение взглядов, казалось бы, совершенно различных по своему мировоззрению критиков на проблему личности и творчества Державина вызвано игнорированием «пророческого», духовно-реалистического плана, мотивировавшего все действия поэта, как в жизни, так и в творчестве. Все они в большей или меньшей степени критиковали тщеславие и самомнение поэта, его вздорный и тяжелый характер. В случае с Пушкиным, как мы допустили, в этом подходе к Державину как к человеку не последнюю роль сыграло его общее скептическое отношение к типу характера, воплощенному, в культурно-историческом плане, в биографии и творчестве Руссо и его последователей. Но все же, по Ходасевичу, не это обстоятельство определило гротесковое акцентирование либо «сглаживание» человеческих слабостей Державина как героя «Записок», которые характерны для рецепции этого произведения Пушкиным, критиками-шестидесятниками и историками во главе с Я.К. Гротом, соответственно. Дело обстояло гораздо глубже и уходило своими корнями в онтологический план.

По Ходасевичу, Пушкин произвел революционный переворот в русской литературе (соответственно, в русском мировоззрении в целом), по масштабам сравнимый разве что с деятельностью Петра I, когда в принципе отверг присущее ей бытийственное отношение к миру, достигшее своего блистательного завершения в творчестве Державина, и сознательно направил усилия своего гения на воспевание исключительно «внешней» красоты «бренной» действительности.

Как было упомянуто выше<sup>468</sup>, критик обозначил это различие во взглядах Державина и Пушкина на задачи поэзии еще в 1914 году, в неопубликованной статье «Фрагменты о Лермонтове». Здесь он, в частности, писал по поводу смены «державинского» поколения поколением «пушкинским»: «... волна напряженной деятельности постепенно спадала. Создатели России один за другим сходили со сцены: их роль была сыграна. Ими созданная, цветущая Россия от восхвалений Творца переходила к восхвалению творений. Здесь и заключена основная, первоначальная разница между Державиным и Пушкиным, который застал Россию уже созданную. Первый воспел Творца, второй – тварь; Державин – господина, Пушкин – раба; Державин – Фелицу-Екатерину, Пушкин – декабристов и горестную

---

<sup>468</sup> См. сноску 269.

судьбу „бедного Евгения“. Основание пушкинской всеотзывчивости – любовь к земле, к „равнодушной природе“, сияющей „красою вечною“. Наиболее категорическое выражение этой любви дано в формуле:

Лишь юности и красоты  
Поклонником быть должен гений»

(Ходасевич 1996- I: 440).

Буквально прочитывая стихотворение Пушкина «To Dawe, ESQr» (1827) (откуда взяты последние цитируемые строки), Ходасевич снимает его иронический план и тем самым обнажает собственную оценку мировоззренческой позиции поэта: ведь в этом тексте арбитром в области искусства объявляется не кто иной, как *дьявол* (Мефистофель, шутливо рифмуемый Пушкиным с собственным «арапским профилем»).

В этой связи глубоко мотивированным представляется определение Ходасевичем в статье «Пушкин о Державине» последующих критиков личности и творчества Державина, разделявших, говоря условно, «позитивистские», материалистические взгляды на цели и задачи искусства, как последователей Пушкина.

Таким образом, по Ходасевичу, «пушкинский» «земной» подход к личности поэта, служившего, в высоком смысле этого слова, самому Творцу, по определению, не может быть адекватным, и если уж искать применения этому подходу, то, по-видимому, его следует переадресовать самому автору «Истории Пугачева» и другим, условно говоря, «безрелигиозным» писателям – от Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева, А.Н. Радищева и Н.Г. Чернышевского до И.Ф. Анненского<sup>469</sup>, В.В. Набокова, даже В.В. Маяковского<sup>470</sup> и Максима Горького.

По Ходасевичу, писатели-сентименталисты, и среди них, прежде всего, Карамзин и Дмитриев, как и Пушкин, начисто «проглядели» духовно-реалистический план в жизни и творчестве Державина. Борясь с одними литературными условностями во имя ложно понимаемого «реалистического» отношения к миру человеческих чувств, они, так сказать, «навязали» русской литературе другие литературные условности и, в конечном итоге, чуждое для нее отношение к миру. В этом смысле они явились «предтечами» Пушкина.

Дмитриев и Карамзин перенесли в жизнетворческий план собственные эстетические установки на создание литературной личности. Ходасевич гротескно обнажил данную стратегию поведения в биографии «Державин» в так называемых сценах «знакомства Карамзина с главным героем» и «второго обеда в присутствии А.С. Шишкова». По контрасту он изобразил «естественное» поведение Державина в быту, проецируемое на творчество поэта. Этим приемом Ходасевич добился эффекта переадреса-

---

<sup>469</sup> Интерпретацию ходасевичевской концепции личности Анненского см. в нашей работе: Черкасов 2004.

<sup>470</sup> Исчерпывающий анализ ходасевичевской концепции личности Маяковского см. в работе: Мальмстад 1995-1996.

ции иронических по отношению к личности Державина реплик Карамзина и Дмитриева на их собственные персоны.

В контексте творчества Ходасевича жизнетворческое поведение Карамзина и Дмитриева ассоциируется с идеологией и практикой любовных отношений шестидесятников во главе с Чернышевским. Эта связь была отчетливо сформулирована в статье Ходасевича «Лопух», где между взглядами на любовь поклонников «романтической „черемухи“», то есть писателей-сентименталистов, и последователями «социалистического „лопуха“» проводится аналогия по признаку условности, или, в других терминах, лицемерия, присущего тому и другому мировоззрению.

Освещение лицемерного отношения шестидесятников к роли любовного чувства в социальных отношениях, проводимое по контрасту с демонстрированием традиционных взглядов на этот вопрос Державина и его современников, позволяет Ходасевичу указать не только на некомпетентность, предвзятость и идеологическую ангажированность первых рецензентов «Записок» поэта, но и на генезис их морали. В биографии «Державин» Ходасевич иронически акцентирует автореферентные мотивы в повести А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», обнажая нетождественность литературной и биографической личности кумира шестидесятников, которого они противопоставляли «ретрограду» Державину. Тем самым, он опровергает их утверждения об «искренности», «правдивости» высказываний героя повести Радищева, трактуемого в биографическом плане. Кроме того, Ходасевич по пунктам развенчивает представления шестидесятников по поводу высоких нравственных качеств Радищева и его окружения, переадресуя им самим выдвинутые против Державина обвинения в низкопоклонстве, лицемерии, лести и т. д.

Таким образом, анализ биографических концепций Ходасевича, проведенный в рамках теории «литературной личности», а также в плане исследования их полемической направленности на существующие представления о личности того или иного писателя, показал перспективность такого подхода к изучению творчества этого биографа в целом. Концепция поэта, принадлежащая Ходасевичу, на наш вкус, звучит удивительно свежо и правдиво на общем фоне материалистического подхода к проблеме писательской биографии и к связанному с личностью творца феномену художественного творчества, который был характерен для историко-литературной ситуации межвоенного двадцатилетия. Это ощущение продиктовано нашим убеждением в адекватности подхода Ходасевича к такому чудесному, в буквальном смысле этого слова, явлению, каковым является Поэт.

В связи с вышесказанным представляется актуальным продолжение исследования мемуарно-биографической прозы Ходасевича в том ракурсе, который был принят в нашей работе, с учетом отмеченной релевантности религиозно-идеологического плана в построении представленной в ней иерархии писателей. При этом, как мы полагаем, не целесообразно отгораживаться неприступной стеной интралитературного дискурса ни от политики, ни от мифов, ни от других многообразных проявлений духовной деятельности человека.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

**Владислав Ходасевич.**

### МЕЛОЧИ Пушкин о Державине<sup>471</sup>

Работая над «Историей Пугачевского бунта», Пушкин знал о существовании записок Державина, в то время еще неизданных, но ознакомиться с ними ему не удалось. Это послужило причиной длинного ряда ошибок, им допущенных и от него перешедших к позднейшим историкам. Между прочим, оказался он глубоко несправедлив к Державину в изложении саратовских событий, о которых он судит, руководствуясь преимущественно донесениями коменданта Бошняка, державинского недруга. Изложив (не вполне точно) экспедицию к Петровску, Пушкин вслед затем в мягких выражениях повторяет жестокую напраслину, взведенную на Державина Бошняком, – будто Державин бежал из Саратова перед нашествием Пугачева. В действительности Державин покинул Саратов потому, что за ним прибыл посланный из другого места, где требовалось его присутствие, а также потому, что за несколько дней перед тем получил приказ губернатора Кречетникова – немедленно выехать из Саратова. Самый приказ этот был дан под давлением Бошняка.

Вообще роль Державина в усмирении пугачевщины Пушкин себе представлял совершенно неверно. Если позднейшие историки, как Анучин, Фирсов и даже Грот, не вполне учли то обстоятельство, что Державин состоял в секретной следственной комиссии и в сущности не был призван участвовать в военных действиях, то Пушкин и вовсе о том не знал. Задачи Державина представлялись ему исключительно боевыми, тогда как они в действительности были политическими и разведочными, а если порой принимали боевой характер, то лишь в силу необходимости. Именно с политической целью Державин был послан в Малыковку (Вольск), Пушкин же полагает, что это сделано было «для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова». «Прикрывать» Волгу Державину было просто не с чем, ибо в его непосредственном распоряжении не было ни одного солдата. Кроме того, в момент отправки Державина из Казани в Малыковку, прикрывать Волгу со стороны Пензы и Саратова, то есть с запада, не было и никакой необходимости, ибо все пугачевские операции в то время производились к востоку от Малыковки: в районе Оренбурга. На правом же берегу Волги Пугачев очутился лишь несколько месяцев спустя.

Вся хронология державинских действий у Пушкина неверна. Пушкин считает, что в январе 1774 г. «Державин, начальствуя тремя фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся

---

<sup>471</sup> Текст статьи перепечатывается по современной орфографии, однако с соблюдением пунктуации подлинника.

на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою», а потом, в апреле, ходил на выручку Яицкого Городка. На самом же деле в январе Державин еще находился в Казани, затем сидел в Малыковке, не помышляя ни о каких военных действиях, затем, только в апреле, предпринял экспедицию к Яицку, а «кочующие племена», то есть киргизкайсаков, усмирял лишь в сентябре, после того, как Саратов был взят, и незадолго до пленения Пугачева. Что касается трех фузелерных рот, с которыми он будто бы усмирял раскольничьи селения, то с этими ротами он, действительно, ходил к Яицку в апреле. Усмирение же раскольничьих деревень происходило в августе, причем в распоряжении Державина были совсем другие силы, взятые им в Симбирске.

Самое усмирение деревень рассказано Пушкиным со слов сенатора Баранова в таких выражениях: «Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерено идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию? Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем, и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось... И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости».

В этом рассказе все неверно, начиная с момента, к которому он приурочен. Дело было не в январе, а в августе. В распоряжении Державина был целый отряд, хотя и небольшой, но вооруженный даже артиллерией. Писарь Злобин жил в самой Малыковке, откуда и писал перед тем Державину, прося помощи. Что касается казней, то, вопреки остроумному замечанию Дмитриева, они вызывались не «поэтическим любопытством», а отчасти необходимостью, отчасти же прямым предписанием державинского начальства. В довершении всего, их было не две, а, к сожалению, целых шесть. Одного человека Державин повесил в деревне Поселках и одного в Сосновке – по пути из Симбирска в Малыковку. В самой Малыковке им повешены трое. Наконец, в лесу возле Красного Яра – еще один. В рассказе, приведенном у Пушкина, все настолько перепутано, что нельзя даже определить, о которой из экзекуций в нем идет речь.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Аверинцев С.С. 1973**, Плутарх и античная биография: к вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М.: Наука
- Адамович Г.В. 1994**, Литературные беседы // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4, 213-216<sup>472</sup>
- Адамович Г.В. 2002**, Собрание сочинений. Литературные заметки. Кн. 1 («Последние новости» 1928-1931). СПб.: Алетейя
- Аксаков С.Т. 1985**, Знакомство с Державиным // Державин Г.Р. Сочинения. М.: Правда, 1985, 511-527
- А.Л. 1930**, Чествование В.Ф. Ходасевича // Возрождение (Париж). № 1776. 13 апреля 1930. С. 4
- Алданов М.А. 1931**, В.Ф. Ходасевич. Державин. Издательство «Современные Записки». Париж, 1931 г. <Рецензия> // Современные Записки (Париж). 1931. № 46, 496-497
- Алданов М.А. 2004**, В.Ф. Ходасевич // Современники о Владиславе Ходасевиче. СПб.: Алетейя, 2004, 357-366
- Алексеев М.П. 1972**, Пушкин и проблема «вечного мира» // Алексеев М.П. Пушкин: сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1972, 160-207
- Амфитеатров А.В. 06.02.1937**, «Святогрешный» // Возрождение (Париж). № 4064. 6 февраля 1937. С. 7-8
- Анучин Д.Г. 1869**, Граф Панин, усмиритель пугачевщины. Материалы для истории пугачевского бунта // Русский Вестник. 1869. Том 80. № 3, 5-59
- Анучин Д.Г. 1869а**, Граф Панин, усмиритель пугачевщины. Материалы для истории пугачевского бунта // Русский Вестник. 1869. Том 80. № 4, 628-657
- Анучин Д.Г. 1869б**, Граф Панин, усмиритель пугачевщины. Материалы для истории пугачевского бунта // Русский Вестник. 1869. Том 81. № 6, 363-403
- Анучин Д.Г. 1869в**, Первые успехи Пугачева и экспедиция Кара // Военный сборник. 1869. Том 68. № 5, 5-40
- Анучин Д.Г. 1872**, Действия Бибикова в пугачевщину: Материалы для истории пугачевского бунта // Русский Вестник. 1872. Том 99. № 6, 449-494
- Анучин Д.Г. 1872а**, Действия Бибикова в пугачевщину: Материалы для истории пугачевского бунта // Русский Вестник. 1872. Том 100. № 7, 5-68
- Айхенвальд Ю.И. 23.07.1924**, Литературные заметки // Руль (Берлин). № 1104. 23 июля 1924. С. 2-3
- Айхенвальд Ю.И. 30.09.1925**, Литературные заметки // Руль (Берлин). № 1468. 30 сентября 1925. С. 2-3
- Айхенвальд Ю.И. 1988**, Памяти Державина // Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Книга, 1988, 290-294<sup>473</sup>
- Айхенвальд Ю.И. 1994**, Силуэты русских писателей. М.: Республика<sup>474</sup>
- Анненков П.В. 1989**, Литературные воспоминания. М.: Правда
- Аннотация 11.02.1929**, А.С. Грибоедов (к 100-летию со дня его смерти) // Возрождение (Париж). № 1350. 11 февраля 1929. С. 1
- Архангельский А.Н. 1999**, Герои Пушкина. Очерки литературной характеристики. М.: Высшая школа

<sup>472</sup> Статья впервые опубликована: Звено (Париж). 1927. 17 апреля.

<sup>473</sup> Статья впервые опубликована: Речь. № 185. 8. июля 1916.

<sup>474</sup> Текст печатается по шестому изданию книги (Берлин, 1929).



- Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. 1988**, Словарь латинских крылатых слов. М.: Русский язык
- Бантыш-Каменский Д.Н. 2006**, Словарь достопамятных людей русской земли. <Электронный ресурс>
- Бартеков П.И. 1992**, О Пушкине: Страницы жизни поэта Воспоминания современников. М.: Советская Россия
- Бахрах А.В. 2005**, Владислав Ходасевич // Бахрах А.В. Бунин в халате. По памяти, по записи. М.: Вагриус, 2005, 286-297
- Белинков А.В. 1960**, Юрий Тынянов. М.: Советский писатель
- Белинский В.Г. 1976-**, Собрание сочинений. В девяти томах. М.: Художественная литература, 1976-1982
- Белый Андрей 1922**, Рембрандтова правда в поэзии наших дней: (О стихах В. Ходасевича) // Записки мечтателей. 1922. № 5, 136-139
- Белый Андрей 1923**, Тяжелая Лира и русская лирика // Современные записки (Париж). 1923. № 15, 371-388
- Белый Андрей 1990**, Между двух революций. М.: Художественная литература
- Бем А.Л. 1996**, Письма о литературе. Praha: Slovansky ustav Euroslavica
- Бем А.Л. 2001**, «Горе от ума» в творчестве Достоевского // Лицо и Гений. Зарубежная Россия и Грибоедов. М.: Русский мир, 2001, 137-163
- Берберова Н.Н. 1999**, Из книги «Курсив мой: Автобиография» // В.В. Набоков: pro et contra. СПб.: РХГИ, 1999, 184-193
- Берков П. 1929-**, Порфирьев Иван Яковлевич // Литературная энциклопедия. 1929-1939 гг. <Электронный ресурс>
- Бетеа Д., Бринтлингер А. 1995**, Державин у Ходасевича // Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре. Т. IV. Гавриил Державин. 1743-1816. / Под ред. Е. Эткинды и С. Ельницкой. Нортфилд, Вермонт: Русская школа Норвичского университета, 1995, 383-392
- Бетеа Д.М. 2003**, Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь поэта. М.: ОГИ
- Бибиков А.А. 1865**, Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова сыном его сенатором Бибиковым. М.
- Биография А.Н. Радищева 1959**, Биография А.Н. Радищева написанная его сыновьями. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР
- Бицилли П.М. 1988**, Державин <Рецензия на биографию Ходасевича «Державин»> // Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Книга, 1988, 314-316<sup>475</sup>
- Благой Д.Д. 1931**, Социология творчества Пушкина: Этюды. Второе дополненное издание. М.: Мир
- Благой Д.Д. 1944**, Державин. М.: ГИХЛ
- Благой Д.Д. 1959**, Гаврила Романович Державин<sup>476</sup> // Благой Д.Д. Литература и действительность: Вопросы теории и истории литературы. М.: ГИХЛ, 1959, 115-200
- Блюменфельд В.М. 1968**, Художественные элементы в «Истории Пугачева» Пушкина // Вопросы литературы. 1968. № 1, 154-174
- Бродский Н.Л. 1957**, «Евгений Онегин» – роман А.С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы. Издание четвертое. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР.
- Брокгауз и Ефрон 2003**, Энциклопедия. <Электронный ресурс>

<sup>475</sup> Статья впервые опубликована: Россия и славянство (Париж). 18 апреля 1931 г.

<sup>476</sup> В указанном сборнике статья датирована 1930-1957 гг.

- Броневский В.Б. 1834**, История Донского войска, описание Донской земли и Кавказских минеральных вод. В четырех частях. Часть вторая. М.
- Брюсов В.Я. 1916**, Пушкин перед судом ученого историка // Русская мысль. 1916. № 2, 110-123
- Вейдле В.В. 27.09.1928**, Из французской литературы. Биографии // Возрождение (Париж). № 1213. 27 сентября 1928. С. 5
- Вейдле В.В. 04.07.1929**, «Современные записки»: Книга XXXIX // Возрождение (Париж). № 1493. 4 июля 1929. С. 3
- Вейдле В.В. 03.04.1930**, Владислав Ходасевич // Возрождение (Париж). № 1766. 3 апреля 1930. С. 4
- Вейдле В.В. 24.07.1930**, «Современные записки» XLIII: часть литературная // Возрождение (Париж). № 1878. 24 июля 1930. С. 3
- Вейдле В.В. 1931**, Об искусстве биографа // Современные записки (Париж). 1931. № 45, 491-495
- Вейдле В.В. 1937**, В.Ф. Ходасевич. О Пушкине. «Петрополис». 1937 <Рецензия> // Современные записки (Париж). 1937. № 64, 467-468
- Вейдле В.В. 1952**, Вечерний день: отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк: Изд-во. имени Чехова
- Вергилий 2000**, Буколики Георгики Энеида. М.: АСТ; Харьков: Фолио
- Вересаев В.В. 1990**, Пушкин в жизни: систематический свод подлинных свидетельств современников // Вересаев В.В. Сочинения. В четырех томах. Том второй и третий. М.: Правда
- Вересаев В.В. 2000**, В двух планах. М.: Захаров<sup>477</sup>
- Вишняк М.В. 2004**, В.Ф. Ходасевич // Современники о Владиславе Ходасевиче. СПб.: Алетейя, 2004, 304-320
- Водовозов В.И. 1860**, Записки Гавриила Романовича Державина. 1743 – 1812. С литературными и историческими примечаниями П.И. Бартенева. Издание Русской Беседы. Москва, 1860 года <Рецензия> // Русское слово. 1860. № 10, 17-31.
- Военная энциклопедия 2006**, «Военная энциклопедия» издания И.В. Сытина. <Электронный ресурс>
- Вроон Р. 1995**, «Читалагайские оды» (К истории лирического цикла в русской литературе XVIII века) // Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре. Т. IV. Гавриил Державин. 1743-1816. Под ред. Е. Эткинды и С. Ельницкой. Нортфилд, Вермонт: Русская школа Норвичского университета, 1995, 185-201
- Выгодский Д. 1922**, Новости Пушкинианы // Новая Россия. 1922. № 2, 158-159
- Вяземский П.А. 2000**, Старая записная книжка. М.: Захаров
- Гаспаров М.Л. 1997**, Вергилий, или поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные труды, том I. О поэтах. М.: Языки русской культуры, 1997, 111-135
- Гаспаров М.Л. 2006**, Из неопубликованного. Вступительная заметка и публикация Н. Шкловского-Корди // Вопросы литературы. 2006. № 2. <Электронный ресурс>. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/voplit/2006/2/ga5.html>
- Гершензон М.О. 1997**, Северная любовь Пушкина // Утаенная любовь Пушкина. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997, 53-73
- Гершензон М.О. 2001**, Ключ веры. Гольфстрем. Мудрость Пушкина. М.: Аграф
- Гинт 1931**, Заметки читателя // Возрождение (Париж). № 2347. 5 ноября 1931. С. 4

<sup>477</sup> Текст печатается по изданию: Вересаев В. В двух планах: Статьи о Пушкине. М.: Издательское товарищество «Недра», 1929.

- Гиппиус В.В. 1966**, Гоголь. Л.: Мысль, 1924. Reprinted by BROWN UNIVERSITY PRESS. PROVIDENCE, RHODE ISLAND, 1966
- Гиппиус З.Н. 2003**, Арифметика любви (1931-1939). СПб.: ООО «Издательство „Росток“»
- Гоголь Н.В. 1994**, Собрание сочинений. В девяти томах. М.: Русская книга
- Голенищев-Кутузов И.Н. 03.12.1931**, Франсуа Вильон (к 500-летию со дня рождения поэта) // Возрождение (Париж). № 2375. 3 декабря 1931. С. 3-4
- Голенищев-Кутузов И.Н. 15.12.1931**, Жизнь Сервантеса // Возрождение (Париж). № 2387. 15 декабря 1931. С. 5
- Голенищев-Кутузов И.Н. 03.03.1932**, Два Гончарова // Возрождение (Париж). № 2466. 3 марта 1932. С. 3
- Голенищев-Кутузов И.Н. 11.03.1932**, Братья Бестужевы // Возрождение (Париж). № 2474. 11 марта 1932. С. 5
- Голенищев-Кутузов И.Н. 02.04.1932**, Гоголь в Италии // Возрождение (Париж). № 2496. 2 апреля 1932. С. 4
- Горовиц Б. 2004**, Михаил Гершензон – пушкинист: Пушкинский миф в Серебряном веке русской литературы. М.: Минувшее
- Горький М. 1991**, Песня о соколе // Ежов И.С., Шамурин Е.И. Антология русской лирики первой четверти XX века. М.: Амирус, 1991, 325-326
- Гофман М.Л. 1922**, Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. Петербург: Атений
- Гофман М.Л. 07.02.1925**, Фантазии о Пушкине // Руль (Берлин). № 1271. 7 февраля 1925. С. 2-3
- Гофман М.Л. 1925**, Еще о смерти Пушкина // На чужой стороне: историко-литературный сборник. Прага. 1925. Т. XI, 5-48
- Гофман М.Л. 1926**, Клевета на Боратынского // Благонамеренный (Брюссель). 1926. № 1, 73-81
- Гофман М.Л. 21.04.1927**, Дуэль и смерть Пушкина. (В. Вересаев. Дуэль и смерть Пушкина.) <Рецензия> // Последние новости (Париж). № 2220. 21 апреля 1927. С. 3
- Гофман М.Л. 1928а**, Пушкин. Психология творчества. Париж, 1928
- Гофман М.Л. 1928б**, Первая любовь Пушкина // Иллюстрированная Россия (Париж). 1928. № 23, 11-13
- Гофман М.Л. 1928в**, «Утаенная любовь» Пушкина // Руль (Берлин). № 2290. 10 июня 1928, С. 2-3; № 2292. 13 июня 1928. С. 4-5
- Гофман М.Л. 1935**, Пушкин – Дон-Жуан. Париж: Издательство Сергея Лифаря
- Гофман М.Л. 30.04.1936**, Ответ на статью Вл. Ходасевича (письмо в редакцию) // Последние новости (Париж). № 5516. 30 апреля 1936. С. 4
- Грибоедов в воспоминаниях современников 1980**, А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература
- Грибоедов А.С. 1988**, Сочинения. М.: Художественная литература
- Гроссман Л.П. 1923**, Этюды о Пушкине. М., Петроград: Изд-во. Л.Д. Френкель
- Гроссман Л.П. 1927**, Гершензон-писатель. (Речь в Государственной Академии художественных Наук на вечере в память М.О. Гершензона 6 марта 1925 г.) // Гроссман Л.П. Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике. М.: «Никитинские субботники». 1927, 298-310.
- Гроссман Л.П. 2000**, Цех пера: Эссеистика. М.: Аграф
- Гроссман-Роцин И.С. 1928**, Тезисы о биографическом элементе в марксистском литературоведении // На литературном посту. 1928. № 17, 20-33

- Грот Я.К. 1862**, Занятия Пушкина: К материалам для его биографии. // Русский Вестник. 1862. Т. 42. № 12 (декабрь), 636-645
- Грот Я.К. 1997**, Жизнь Державина. М.: Алгоритм
- Гуковский Г.А. 1930**, Шкловский как историк литературы // Звезда. 1930. № 1, 191-216
- Гуковский Г.А. 1999**, Русская литература XVIII века: Учебник. М.: Аспект Пресс
- Гулливер 17.03.1927**, Литературная хроника // Возрождение (Париж). № 653. 17 марта 1927. С. 4
- Гулливер 21.04.1927**, Литературная хроника // Возрождение (Париж). № 688. 21 апреля 1927. С. 4
- Гулливер 05.05.1927**, Литературная хроника // Возрождение (Париж). № 702. 5 мая 1927. С. 4
- Гулливер 26.01.1928**, Литературная хроника // Возрождение (Париж). № 968. 26 января 1928. С. 4
- Гулливер 08.03.1928**, Литературная хроника // Возрождение (Париж). № 1010. 8 марта 1928. С. 4
- Гулливер 29.03.1928**, Литературная хроника // Возрождение (Париж). № 1031. 29 марта 1928. С. 4
- Гулливер 21.02.1929**, Литературная хроника // Возрождение (Париж). № 1360. 21 февраля 1929. С. 4
- Гулливер 07.11.1929**, Литературная хроника // Возрождение (Париж). № 1619. 7 ноября 1929. С. 4
- Даль В.И. 2002**, Толковый словарь живого великорусского языка. В четырех томах. М.: Русский язык
- Державин Г.Р. 1864-**, Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я.К. Грота. В девяти томах. СПб., 1864-1883
- Державин Г.Р. 1987**, Сочинения. Л.: Художественная литература
- Державин Г.Р. 1987а**, Анакреонтические песни. М.: Наука (Серия «Литературные памятники»)
- Державин Г.Р. 2000**, Записки: 1743 – 1812. М.: Мысль
- Державин Г.Р. 2002**, Сочинения. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект» (Серия «Новая библиотека поэта»)
- Дмитриев И.И. 1967**, Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель (Большая серия «Библиотеки поэта»)
- Дмитриев И.И. 1985**, Взгляд на мою жизнь // Державин Г.Р. Сочинения. М.: Правда, 1985, 486-498
- Дмитриев И.И. 1988**, Взгляд на мою жизнь // Русские мемуары: Избранные страницы. XVIII век. М.: Правда, 1988, 179-204
- Домбровский Ю.О. 1987**, Державин<sup>478</sup> // Домбровский Ю.О. Смуглая леди: Повесть, роман и три новеллы о Шекспире. М.: Советский писатель, 1987, 7-174
- Достоевский Ф.М. 1970**, Братья Карамазовы. В двух томах. Л.: Художественная литература
- Дроздовская Е. 1929-**, Потешня Александр Афанасьевич // Литературная энциклопедия. 1929-1939 гг. <Электронный ресурс>
- Дубровин Н.Ф. 1884**, Пугачев и его сообщники: Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II: 1773-1774 гг. По неизданным источникам. В трех томах. СПб.

<sup>478</sup> Повесть была впервые опубликована в 1939 году.

- Евдокимов И.В. 1926**, В. Вересаев. Пушкин в жизни. Вып. I и II. М. 1926 <Рецензия> // Красная новь. 1926. № 11, 236-238
- Елизаветина Г.Г. 2007**, Журнальные отклики 1860-х годов на публикацию «Записок» Г.Р. Державина // Г.Р. Державин и русская литература. М.: ИМЛИ РАН, 2007, 231-239
- Жирмунский В.М. 1977**, Избранные труды: Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука
- Жирмунский В.М. 1996**, Введение в литературоведение: Курс лекций / Под ред. З.И. Плавскиной, В.В. Жирмунской. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та
- Жихарев С.П. 1955**, Записки современника. М.-Л.: Изд-во. Академии Наук СССР (Серия «Литературные памятники»)
- Жолковский А.К. 2007**, Как организовано «Бегство» Ходасевича // Звезда. 2007. № 7. <Электронный ресурс>. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/7/zh11.html>
- Западов А.В. 1958**, Державин. М.: Молодая гвардия (Серия биографий «Жизнь замечательных людей»)
- Западов А.В. 1964**, Проблема Державина в журналистике 60-х годов // Из истории русской журналистики второй половины XIX века. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1964, 28-43
- Западов В.А. 1965**, Гаврила Романович Державин: Биография. Пособие для учащихся. М.-Л.: Просвещение
- Западов В.А. 1974**, Державин и Руссо // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: От классицизма к романтизму. Вып. 1. Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1974, 55-65
- Западов В.А. 1980**, Текстология и идеология (Борьба вокруг литературного наследия Г.Р. Державина) // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1980, 96-129
- Зорин А.Л. 1986**, Две заметки к биографии Г.Р. Державина // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1986. Том 45. № 1, 64-69
- Зорин А.Л. 1988**, Начало // Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Книга, 1988, 5-28
- Иезуитова Р.В. 1997**, «Утаенная любовь» в жизни и творчестве Пушкина // Утаенная любовь Пушкина. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997, 7-33
- Камаровский С. 1930**, Письмо в редакцию // Возрождение (Париж). № 1696. 23 января 1930. С. 4
- Карамзин Н.М., Дмитриев И.И. 1958**, Стихотворения. Л.: Советский писатель» (Малая серия «Библиотеки поэта»)
- Карамзин Н.М. 1966**, Полное собрание стихотворений. М.-Л.: Советский писатель (Большая серия «Библиотеки поэта»)
- Карамзин Н.М. 1982**, Избранные статьи и письма. М.: Современник
- Карамзин Н.М. 1984**, Сочинения. В двух томах. Л.: Художественная литература
- Карпов А.А. 1978**, Пушкин-художник в «Истории Пугачева» // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. Том 8, 51-61
- Кацис Л.Ф. 1990**, Набоков и Тынянов // Пятые тыняновские чтения. Рига, 1990, 275-293
- Кизеветтер А. 1931**, В.Ф. Ходасевич «Державин». Изд-во «Совр. Записки». Париж. 1931 <Рецензия> // Руль (Берлин). № 3150. 8 апреля 1931. С. 5

- Ковалевский П.Е. 17.02.1931**, Н.С. Лесков. Столетие со дня рождения // Возрождение (Париж). № 2086. 17 февраля 1931. С. 4
- Ковалевский П.Е. 01.11.1934**, А.В. Кольцов (к 125-летию со дня его рождения) // Возрождение (Париж). № 3438. 1 ноября 1934. С. 4
- Кондратьева Т.Г. 1998**, Русская зарубежная пушкинистика 1920-х годов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.
- Кормилов С.И., Федорова Л. 1999**, Собираемый Ходасевич // Вопросы литературы. 1999. № 3, 330-345
- Коровин Г. 1929**, Заметки о Пушкине. I // Поэтика V. Л., 1929, 66-67
- Крестьянская война 1973**, Крестьянская война 1773-1775 гг. в России: Документы из собрания Государственного Исторического Музея. М.: Наука
- Крылов И.А. 1984**, Собрание сочинений. В двух томах. М.: Правда
- Кубиков И.Н. 1928**, Вопросы марксистского литературоведения // Родной язык и литература в трудовой школе. 1928. № 1, 95-106
- Кукушкина Е.Д. 2002**, Поэзия М.М. Хераскова. Поиски смысла жизни // XVIII век: Сборник 22. СПб.: Наука, 2002, 96-110
- Кулакова Л.И., Западов В.А. 1974**, А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Комментарий. Пособие для учителя. Л.: Просвещение
- Курилов А.С. 2007**, Начало державиноведения в России // Г.Р. Державин и русская литература. М.: ИМЛИ РАН, 2007, 23-37
- Курмачева М.Д. 1991**, Города Урала и Поволжья в крестьянской войне 1773-1775 гг. М.: Наука
- Лаврецкий Вл. 1929**, А.С. Грибоедов и его время (к столетию со дня смерти) // Красная газета. № 36 (2064). 9 февраля 1929. С. 2
- Лебедушкина О.П. 1993**, «Филологическая проза» Леонида Гроссмана. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.
- Левин Ю.И. 1986**, Заметки о поэзии Вл. Ходасевича // Wiener slawistischer Almanach. 17(1986), 43-129
- Левкович Я.Л. 1966**, Биография // Пушкин: итоги и проблемы изучения. М.; Л.: Наука, 1966, 251-302
- Лелевич Г. 1926**, Марксистское литературоведение и биография художника (к истолкованию вопроса) // Звезда. 1926. № 3, 181-188
- Лермонтов М.Ю. 1988**, Сочинения. В двух томах. М.: Правда
- Лернер Н.О. 1929**, А.Н. Вульф. «Дневники» (Любительный быт пушкинской эпохи). Со статьей М.И. Семевского «Прогулка в Тригорское». Редакция и вступительная статья П.Е. Щеголева. Изд-во «Федерация». М. 1929 <Рецензия> // Литературно-художественный сборник «Красной панорамы» Октябрь 1929, 62-64
- Ломоносов А.В. 2000**, «Возрождение» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940) / Том II. Периодика и литературные центры. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000, 64-74
- Ломоносов М.В. 1986**, Избранные произведения. Л.: Советский писатель (Большая серия «Библиотеки поэта»)
- Лосев А.Ф. 1991**, Афина // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 72-73
- Лотман Ю.М. 1967**, Руссо и русская культура XVIII века // Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы. Л.: Наука, 1967, 208-281

- Лотман Ю.М. 1984**, <Комментарии к «Письмам русского путешественника»> // Карамзин Н.М. Сочинения. В двух томах. Том первый. Л.: Художественная литература, 1984, 621-662
- Лотман Ю.М. 1987**, Сотворение Карамзина. М.: Книга
- Лотман Ю.М. 1995**, Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки 1960 – 1990; «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ
- Львов Ф.П. 1834**, Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице, Елисавете Николаевне Львовой, в 1809 году. Изданные Ф.П. Львовым. В четырех частях. СПб.: В типографии Ал-дра Смирдина
- Ляцкий Е.А. 1929**, Пушкин-повествователь в «Истории Пугачевского бунта» // Пушкинский сборник. Прага, 1929, 265-296
- Маликова М. 2002**, В. Набоков. Авто-био-графия. СПб.: Академический проект
- Мальмстад Джон Э. 1993**, Ходасевич и формализм: несогласие поэта // Русская литература XX века: Исследования американских ученых. СПб.: Петро-РИФ, 1993, 284-301
- Мальмстад Джон Э. 1995-1996**, По поводу одного «не-некролога»: Ходасевич о Маяковском // Тыняновские сборники Выпуск 9 Седьмые тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига – Москва, 1995-1996, 189-199
- Мальмстад Джон Э. 2001**, <Примечания> // Ходасевич В.Ф. Стихотворения. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2001 (Малая серия «Новой библиотеки поэта»)
- Мандельштам Ю.В. 31.08.1931**, О Гумилеве (К девятилетию его смерти: 31-го августа 1921 г.) // Возрождение (Париж). № 1916. 31 августа 1930. С. 2
- Мандельштам Ю.В. 05.07.1934**, Духовный путь Гоголя: Книга К. Мочульского <Рецензия> // Возрождение (Париж). № 3319. 5 июля 1934. С. 4
- Мандельштам Ю.В. 18.10.1934**, Книга о Бунине // Возрождение (Париж). № 3424. 18 октября 1934. С. 4 (Подписано: Ю. М.)
- Мандельштам Ю.В. 29.08.1936**, Судьба романа // Возрождение (Париж). № 4041. 29 августа 1936. С. 7
- Мандельштам Ю.В. 08.05.1937**, Ходасевич о Пушкине // Возрождение (Париж). № 4077. 8 мая 1937. С. 9
- Мандельштам Ю.В. 17.03.1939**, «Некрополь» // Возрождение (Париж). № 4175. 17 марта 1939. С. 9
- Манн Ю.В. 1996**, Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda
- Маслов Д.И. 1861**, Державин-гражданин: Записки Гавриила Романовича Державина 1743-1812. Издание Русской беседы. Москва 1860 <Рецензия> // Время. 1861. № 10. Раздел «Критическое обозрение», 101-146
- Мейер Г.А. 08.08.1935**, Баратынский (глава из книги) // Возрождение (Париж). № 3718. 8 августа 1935. С. 3-4
- Мейер Г.А. 29.08.1935**, Случевский (к 30-летию со дня смерти) // Возрождение (Париж). № 3739. 29 августа 1935. С. 3-4
- Мережковский Д.С. 06.02. 1937**, Мысли о Пушкине // Возрождение (Париж). № 4064. 6 февраля 1937. С. 6
- Минувшее 1991**, Из переписки В.Ф. Ходасевича (1925-1938) / Публикация Джона Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. Т. 3. М.: Прогресс; Феникс, 1991, 262-291
- Михайлов А. 1929-**, Переверзев Валериан Федорович // Литературная энциклопедия. 1929-1939 гг. <Электронный ресурс>

- Михайлов О.Н. 1977**, Державин. М.: Молодая гвардия (Серия биографий «Жизнь замечательных людей»)
- Модзалевский Б.Л. 1910**, Библиотека А.С. Пушкина. М.
- Мордовцев Д.Л. 1868**, Русские государственные деятели прошлого века и Пугачев // Отечественные записки. 1868. Т. 179. – Отд. I, 419-485
- Мордовцев Д.Л. 1868а**, Русские государственные деятели прошлого века и Пугачев // Отечественные записки. 1868. Т. 180. – Отд. I, 85-144
- Моруа Андре 2001**, Байрон. Калининград: Янтар. сказ
- Муратов П.П. 1931**, Книга о Державине // Возрождение (Париж). № 2137. 9 апреля 1931. С. 3-4
- Муромцева-Бунина В.Н. 2004**, Ходасевич // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. М.: Русский путь, 2004, 213-218
- Набоков В.В. 1996**, Лекции по русской литературе: Пер. с англ. М.: Независимая газета
- Набоков В.В. 1998**, Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Перевод с английского. СПб.: Искусство-СПБ, Набоковский фонд
- Набоков В.В. 2000**, Собрание сочинений русского периода. В пяти томах. СПб.: Симпозиум
- Немировский И.В. 1991**, Статья А.С. Пушкина «Александр Радищев» и общественная борьба 1801-1802 годов // XVIII век: Сборник 17. СПб.: Наука, 1991, 123-134
- Николюкин А.Н. 1997**, Мережковский Дмитрий Сергеевич // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940) / Том I. Писатели русского зарубежья. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997, 261-264
- Николюкин А.Н. 2000**, Два биографических романа Д.С. Мережковского // Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Данте. Наполеон. М.: Республика, 2000, 3-10
- Осоргин М.А. 01.03.1931**, Пожелания // Новая газета (Париж). 1931. № 1 (1 марта). С. 3
- Остолопов Н.Ф. 1822**, Ключ к сочинениям Г.Р. Державина. М.
- Панин С.В. 2007**, Автобиографическая диалогия Г.Р. Державина // Г.Р. Державин и русская литература. М.: ИМЛИ РАН, 2007, 201-215
- Паперно И. 1992**, Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. Ed. by V. Gasparov, Robert P. Hughes and Irina Paperno. Berkeley, University of California Press, 1992, 19-51
- Паперно И. 1996**, Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение
- Переверзев В.Ф. 1928**, Необходимые предпосылки марксистского литературоведения // Литературоведение / Под ред. В.Ф. Переверзева. М.: Государственная Академия художественных наук, 1928, 9-18
- Переверзев В.Ф. 1928а**, Вопросы марксистского литературоведения <Доклад, прочитанный на московской конференции словесников, которая состоялась 23-28 января 1928 года> // Родной язык и литература в трудовой школе. 1928. № 1, 80-95
- Песков А.М. 1992**, Дмитриев Иван Иванович // Русские писатели: 1800-1917: биографический словарь. Том 2. М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», Фианит, 1992, 123-125
- Петровская Е.М. 1998**, Поэтика прозы В.Ф. Ходасевича. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.



- Печать 08.02.1929**, Печать // Возрождение (Париж). № 1347. 8 февраля 1929. С. 3
- Печать 19.02.1929**, Печать // Возрождение (Париж). № 1358. 19 февраля 1929. С. 3
- Пиксанов Н.К. 1931**, П.Е. Щеголев <Некролог> // Красная нива. 1931. № 4. С. 14
- <Писемский А.Ф.><sup>479</sup> 1860**, Записки Гавриила Романовича Державина. Издание Русской Беседы. *Москва 1856* <так!> года <Рецензия> // Библиотека для чтения. 1860. Том 161 (сентябрь). Раздел «Литературная летопись», 10-44
- Половцов А.А. 2006**, Русский биографический словарь. В 27 томах. <Электронный ресурс>
- Полонский В.В. 1998**, Биографический жанр в творчестве Д.С. Мережковского 1920-1930-х годов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.
- Полянский В. 1928**, Основные вопросы современного литературоведения // Научное слово. 1928. № 2, 65-74
- Постоутенко К.Ю. 1995-1996**, Из комментариев к текстам Тынянова: «академический эклектизм» // Тыняновские сборники Выпуск 9 Седьмые тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига – Москва, 1995-1996, 231-234
- Плавский З.И. 1996**, Об авторе и книге // Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций / Под ред. З.И. Плавской, В.В. Жирмунской. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та., 1996, 3-11
- Плутарх 1987**, Избранные жизнеописания. В двух томах. М.: Правда
- Прохоров Г. 1929**, Грибоедов и декабристы // Красная газета. № 38 (2066). 11 февраля 1929. С. 2
- Прянишников Н. 1930**, Двупланный Пушкин <Рец. на: В. Вересаев. – «В двух планах». Статьи о Пушкине. Изд. «Недра». М. 1929.> // Новый мир. 1930. № 8-9, 215-217
- Пугачев на следствии 1997**, Емельян Пугачев на следствии: Сборник документов и материалов. М.: Языки русской культуры
- Пульхритудова Е.М. 1981**, <<Валерик>> // Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981, 78-79
- Пушкин А.С. 1888**, Сочинения А.С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики. Издание Льва Поливанова для семьи и школы. Т. V. М., 1888
- Пушкин А.С. 1903-** Собрание сочинений. В восьми томах. Под ред. П.А. Ефремова. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1903-1905
- Пушкин А.С. 1994-**, Полное собрание сочинений. В девятнадцати томах. М.: Воскресенье, 1994-1999
- Пыпина В.А. 1923**, Любовь в жизни Чернышевского: Размышления и воспоминания (по материалам семейного архива). Петроград: Книгоиздательство «Путь к знанию»
- Рабле Ф. 1981**, Гаргантюа и Пантагрюэль. М.: Правда
- Радашкевич А. 1986**, Державин на все времена: К переизданию художественной монографии Владислава Ходасевича // Русская мысль (Париж). № 3649. 28 ноября 1986. С. 12
- Радищев А.Н. 1949**, Избранные философские сочинения. <Без места издания>: Государственное издательство политической литературы

---

<sup>479</sup> Рецензия не подписана, но ее принято атрибуировать А.Ф. Писемскому, ведущему в то время в «Библиотеке для чтения» раздел «Литературная летопись», где она была опубликована. См.: Елизаветина 2007: 232.

- Радищев А.Н. 2000**, Путешествие из Петербурга в Москву. Публицистика. Поэзия. – М.: ООО «Издательство АСТ»; «Олимп» (Серия «Школа классики»)
- Раевский Г.А. 21.03.1926**, Книга песен // Дни (Париж). № 960. 21 марта 1926. С. 3
- Раевский Г.А. 18.04.1929**, «Жизнь Пушкина» (Тыркова-Вильямс А.: «Жизнь Пушкина». Т. 1 (1799-1824), Париж, 1929) <Рецензия> // Возрождение (Париж). № 1416. 18 апреля 1929. С. 3
- Раевский Г.А. 01.05.1931**, Мадам де Сталь // Возрождение (Париж). № 2159. 1 мая 1931. С. 3
- Раевский Г.А. 28.05.1931**, Виктор Гюго в изгнании // Возрождение (Париж). № 2186. 28 мая 1931. С. 2
- Разумова А.О. 2004**, Путь формалистов к художественной прозе // Вопросы литературы. 2004. № 3, 131-150
- Разумова А.О. 2005**, «Филологический роман» в русской литературе XX века (генезис, поэтика). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.
- Роднянская И.Б. 1987**, Лирический герой // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 185
- Роте Х. 1999**, «Избрал он совсем особый путь» (Державин с 1774 по 1795 г.) // XVIII век. Сборник 21. Памяти П.Н. Беркова (1896-1969). СПб.: Наука, 1999, 247-259
- Русский язык 1930(а)**, <Без имени автора>. Гроссман Леонид. Цех пера. Статьи о литературе. Изд. «Федерация». М. 1930 <Рец.> // Русский язык в советской школе. 1930. № 2. С. 219
- Русский язык 1930(б)**, <Без имени автора>. Вересаев В. В двух планах. Статьи о Пушкине. Изд. т-ва. «Недра». М. 1929 <Рец.> // Русский язык в советской школе. 1930. № 2. С. 218
- Рылеев К.Ф. 1983**, Сочинения. М.: Правда
- Рысс П. 1931**, Державин-политик // Возрождение (Париж). № 2192. 3 июня 1931. С. 2
- Садовской Б.А. 1988**, Г.Р. Державин // Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Книга, 1988, 272-278<sup>480</sup>
- Сакулин П.Н. 1925**, Социологический метод в литературоведении. М.: Мир
- Салиас Е.А. 1876**, Поэт Державин правитель наместничества (1785-1788) // Русский Вестник. 1876. № IX, X
- Святополк-Мирский Д.С. 2005**, История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Новосибирск: Издательство «Свиньин и сыновья»
- Сергиевский И. 1926**, В. Вересаев. – «Пушкин в жизни». Вып. I. К-во. «Новая Москва». 1926 <Рецензия> // Новый мир. 1926. № 11, 186-187
- Сергиевский И. 1933**, Как комментировать классиков // Литературный критик. 1933. № 1, 152-155
- Сергиевский И. 1933а**, Агония жанра // Литературный критик. 1933. № 3, 143-146
- Словарь античности 1989**, Словарь античности. Пер. с нем. М.: Прогресс
- Смирнова А.И., Млечко А.В. 2006**, Введение // Литература русского зарубежья (1920-1990): учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2006, 5-10
- Смит А. 1998**, Песнь пересмешника: Пушкин в творчестве Марины Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой

<sup>480</sup> Статья впервые опубликована в книге Садовского «Русская Камена» (М., 1910), где датирована 1907 годом.

- Современник 1864**, <Без имени автора> Сочинения Державина, с объяснительными примечаниями Я. Грота. Издание императорской академии наук. Том первый, с рисунками, найденными в рукописях, с портретами и снимками. СПб. 1864 г. <Рецензия> // Современник. 1864. Том 100. № 1, 102-134
- Старчаков А. 1929**, А.С. Грибоедов (к столетию со дня смерти) // Красная газета. № 37 (2065). 10 февраля 1929. С. 2
- Степанов В.П. 2002**, Неизданные тексты И.М. Долгорукова // XVIII век: Сборник 22. СПб.: Наука, 2002, 409-419
- Строев А. 1998**, «Те, кто поправляет фортуна»: Авантюристы Просвещения. М.: Новое литературное обозрение
- Строев А. 2001**, Летающий философ (Жан-Жак Руссо глазами Фридриха-Мельхиора Гримма) // Новое литературное обозрение. 2001. № 48. Электронная версия: <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/48/stroev.html>
- Струве Н.А. 1978**, «Некрополь» В. Ходасевича // Вестник Русского Христианского Движения. 1978. № 127, 105-116
- Сурат И.З. 1994**, Пушкинист Владислав Ходасевич. М.: Лабиринт
- Татаров И. 1934**, За глубокое овладение исторической наукой // Октябрь. 1934. № 7, 213-215
- Татищева Г.С. 1965**, Пушкин и Державин // Вестник Ленинградского университета. 1965. № 14. Вып. 3, 106-116
- Тахо-Годи А.А. 1991**, Артемида // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1991, 60-61
- Томашевский Б.В. 1923**, Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4 (28), 6-9
- Томашевский Б.В. 1924**, И еще Пушкиниана // Жизнь искусства. 1924. № 2, 15-16
- Томашевский Б.В. 1927**, В. Вересаев. Пушкин в жизни (систематический свод подлинных свидетельств современников). Изд-во. «Недра». Москва. Вып. I и II. 1927 г. Вып. III и IV. 1927 г. <Рецензия> // Красная газета. Вечерний выпуск. № 133 (1451). 20 мая 1927. С. 5. Подпись: Б. Т.
- Томашевский Б.В. 1929**, Заметки о Пушкине. II // Поэтика V. Л., 1929, 68-71
- Томашевский Б.В. 1938**, Жизнь Пушкина. <Рец. на: Чулков Г.И. Жизнь Пушкина. – М.: Гослитиздат, 1938> // Литературное обозрение. 1938. № 23, 46-51
- Томашевский Б.В. 1990**, Пушкин: современные проблемы историко-литературного изучения // Томашевский Б.В. Пушкин: работы разных лет. М.: Книга, 1990, 8-76
- Томашевский Б.В. 1990а**, Пушкин. В двух томах. Издание второе. М.: Художественная литература, 1990
- Тресиддер Джек 1999**, Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС
- Тронский И.М. 1988**, История античной литературы. М.: Высшая школа
- Тынянов Ю.Н. 1921**, Блок и Гейне // Об Александре Блоке. Петербург: Карточный домик, 1921, 237-264
- Тынянов Ю.Н. 1969**, Пушкин и его современники. М.: Наука
- Тынянов Ю.Н. 1977**, Поэтика История литературы Кино. М.: Наука
- Тынянов Ю.Н. 1988**, Пушкин. М.: Московский Рабочий
- Тынянов Ю.Н. 2001**, История литературы Критика. СПб.: Азбука-классика
- Ухват 1926**, <Анонсы редакции> // Ухват (Париж). 1926. № 1 (31 марта 1926). С. 9
- Ушаков Д.Н. 2004**, Толковый словарь русского языка. В четырех томах. <Электронный ресурс>

- Федорова Е.В. 1979**, Императорский Рим в лицах. М.: Издательство Московского университета
- Фирсов Н.Н. 1914**, <Примечания к «Истории Пугачевского бунта»> // Пушкин А.С. Сочинения. Том XI. Петроград. 1914
- Фирсов Н.Н. 1915**, Пушкин как историк (общая характеристика) // Пушкин А.С. Собрание сочинений. Под ред. проф. С.А. Венгерова. Том VI. 1915, 244-257
- Фоменко И.Ю. 1983**, Автобиографическая проза Г.Р. Державина и проблема профессионализации русского писателя // XVIII век: Сборник 14: Русская литература XVIII-начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л.: Наука, 1983, 143-164
- Фомичев С.А. 1988**, Литературная судьба Грибоедова // Грибоедов А.С. Сочинения. М.: Художественная литература, 1988, 3-30
- Фомичев С.А. 2005**, «Евгений Онегин»: Движение замысла. М.: Русский путь
- Фонвизин Д.И. 1959**, Собрание сочинений. В двух томах. М.-Л.: Государственное Издательство Художественной Литературы
- Фохт Ульрих 1928**, Биография в литературоведении // Печать и революция. 1928. № 8, 16-26
- Фривольная поэзия 2002**, Фривольная поэзия. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА
- Ханзен-Лёве Оге А. 2001**, Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М.: Языки русской культуры
- Ходасевич В.Ф. 20.09.1925**, Тайные любви Пушкина // Дни (Париж). № 806. 20 сентября 1925. С. 4
- Ходасевич В.Ф. 21.03.1926**, По советским журналам // Дни (Париж). № 960. 21 марта 1926. С. 4
- Ходасевич В.Ф. 10.02.1928**, Пушкин и Хитрово // Возрождение (Париж). № 983. 10 февраля 1928. С. 2-3
- Ходасевич В.Ф. 31.05.1928**, Еще о критике // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4. С. 218-221<sup>481</sup>
- Ходасевич В.Ф. 1928**, В спорах о Пушкине // Современные Записки (Париж). 1928. № 37, 275-294
- Ходасевич В.Ф. 26.04. 1928**, Нечаянная пародия // Возрождение (Париж). № 1059. 26 апреля 1928. С. 3
- Ходасевич В.Ф. 06.06.1928, 07.06.1928**, Пушкин, известный банкомет // Возрождение (Париж). № №1100, 1101. 6 июня 1928 (С. 2), 7 июня 1928 (С. 3-4)
- Ходасевич В.Ф. 20.06.1929**, Пушкин на Святогорской ярмарке // Возрождение (Париж). № 1479. 20 июня 1929. С. 3-4
- Ходасевич В.Ф. 26.09. 1929**, Летучие листья: О Лугунах // Возрождение (Париж). № 1577. 26 сентября 1929. С. 3-4
- Ходасевич В.Ф. 23.01.1930**, Об исторической правде // Возрождение (Париж). № 1696. 23 января 1930. С. 4
- Ходасевич В.Ф. 11.10.1930**, «Защита Лужина» // Возрождение (Париж). № 1957. 11 октября 1930. С. 2
- Ходасевич В.Ф. 28.05.1931**, Книги и люди // Возрождение (Париж). № 2186. 28 мая 1931. С. 3-4
- Ходасевич В.Ф. 09.07.1931**, Книга М. Гофмана // Возрождение (Париж). № 2228. 9 июля 1931. С. 3-4
- Ходасевич В.Ф. 13.07.1932**, Мелочи: Лопух // Возрождение (Париж). № 2963. 13 июля 1932. С. 3-4

---

<sup>481</sup> Статья впервые опубликована: Возрождение (Париж). 1928. 31 мая

**Ходасевич В.Ф. 12.01.1933**, Книги и люди: Романы Ю. Фельзена // Возрождение (Париж). № 2781. 12 января 1933. С. 3

**Ходасевич В.Ф. 08.06.1933**, Книги и люди: «Современные Записки», кн. 52 // Возрождение (Париж). № 2928. 8 июня 1933. С. 3-4

**Ходасевич В.Ф. 10.08.1933, 12.08.1933**, Зизи // Возрождение (Париж). №№ 2991, 2993. 10 августа 1933 (С. 3-4), 12 августа 1933 (С. 3-4)

**Ходасевич В.Ф. 07.09.1933**, Мелочи: Пушкин о Державине // Возрождение (Париж). № 3019. 7 сентября 1933. С. 3

**Ходасевич В.Ф. 07.09.1933а**, Мелочи: Saints de glace // Возрождение (Париж). № 3019. 7 сентября 1933. С. 3

**Ходасевич В.Ф. 08.02.1934**, Андрей Белый: черты из жизни // Возрождение (Париж). № 3173. 8 февраля 1934. С. 3-4

**Ходасевич В.Ф. 26.07.1934**, Книги и люди: Сборники «О Достоевском» // Возрождение (Париж). № 3340. 26 июля 1934. С. 4

**Ходасевич В.Ф. 23.08.1934**, Книги и люди: «Русские вольные каменщики» // Возрождение (Париж). № 3368. 23 августа 1934. С. 3

**Ходасевич В.Ф. 06.09.1934**, Книги и люди: Денис Давыдов // Возрождение (Париж). № 3382. 6 сентября 1934. С. 3-4

**Ходасевич В.Ф. 1935**, Аглая Давыдова и ее дочери // Современные записки (Париж). 1935. № 58, 227-257

**Ходасевич В.Ф. 31.01.1935**, Книги и люди: «Знаменитые русские масоны» <по поводу книги Т.А. Бакуниной> // Возрождение (Париж). № 3529. 31 января 1935. С. 3-4

**Ходасевич В.Ф. 25.04.1935**, Книги и люди: «Пушкин – Дон-Жуан» // Возрождение (Париж). № 3613. 25 апреля 1935. С. 3-4

**Ходасевич В.Ф. 02.04.1936**, Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой // Возрождение (Париж). № 3956. 2 апреля 1936. С. 3

**Ходасевич В.Ф. 12.12.1936**, Книги и люди: Дневник А.А. Олениной // Возрождение (Париж). № 4056. 12 декабря 1936. С. 9

**Ходасевич В.Ф. 13.08.1937**, Воспоминания о Пушкине // Возрождение (Париж). № 4091. 13 августа 1937. С. 7 (Подписано: Гулливер)

**Ходасевич В.Ф. 29.10.1937**, «Душенька» // Возрождение (Париж). № 4103. 29 октября 1937. С. 4 (Подписано: Гулливер)

**Ходасевич В.Ф. 26.11.1937**, Книги и люди: «Русские записки». Книга 2-я <Статья М.И. Цветаевой «Пушкин и Пугачев»> // Возрождение (Париж). № 4107. 26 ноября 1937. С. 4

**Ходасевич В.Ф. 15.04.1938**, Гр. Д.Ф. Фикельмон // Возрождение (Париж). № 4127. 15 апреля 1938. С. 9

**Ходасевич В.Ф. 27.05.1938**, Книги и люди: От полуправды к неправде // Возрождение (Париж). № 4133. 27 мая 1938. С. 9

**Ходасевич В.Ф. 24.06.1938**, Книги и люди: «Бородин» // Возрождение (Париж). № 4137. 24 июня 1938. С. 9

**Ходасевич В.Ф. 23.09.1938**, Книги и люди: «Искатели» // Возрождение (Париж). № 4150. 23 сентября 1938. С. 9

**Ходасевич В.Ф. 21.10.1938**, Война и поэзия // Возрождение (Париж). № 4154. 21 октября 1938. С. 4

**Ходасевич В.Ф. 1988**, Державин. М.: Книга

**Ходасевич В.Ф. 1991**, Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель

**Ходасевич В.Ф. 1996-**, Собрание сочинений. В четырех томах. М.: Согласие, 1996-1997

- Ходасевич В.Ф. 1999**, Дуэльные истории // Пушкин в эмиграции. 1937. М.: Прогресс-традиция, 1999, 295-304
- Ходасевич В.Ф. 1999а**, Пушкин и поэты его времени / Под ред. Р. Хьюза. В трех томах. Том 1 (Статьи, рецензии, заметки 1913-1924 гг.). Berkeley Slavic Specialities, 1999.
- Ходасевич В.Ф. 1999б**, Владислав Ходасевич о Пушкине (Из архива И.И. Ивичи-Бернштейна) // Вопросы литературы. 1999. № 3, 74-118
- Ходасевич В.Ф. 2002**, Перед зеркалом. М.: ОЛМА-ПРЕСС
- Ходасевич В.Ф. 2002а**, Камер-фурьерский журнал. <Без места издания> Эллис Лак 2000, 2002
- Храповицкий А.В. 1990**, Памятные записки А.В. Храповицкого – статс-секретаря Императрицы Екатерины Второй. М.: В/О Союзтеатр. СТД СССР. Главная редакция театральной литературы (Репринтное воспроизведение издания 1862 года)
- Хьюз Роберт 1987**, Белый и Ходасевич: к истории отношений // Вестник Русского Христианского Движения. 1987. № 151, 144-165
- Хьюз Роберт 1999**, В.Ф. Ходасевич: Письма к М.А. Цявловскому <Предисловие к публикации> // Русская литература. 1999. № 2, 214-217
- Цырлин Л. 1935**, Тынянов-беллетрист. Л.: Издательство писателей в Ленинграде
- Цырлин Л. 1935а**, Советский исторический роман // Звезда. 1935. № 7, 227-249
- Цявловский М.А. 1922**, Пушкин и гр. Д.Ф. Фикельмон // Голос минувшего. 1922. № 2, 108-123
- Чебышев Н. 1929**, Т.А. Богданович. «Любовь людей 60-х годов». Предисловие Н.К. Пиксанова. «Академия». Петербург. 1929. <Рецензия> // Возрождение (Париж). № 1486. 27 июня 1929. С. 3
- Черейский Л.А. 1989**, Пушкин и его окружение. Л.: Наука
- Черкасов В.А. 2000**, Полемика В.В. Набокова с Ю.Н. Тыняновым в «Комментариях» к „Евгению Онегину“ // Филологические науки. 2000. № 5, 20-29
- Черкасов В.А. 2001**, Литературная критика о В.В. Набокове и полемика с ней в творчестве писателя (20-е-30-е гг.). Белгород: Изд-во. Белгородского гос. ун-та
- Черкасов В.А. 2003**, В.В. Набоков и А.И. Куприн // Филологические науки. 2003. № 3, 3-11
- Черкасов В.А. 2003а**, К проблеме ума в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» // Вестник Московского Университета. Сер. 9. Филология. 2003. № 5, 127-133
- Черкасов В.А. 2004**, «Виноград созрел...» (И. Анненский в оценке В. Ходасевича) // Русская литература. 2004. № 3, 188-197
- Чернова Г.С. 1993**, В.Г. Белинский и В.Ф. Ходасевич о Г.Р. Державине // Творчество Г.Р. Державина: проблемы изучения и преподавания. Материалы Юбилейной Международной научной конференции: 14-16 сентября 1993 года. Тамбов: Издательство ТГПИ, 1993, 119-121
- Чернышевский Н.Г. 1950**, Прадедовские нравы // Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. В 15 томах. М.: Государственное издательство художественной литературы. 1939-1950. Т. VII, 325-371
- Чехов А.П. 1979**, Избранные сочинения. В двух томах. М.: Художественная литература
- Чудакова М.О. 1973**, Дело поэта // Вопросы литературы. 1973. № 10, 63-73
- Чулков Г.И. 1936**, О биографии Пушкина // Книжные новости. 1936. № 21, 19-20
- Чхеидзе А.И. 1963**, «История Пугачева» А.С. Пушкина. Тбилиси: Изд-во ССП Грузии «Литература и искусство»

- Шкловский В.Б. 1990**, Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914 – 1933). М.: Советский писатель
- Шоу Дж. Томас 1999**, Проблема «вымышленного автора» в журналистике: Феофилакт Косичкин Пушкина // Современное американское пушкиноведение: Сборник статей. СПб.: Академический проект, 1999, 225-248
- Щебальский П.М. 1865**, Начало и характер пугачевщины. М.
- Щеголев П.Е. 1928**, На всякого мудреца... Ответ В.В. Вересаеву // Печать и революция. 1928. № 5, 97-106
- Щеголев П.Е. 2006**, Очерки о Пушкине. М.: Захаров
- Эйдинова В.В. 1980**, Ю. Тынянов о «литературной личности» // Филологические науки. 1980. № 3, 74-78
- Эйхенбаум Б.М. 1933**, От военной оды к «гусарской песне» // Давыдов Д.В. Полное собрание стихотворений. Л.: Издательство писателей в Ленинграде. 1933, 29-44
- Эйхенбаум Б.М. 1987**, О литературе: работы разных лет. М.: Советский писатель
- Эйхенбаум Б.М. 1988**, Державин // Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Книга, 1988, 295-313<sup>482</sup>
- Энгельгардт Л.Н. 1988**, Записки // Русские мемуары: Избранные страницы. XVIII век. М.: Правда
- Юсиф-заде Айгюн Фуаз Къези 2001**, Литературно-критическая и историко-биографическая проза Владислава Ходасевича. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.
- Юсиф-заде Айгюн Фуаз Къези 2001a**, Литературно-критическая и историко-биографическая проза Владислава Ходасевича. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.
- Якобсон Р.О. 1987**, Работы по поэтике: Переводы. М.: Прогресс
- Яновский В.С. 2004**, Из книги «Поля Елисейские» // Современники о Владиславе Ходасевиче. СПб.: Алетейя, 2004, 321-334

\*\*\*

- Bethea D.M. 1983**, Khodasevich, his life and art. Princeton university press
- Clardy Jesse V. 1967**, G.R. Derzhavin: A political Biography. The Hague-Paris: Mouton
- Davydov Sergei 1985**, Pushkin's Merry Undertaking and «The Coffinmaker» // Slavic Review. Spring 1985. Vol. 44. № 1, 30-48
- Grossman Joan Delaney 1992**, «Moi Pushkin»: Briusov's Search for the *Real* Aleksandr Sergeevich // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. Ed. by B. Gasparov, Robert P. Hughes and Irina Paperno. Berkeley, University of California Press, 1992, 73-87
- Malmstad John E. 1975**, The Historical Sense and Ходасевич's Derzhavin // Ходасевич В.Ф. Державин. München: Wilhelm Fink Verlag, 1975, V-XVIII
- Maren-Grisebach Manon 1992**, Methoden der Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke Verlag
- Nabokov Vladimir 1973**, Strong Opinions. New York: McGraw-Hill
- Nabokov Vladimir 1991**, The Gift. New York: Vintage Books

---

<sup>482</sup> Статья впервые опубликована в журнале «Аполлон», 1916, № 8 под заглавием «Поэтика Державина» к столетию смерти поэта.

*Научное издание*

**Черкасов Валерий Анатольевич**

**ДЕРЖАВИН И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ  
ГЛАЗАМИ ХОДАСЕВИЧА**

В авторской редакции  
Компьютерная верстка *Н.А. Гапоненко*

Подписано в печать 20.03.2009. Формат 60×84/16.  
Гарнитура Times. Усл. п. л. 21,0. Тираж 500 экз. Заказ 64.  
Оригинал-макет подготовлен и тиражирован в издательстве  
Белгородского государственного университета.  
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85